П. ДОЛГОРУКОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОЧЕРКИ



Новости

П. ДОЛГОРУКОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОЧЕРКИ





П. ДОЛГОРУКОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОЧЕРКИ

Памфлеты эмигранта 1860–1867



Москва, 1992

ББК 63.3(2)51
Д64

Текст печатается по изданию: Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867. Кооперативное издательство «Север». Москва. 1934.

Долгоруков П. В.
Д 64 Петербургские очерки. — Памфлеты эмигранта. — 1860—1867. — М.: Изд-во «Новости», 1992. — 560 с., ил. — (Серия «Голоса истории»).

ISBN 5-7020-0193-1

Книга принадлежит перу знаменитого русского историка и публициста князя П. В. Долгорукова (1817—1868), который, обидевшись, что его не назначили министром внутренних дел, эмигрировал в 1859 году во Францию, где позднее сблизился с Герценом.

Это мемуары, поскольку Долгоруков пишет о людях, которых знал лично. Но вместе с тем, поскольку «Очерки» преследуют определенную политическую цель, сознательно заострены в заранее намеченном политическом направлении и должны служить обоснованием для кажущихся автору бесспорных политических выводов, — это острый и злой памфлет.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Д $\frac{4603000000}{067(02)—92}$ Без объявл. **ББК 63.3(2) 51**

«РЕСПУБЛИКАНЕЦ-КНЯЗЬ» ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ДОЛГОРУКОВ

1

«Петербургские очерки» известного эмигранта 60-х годов — князя Петра Владимировича Долгорукова — стоят на грани между мемуарами и памфлетом. Это мемуары, поскольку Долгоруков пишет о людях, которых он знал лично, в обществе которых вращался до выезда за границу, с которыми беседовал и вступал в деловые и иные отношения, поскольку он отражает непосредственные свои впечатления, вынесенные от общения с высшим петербургским светом, и строит заключения на основании собственных наблюдений или отзывов осведомленных современников. Но вместе с тем, поскольку «Очерки» преследуют определенную политическую цель, сознательно заострены в заранее намеченном политическом направлении и должны служить обоснованием для теоретически кажущихся автору бесспорными политических выводов, — это острый и злой памфлет.

Двойственный характер очерков отражается на всем их содержании. Мемуарность нашла в них выражение в попытках объединить разрозненные наблюдения в законченные характеристики, в передаче разговоров и фактов, которые редко выходят за пределы очень замкнутого общественного круга, в стремлении придать оригинальное освещение описываемым людям и событиям, во всех тех субъективных высказываниях, характерных именно для автора, которые делают чтение «Очерков», несмотря на их недостатки, столь любопытным.

Памфлет наложил свой отпечаток на «Очерки» в той резкости, переходящей в брань, которая так шокировала современников, в лапидарности стиля, в небрежности и частых повторениях, в элементарности подхода, во всех тех мелочах, которые свидетельствуют о спешности ра-

боты, о нетерпении сказать вовремя то слово, которое кажется нужным, о пренебрежении стройностью формы и, может быть, иногда даже безупречностью содержания во имя актуальных политических целей.

И в мемуарной части, и в памфлете Долгоруков неимоверно субъективен: его личность, его «я» князя-эмигранта просвечивают в каждой строке, и в каждом словечке желчного наблюдателя, и в утомительных повторениях одних и тех же бранных эпитетов, на которые, по словам обиженного им лица, «ему принадлежит исключительная монополия»[1]. Тем не менее очень многие из характеристик, набросанных нервной рукой Долгорукова, вполне заслуживают войти в историю как ценный отзыв современника, хорошо знавшего среду, которую он описывал. И даже те, которые носят черты безудержного пасквиля, в котором страстность инвектив мешает иногда различить реальную правду, любопытны как выражение известных политических взглядов и часто ценны как противовес тем, не менее безответственным, шаблонным хвалебным отзывам, которыми преисполнена мемуарная литература. Недаром Герцен высоко ценил именно эту изобличительную деятельность «князя-рефюжье». «Как неутомимый тореадор, — писал он в «Колоколе» по получении известия о его смерти, — [князь Долгоруков] дразнил без отдыха и пощады, точно быка, русское правительство и заставлял дрожать камарилью Зимнего дворца. Те, чью сомнительную совесть повергали в трепет его разоблачения, его замечательная память и богатые документы, могут вздохнуть теперь свободно»[2].

«Личность Долгорукова, своеобразного протестанта против самодержавия, эмигранта из верхов дворянской аристократии, мало выяснена в нашей исторической печати», — справедливо замечает М. И. Барсуков в предисловии к опубликованным им письмам Долгорукова к Погодину[3].

---

[1] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, Cour Impériale de Paris. Paris, 1861, p. 159.

[2] Полное собр. сочинений и писем А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. XXI, стр. 88—89.

[3] М. И. Барсуков. П. В. Долгоруков о царской России и о дуэли А. С. Пушкина с Дантесом («Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века», вып. I, М. — Л., 1932). «Явно недостаточна», как правильно говорит М. И. Барсуков, статья М. К. Лемке, напечатанная в его книге: Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПБ. 1909.

В русской научной литературе Долгоруков вызывал интерес почти исключительно как предполагаемый автор пасквиля, погубившего Пушкина[1]. Между тем одно время имя его, как выдающегося представителя эмигрантской публицистики, постоянно ставилось рядом с именем Герцена и Огарева, и русское правительство, чтобы парализовать его влияние, пускало с обычной неловкостью в ход весь арсенал находившихся в его руках литературных и политических средств, не брезгая ни подкупом иностранной прессы, ни возбуждением громких процессов в иностранных судах. Как ренегат собственного класса, как человек, вышедший из той среды, против которой он направлял острие своих «ругательств», интимные тайны которой ему были слишком хорошо известны, и умевший с неразборчивостью в средствах желтой прессы использовать эти свои знания, он вызывал ожесточенное раздражение и страх.

* * *

Князь Петр Владимирович Долгоруков родился 8 января 1817 (27 декабря 1816) года. Он происходил от

То же можно сказать и о продолжении этой статьи в апрельской книге журнала «Былое» за 1907 г. (в мартовской книге которого за тот же 1907 г. первоначально появилась и первая статья) — продолжении, которое осталось неиспользованным М. И. Барсуковым. Статья последнего не имеет целью дать более или менее полную характеристику Долгорукова; в ней попадаются и некоторые неточности; например, он смешивает журнал «Правдивый», издававшийся в 1862 г. Долгоруковым, с «Правдолюбивым», издававшимся в 1862—1863 гг. книгоиздателем Гербгартом без его участия и в противовес его журналу; с этим «Правдолюбивым» Долгоруков сам полемизировал и считал его недостойной подделкой под «Правдивого».

Прекрасную характеристику кн. П. В. Долгорукова мы находим у П. Е. Щеголева (Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, М.—Л., 1928), но и он, и раньше его Б. Л. Модзалевский (Сборник «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, Петр., 1924) интересуются главным образом моральной стороной его личности и совершенно не касаются его политической физиономии.

[1] В нашу задачу не входит пересмотр вопроса об участии кн. Долгорукова в составлении анонимного письма. Исчерпывающие данные можно найти у П. Е. Щеголева, «Дуэль и смерть Пушкина», изд. 3-е, М.—Л., 1928 и в статье Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Петр., 1924. Собранные авторами материалы, в частности экспертиза почерков, во всяком случае клонятся не в пользу Долгорукова.

одной из самых древних аристократических фамилий тогдашней России, выводившей свой род от князя Михаила Черниговского, казненного Батыем и канонизированного Русской церковью в качестве «мученика за христианство». Знатное имя, фамильные связи, значительное состояние (доходы с принадлежавших ему имений в Тульской и Костромской губерниях определялись в 30 000 франков в год), образование — все, казалось, сулило ему блестящую будущность. «С большим именем, с умом возвышенным, — говорит его адвокат Мари, — с мыслью сильной, с характером решительным, со всеми качествами сердца и ума, сочетающимися с древним и знаменитым именем, он мог претендовать на самую почетную, самую блестящую, самую доходную карьеру»[1]. Перед глазами юного вельможи с детства стояли как образец его родные дядья, князья Петр Петрович (1777—1806) и Михаил Петрович (1780—1808), генерал-майор и генерал-адъютант в самые юные годы, старший — личный друг Александра I, младший — жених сестры императора, великой княгини Екатерины Павловны, павший в Финляндии накануне помолвки[2]. Таковы были блистательные возможности, развертывавшиеся перед отпрыском древнего княжеского дома. Но некоторые черты характера, проявившиеся в нем с раннего возраста — несдержанность, заносчивость, самонадеянность «мальчишки», необузданное тщеславие — помешали ему использовать те богатые данные, которые ему дало рождение. Условия, в которых протекали его детство и юность, не могли не отразиться неблагоприятно на нем. Он рос без родителей: мать его умерла во время родов, отец пережил ее ненамного и умер, когда ему еще не было года, мальчика воспитывала бабушка — княгиня Анастасия Семеновна Долгорукова, но и она скончалась, когда мальчику было едва 10 лет. Определенный в год смерти бабушки в Пажеский корпус, он учился блестяще и был назначен камер-пажом, но за какую-то вину через несколько месяцев был лишен этого звания, благодаря чему ему была закрыта дорога к блестящей придворной карьере. Из Пажеского корпуса он вышел с плохой от-

---

[1] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 8. О состоянии Долгорукова, там же, стр. 15.

[2] Н. С. Голицын. Бой при Иденсальме в Финляндии (Рус. Старина, 1890, № 1).

меткой, помешавшей ему «записаться», как он выражался в позднейшие годы, «в число преторианцев бесчеловечного и невоспитанного деспота»[1], то есть в гвардию. Ему пришлось довольствоваться какой-то фиктивной службой при Министерстве народного просвещения. Внешность его, малопривлекательная, прихрамывающая походка, вызванная физическим недостатком, заслужившая ему прозвище «Bancal» (кривоногий), манера держать себя без достаточного достоинства — не сулили ему блестящих перспектив и на арене большого света. Без дела, разочарованный в своих надеждах и претензиях, он прожигал жизнь в столице в кругу «молодых людей наглого разврата», которые подсмеивались над ним и обходились с ним с пренебрежительной фамильярностью[2]; и имя его связывалось с самыми некрасивыми поступками. Но эта пустая жизнь не удовлетворяла кипучего честолюбия, разжигавшего его. Юноша, имеющий, по его собственным словам, «невзирая на молодость свою сознание умственных способностей, дарованных ему Богом и, может быть, не совсем обыкновенных», мечтал о политической деятельности. «Но, — говорит он, — при Николае вмешиваться в политику значило обрекать себя Сибири без всякой пользы для отечества»[3]. Он решился посвятить себя науке, чтоб создать себе имя на этом поприще. Как и подобало потомку Михаила Черниговского, преисполненному феодальных традиций своего знаменитого рода, он обратился к изучению генеалогии. Впоследствии он объяснял начало своих генеалогических трудов политическими соображениями. «Занятие родословными, — говорит он, — служило нам путем к познанию документов, для других недоступных, и вместе с тем против тайной полиции ширмами, за коими мы могли и трудиться по русской истории, и вести наши записки». Этот мотив мог, однако, возникнуть лишь много позже, а начальные нити аристократического интереса к родословным надо, конечно, искать в княжеской идеологии. К тому же источнику восходят и его исторические занятия.

---

[1] La vérité sur le procès du prince Dolgoroukow, Londres (фиктивно), 1862, p. 30. Ниже цитируется кратко: «Vérité sur le procès».

[2] Рус. Архив, 1888, II, 212. Зап. М. Д. Бутурлина (Рус. Архив, 1901, № 11, стр. 401). Воспоминания Н. А. Тучковой. М. 1903, стр. 164.

[3] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература, 1826—1855 гг. стр. 533. Vérité sur le procès, p. 30.

Уже в 1831 году, 21-летним[1] молодым человеком он начал работать над «Историей России от воцарения Романовых до кончины Александра I», которую он довел до воцарения императрицы Анны; это произведение было, по-видимому, составлено в общепринятом верноподданническом духе[2]. В 1839 году он приступает к составлению на французском языке генеалогических заметок, в 1840—1841 годах печатает «Российский родословник», который вызывает сочувственное внимание в обществе[3], а в 1842 году — «Сведения о роде князей Долгоруковых». Успех, который имели его первые научные опыты, вскружил голову «мальчишке, очень довольному собой, но подобно всем молоденьким гениям, не имеющим понятия о точности и других совершенствах языка» (как отзывались о новоявленной знаменитости специалисты)[4], однако, еще более усилил чувство неудовлетворенности. Он меньше чем когда-либо мог примириться с тем, что не занимает «места, соответствующего его уму и дарованиям»; злые языки уже тогда говорили, что он «мечтает ни более ни менее, как быть министром»[5].

Решающим моментом в жизни Долгорукова была его поездка за границу в 1841 году. В Париже он завертелся в высшем кругу французского общества, где титул и научное имя обеспечили в первый момент молодому иностранцу хороший прием, и ему не могло не льстить «радушие, оказанное [ему] лицами, высоко стоящими во мнении общем и по светскому значению, и по своим умственным достоинствам»... «Лица эти (некоторыми из них справедливо может гордиться Франция), — говорил он по возвращении в Россию, — осыпали меня, 26-летнего молодого человека, ласками, тем более для меня лестными, что ласки эти мне были изъявляемы руководителями общего мнения. Невзирая на мои лета, они в сношениях своих со мною возвышали меня до себя и при отъезде некоторые взяли с меня слово вести с ними переписку». Среди парижских друзей он не скрывал ни своих честолюбивых притязаний на высокое правительственное положение в отечестве, ни обиды на то, что

---

[1] Так у С. В. Бахрушина. — *Изд. «Новости»*.
[2] М. К. Лемке, назв. соч., стр. 538.
[3] См. отзыв К. Полевого («Воспоминания», СПБ, 1888, стр. 554).
[4] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, стр. 247.
[5] М. К. Лемке, назв. соч., стр. 530.

в России не находят достойной оценки его «ум и дарования»[1]. Не воздержался он и от того, чтобы не попробовать разыграть какую-нибудь роль в политической жизни Франции. «Скверный интриганишка», как выражались о нем в русском посольстве, пытался завязать «плутни с [французскими] журналистами», афишируя свои близкие отношения с членами правительства и выдавая себя за выразителя мнений правительственных сфер[2].

Оглушенный мишурным успехом, он в Париже и совершил тот «грех молодости», который предопределил все дальнейшее направление его политической деятельности. В 1842 году он издал под псевдонимом «граф Альмагро» на французском языке «Заметку о главных фамилиях России»[3]. В этой заметке, заключающей очень краткие сведения о важнейших дворянских родах, Долгоруков не ограничился одними генеалогическими справками и поделился с французской публикой данными, почерпнутыми главным образом из заграничной, запрещенной в России литературы, данными, не лишенными политической остроты. Наиболее существенным и политически важным он сам считал то, что «он сделал известным европейской гласности важный факт, который русское правительство стремилось заставить забыть и о котором ни одна книга, ни один журнал не дерзал упомянуть: а именно, существование земских соборов в России в XVI—XVII веках и конституционной хартии, предложенной ими Михаилу Романову в 1613 году, принятой им под присягой и нарушенной шесть лет спустя»[4]. Далее на страницах брошюры были разбросаны заимствованные у иностранных писателей, современных Петру I, подробности, бросающие тень на нравственность этого царя и компрометирующие родоначальников некоторых из дворянских родов, бывших в силе в середине XIX века; наконец, говорилось об участии представителей очень видных аристократических фамилий в убийстве Павла I и в заговоре декабристов. Словом, автор открывал факты,

---

[1] М. К. Лемке назв. соч., стр. 538, 530. Шатобриан будто бы говорил Долгорукову об его научных трудах: «Князь! дворянству русскому следовало бы соорудить вам памятник: до вас никто из нас ничего не знал об этом дворянстве».

[2] Там же, стр. 531—532.

[3] Notice sur les principales familles de la Russie, par le comte Almagro, Paris, 1842; брошюра переиздана в 1843 г. в Брюсселе с именем автора.

[4] Vérité sur le procès, p. 32—33.

«кои ему, как доброму русскому, следовало бы пройти забвением», и брошюра «весьма некстати», изображала «русское дворянство в самых гнусных красках как гнездо крамольников и убийц». Среди высшего русского общества «памфлет» хромоногого князя вызвал величайший скандал и «общее негодование»: «все были поражены непочтительностью отзывов о лицах высокопоставленных, которые своими давнишними и крупными заслугами вполне заслужили признательность своего государя и своей родины»; среди оскорбленных оказался сам посол в Париже, граф П. П. Пален, отца которого, участника в цареубийстве 1801 года, Долгоруков, не обинуясь, обозвал «злодеем». Еще больше оказалось обиженных тем, что их фамилии не были вообще внесены в реестр графа Альмагро. «Это издание, — говорил его защитник на суде против Воронцова, — произвело сильное впечатление на его родине, впечатление сначала политическое, а потом другого рода впечатление, которое должно было наделать и наделало ему много врагов. В самом деле, в одном параграфе, посвященном дому Романовых, увидели нечто, враждебное царствующему дому... Итак, царствующий дом оскорбился. Но другое впечатление, еще более глубокое, более острое, более смертельное нашло себе выражение в мире аристократическом». Брошюра, говоря словами Долгорукова, «разбередила родовые притязания или самолюбие личное». «При первом появлении книжки, — писал он Николаю I, — закипела и кипит еще ярость претензий родовых и самолюбий личных»[1].

[1] М. К. Лемке, назв. соч., стр. 529—530, 533, 535. Notice, p. 19. Насколько сильна была вызванная появлением брошюры неприязнь к ее автору, показывает отзыв о ней Н. А. Белоголового (Воспоминания. М., 1898, стр. 126), основанный на женевских разговорах *шестидесятых* годов (более чем 20 лет после ее издания). Он обвинял его в том, что «давая и этому своему труду пристрастный и обличительный характер, Долгоруков ввел в него немало собственного балласта, сдобрив в избытке пикантными анекдотами и вообще рассказами сомнительной исторической достоверности. Книга эта задела за живое многих и привлекла автора к суду Парижских трибуналов. Состоялся весьма скандальный процесс, кончившийся печально для Долгорукова: так как он не мог представить в защиту своей книги никаких серьезных доказательств, то он был осужден за клевету». Характерно, что легенда успела связать приговор по делу Воронцова с «Заметкой», с которой он имел очень мало общего, и утверждала, будто французский суд установил ложность сведений, в ней помещенных, что вовсе не имело места. Характерно и голословное утверждение, будто Долгоруков писал без всяких «серьезных доказательств». В настоящее время нам известны

Появление «пасквиля» очень скоро, уже в начале февраля 1843 года, сделалось известно русскому правительству через проживавшего в Париже агента III Отделения — «шпиона» графа Я. Н. Толстого (бывшего декабриста, юного философа и Эпиктета «Зеленой лампы»). Немедленно через русское посольство в Париже автору было предложено вернуться в Россию. Долгоруков, по-видимому, не ожидавший такого эффекта, поспешил подчиниться и 21 марта выехал из Парижа. В Кронштадте он был арестован, бумаги его были отобраны и сам он заключен в III Отделение. Следствие не показало ничего существенного, и 20 мая состоялось распоряжение Николая отправить опального генеалога в Вятку на службу, под присмотр губернатора. Долгоруков не вытерпел и сгаерничал: заявил протест против принудительного определения на службу, сославшись на «права и вольности дворянства». Николай приказал освидетельствовать умственные способности строптивого князя, но постановление о службе было отменено, и Долгоруков жил в Вятке как частное лицо «под самым строгим полицейским надзором». Впрочем, менее чем через год, в марте 1844 года, ему было разрешено повсеместное жительство по России, за исключением Петербурга, с правом поступления на службу. Такая милость была, по-видимому, вызвана тем обстоятельством, что в конце февраля в Петербурге был получен составленный в очень резкой форме отказ Головнина вернуться в Россию: в сферах, очевидно, испугались, что слишком крутая расправа с Долгоруковым, вернувшимся по первому требованию, может послужить отпугивающим примером для других лиц, оказавшихся в подобном положении, и захотели показать, что «его величество не упускал и не упускает из своей памяти, с какой готовностью и поспешностью» была исполнена его «воля». Но Долгорукову свободы было мало. Он хотел использовать неожиданную «милость» Николая, чтобы попытаться осуществить давниш-

---

источники Долгорукова; сведения о «пороках Петра I» ими вполне подтверждаются; известны также основания, на которых он говорил об ограничении власти Михаила Романова (главным источником тут ему служил Страпленберг, см. Des réformes en Russie par le pr. P. Dolgoroukow, p. 256); наконец, совершенно точны сведения и об убийстве Павла I. Словом, можно, может быть, говорить о «нескромности» автора, но не о «сомнительной исторической достоверности» приводимых им фактов.

нюю мечту, которая будет преследовать его неотступно и впредь, — пробить себе дорогу к высокому служебному положению, и через Бенкендорфа пробовал ходатайствовать о пожаловании ему чина действительного статского советника на том основании, что в порядке обычного повышения в чинах он его не скоро может дослужиться. Ответа не последовало, и Долгоруков, не желая начинать службу «только в чине IX класса», ушел в частную жизнь, не теряя надежды, что о нем вспомнят, и, по едкому замечанию современника, держал себя, «как Валленштейн в опале»[1]. Он поселился в фамильной тульской вотчине, откуда время от времени ездил в Москву. Отказавшись от служебной карьеры, он с рвением предавался своим генеалогическим изысканиям и занятиям хозяйством, в которых даже Закревский не видел ничего предосудительного. В 1852 году он после ряда безуспешных ходатайств добился разрешения въезда в Петербург. Таким образом, злополучная авантюра с «пасквилем» была ликвидирована[2].

Годы ссылки, однако, не прошли даром для Долгорукова. Отрезанный от высот столичной жизни, к которым он стремился, он тяжело переживал свое вынужденное бездействие. Опала не сломила его (он «остался все тем же дерзким и беспокойным человеком», как писал о нем Закревский), но оставила глубокий след в его психологии. Он сам говорил, что «тайный, но непрерывный надзор, раздражая его природную гордость, развил в нем и качества, и недостатки заговорщика»[3]. За эти годы сложилось и его отрицательное отношение к Николаю I и установившемуся при нем режиму. «Последние семь лет царствования Николая, — писал он, — режим, тяготевший над Россией, был ужасен. Надо было испытать на себе его гнет, чтоб вполне его оценить. Печать была в оковах, свобода слова — под постоянным ударом, право путешествий нарушалось, шпионство прокрадывалось повсюду, политическая полиция царила над всей Россией; людей то и дело ссылали, казематы Петропавловской

---

[1] Письмо Ю. Ф. Самарина 1844 г. (Рус. Архив, 1880, т. II, стр. 329).

[2] Официальные документы по делу о «Notice» опубликованы М. К. Лемке в назв. сочинении. См. также брошюру «La vérité sur le procès du prince Dolgoroukow», к известиям которой надо, впрочем, относиться очень осторожно. Любопытные дополнения есть и в «Правде о России».

[3] Vérité sur le procès, p. 31.

крепости и Шлиссельбурга были переполнены несчастными, брошенными туда без следствия и содержавшимися там без суда»[1].

В 1853 году Долгоруков выпустил I часть «Российской родословной книги», упрочившей за ним имя выдающегося специалиста по русской генеалогии. Сам он расценивал, и надо сказать, не без некоторого основания, эту свою работу как «первый в своем роде и достойный полного одобрения труд». Впрочем, память о первых шагах автора на поприще генеалогии продолжала стоять ему на пути, и первому тому пришлось преодолеть самые нелепые придирки со стороны цензуры, вызванные страхом, как бы не пропустить какой-нибудь обмолвки, бросающей тень на дворянство; книги побывали на рассмотрении члена Тайного цензурного Комитета барона Корфа и в III Отделении[2].

Не менее цензуры появление добросовестного и кропотливого труда Долгорукова взволновало высшее дворянство, представители которого набросились на «Родословную книгу», ища в ней и не всегда находя пищу для своего генеалогического тщеславия. К автору стали забегать, торопились сообщать подлинные и подложные акты, свидетельствовавшие о глубокой древности и знатности той или другой фамилии; в последующих томах появились целые страницы поправок. Те, чьи претензии не были удовлетворены, приписывали это личному недоброжелательству к ним Долгорукова или даже совершенно неблаговидным мотивам. «В отместку за отказ моей сестры, — говорит князь А. В. Мещерский, — он обошел совершенно молчанием род князей Мещерских в напечатанной им «Родословной книге», не пощадив таким образом в своем злопамятстве даже наших предков». Потомки чигиринского полковника Воронцовы, желавшие установить свою связь с боярской фамилией Воронцовых, угасшей в XVI веке, утверждали, что автор хотел получить с них хороший куш[3]. Таким образом, при всей объективной сухости изложения «Родословная книга» способствовала дальнейшему расширению образо-

---

[1] Vérité sur le procès, p. 35.

[2] Об этом подробно Долгоруков пишет в «Правде о России», т. II, стр. 159—160.

[3] Vérité sur le procès, p. 64. Рус. Архив, 1900, № 11, стр. 295.

вавшегося со времени «Notice» раскола между Долгоруковым и его сословием.

19 февраля 1855 года умер Николай I. «Мы находились в Петербурге, — вспоминал впоследствии Долгоруков, — в тот счастливый для России день, когда Николай Павлович (одними прозванный «Незабвенный», а другими «Неудобозабываемый») отправился к предкам своим. Мы помним всеобщую радость, подобно электрическому току охватившую всех честных благомыслящих людей, мы помним ликование всеобщее. Всякий чувствовал, что бремя тяжелое, неудобоносимое свалилось у него с плеч, и дышал свободнее. Со смертью Николая оканчивалась целая эпоха деспотизма»[1].

Уход со сцены «незабвенного медведя» и вступление на престол Александра II окрылили новыми надеждами никогда не иссякавшее честолюбие Долгорукова. Он торопился очистить себе поле действий, обратить на себя внимание, по крайней мере как на ученого. Не успел умереть Николай, как он спешит преподнести первые две части своей «Родословной книги» новому императору; через год, в марте 1856 года, он преподносит ему третий том и добивается «монаршей благодарности», а в марте 1857 года направляет Александру и четвертый том с ходатайством «о награждении его подарком в 600 руб.». Подарок в виде перстня, правда, стоимостью всего в 400 руб. явился тем вещественным выражением царской благосклонности, которое должно было увенчать его старания восстановить свое положение при дворе. Одновременно он стремится окончательно ликвидировать в глазах власти свою юношескую выходку: чтобы «убить брошюру», он через своего родственника, шефа жандармов Василия Андреевича Долгорукова, предложил государю сочинить на французском языке словарь русских дворянских фамилий и, по предварительному одобрению русской цензуры, издать за границей. Этот план был «высочайше» одобрен, и новая книга под заглавием «Dictionnaire historique de la noblesse russe» появилась в 1858 году в Брюсселе. Все эти шаги, далеко не соответствующие тому высокому понятию о княжеском достоинстве, которым он любил парадировать, принимались им с одной затаенной целью — не остаться в сторо-

[1] «Правда о России», т. I, стр. 94.

не от той кипучей деятельности, которая развертывалась в правительственных кругах Петербурга в первые годы царствования Александра II, и занять в подготовке реформ место, на какое он считал себя вправе по рождению и уму. В новых условиях он претендовал играть роль, о которой он мечтал еще при Николае и которая оказалась для него закрытой вследствие недоразумений его молодых лет. У него были обширные связи. «В отечестве нашем, — писал он впоследствии, — мы находились в приятельских, а отчасти и в дружеских отношениях с лицами, стоящими на первом плане на всех поприщах: литературном, государственном, общественном, и, конечно, не всякому дано иметь связи, подобные нашим»[1]. В составе вновь организованного правительства были люди, ему близкие: его родственник князь В. А. Долгоруков, вынужденный после неудач Крымской войны покинуть пост военного министра, стоял во главе III Отделения, и Долгоруков, никогда не брезгавший обращаться к содействию этого учреждения в самых интимных вопросах, теперь прибегал к своему кузену, может быть, слишком часто и легко встречая с его стороны самый, по-видимому, любезный прием. С новым министром иностранных дел князем А. М. Горчаковым, с председателем Государственного совета Д. Н. Блудовым он был в наилучших отношениях. Но, может быть, особенно много надежд подавали князю Петру Владимировичу те знакомства, которые были у него среди «константиновцев», — людей, составлявших партию великого князя Константина, которые взяли в свои руки проведение в жизнь намечавшихся реформ. В частности, он был в приятельских отношениях с лидером «константиновцев» А. В. Головниным, доверенным наперсником великого князя, «его самым интимным советником, его alter ego»[2]. Долгоруков и пытается, опираясь на все эти связи, захватить в свои руки если не руководство реформами, то по крайней мере видную и заметную в них роль, которая бы удовлетворила его долголетним ожиданиям. В этот мо-

---

[1] «Листок», № 10. Vérité sur le procès, p. 60.

[2] Букв.: другой я *(лат.)*. Смысл: ближайший друг и единомышленник. Vérité sur le procès, p. 60. Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 39—41, 42, 43, 98—99. Н. Барсуков, Труды и жизнь М. П. Погодина. СПБ, 1901, т. XV, стр. 104—105. Сведения о дружеских отношениях автора с названными лицами рассеяны также в других сочинениях Долгорукова, в частности, в публикуемых «Очерках».

мент кризиса дворянской власти, перед лицом «правительства бездарного, растерявшегося, совершенно неспособного справиться с своей задачей»[1], многие из наиболее талантливых представителей сходившего со сцены класса пытались драпироваться в плащ маркиза Позы, негласного советника короны. Драпировался в него и князь Долгоруков. Он действует путями личного воздействия через своих высоких знакомых и друзей. «Излагайте ваши мысли на бумаге, — авторитетно рекомендует он Погодину в конце 1857 года, — и доставляйте их через князя А. М. Горчакова или князя Вас. Андр. Долгорукова. К чему печатать за границей, когда правительство охотно выслушивает частные мнения, если даже и не разделяет некоторые из них? Если статьи ваши не пропустят в Москве, посылайте их к князю П. А. Вяземскому или графу Блудову, а они уже постараются об устранении для вас затруднений цензурных». «Ради Бога, не печатайте, по крайней мере за вашей подписью, статей без предварительного рассмотрения их графом Блудовым и Тютчевым», — советует он в другом случае[2]. Он сам действовал по той же программе. В конце 1857 года, к которому относятся и письма к Погодину, он представил великому князю Константину и министру внутренних дел записку о реформах, в частности, «о нетерпящей отлагательности необходимости положить конец обособленной работе с императором каждого отдельного министра и создать Совет министров, как это водится во всех цивилизованных странах»[3]. Записка была доложена великим князем 2 декабря, и Долгоруков счел себя вправе приписать своей инициативе состоявшийся 11 декабря указ об образовании Комитета министров[4]. Этот видимый успех еще более окрылил Долгорукова надеждами. Однако очень скоро он убедился, что «либеральная бюрократия», объединявшаяся великим князем и завладевшая руководством работами редакционных комиссий, отнюдь не склонна разделять свои позиции с потомком Рюрика. Не удалось ему проникнуть и в ближайшее окружение великой

---

[1] Выражение Долгорукова (La vérité sur la Russie, p. 19).

[2] Н. Барсуков, Труды и жизнь Погодина, т. XV, стр. 111, 104.

[3] La vérité sur la Russie, p. 14.

[4] Слишком короткий срок между подачей записки и указом не позволяет, однако, полагать, что последний явился результатом ее. Вернее, что вопрос был предрешен, и великий князь воспользовался выступлением Долгорукова только для ускорения дела *(Прим. ред.)*.

княгини Елены Павловны, которую считали главным «коноводом» партии высшей бюрократии, и этого Долгоруков не простил ни ей, ни ее ближайшему сотруднику — Милютину[1].

Впоследствии Долгоруков утверждал, что главным поводом для разногласия с либеральной бюрократией служил вопрос о конституции, но едва ли вопрос этот стоял тогда так остро. Разрыв произошел на другой почве, гораздо более актуальной, — крестьянской реформе — и вызван был, по-видимому, личными причинами. Долгоруков, как мы увидим ниже, расходился с той позицией, которую в тот момент занимало правительство в одном из основных вопросов реформы — в вопросе об обязательном выкупе и о временно обязанных отношениях. Этим, вероятно, объясняется и отказ его от предложения быть одним из двух членов от правительства в тульском губернском комитете. На съезде дворян Тульской губернии для избрания депутатов в комитет, имевшем место 1—4 сентября 1858 года, по инициативе его, И. С. Тургенева и графа Алексея Павловича Бобринского была подана записка за подписью 105 дворян с требованием «в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других» освобождения крестьян с землею, под условием «полного добросовестного денежного вознаграждения» помещиков «посредством финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками»[2]. Подпись князя Петра стоит первой под запиской. Это выступление, очень знаменательное в тот момент, рассорило его с «либеральными» руководителями реформы, которые отнеслись несочувственно к этой «попытке Бобринского и Долгорукова Петра составить манифестацию в пользу выкупа крестьян с землею правительством», увидев в ней, по-видимому, и не без некоторого основания, в скрытой форме шаг в защиту помещичьих интересов[3].

Тогда Долгоруков прибег к обычному своему приему,—

---

[1] «Будущность», № 13 (Письмо из Петербурга).

[2] Vérité sur le procès, pp. 62—63, 93—94, Le Véridique, vol I, № 1, p. 93. Современник, 1858 г., № 12 (Современные заметки, стр. 300—302).

[3] Материалы для биографии кн. В. А. Черкасского, сост. О. Трубецкая, кн. 1, М., 1901, стр. 149.

непосредственному обращению к царю — и, обойдя Главный комитет, в 1857 году подал ему записку о своем проекте обязательного выкупа, в которой настаивал, чтобы правительство взяло на себя немедленное осуществление выкупной операции, средства на каковую должны были быть получены путем распродажи в руки частных лиц государственных земельных фондов и выпуска облигаций. Царь передал записку в Главный комитет. Долгоруков попробовал пропагандировать свой проект через посредство прессы. Со стороны цензуры препятствий не оказалось: проект был сдан в печать, но вмешался Главный комитет и через шефа жандармов В. А. Долгорукова предложил автору опустить то, что говорилось о продаже государственных имуществ. «Это [было] все равно, — говорит по этому поводу задетый за живое автор проекта, — если бы сказали летнему извозчику: «Любезный, мы снимем колеса у твоих дрожек, а потом можешь продолжать свой путь»[1].

При таких условиях естественно, что Долгоруков как открытый противник программы, выработанной «либеральным» чиновничеством, не попал в состав Редакционных комиссий, — обстоятельство, которое, как мне кажется, он перенес далеко не хладнокровно, как видно из неоднократных его критических отзывов об их составе и деятельности. «Правительство, — писал он в 1860-м, — совершило новую огромную ошибку: оно приняло за основание невозможный, опасный принцип работы обязанного или оброка, прямо платимого крестьянами своим бывшим помещикам, и объявило невозможным немедленный выкуп, составляющий единственный путь, на коем правительство не подвергнется опасности возрастить революцию. На этом основании совершен был и выбор членов: вместо того, чтобы иметь в Комиссии представителей всех мнений, она составлена была исключительно из противников немедленного выкупа, а защитники его не были приглашены к заседанию в комиссии»[2]. «Комиссия эта была составлена, большею частью, из чиновников образованных, но совершенно чуждых знанию потребностей, нужд и необходимостей жизни сельской. Меньшинство Комиссии составлено было из помещиков, кото-

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 129.
[2] Там же, т. I, стр. 106.

рые могли бы знать жизнь сельскую, но разделяли все заблуждения своих товарищей-горожан». Поэтому, по убеждению Долгорукова, от Комиссии нельзя было ожидать никаких толковых результатов. «Комиссия не оправдала возложенных на нее надежд и породила проекты самые нелепые: занятия ее являли зрелище постоянной борьбы теорий против действительности, бюрократических соображений против здравого смысла»[1]. В столкновении, происшедшем между Редакционными комиссиями и депутатами с мест, Долгоруков, разумеется, всецело стоял на стороне последних. «Замечания на проекты Редакционной комиссии, представленные губернскими депутатами, — восклицает он, — приняты были этой Комиссией с презрением, которое бы могло показаться необъяснимым, если бы не были давно известными надменность и чванство русской бюрократии». Понятно, что о работах Редакционных комиссий он никогда не мог говорить хладнокровно. Подводя им итоги в 1860 году, он писал с сарказмом: «Вот до каких нелепостей достигнула Комиссия, составленная из людей весьма сведущих по многим и разнообразным предметам, но большинство коих никогда не живало в деревне, совершенно чуждо условиям, потребностям и необходимостям жизни сельской, а некоторые из членов Комиссии заражены и этою пагубною бюрократическою рутиною»[2].

«Неумолкаемые хвалебные гимны» Редакционным комиссиям в прессе и проявляемое ею «благоговение перед гением и высокими доблестями генерала Ростовцева» приводили Долгорукова в бешенство. С особенной резкостью вооружался он против главного руководителя крестьянской реформы Н. А. Милютина. «Г-н Милютин, — писал он в июне 1861 года, через несколько месяцев после того, как дело, которому тот служил, завершилось манифестом 19 февраля, — в Редакционной комиссии напутал такую кашу, что заслуживает одно из первых мест между государственными кашеварами, заварившими в России нынешнюю политическую кашу»[3].

Таким образом, на пути Долгорукова стала «либеральная» бюрократия, для которой он со своими фео-

---

[1] «Правда о России», стр. 106—107. Ср. «Правдивый», № 4 (статья «О книжке Н. И. Тургенева: Взгляд на дела в России»).

[2] «Правда о России», стр. 129.

[3] «Будущность», № 14.

дальными замашками был так же неприемлем, как и для придворной камарильи, которая не могла простить ему его юношеских грехов. Идти обычным путем по бюрократической лестнице табели о рангах он не имел терпения и считал ниже своего достоинства. Еще в 1842 году он жаловался парижским друзьям, что в России места раздаются «смотря по чину, какой кто имеет», а в 1844 году он писал в порыве откровенности Бенкендорфу: «За последние 30 лет повышать в чинах стали гораздо медленнее, чем это было прежде. Теперь к 50 годам дослуживаются до чина, до которого прежде можно было дослужиться в 30—40 лет». Ему было уже за сорок лет, и начинать восхождение с первых ступеней было слишком поздно. «В России, — писал он с горькой обидой в 1860 году, — чтобы занимать место, необходимо иметь соответствующий чин. Если государь находит человека честного, способного занять какую-нибудь должность, но не имеющего чина, нужного для этого поста, он не может его назначить. Этот порядок служит сильнейшей гарантией для ничтожества, низости, подкупности». Поэтому он жестоко высмеивает табель о рангах с ее классами: «смешной перечень лишенных всякого значения мандаринов! В России больше чем где-либо существует советников и меньше чем где-либо спрашивают советов». Чины — это в настоящее время ничто, как парник дураков и мошенников», — утверждает он. Поэтому «российский двор, куда доступ получается не по способностям и не по фамилиям, а единственно по чину, не есть двор европейский, но двор азиатский, полукитайский, облаченный в европейское платье. Нет ни малейшей чести принадлежать к подобному двору», — добавляет он с едва скрытой досадой лисицы, с жадностью взирающей на недоступный виноград. «К несчастью, — продолжает он, — Александр Николаевич не догадывается, что новый порядок вещей требует и людей новых, — и злорадно повторяет слова, сказанные ему одним иностранным дипломатом: «Сколь опасно вверять извозчикам управление поездами железных дорог»[1].

Разочарованный в своих честолюбивых планах, уязвленный в своем самолюбии, убедившись в недостижимо-

---

[1] М. К. Лемке, назв. соч., стр. 530, 544. La Vérité sur la Russie, p. 82—85. «Правда о России», т. I, стр. 11—12, 93.

сти намеченной цели, Долгоруков отряс прах от ног и 1 мая 1859 года выехал через Одессу за границу, чтоб больше не вернуться, бросив на родине жену, с которой был не в ладах, и малолетнего сына[1]. Его выезд из России воскрешал старинный «отъезд» недовольного боярина XVI века — тот «обычай отъезда, совершенно вкоренившийся в нравах и не заключавший в себе ничего предосудительного», который, по его словам, в свое время «значительно увеличил важность и вес бояр и военачальников и принудил князей ласкать их и обходиться с величавым уважением»[2]. «С подчинением всей России власти великого князя Московского... положение недовольных лиц служилого сословия, — говорит он, — становилось безвыходным, оставалось лишь одно средство: отъезжать в Польшу, подобно князю Курбскому, подобно многим другим»[3]. К этому «средству» и прибег князь Долгоруков, когда счел свое положение «безвыходным».

Современники были убеждены, что он «оставил Россию, потому что правительство не назначило его министром внутренних дел, и вознамеревался отомстить тем, которые навлекли на него гнев»[4]. Известная доля правды в этих рассказах была. Рюрикович, «отъехавший» по старой феодальной традиции из-под державы своего государя, покидал «неблагодарное отечество» с чувством глубокого неудовлетворения и обиды, покидал его потому, что его не сумели там оценить. Он с горечью писал в 1860 году: «Во всех странах образованных человек, посвятивший десять или пятнадцать лет своей жизни наукам или путешествиям, или занятиям по части сельского хозяйства, по части промышленности, по части торговли, приобрев познания специальные, хорошо изучив свою родину, вступает в службу, занимает видное место и приносит пользу отечеству. В России совсем не то. Человек, вышедший на несколько лет в отставку, не может вступить иначе в службу как прежним чином, каких бы он

[1] Он был с 28 мая 1846 г. женат на Ольге Дмитриевне Давыдовой (1824—1893).

[2] «Правда о России», т. I, стр. 165.

[3] О перемене образа правления в России. Лейпциг, 1862, стр. 36—37.

[4] Рус. Старина, 1894, № 10. Н. А. Белоголовый., Воспоминания. М., 1898, стр. 122: «Выезд его приписывали оскорбленному честолюбию, тяжелому разладу в семейной жизни и другим подобным причинам, ничего общего с политикой не имеющим».

ни был лет и способностей. А всякий глупец, всякий подлец, продолжающий считаться на службе, неминуемо достигает высших чинов»[1].

Вскоре по приезде в Париж он откровенно говорил русскому послу графу П. Д. Киселеву, что «обхождение с ним в начале карьеры, те щелчки и удары, которые он постоянно получал, выражая желание приносить пользу своей родине, толкнули его на тот путь, коим он теперь идет в интересах своего отечества»; а в 1867 году в письме к шефу жандармов В. А. Долгорукову он еще яснее излагал причины, побудившие его эмигрировать: «Мне было 42 года, и на родине мне отказывали в праве участия в тех делах, к которым меня влекли мои вкусы и на которые мне давали право мое достоинство и мое происхождение»[2]. Он, правда, утверждал, что его «эмиграция была подготовлена заблаговременно» и что «первая мысль о том пришла [ему] в 1852 году», когда ему было отказано III Отделением в заграничном паспорте и он действительно своевременно успел перевести значительные деньги за границу[3]. Но замысел, зародившийся в тяжелые годы Николаевского царствования, был отложен после перемены, происшедшей на престоле, и возник вновь, лишь когда он убедился, что и при новых условиях нет места в России его «уму» и «происхождению». В марте состоялось назначение Н. А. Милютина товарищем министра внутренних дел, которое должно было окончательно подорвать все виды Долгорукова на роль в этом министерстве, если они у него еще были к тому времени: в мае он эмигрировал.

Покинув Россию, он проехал в северную Италию, объехал Турин, Милан, Парму, Модену, Болонью, Флоренцию, «любуясь зрелищем счастья ломбардцев, наконец спасшихся от австрийского ига». Здесь он вращался в кругу виднейших политических деятелей освобожденной Италии, посетил своего старого знакомого по Парижу — Кавура, жившего в то время в отставке в Лери, но продолжавшего влиять на политику, виделся с диктатором Фарини, с президентом Романского парламента маркизом Мингатти, со слепым маркизом Каппоки, предсе-

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 94.

[2] М. К. Лемке. Князь П. В. Долгоруков-эмигрант («Былое», 1907, март, стр. 163, 190).

[3] Vérité sur le procès, p. 35.

дателем тосканского Государственного совета, и многими другими, все людьми, происходившими из древних и родовитых фамилий, знакомство с которыми льстило самолюбию изгнанника; успел он даже подраться и быть раненным на дуэли во славу свободной Италии и, если верить ему, удостоился народных оваций и отдельного купе в поезде, везшем его во Францию. Через Геную и Марсель он проследовал в Париж, куда прибыл в конце года, и здесь поспешил возобновить старые знакомства в правительственных кругах. «Вчера был у Тьера, — писал он 18 декабря, — третьего дня приезжал утром к старому герцогу Пакье, бывшему канцлеру Франции»[1].

Князь Долгоруков покинул свою родину и эмигрировал отнюдь не для того, чтобы молчать. Подобно своему знаменитому предшественнику князю А. М. Курбскому, он, находясь в безопасности, торопился, говоря словами Алексея Толстого, «излить души оскорбленной ознобы». Самый «отъезд» свой он мотивировал стремлением «сказать всю правду русскому правительству». «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, — писал он в III Отделение из Парижа в 1860 году, — пусть эта сволочь узнает, что значит не допускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу»[2]. Он и принялся за работу тотчас по прибытии в Париж.

Трудно сказать, как рано сложились политические воззрения Долгорукова. Не надо забывать, что в царствование Николая он не стеснялся обращаться постоянно за содействием III Отделения, хлопотал через Бенкендорфа о чине, искал «покровительства» Дубельта, прибегал к Орлову для разрешения семейных недоразумений и приведения «в должное повиновение» жены[3]; когда во главе III Отделения стал человек его круга и его родственник, князь Василий Долгоруков, то он уже чувствовал себя в этом учреждении как дома; к нему обращался он в 1856 году по поводу подозрений, падавших на него в шантаже князя Воронцова. Всего за полтора года до выезда из России он горячо рекомендовал Погодину действовать через того же Долгорукова, чтоб избегнуть цензурных

---

[1] Рус. Вестник, 1860, январь; Современная летопись, т. XXV, стр. 3 и след. (Письмо Долгорукова из Парижа от 18 декабря).

[2] Vérité sur le procès, p. 40; статья М. К. Лемке в «Былом», стр. 161.

[3] См. у М. К. Лемке, Николаевские жандармы (назв. статья).

затруднений. Но уже из первого пребывания своего во Франции в начале 40-х годов он вынес глубокое восхищение перед конституционной формой правления, и ограниченная монархия Луи Филиппа оставалась до конца его дней его идеалом. Перенесенные им на родине неудачи придали его «конституционным» стремлениям еще больше остроты, озлобив против строя, при котором человек его способностей и знатности должен был уступать первое место «дуракам», «подлецам» и «мошенникам». По-видимому, ко времени выезда его из России у него уже сложилась известная система политических воззрений, и надо думать, что он успел еще на родине подготовить материалы, которыми поспешил воспользоваться за границей. Не успел он приехать в Париж, как уже в начале 1860 года выпустил на французском языке не лишенную большого политического значения книгу, прославившую его имя как публициста: «La Vérité sur la Russie», в которой наряду с резкими выпадами по адресу лиц, стоявших у власти в России, он дает законченную программу умеренно-либеральных реформ, которая до 1905 года в основном оставалась программой обуржуазившейся части русского дворянства и либеральной русской буржуазии, даже в наиболее радикальных их ответвлениях[1]. В сентябре он приступил к изданию собственного журнала на русском языке под заглавием «Будущность», посвященного разоблачению административных порядков в России и пропаганде умеренного конституционализма.

Появление «Правды» вызвало «невообразимое бешенство» в великосветском русском обществе, в глазах которого эта «скандальная книга» с ее «напыщенным названием» представлялась одним «из самых худших памфлетов». ‹Петербург был оглушен неожиданностью.

---

[1] «La vérité sur la Russie» вышла в двух французских изданиях, причем второе было «пересмотрено, дополнено двумя новыми главами и именами упоминаемых лиц»; русский перевод под заглавием «Правда о России, рассказанная кн. П. В. Долгоруковым» вышел в Париже в 1861 г. в 2 частях. Кроме того, в Берлине вышла без ведома автора «контрафакция» его книги. Мы пользовались 1-м французским изданием 1860 г. и русским изданием 1861 г. Надо заметить, что русское издание является не просто переводом, а новой редакцией, близкой к первоначальной, но не вполне совпадающей. В 1-м французском издании имена заменены инициалами; в русском инициалы либо раскрыты, либо опущены. Ниже русское издание цитируется кратко: «Правда», французское: «Vérité sur la Russie».

Не знали, что можно еще ожидать от человека, «нахальства» которого опасался даже всемогущий Николай I, какие вывез он с собою документы; беспокоились о целости архивов государственных учреждений. Родственники и друзья торопились отмежеваться от эмигранта[1].

Задеты были не политической программой Долгорукова, которая, за исключением одного пункта — конституции, — была в сущности приемлема даже для радикального крыла петербургской бюрократии, а теми личными намеками, которые были разбросаны по книге под очень прозрачными инициалами, резкостью характеристик видных русских государственных деятелей, иронической почтительностью отзывов о самом императоре, общим тоном изложения и, главным образом, теми разоблачениями русских порядков, которыми была наполнена книга. «Автор, — жалуется граф П. Д. Киселев, в то время занимавший пост посла в Париже, — нападает одинаково и на людей, и на поступки и, аффектированно щадя особу нашего августейшего повелителя, в то же время недостойно изливает свою желчь на все акты его и прошлого царствования. Под предлогом исцелить путем гласности, книга разоблачает все слабые стороны нашего положения. Пока они обсуждались только иностранными писателями, до тех пор отсутствие у них основательных знаний подрывало в корне авторитетность их суждений в глазах иностранных правительств и общества. Под пером же русского автора, и притом с высоким общественным положением, эти слабые разоблачения получают серьезное значение и придают всей книге ценность, которой она, без сомнения, не имеет, но которую ей придают вышеупомянутые обстоятельства»[2]. Надо сказать, что оценка, сделанная долгоруковской книге сановным дипломатом, была, в общем, справедлива и вполне выясняет общественное значение ее появления.

Немедленно по выходе книги Долгоруков был вызван к Киселеву, который счел себя вправе сделать ему соответствующее внушение и потребовал от него письменного обязательства изъять ее из продажи и выехать из Парижа. Долгоруков отказался наотрез. 12 мая последовало официальное предложение из Петербурга немедлен-

---

[1] «Будущность», № 1, 15 сент. 1860. Статья М. К. Лемке в «Былом», стр. 161, 164.

[2] Статья М. К. Лемке в «Былом», стр. 161.

но вернуться в Россию, под угрозой лишения гражданских прав и ссылки в Сибирь. Долгоруков ответил опять отказом, изложив его в откровенно издевательском тоне. «Предполагать, что я повинуюсь этому приказанию, — писал он, — значит считать меня дураком; ответом на это может быть только громкий смех. А так как я не возвращусь, то отдадут ли меня под суд, под русский суд, который не что иное, как карикатура на правосудие, приговорят ли меня к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь... Здесь вопреки моей воле я не могу удержаться от смеха. Пусть посмотрят в моей книге мнение людей благоразумных о правах состояний в России, о правах русского дворянства! Что же касается до приговора к ссылке в Сибирь, то это для меня совершенно все равно, что если бы меня приговорили к ссылке на Луну!» И он кончал зловещим, полным угрозы предсказанием: «В нашем веке неоднократно видели, как политические эмигранты возвращались на родину, а главы правительства, их дотоле преследовавшие, обрекались на изгнание. Искренно желаю, чтобы дом Голштейн-Готторпский, ныне восседающий на престоле всероссийском, понял наконец, где находятся его истинные выгоды... Желаю... чтоб он учредил в России порядок правления дельный и прочный, даровал бы конституцию и через то отклонил бы от себя в будущем неприятную, но весьма возможную случайность промена всероссийского престола на вечное изгнание». Одновременно с обычным гаерством он послал шефу жандармов вместо себя свою фотографическую карточку с предложением «фотографию эту сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я — уж извините — в лапы вашей полиции не попадусь»[1].

Тогда по распоряжению русского правительства имения Долгорукова были секвестрованы[2] и дело о нем самом было передано по месту его официального жительства, в Чернский уездный суд, откуда перешло в Тульскую палату уголовного суда и дальше — в Сенат и, наконец, в Государственный совет. 5 июня 1861 года постановление Сената, подтвержденное Государствен-

---

[1] Correspondance du prince Dolgoroukow avec le gouvernement russe, Londres, 1860. «Правда о России», т. I. Предисловие. «Колокол» № 73—74 от 15 июля 1860 г.

[2] Они вскоре были возвращены его сыну, князю Владимиру Петровичу, на время малолетства которого была учреждена опека.

ным советом, было конфирмовано Александром: Долгоруков приговаривался к лишению княжеского титула и прав состояния и к вечному изгнанию. Уведомленный частным образом о приговоре, Долгоруков обругал на страницах своего органа «Будущность» сенаторов ослами[1]. Приговор был, впрочем, опубликован только в начале следующего года, и 22 февраля 1862 года Долгоруков разразился письмом к Александру II, написанным не без силы и остроумия, хотя без подлинного пафоса[2].

Возбуждая заочно процесс против Долгорукова, русское правительство не обольщало себя возможными результатами: самая медлительность, с которой оно действовало, показывает, что оно отлично понимало всю бесцельность такого рода приемов в отношении европейского общественного мнения. Поэтому одновременно приступлено было к борьбе иными путями. Началось форменное «избиение камнями» опального изгнанника[3].

29 апреля 1860 года, через месяц после появления книги, в «Courrier du Dimanche» была напечатана под псевдонимом A. Michensky[4] критическая заметка о ней, где, к слову, без прямого упоминания имени Долгорукова, извлекался из забвения эпизод с шантажной запиской, которую получил в 1856 году князь М. С. Воронцов с предложением уплатить князю П. В. Долгорукову 50 000 руб., если он хочет внесения в его «Родословную книгу» поправок, желательных для семьи Воронцовых. Долгоруков попался на удочку: 6 мая он послал резкое письмо в газету, в котором прозрачно обвинял самого Воронцова в подлоге шантажного письма. Этого только и ждали. Сын фельдмаршала, князь С. М. Воронцов, немедленно привлек его к суду по обвинению в оскорблении памяти своего покойного отца. В суде первой инстанции Сенского департамента дело началось слушанием в декабре 1861 го-

---

[1] «Будущность», № 16 («Ослиада»).

[2] Письмо к Александру II Долгоруков тогда же напечатал в Париже отдельной брошюрой на французском языке и поместил в переводе на русский язык в № 1 «Правдивого».

[3] Выражение, употребленное гр. А. С. Паниной в письме, приводимом в брошюре: «Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow», р. 97.

[4] В брошюре «La vérité sur le procès du prince Dolgoroukow» псевдоним Мишенского вскрывается Долгоруковым: это Алексей Сомов, по его словам, «авантюрист и мошенник», «русский шпион в Париже», исполнявший «тайные функции» во французском Министерстве внутренних дел и на почте по перлюстрации писем на русском языке и по цензуре русских журналов и газет (стр. 89).

да. Пущены были в ход все возможные пружины. Ближайшие родственники Долгорукова — графиня А. С. Панина, муж ее дочери князь Н. П. Мещерский — «в угоду петербургским влиятельным лицам» сообщили письменно компрометировавшие его показания; его приятельница, баронесса А. И. Боде, передала обвинению конфиденциальные письма Долгорукова, писанные за 6 лет перед тем; разыскали в Петербурге хозяина типографии, которого Долгоруков обманул при расчете, и в Одессе — врача-еврея, которому он нанес недостойное оскорбление. Использовали и подозрения, существовавшие относительно авторства анонимных писем, которые явились косвенной причиной гибели Пушкина[1]. В Москве против Долгорукова действовал агент Воронцова, друг Пушкина Соболевский, деятельно собиравший против него материал и обрабатывавший, впрочем, без особенного успеха, общественное мнение Москвы. Собственная жена князя Долгорукова, с которой у него уже давно сложились враждебные отношения, кричала о своих мемуарах, в которых участие ее мужа в составлении анонимных писем должно было быть вскрыто полностью. Дело живо интересовало петербургское правительство: если верить Долгорукову, «оно обошлось ему недешево». Наконец, есть поводы думать, что через посредство министра юстиции Морни, женатого на племяннице княгини М. В. Воронцовой, было оказано непосредственное давление на суд. Как бы то ни было, но Долгоруков проиграл процесс во всех инстанциях (3 января 1861 года — в

---

[1] К какому бы решению мы ни пришли относительно виновности Долгорукова в смерти Пушкина, очень характерно для современного ему общества, что до 1861 года никто из его соотечественников не интересовался этим вопросом. С Долгоруковым поддерживали отношения наиболее видные представители русской интеллигенции, как Б. Н. Чичерин, И. С. Тургенев и др., товарищ Пушкина по лицею кн. А. М. Горчаков, русский посол в Париже гр. П. Д. Киселев и другие, и отшатнулись от него только после выхода в свет «Vérité sur la Russie», но и тогда мотивом для перерыва сношений послужили не слухи о его роли в гибели Пушкина, а осуждение за шантаж. Условия, при которых всплыло обвинение Долгорукова в составлении анонимок, отмечены были еще в 1874 г. в вышедшей анонимно в Лейпциге книге «Neue Bilder aus der Petersburger Gesellschaft, von einem Russen»: «То, что подозрение в этих гнусностях (составлении анонимных писем) открыто было высказано только через 20 лет после смерти Пушкина и к тому же в такое время, когда оба заподозренных (Долгоруков и Гагарин) жили в качестве политических изгнанников за границей, является обстоятельством, на которое нельзя не обратить внимания» (стр. 189).

трибунале Сенского департамента, 16 мая — в апелляционном суде). Экспертиза установила принадлежность шантажной записки Долгорукову, обвинительный приговор признал его диффаматором и автором этой записки, и он был приговорен к уплате судебных издержек и к опубликованию на свой счет приговора в газетах[1].

Осуждение ненавистного публициста было встречено ликованием всей высокопоставленной русской колонии в Париже. «До нас доходят крики радости аристократической сволочи, живущей в Париже, — писал Герцен в «Колоколе», — о том, что, натянувши всевозможные влияния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение Долгорукова»[2].

За ходом процесса с лихорадочным вниманием следили и в России, и впечатление, им произведенное, было именно таким, какого желало русское правительство. В глазах большинства Долгоруков после «опозорившего его приговора» — «нравственно погиб», как писал Тургенев Герцену[3]. «Итак, доказано, — писал с иронией в своем дневнике сенатор Лебедев, — что князья Воронцовы — не древние Воронцовы и что древний Долгоруков нанимался сделать их древними. Стоило для этого таскаться в Париж и раскладывать на весь свет наши мелкие притязания и наши грубые мерзости»[4]. Впрочем, в оппозиционно настроенной к Петербургу Москве Соболевский нашел настроение, скорее благоприятное Долгорукову, с которым ему было нелегко бороться[5]. И в самом Париже в

---

[1] Литературу о процессе Воронцова — Долгорукова см. у М. К. Лемке в «Былом», 1907 г., март, стр. 173, и у Модзалевского (в сборнике «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», стр. 18). См. также А. Любавский: «Русские уголовные процессы». СПБ, 1867, стр. 108—125, и собственные журналы Долгорукова. С французской экспертизой совпадают результаты и произведенной русской экспертизы (см. П. Е. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд.).

[2] «Колокол», № 119 от 15 янв. 1862 г.

[3] Полн. собр. соч. Герцена, т. XV, стр. 51—52. Толстой и Тургенев. Переписка, под ред. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М., 1928, стр. 56. Воспоминания Б. Н. Чичерина, Путешествие за границу. М., 1932, стр. 125. Ср. письмо И. С. Тургенева в «Петербургских Ведомостях», 1868, № 186. Нынешнее состояние России и заграничные русские писатели. Глава I, Берлин, 1862, стр. 14.

[4] Рус. Архив, 1911, № 2, стр. 234. Ср. позднейший отзыв Н. А. Белоголового (Воспоминания. М., 1898, стр. 126).

[5] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 184. Письмо Соболевского в подлиннике напечатано Модзалевским в сборнике «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина».

его пользу постепенно совершалась реакция и раздавались голоса, что «приговор недоказанный и пристрастный»[1].

Тем не менее дальнейшее пребывание Долгорукова в Париже становилось и неловким, и небезопасным. Летом 1861 года он выпустил брошюру «La question Russo-Polonaise et le budjet Russe», в которой с такой резкостью задевал политику Наполеона, что французское правительство сочло нужным запретить ее распространение. Этим и объясняется, очевидно, роль французских властей в процессе. Таким образом, положение Долгорукова на территории, подчиненной французскому императору, становилось шатким. Уже через несколько дней после окончания процесса, отпразднованного, если верить Долгорукову, в самый день вынесения приговора обедом в доме Морни, на который приглашения разосланы были будто бы заблаговременно, Киселев сделал представление министру иностранных дел Тувенелю о мерах против изданий Долгорукова, обещая взаимно соответствующие мероприятия в России в отношении изданий, направленных против Наполеона[2]. Долгоруков счел за благоразумное переехать в Брюссель.

С переездом в Бельгию борьба не прекратилась. Долгоруков приступил к изданию нового журнала под заглавием «Листок», заведя в этих целях собственную типографию, и вел в нем прежнюю кампанию против русского правительства и русского двора. Своим победителям он жестоко отомстил, выпустив с ложным обозначением места издательства (Londres) брошюру, которую одновременно издал от имени Л. П. Блюммера на русском языке в Лейпциге. Это был полный реванш. Помимо подробного изложения всех доводов в свою пользу, он поместил себе настоящий панегирик, не отличающийся особенной точностью в фактах и совершенно беззастенчивый, и наградил Воронцова такой генеалогией, от которой вчуже становилось жутко, не забыв упомянуть и о «грязном источнике» их богатств и знатности, и о том, как Роман Илларионович Воронцов «проституировал» свою дочь Елизавету Петру III, и как фельдмаршал князь М. С. Воронцов добился титула «светлости» согла-

[1] М. М. Стасюлевич и его современники, т. III, 1912, стр. 226.
[2] Vérité sur le procès, p. 130.

сием на брак сына с «любовницей царской». Попутно, в примечании, он обозвал «вором» графа П. Г. Шувалова, которого считал одним из организаторов своего осуждения и посредником между русским правительством и французской магистратурой. «Книжечка эта взбесила многих», — самодовольно писал Долгоруков. Прибегли к прежнему испытанному средству. Когда выяснилось, что брошюра попала в продажу через Долгорукова, граф Шувалов привлек его к ответственности согласно бельгийским законам, карающим распространителя книги, если издатель и автор неизвестны. Долгорукову грозила тюрьма, и он предпочел скрыться от суда. В отсутствие обвиняемого было вынесено заочное постановление против него. И тут Долгоруков заподозрил руку Бонапарта, на этот раз, вероятно, без основания[1].

Одновременно началась травля Долгорукова и по другому направлению. Процесс Воронцова всколыхнул уснувшие слухи об участии Долгорукова в гибели Пушкина. Соболевский, до тех пор молчавший, стал говорить о своем внутреннем убеждении в его виновности и искал в III Отделении и в других местах подтверждения своих подозрений. В 1863 году появилась книга А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», где автором анонимок был назван Долгоруков, а соучастником его Гагарин — оба эмигранты. Это обвинение повторил «Современник» (июнь 1863 года). Долгоруков протестовал в «Колоколе» (1 августа 1863 года, № 168) и в № 10 «Листка» и переслал свой протест в «Современник», напечатавший его в сентябрьской книжке. Тем не менее в 1865 году в «Русском Архиве» в примечании к «Воспоминаниям» графа В. А. Соллогуба безоговорочно приведены слова Аммосова. На этот раз Долгоруков ограничился резкой отповедью «подлецу Петрушке Бартеневу» в письме к М. П. Погодину. «Ведь знает меня этот подлец, знает, что это вещь невозможная, но клевещет, в угоду моим врагам. Уж если я этого подлеца где встречу, то сломаю ему трость на его столь гибкой спине. Обвинение на Гагарина — тоже клевета»[2].

---

[1] «Листок», № 6.

[2] Данные по разоблачению Долгорукова как предполагаемого автора пасквиля см. у Щеголева: «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., М., 1928. Письмо к Погодину опубликовано Барсуковым в «Звеньях», № 1, стр. 84—85.

Процесс, возбужденный графом Шуваловым, заставил Долгорукова покинуть Бельгию. Опасаясь тюремного заключения, он в феврале 1863 года бежал через Голландию в Англию, куда перевез и свою брюссельскую типографию. Перед отъездом он обратился к Наполеону с посланием, в котором пророчески назначал ему через несколько лет свидание в Англии, «после того как, — писал он, — Франция произнесет над вами заслуженный суд, то есть изгонит вас»[1].

В Англии он поселился в одном из предместий Лондона. Здесь он развернул опять свою типографию и продолжал печатать свой «Листок», принимая деятельное участие в жизни эмиграции, и сблизился с Герценом: он был в числе приглашенных при посещении дома Гарибальди.

В Англии Долгоруков прожил около 1,5 лет. В 1864 году Герцен задумал покинуть Лондон, и Долгоруков решил, что и ему делать здесь будет нечего. В июле вышел последний номер «Листка», и Долгоруков, ликвидировав типографию, переехал в Швейцарию и поселился в Женеве. С отъездом из Лондона его энергия как будто упала. Он уже не возобновлял своей типографии и не делал попытки воскресить свой журнал. По-видимому, он утрачивал постепенно веру в близость «перемены образа правления» на его родине, и в связи с этим угасали мечты о блестящей роли в конституционной России. Теперь он работал, главным образом, над своими мемуарами, первый том которых, посвященный анекдотической истории XVIII века и основанный частично на малоизвестных иностранных источниках, отчасти на аристократических преданиях, он издал в Женеве в 1867 году.

В Женеве он жил эмигрантским магнатом, ни в чем не нуждаясь благодаря своевременно переведенному капиталу, и держался особняком среди прочей эмиграции, выделяясь своей фигурой «несколько зажиревшего русского барина», «безукоризненного по костюму и аристократа по манерам». По-прежнему тщеславный, он, отказавшись от роли одного из крупных руководителей эмигрантской публицистики, присваивал себе, однако, представительство в эмигрантском мирке Женевы: «по средам к нему собираются к обеду все здешние выходцы

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVI, стр. 66—67.

наши». Все видные эмигранты, проезжавшие через город, служивший ему резиденцией, должны были являться к нему на поклон, и ни один из них не мог уклониться от обязательного «дине» у него. В 1865 году он участвовал в «Конгрессе социальных наук», собравшемся в Берне и вынесшем резолюцию против постоянных армий[1]. Он был истинным пугалом для великосветских русских туристов, посещавших Швейцарию. Естественно, что после «Правды о России» и громких процессов в Париже и Брюсселе его прежние знакомые предпочитали с ним не встречаться, кто из страха перед русским правительством, кто из брезгливости, а он с большой развязностью навязывался к ним с разговорами и, встречая с их стороны нежелание продолжать таковые, или устраивал им публичные скандалы, как это случилось с Головниным, или обрушивался на них в печати, как было с И. С. Тургеневым. Поэтому от него бегали как от чумы: графиня Стенбок-Фермор нарушила даже контракт и заплатила неустойку, чтоб только не жить в помещении, смежном с тем, которое занимал Долгоруков[2]. Словом, в обстановке швейцарской эмиграции черты феодального самодурства и барства, взращенные на русской почве, принимали своеобразный и порой курьезный характер.

С годами Долгоруков становился все неуживчивее и сварливее и поставил себя «в самые дурные отношения со всеми». В 1867 году он выступил с «глупой брошюрой», направленной против Бакунина, и рассорился из-за этого даже с Герценом и Огаревым. Одновременно он как будто ищет примирения с официальной Россией[3]. К этому его побуждали семейные и имущественные соображения. В этом отношении решающим моментом был нелегальный приезд к нему в Швейцарию сына, князя Владимира Петровича, которого он оставил ребенком в России. Этот приезд побудил его вступить в непосредственные сношения с начальником «всероссийской шпионницы» и «помойной ямы» князем Василием Андреевичем Долгоруковым: в феврале 1867 года он послал ему об-

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVIII, стр. 196, 420; т. XIX, стр. 272 302; Н. А. Белоголовый. Воспоминания, стр. 122. М. К. Лемке, статья в «Былом», стр. 187.

[2] М. И. Барсуков, назв. статья в «Звеньях», № 1. Фельетон «Незнакомца» (Суворина) в № 186 «Петербургских Ведомостей» за 1868 год.

[3] Полн. собр. соч. Герцена, т. XX, стр. 17, 39.

ширное письмо, благодаря его за «благорасположение и добрые чувства» к юноше, «за покровительство, вами ему оказываемое» и «за живое участие к столь исключительному и щекотливому положению». Он подчеркивал, что правительство, которое он еще недавно величал «монголо-немецким», в этом случае поступило «разумно и цивилизованным образом». В том же письме благодарный отец сообщал Долгорукову некоторые сведения о политическом положении в Западной Европе, почерпнутые из частных источников. Сношения высокопоставленного эмигранта с III Отделением не укрылись от его соотечественников и вызвали к нему оскорбительное недоверие среди эмиграции[1].

Весь период жизни Долгорукова за границей, начиная с 1863 года, тесно связан с А. И. Герценом. Между этими двумя людьми, столь резко отличными друг от друга, как это ни удивительно, существовало какое-то взаимное понимание и внутреннее сочувствие. Долгоруков неизменно относился с глубоким уважением и к Герцену и к Огареву. Вспыльчивый, страстный, раздражительный в своих суждениях и оценках, не обошедший ни одного знакомого какой-нибудь выходкой, в отношении обоих корифеев эмиграции Долгоруков испытывал какое-то чувство почтительного пиетета, которое никогда его не покидало. «Всем известны, — писал он в 1861 году, — высокий ум А. И. Герцена, его блистательное остроумие, его красноречие, своеобразное, колкое и меткое, и замечательные способности Н. П. Огарева, являющего в себе весьма редкое сочетание поэтического дара с познаниями по части политической экономии и с даром обсуждения вопросов финансовых и политических. Мы не разделяем политических мнений г-д Герцена и Огарева: они принадлежат к партии социалистов, а мы принадлежим к партии приверженцев монархии конституционной, но мы душевно любим и глубоко уважаем Александра Ивановича и Николая Платоновича за их благородный характер, за их отменную благонамеренность, за их высокое бескорыстие, столь редкое в наш корыстолюбивый век»[2].

---

[1] Статья М. К. Лемке в «Былом», стр. 189—190. Вероятно, на эти сношения с III Отделением намекает Герцен: «История с телеграфом Долг. изящна». (Полн. собр. соч., т. XIX, стр. 220). Долгоруков обращался к князю Василию Андреевичу с просьбою телеграфно известить его о здоровье сына.

[2] «Правда о России», т. II, стр. 181—182.

Долгоруков действительно до последних дней относился к Герцену с исключительным для его бешеной и подозрительной натуры доверием. Он считался с его мнением, искал его общества и требовал с его стороны внимания. Не отличаясь тактом и чутьем, он надоедал Герцену своими частыми посещениями, когда жил с ним в одном городе.

Герцен тяготился назойливостью Долгорукова, его несдержанностью и бестактностью, постоянными его ссорами и скандалами, подсмеивался над его аристократическими претензиями, над вольнодумством «князя-республиканца», над страстью его играть роль и быть на виду. О «фюрсте», или «принце», как он его называл в своей компании, он редко мог говорить серьезно. И тем не менее он с ним все-таки как-то считался, видя в нем борца за общее дело. «Аристократ ли я, дурак ли я — не знаю, но с Долгоруковым у меня есть общий язык», — признавался он Огареву в 1868 году, в разгар размолвки с Долгоруковым из-за Бакунина. Когда появилась «La Vérité sur la Russie», Герцен открыто солидаризировался с ее автором, о чем и заявил в «Колоколе» (№ 73—74 от 15 июня 1860 года), и последующие его издания он горячо рекомендовал читателю. Он не только принимал у себя Долгорукова в качестве почетного члена эмиграции, но и сам с Огаревым бывал у него, переписывался с ним, хотя их переписка не носит характера близости. «Что касается Долгорукова, — писал он Ю.Ф.Самарину 14 июля 1864 года, — тут не союз, а скорее предлог». Союзник этот мог быть очень докучен и часто неудобен, но все-таки это был союзник, и Герцен держался его. У него с ним, по его собственным словам, «ни интимности, ни ссоры не было». «Долгоруков мне слишком друг, — писал он в сентябре 1865 года, когда общественное мнение либеральных русских кругов стало все более отворачиваться от «фюрста», — этого вдруг не переделаешь»[1]. Герцен неоднократно сочувственно отзывался о публикациях Долгорукова[2]. В 1862 году, когда его постиг «опозоривший его» судебный приговор, он выступил, как мы видели, печатно в его защиту, позже

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVII, стр. 292; т. XVIII, стр. 214; т. XIX, стр. 311, 345; т. XX, стр. 266. О сношениях Герцена с Долгоруковым см. т. X, т. XI, стр. 208, т.XIX.

[2] Там же, т. XIX, стр. 34, 198—200.

поместил на страницах «Колокола» его ответ на обвинения Аммосова. Он, несомненно, ценил его как журнального работника; Огареву он постоянно советовал «эксплоатировать» его для «заметок из газет»[1].

В те годы, когда у Долгорукова не было собственного печатного органа, он участвовал в «Колоколе» в качестве корреспондента: в 1865 году напечатан был написанный им некролог декабриста князя С. Г. Волконского. Вероятно, в том же году и несомненно в следующем он вел весь отдел «Смеси» и чинил немало беспокойства ответственным редакторам характером своих заметок. В 1867 году, правда не без трений и с оговоркой от имени редакции, появилось в «Колоколе» его «Письмо из Петербурга»[2]. Есть даже повод думать, что одно время Долгоруков играл довольно большую роль в «Колоколе» благодаря своей напористости и тем скандалам, которыми он поддерживал свой авторитет[3].

Но отрицательные черты характера «фюрста», его несдержанность, переходившая в необузданность, его грубость, бестактность мешали сближению. Чем дальше, тем труднее было Герцену ладить с этим цивилизованным дикарем. «Ряд размолвок должен был привести к охлаждению». Последней каплей, переполнившей чашу, была резкая выходка Долгорукова в печати против Бакунина в конце 1867 года, вызвавшая разрыв знакомства между ним и Герценом. «Долгоруков все пакостит, — писал последний по этому поводу, — а потому я прервал дипломатические сношения». «Только все же он не крал, как Некрасов, и не посылал доносами на виселицу, как Катков», — прибавляет он, и в этих словах звучит что-то вроде нотки сомнения в правильности принятого решения в отношении союзника[4].

Летом 1868 года Долгоруков серьезно захворал. На одре болезни совершилось его примирение с Герценом.

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVIII, стр. 6, 8. Отношение Огарева было гораздо нетерпимее к Долгорукову, чем отношение Герцена (там же, т. XIX, стр. 138—275).

[2] Там же, т. XIX, стр. 194.

[3] 17 марта 1867 г. Герцен писал Огареву о посылке статьи «На площади св. Марка». «Это мой манифест о греках», — пишет он и добавляет в скобках: «Не давай Долгорукову менять, особенно подстр. замеч.» Следовательно, Долгоруков пытался редактировать статьи Герцена! (Полн. собр. соч. Герцена, т. XIX, стр. 245.)

[4] Полн. собр. соч. Герцена, т. XX, стр. 67, 274.

Первые известия о болезни «князя-гиппопотама» Герцен принял шутливо, но когда из Женевы до него дошел призыв умиравшего соратника, он поспешил к нему. Он застал его при последнем издыхании. «Долгоруков очень плох, — писал он 11 июля, — но сильный организм не сдается, как крепость; говорит несвязно, глаза потухли; он не знает близости конца, но боится, а главное, внутри его идет страшная передряга». Герцену «он был рад без меры, но без шума», постоянно жал ему руки и благодарил. Герцену пришлось быть свидетелем тяжелой семейной драмы между умиравшим отцом и спешно приехавшим при известии о его болезни сыном. Он не дождался его смерти, но видел его агонию. «Конец ужаснее не выдумывал ни один трагик», — говорит он, намекая, по-видимому, и на физические страдания умирающего, и на тяжелое его нравственное состояние, граничившее с сумасшествием, и на тяжелую рознь между ним и сыном, которого отец подозревал в желании ускорить его кончину[1]. Долгоруков умер 6 августа. Герцен посвятил ему теплый некролог в «Колоколе»[2].

* * *

Такова биография князя-эмигранта. Как бы ни относиться к его деятельности, нельзя отказать его личности в выпуклости и яркости. Враги и друзья одинаково признавали в нем ум и образование. Но эти его качества убивались во всех отношениях отвратительным характером. «Он был очень умен и учен, но имел дурной нрав и злой язык», — говорит о нем князь Н. С. Голицын[3]. «Хотя он был человек несомненно весьма образованный и ученый, издавший в свое время довольно почтенный труд о дворянстве, но пользовался репутацией завистливого, мелочного и вообще человека неприятного характера», — вспоминает о нем князь А. В. Мещерский[4]. «Умный человек, но очень резкий на язык», — так отзывались о нем люди доброжелательные[5]. «Каналья, но очень умный и

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XX, стр. 15, т. XXI, стр. 315.
[2] Там же, т. XXI, стр. 89.
[3] Рус. Старина, 1890, № 1, стр. 102.
[4] Рус. Архив, 1900, № 11, стр. 295.
[5] Д. Благово. Рассказы бабушки. СПБ, 1885, стр. 209.

остроумный», — выражались о нем те, у кого у самих язык не отличался мягкостью[1].

«Чванливый, жаждущий популярности», он с юношеских лет отличался безудержным честолюбием и жаждой власти. О его «глупом тщеславии» сетовал А. И. Тургенев еще в 1841 году: «Раздавить это тщеславие, сделать так, чтоб о нем и его произведениях говорили как можно меньше и даже совсем о них забыли, значит оказать ему услугу и помешать ему и в будущем злоупотреблять данными ему природой ресурсами»[2]. С годами честолюбие росло с необузданной силой. В течение всей его жизни это чувство и было главным рычагом всех его поступков. «В больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка властвовать», — отметила Н. А. Тучкова-Огарева, встречавшая его в 1862 году[3]. Между тем неудачи преследовали его в течение всей жизни: с первых шагов, когда его мальчиком исключили из камер-пажей, его постигали, как мы видели, «щелчки и удары» на поприще общественной и государственной деятельности. И в личной жизни он был неудачником. Он был «собой нехорош, небольшого роста, дурно сложен, прихрамывал», и к нему прочно пристало прозвище «Bancal». Первая невеста, княжна Мещерская, ему отказала; с женой, позже с сыном у него были нелады.

Он был несдержан и груб по природе. Воспитание, вернее отсутствие воспитания, феодальные предрассудки и условия жизни, в которых протекали юные годы знатного и богатого барича, развили в нем эти свойства, а неудачи, особенно ссылка, еще более усилили их. Убежденный в своих исключительных способностях и своем праве на всеобщее преклонение, он переносил свои неудачи с большим трудом, и это развило в нем болезненную обидчивость и раздражительность. Он в состоянии был при первой встрече «по десятому слову» наговорить «грубости незнакомому человеку». Малейшее противоречие выводило его из себя, он тотчас начинал «грубо кричать», чуть не лез драться: «каждое неточное исполнение его желаний приводило князя в неописуемую ярость». «По

---

[1] Отзыв А. О. Смирновой-Россет. (Автобиография, подготовл. к печати Л. В. Крестовой, с пред. Д. Д. Благово. М., 1931, стр. 113.)

[2] М. К. Лемке. Николаевские жандармы, стр. 537. Э. К. Андреевский. Записки, т. I, Одесса, 1913, стр. 236.

[3] Рус. Старина, 1894, № 10, стр. 34.

временам», по выражению Герцена, он «неистовствует». «Он был, — говорит Н. А. Тучкова-Огарева, — ужасно горд и невоздержан на язык: это впоследствии обходилось дорого его самолюбию, когда ему давали отпор на его выходки и отдалялись от него». «Вы знаете, что я горяч и не одарен добродетелью агнца», — писал он сам про себя[1]. По существу это был типичный самодур, в котором самодурство, привитое в обстановке крепостничества, обострилось благодаря житейским неудачам и условиям жизни в эмиграции.

Привыкнув ставить себя в центр всего мироздания, он считал все для себя позволенным, не стеснялся в средствах для достижения своей цели, и тут он ни перед чем не останавливался: ни перед клеветой, ни перед доносом, ни перед шантажом. Своим политическим противникам он грозил опубликованием компрометирующих их данных и, надо сказать, часто исполнял эту угрозу; к такому же приему прибегал он и в отношении русского правительства, когда хотел чего-нибудь от него добиться, постоянно угрожая своими «секретными» бумагами, которые у него «в надежном месте хранятся»[2].

Современники считали его на все способным. Когда стало известно про анонимные письма, полученные Пушкиным, все стали кивать на Долгорукова, потому что «он один способен на такую гадость». «Это еще не доказано, — заметил по этому поводу Вяземский, — хотя Долгоруков и был в состоянии сделать такую гнусность». В 1865 году по поводу его угроз опубликовать частные письма и содержание интимных разговоров Стасюлевич писал, что «от Долгорукова это можно ожидать». «Положительно Долгоруков — подлец», — заявляет князь Н. П. Трубецкой[3]. Поэтому нет такой «гадости», которой ему бы ни приписывали: отношения к Геккерну, анонимные письма Пушкину, шантаж Воронцова, обман типографа Веймарна, оскорбление врача Абрамсона и т. д.

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVIII, стр. 316, т. XIX, стр. 137, 139. Рус. Старина. 1894, № 10, стр. 34—35. Русский Вестник, 1860, январь, «Письмо из Парижа» (стр. 10).

[2] «Петербургские Ведомости», 1868, № 183. Стасюлевич и его современники, т. I, 1911 г., стр. 289. М. К. Лемке, назв. статья в «Былом», стр. 161, 168 и др.

[3] А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., 1931, стр. 299. Рус. Архив, 1901, т. III, стр. 255. Стасюлевич и его современники, т. I, стр. 229. Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 159.

Но главным преступлением, благодаря которому и сложилось убеждение, что он способен на любую «гнусность», оставалось в глазах великосветского русского общества опубликование во французской прессе сведений, компрометирующих русское дворянство и русские правящие круги. Долгорукову могли простить поступок с Веймарном и безызвестным врачом из Одессы, могли забыть про его предполагавшуюся роль в гибели великого поэта и про анонимную записку к фельдмаршалу; с ним продолжали видеться и поддерживать знакомство, даже когда он перебрался на жительство в Париж, но все от него отшатнулись, когда он захотел рассказать «Правду о России», — «Notice» графа Альмагро ему не простили.

Плоть от плоти высшего петербургского света, «свой человек» в аристократических салонах и министерских приемных, связанный родственными и приятельскими отношениями с носителями власти, он, задетый в своем самолюбии, неудовлетворенный в своих честолюбивых притязаниях вынес на публичное позорище все тщательно скрываемые от постороннего взора темные стороны, все интимные тайны своего круга, все то, что принято было не замечать, о чем считалось неуместным говорить вслух, не побоялся стать предателем собственного класса, и его класс жестоко мстил ему за измену. В конце концов, в этом озлоблении высших кругов дворянства против титулованного эмигранта была доля недоразумения. Долгоруков никогда, в сущности, не порывал так резко со своим классом, как сам это утверждал. И в эмиграции он оставался в своих публицистических произведениях тем, чем он был в России, — русским аристократом, достаточно умным, чтоб понимать неизбежность буржуазных реформ, человеком весьма умеренных по существу политических взглядов, резкость суждений которого обусловливалась личной обидой и несдержанностью темперамента. «Представитель крамольного холопства, отчужденный за дурное поведение от великих милостей»[1], он попал в эмиграцию и вследствие неуравновешенности характера стал страшен и до известной степени опасен Петербургу как публицист.

---

[1] Записки Э. С. Андреевского, т. I, Одесса, 1913, стр. 237.

II

Политическая физиономия князя Петра Владимировича Долгорукова полна таких же неожиданных противоречий, как и вся его «курьезная» личность. Проповедник буржуазного равенства, автор одной из самых последовательных либерально-буржуазных программ, он никогда не мог отрешиться вполне от пережитков идеологии крупного феодала, всегда оставался князем Рюриковичем и пришел к буржуазной программе с точки зрения интересов феодала. Очень метко было поэтому так понравившееся Герцену острое словцо Тургенева, назвавшего его «республиканцем-князем»[1].

Долгорукова никогда не покидало сознание его высокого происхождения, ощущавшееся им с необычайной живостью, никогда не покидала мысль, что «по рождению своему он принадлежит к одной из самых блистательных русских фамилий». «С IX века, — говорит его словами адвокат Мари, — его род, его фамилия, его имя связаны с правящим домом, царствовавшим в ту эпоху в России. С тех пор этот славный и плодоносный источник струился сквозь века, никогда не утрачивая своей силы... Брачными союзами род Долгоруковых связан и с первыми шагами династии Романовых и с ее концом. Он считает в своих рядах много имен, славных в военном деле, в дипломатии и во всех отраслях политики, администрации и войны». Как генеалог Долгоруков никогда не забывал, что он князь и потомок Рюрика. Он всегда помнил, что знатностью происхождения он не имеет себе равных в России, что даже царствующая династия в этом отношении должна уступить первое место ему, отпрыску древнейшей династии. «Государь, — писал он Александру II, — в наш век титул, не сопряженный с политическими правами, не значит ровно ничего, и я своим княжеским титлом не дорожу ни на волос, но отнять его у меня вы не вправе, предки мои не получили титла этого от предков ваших, но пользовались им потому, что сами были государями и владели подданными точно так, как и вы владеете. Вам известно, государь, что предки мои были великими князьями и управляли Россией в то вре-

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. IX, стр. 322, 345.

мя, когда предки вашего величества не были еще графами Ольденбургскими»[1].

В душе Долгоруков никогда не мог вполне примириться с утратой владетельных прав своего дома и всегда с негодованием говорил об усилении московских великих князей за счет униженья остальных Рюриковичей.

В силу какого-то неясного атавизма он почти дословно повторял сетования князя Андрея Михайловича Курбского. «По мере того как возрастали великолепие и могущество той ветви дома Рюрика, которая княжила в Москве, — жалуется Долгоруков, — остальные отрасли этого дома быстро клонились к упадку и к политическому разрушению. Великие князья московские принудили князей удельных обменять свои княжества на богатые частные владения; тех, кто не подчинялся, лишали их без вознаграждения, а самих их бросали в тюрьмы. Но для московского владетельного дома было мало ограбить своих родичей: надо было слить их с московским боярством»[2].

Возношение древним родом, постоянное напоминание о большей по сравнению с царствующей фамилией знатности происхождения, мелкое родословное тщеславие «князя-республиканца» служили постоянной мишенью насмешек среди знавших его. Кельсиев иронически писал, что «неловко себя чувствовал в присутствии претендента на императорский престол». «Наш эмигрант так часто оповещал иностранную публику о своем происхождении от Рюрика, что в этом повторительном приеме я позволю себе видеть не одно тщеславие, — саркастически писал Суворин в «Петербургских Ведомостях» в 1868 году. — Кн. Долгоруков, по всей вероятности, рассчитывает сделаться владыкою на каком-нибудь необитаемом острове, который впоследствии он постарается колонизировать семействами, производящими свое происхождение от Гедимина и других князей, не столь древних, как Рюрик»[3].

С такими преувеличенными родословными представлениями князь Петр Владимирович глубоко переживал все несоответствие между блестящим прошлым его дома и настоящим. Он с негодованием видел, что родовитая

---

[1] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 5. «Правдивый», № 1.

[2] «Notice», p. 9.

[3] «Петербургские Ведомости». 1868, № 183.

знать, к которой он принадлежал, все более оттеснялась от вершин власти «жадной толпой» сомнительного происхождения, чиновной и придворной «дворней», как он выражался, обступившей со всех сторон трон и захватившей в свои руки все почетные и доходные места в управлении. У него на глазах быстрыми шагами шла бюрократизация всех отраслей управления, сопровождавшаяся своего рода демократизацией правящего круга: чин заслонял древность рода, фавор — таланты. Уязвленное самолюбие Рюриковича не могло примириться с положением, при котором «новая рожденьем знатность» «пятою рабскою» попирала «обломки игрою счастия обиженных родов». С величайшим презрением отзывался он об этих случайных выходцах из среды мелкого дворянства, противопоставляя «славному и плодоносному источнику» своего рода «грязное происхождение политического возвышения современных Воронцовых», потомкам Якова Долгорукова — Орловых, «знатность и богатство коих истекли из источников столь отвратительных»[1]. «В настоящее время, — восклицает он, — Россия угнетается самой гнилой, самой презренной частью дворянства, т. е. родами, которые окружают государя, образуют его двор и занимают все высшие должности в государстве, меж тем как вся здоровая, просвещенная, благородная часть дворянства отстранена от дел, не имеет никакого участия в управлении и разделяет общую судьбу, т. е. угнетена со стороны камарильи и бюрократии, одинаково бесчестных»[2].

В этом отношении Долгоруков был не одинок: так же чувствовал, так же реагировал на процесс своеобразной демократизации, происходившей в правящих сферах на почве чина и царской милости, другой «аристократ», старший его современник — А. С. Пушкин. Но корни этой родословной оппозиции можно искать дальше позади. Так чувствовали еще предки князя Петра Владимировича, те «княжата», «влекомые родом от великого князя Владимира», «сродники» Московских царей, когда увидали себя оттесняемыми от власти новым слоем неродословных царских слуг, противопоставлявших принцип государева «жалования» местническим правам былой знати. Психология Долгорукова — это психология

---

[1] Vérité sur le procès, p. 21.
[2] Des réformes en Russie, p. 105—106.

кн. Курбского, оскорбленного тем, что «сильным во Израиле» предпочтены «писари московские», «лизоблюды» и «кромешники». «Писари московские» — бюрократия или «чиновная орда», как предпочитал выражаться Долгоруков, — и придворная «камарилья», «дворня царская», «холопия» — те же «кромешники», эти «две разбойничьи шайки» стоят поперек пути титулованного честолюбца. «В настоящее время вся власть в России, — говорит он, — номинально принадлежащая государю, находится в действительности в руках камарильи и бюрократии... Между государями и людьми, избранными общественным мнением, стоит камарилья, состоящая из людей достойных презрения и презираемых. Эта камарилья окружает государя неприступной стеной, обманывает его, препятствуя ему узнать людей и дело. Бесчестная камарилья управляет и грабит с помощью бюрократии, которая со своей стороны управляет императором с помощью камарильи и, пользуясь ее влиянием, может топтать в грязь законы и справедливость и избегает справедливой мести общественного гнева»[1]. Особенно желчно отзывается он о тех, кто властвует при дворе. «Придворная знать, — говорит он, — за очень небольшими почетными исключениями состоит из всего, что есть наиболее подлого в нравственном отношении в России. Рядом с индивидуумами, обязанными своим возвышением подлости, интриге, иногда простому случаю, здесь попадаются люди, принадлежащие к древним фамилиям или к фамилиям, игравшим видную роль в истории императорской России; некоторые из них владеют значительным состоянием; во всякой европейской стране они были бы крупными вельможами и, путешествуя по Европе, они разыгрывают роль таковых. Но в Петербурге они меняют свою осанку и поведение, пресмыкаются, подло ухаживают за царскими фаворитами и за влиятельными личностями... Внутри страны эта придворная знать славится абсентеизмом на своих землях и поэтому не только не пользуется никаким влиянием, но является предметом общего презрения... Она участвует в делах своей родины только для того, чтобы набивать себе карман за счет своих сограждан и казны»[2]. Тут нет никакой разницы между «носителями исторических имен, которые всю

[1] Des réformes en Russie, p. 94. (Ср. «Правда», т. II, стр. 243).
[2] Там же, стр. 99—100.

жизнь пресмыкались, как холопы» и «холопами, которые посредством всяческих интриг и подлостей добились высокого положения и с самой комической серьезностью сами себя считают вельможами»... «Неспособные, ограниченные, невежественные (их умственные занятия ограничиваются чтением романов), чванные, как все невежды, и, как все глупцы, боящиеся и ненавидящие ум, притом пошлые и низкопоклонные перед дворцовыми фаворитами, теснящиеся в салонах людей могущественных и поворачивающиеся к ним спиной, как только рассеется их влияние при дворе, никогда не живущие в своих имениях и потому, несмотря на положение крупных собственников, лишенные всякого влияния в стране, которая презирает и высмеивает их, — они стали воображать себя вельможами. Нечего сказать, вельможи! — не имеющие даже тех гражданских прав, которыми пользуется последний рабочий в стране конституционной, вельможи, которым в любую минуту грозит опасность быть высеченными в III Отделении!.. Надо было пожить в Петербурге, этой столице, построенной деспотом на болотах и погруженной в грязь морально, как и физически, надо было пожить в высшем петербургском обществе, чтоб узнать русский придворный круг, этих татарских мурз, имеющих претензию на роль английских лордов, этих титулованных и увешанных знаками отличия холопов, которые во что бы то ни стало хотят прослыть аристократией, между тем как они, в сущности, только холопия»[1]. К этой придворной знати тесно примыкает и близостью с ней сильна бюрократия — «эта нравственная язва России». «Мнимо послушная государю, она с помощью царской дворни крепко держит царя в руках и обе общими силами заставляют царя плясать по своей дудке. Царь царствует, а чиновная орда властвует»[2].

В условиях русского «деспотизма» иначе быть и не может. В России невозможна настоящая аристократия, аристократия, наделенная политическими правами, влиятельная в стране, о какой мечтает Долгоруков. «Потомки Рюрика, потомки Гедимина, потомки древних бояр, потомки знаменитостей древней Руси Петровской, кто мы все такие? — с горечью восклицает он. — Конечно, не аристократы. Мы холопы царей наших, которые позво-

---

[1] Des reformes en Russie, p. 187—188.
[2] О перемене образа правления, стр. 24.

ляют нам открыто сечь соотечественников, под условием самих нас сечь втихомолку... Имеется ли в России аристократия? Нет и снова нет. Кто говорит: «аристократия», говорит если не «политическое могущество», то по крайней мере — «высокое положение и личная независимость». Но мы... мы только рабы, которых каприз барина может лишить состояния, свободы, жизни, которых барин может приказать высечь»[1]. Привилегированное положение дворянства — только слово, призрак. «Всякий русский, будь то крестьянин, мещанин, граф, князь, подвергается опасности лишиться состояния, попасть в тюрьму или в ссылку, быть высеченным»[2]. «Вот в настоящее время положение политическое и социальное русского дворянина: 1) он имеет право вступить на государственную службу, если благоугодно будет его принять; 2) он имеет право покинуть службу, если благоугодно будет дать ему отставку (к этому надо прибавить, что бывали часто случаи, когда дворяне бывали принуждены правительством без всякого суда и следствия к службе рядовыми); 3) он имеет право путешествовать, если ему не откажут в заграничном паспорте; 4) он имеет право высказывать свои суждения в губернских и уездных дворянских собраниях, но, если его суждения не понравятся правительству, он рискует быть высланным или заключенным в тюрьму без суда и следствия; 5) он имеет право переезжать с места на место, куда ему заблагорассудится, если он только не сидит в тюрьме без суда и следствия»[3].

Лишенный прав дворянства, Долгоруков писал Александру: «Ваше величество, согласитесь, что... единственная привилегия, не попранная правительством, единственная, им соблюдаемая, и заключалась в том, что вместо сечения публичного, употребляемого для крестьян, дворян секли втихомолку, в тайной полиции». «Ваше величество, — добавлял он язвительно, — не удивитесь узнать, что я не намерен возвращаться для пользования подобной привилегией»[4].

При том высоком представлении, которое Долгору-

---

[1] Des réformes en Russie, p. 108. Ср. «Правда», т. I, стр. 182—183.

[2] Des réformes en Russie, p. 94. О перемене образа правления, стр. 24.

[3] La question du servage, p. 6.

[4] «Правдивый», № 1.

ков имел о знатности происхождения, его классовое самолюбие жестоко страдало при мысли о том, что с дворянством в России «обращаются, как с рабами». «Дворянство, — говорит он с горечью, — находится в положении рабском, невыносимом. Дворяне не что иное, как привилегированные холопы; их имущество, личная свобода и самое личное достоинство совершенно преданы на произвол прихоти царской, грабежа чиновничьего и самоуправства тайной полиции»[1].

Чтобы объяснить себе, как это произошло, Долгоруков обращается к истории и приходит к заключению, что до XIV века служилые люди не составляли отдельного сословия и дворянства в России не существовало; в дружину княжескую, послужившую «зародышем служилого сословия», доступ был совершенно свободен. «Наследственного звания в России не существовало, кроме одного княжеского рода»... «Дворянство создано великими князьями московскими для усиления своей мощи». Иоанн III «значительно увеличил свою дружину и обратил ее в «служилое сословие», обеспечив земельными пожалованиями, под условием службы. Каждый из сыновей членов этого сословия, по достижении юношеского возраста, обязан был до дряхлой старости служить великому князю везде, куда великому князю угодно будет его послать, и во всякой должности, на которую великому князю угодно его определить». Таким образом, служилый человек оказался в положении «худшем против положения крестьянина: сей последний имел право раз в год, во время осеннего Юрьева дня, переходить от одного помещика к другому, а служилый человек был *прикреплен* к службе»[2]. «Если бы русское служилое сословие — тогдашнее дворянство — умело понять свои истиные выгоды, — с пафосом восклицает Долгоруков, — то оно бы встало заодно с прочим народом против тиранства царей, ограничило бы власть царскую и учредило бы порядок правления, на законах основанный». Но дворянство «не умело понять своих истинных выгод», «выказало совершенное отсутствие всякой политической дальновидности», «потребовало от царей прикрепления крестьян к земле» и «вместо того чтобы с помощью

---

[1] «Будущность», № 1.

[2] Des réformes en Russie, pp. 121, 135. Le question du servage, p. 4—5. О перемене образа правления, стр. 34—36.

крестьян избавиться самому от рабства, приобрести свободу и для себя и для всех своих соотечественников, оно предложило распространить на крестьян рабство, над русским дворянством тяготевшее».

Требование дворянства было исполнено, но тем самым закрепощение, «рабство» самого дворянства было окончательно упрочено. Русское дворянство, «поработив своих соотечественников... было само порабощено — и еще в какое гнусное рабство, продлившееся в самом отвратительном виде своем до 1762 года...». «С этой поры настает новая эпоха для русского дворянства. Полное и безграничное рабство переменилось на полурабство, на холопство: дворянство, избавленное от наказаний телесных, избавленное от прикрепления к службе с юности до самой могилы, все-таки осталось подвергнутое прихотям царским и произволу временщиков, одним словом, *осталось в холопстве, в коем состоит и поныне»*[1]. Привилегированное положение, которое создало дворянскому сословию законодательство второй половины XVIII века фактически способствовало лишь усилению царской власти, для которой «разделение народа на сословия... было только средством поддержания деспотизма»[2].

Вывод напрашивается сам собою. Политическое «рабство», в котором оказалось дворянство в XVIII—XIX веках, является результатом близорукой, себялюбивой политики самого дворянства.

«И кто же виноват во всем этом?» — спрашивает Долгоруков. И тут же отвечает: «Мы сами, русские дворяне. Отделились мы от народа: вместо того, чтобы требовать от царей законных прав и для народа и для нас, помогали мы царям давить народ, приняли, а может быть и выпросили, крепостную власть над сельским сословием и по справедливому возмездию истории, по заслуженному наказанию от Бога, попали мы сами в крепостное состояние. Захотели мы иметь холопов: приобрели их, обратили в холопство большую часть своих соотечественников и сами соделались холопами. И это справедливо. Поделом нам». Так раздраженный на верховную власть феодал, оглядываясь на путь, пройденный его классом, превращается в «кающегося дворянина»,

---

[1] О перемене образа правления, стр. 37—39. «Правда», т. II, стр. 3—4, 49.

[2] Des réformes en Russie, p. 135.

готового отказаться от своего привилегированного положения для приобретения политических прав. «Да послужит нам уроком, — возглашает он, — наше прошедшее, столь горестное, и наше настоящее положение, столь постылое и столь унизительное»... «Мы холопы, и нам один разумный исход из подлого и гнусного холопства, в коем мы, к позору нашему, к глумлению и удивлению всего образованного мира, все еще доселе продолжаем пресмыкаться: это идти в свободные люди и идти вместе со всеми нашими соотечественниками»... «Не лучше ли было бы в тысячу раз русскому дворянству для своего личного достоинства и для своей чести отказаться от мнимых привилегий, которые, в сущности, не что иное, как звенья тяжкой цепи, приковывающей это дворянство к столбу рабства... Нам кажется, что и здравый рассудок, и самое чувство чести предписывают русскому дворянству свергнуть с себя иго рабства и что гораздо почетнее быть гражданами в стране свободной, чем привилегированными рабами, как русские дворяне в настоящее время»[1].

Такого разрешения вопроса требует и классовая безопасность дворянства. Долгоруков достаточно умен, чтобы понимать неизбежность перехода, может быть, революционного, России от феодального строя к более прогрессивным формам. Перед дворянством два примера: «пагубный пример дворянства французского, которое в 1789 году воспротивилось реформам, чем вызвало революцию», и раскрывавшийся у него на глазах пример дворянства освобожденной Италии, которое, «следуя великому примеру дворянства английского в 1688 году, дворянства бельгийского в 1830 году, стало во главе движения, следственно управляет им и пользуется огромной популярностью». «Все важнейшие должности в средней Италии, — с удовлетворением отмечает он, — заняты или знатными дворянами, или способнейшими лицами из среднего сословия: оттого правление там столь тихо, столь мирно и вместе с тем столь прочно»[2]. «Русскому дворянству предстоят в настоящее время три пути: а) или решительно и благородно слиться с народом... б) или соединиться с правительством, чтоб держать народ в

[1] О перемене образа правления, стр. 23—25. «Правда», т. I, стр. 52—53.

[2] Вестник Европы, 1860, январь. (Письмо из Парижа, стр. 8.)

бесправии и в унижении; это путь гнусный, путь позорный и сверх того ведущий к гибели (разрядка наша. — **С.Б.**), в) или стремиться к тому, чтобы стать отдельным сословием, забрать власть к себе в руки, управлять и народом и правительством; и этот путь ведет к гибели (тоже)»... Если дворянство, «отбросив мнимые свои преимущества», устремится на широкую дорогу гражданской свободы и общественного равноправия, увлекая за собою всех своих соотечественников, тогда нынешние дворяне и потомки их будут иметь влияние несомненное и значительное»[1].

Итак, для избежания революции, для сохранения главенствующего положения своего класса, дворянство должно объединиться с «народом», то есть с буржуазией, и отказаться от своих привилегий ради завоевания политических прав. «Соединимся все дружно, сильно, — с пафосом восклицает Долгоруков, — и опровергнем все преграды, какие нам встретятся. Пусть на Русской земле не будет ни одного раба: пусть все мы, без всякого исключения, будем людьми свободными»[2].

Таким образом, глубокое и, по-видимому, искреннее отвращение, которое вызывало в нем оскорблявшее его родословную гордость недостойное политическое и гражданское бесправие его класса, наводило Долгорукова на мысль о необходимости буржуазных реформ. «Мне 43 года, — писал он графу Киселеву в 1860 году, — и жил я подобно всем русским дворянам в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего, это положение мне опротивело, стало мне тошно»[3]. Выход был один — буржуазные «свободы». К этому заключению Долгоруков пришел, конечно, не случайно. Не случайно средневековый феодал, доживший со своими претензиями Рюриковича до буржуазного XIX века, отдавал дань требованиям времени. Хозяйственные интересы толкали его в сторону новых идей. Крупный землевладелец, он отлично отдавал себе отчет в преимуществах буржуазного способа эксплуатации. Он неоднократно отмечает большую производительность вольнонаемного труда по сравнению с крепостным. У себя в имении он заводил рациональное хозяйство. Об этом он рассказывает нам,

---

[1] О перемене образа правления, стр. 40—46.
[2] Там же, стр. 25.
[3] «Правда», т. I, стр. 13.

сообщая, что Закревский в 1850 году, узнав о его занятиях сельским хозяйством, выразил свое одобрение, так как, по его мнению, «сельское хозяйство — единственное, что еще требует улучшения в России»[1].

Буржуазное мировоззрение красной нитью пронизывает всю идеологическую сущность нашего феодала и отражается во всех его взглядах. К социализму он относится в высшей степени враждебно[2]. Для него — «собственность» — основа всей экономики. Он поэтому принципиальный и последовательный противник общины. «Надо быть слепым, — говорит он, — чтоб не видеть огромных невыгод сохранения навсегда во всей ее полноте системы общинного владения и в особенности системы земельных переделов, принадлежащей к первобытной эпохе гражданских обществ. Система общинная, система земельных переделов, если ее сохранить бессрочно, будет помехой и успехам земледелия, и развитию промышленности, и поощрением к лени и тунеядству». Поэтому он настаивает, чтобы земля была поделена «окончательно и в потомственное владение» между освобожденными крестьянами. «Ознакомясь через труд свой с выгодами и наслаждениями собственности... (крестьянин) соделается трудолюбивым и будет постепенно приобретать довольство и благосостояние»[3].

Самый проект распродажи государственных земель в частные руки, с которым носился Долгоруков, очень характерен для него. Он приветствует мобилизацию земли. «Одним из самых благих для России последствий уничтожения крепостного состояния будет переход значительного числа земельных участков в руки среднего сословия. (Во французском издании сказано еще определеннее: «значительная часть земель путем купли-продажи перейдет в руки негоциантов и буржуазии».) Через это значительно возвысится цена земли, возрастет число продуктов, земледелие получит сильное развитие, и несметные богатства, заключаемые Россиею в недрах своих, будут успешно разрабатываться...»[4]. Очень высоко ставит Долгоруков «занятие торговлею и промышленностью, занятие столь достойное уважения и столь ува-

---

[1] «Правда», т. I, стр. 132, 149.
[2] Le Véridique, vol. I, № 1, p. 27—29.
[3] «Правда», т. I, стр. 132, 149.
[4] Там же, т. II, стр. 53.

жаемое во всех странах образованных», и отмечает «огромную важность капиталов в наш век»[1].

Являясь убежденным сторонником перехода к буржуазным формам хозяйственной жизни, он отлично понимает те громадные социальные последствия, которые влечет такой переход, и принимает их безоговорочно. Он отлично понимает несовместимость феодально-сословной организации государства с условиями буржуазного хозяйства.

Возникновение рядом с дворянским землевладением землевладения буржуазного, успехи промышленного капитала ставили крест на старой сословной системе с ее обособленностью каждого сословия друг от друга. Впервые, говоря словами Долгорукова, явилось «земство, состоящее из трех сословий (здесь под словом «сословия» он понимает «классы»): земледельцев, городских жителей и сельских обществ, сословий, определенных на основании материального положения и круга деятельности каждого лица, но сословий свободно открытых, взаимно доступных каждому». «Не только каждый крестьянин-домохозяин, но и каждый поденщик может, нажив деньги своим трудом, купить землю и вступить в сословие землевладельцев, купить дом в городе и поступить в сословие городских жителей»[2]. Естественным выводом из сказанного является для Долгорукова уничтожение феодальных привилегий и установление «равенства всех русских перед законом». Невозможно, по его мнению, существование рядом двух разрядов землевладельцев: дворян и недворян; более того, такое положение было бы опасно, грозило бы стране революционными потрясениями. «Здраво рассуждая, возможно ли не произвести слияния этих двух разрядов воедино? Явно, что отдельное существование этих двух разрядов землевладельцев, это различие в гражданских правах между ними, неминуемо породит зависть. Эта зависть породит злобу; злоба всегда становится взаимной, а от взаимной злобы до кровавого столкновения один шаг»[3].

«Труду открыт свободный доступ в каждое сословие, —

---

[1] «Правда», т. II, стр. 58. О перемене образа правления, стр. 22—23. Vérité sur la Russie, p. 234.

[2] О земских учреждениях («Листок», № 18). О перемене образа правления, стр. 44.

[3] «Правда», т. II, стр. 232, т. I, стр. 54.

писал он позже по поводу положения о земских учреждениях. — Следовательно, окончательно положена основа великому и плодотворному принципу равенства, гражданского равенства перед законом, т. е. единого возможного равенства, потому что различие между людьми по уму, по образованию, по богатству никакая сила человеческая никогда не будет в состоянии изгладить». Таким образом, отпрыск владетельного дома Рюрика, еще не вполне отрешившийся от феодальных традиций своих предков, под напором экономических соображений приветствует зарождающийся на обломках дворянского землевладения буржуазный мир и, отказываясь от политических привилегий, присвоенных его сословию, выступает поборником буржуазного равенства, равенства перед законом, равенства, не затрагивающего его имущественных и социальных преимуществ. Он достаточно проницателен, чтобы понимать, что проповедуемое им равенство не только не нарушит интересов его класса, но укрепит положение дворянства в русском обществе. «В настоящее время, — рассуждает он, — дворянство в России является предметом зависти и ненависти всех прочих сословий. Отказавшись от своих так называемых привилегий, становясь под власть общего закона, дворянство обезоружит чувство зависти и вместе с тем не утратит законного своего влияния, которое ему обеспечивает в народе богатство и образование, и престижа, неизбежно связанного повсюду с историческими именами».

Долгоруков не хочет дворянской олигархии. Для него ясно, что даже в XVIII веке олигархические стремления дворянства, при отсутствии поддержки со стороны других общественных классов, были осуждены на неудачу[1]. Олигархическим замашкам, отчужденности от прочих слоев общества приписывает он неудачу «верховников» в 1730 году[2] и с едким сарказмом обрушивается он на современных олигархов из придворной знати: «Невежественная относительно действительного положения страны, совершенно неосведомленная о направлении общественного мнения, эта придворная знать мечтает у камина, между чашкой чая и сигарой, о создании в Рос-

[1] О земских учреждениях («Листок», № 18); «Правдивый», № 1; «Правда», т. II, стр. 282; О перемене образа правления, стр. 93, 94. Des réformes en Russie, p. 119.

[2] Vérité sur la Russie, p. 182—185.

сии аристократической конституции исключительно в собственных своих интересах, мечтает об учреждении пэрии во вкусе английском, пэрии, основным элементом которой она будет... Бедные идиоты... В своем невежестве и глупости они и не подозревают, что сила и мощь английской пэрии основывается на том, что она всегда боролась за народную свободу»[1].

Со своей стороны, неудовлетворенный политической действительностью, он ищет выхода в буржуазных реформах. Свою программу в сжатой форме он излагает в обращении к Александру II, напечатанном в № 1 «Правдивого»: «Провозгласите уничтожение телесных наказаний, провозгласите равноправие перед законами, свободу вероисповедания, свободу личности, уничтожение конфискаций и секвестров, созовите Земскую Думу из выборных людей от земства, составьте сообща с Думою Земской мудрый Государственный устав, даруйте свободу книгопечатания... И вы, государь, соделаетесь благодетелем России. Без государственной свободы, без конституции нет никакой возможности мирного исхода из той безурядицы, из того хаоса, в который Россия ныне погружена».

Это — чисто буржуазная программа, очень умеренная по существу, и Долгоруков отлично понимает, что превозносимое им «гражданское устройство» имеет, «как и все в мире, свои несовершенства, даже свои пороки», но оно, по его мнению, дарует «свободу весьма обширную и вместе с тем столь разумную (разрядка наша. — **С.Б.**)». «Полнейшая свобода лица, действий, собраний, слова изустного, слова печатного, безграничное равенство юридическое; неравенство политическое, правда, но где же политическое равенство может в действительности существовать иначе, как на бумаге?»[2] Но, может быть, именно потому, что конституционная форма правления фактически сохраняет «неравенство политическое», Долгоруков так крепко ее держится. Умеренный монархист, Долгоруков отнюдь не примыкает к радикальному республиканскому крылу буржуазии. Он меньше всего революционер, он ищет путей для «мирного исхода», он сторонник закономерной эволюции. «Человечество двигается

---

[1] Des réformes en Russie, pp. 100, 101.

[2] См. ниже в тексте.

только этапами, — говорит он. — Быстрый скачок от самодержавия... прямо к республике нам кажется весьма опасным, потому что не может совершиться без глубокого потрясения всего государственного организма. Едва ли может такой скачок совершиться в России без бури, без крови, не поставив все вверх дном, а потому мы предпочли бы еще на несколько поколений образ правления монархический конституционный»[1]. Республика, может быть, «есть окончательная и высшая цель гражданского общества». «Для всякого человека, который со смыслом читал Евангелие... ясно и неоспоримо, что род человеческий стремится в грядущем более или менее отдаленном ко всеобщему братству, и все прочие образы правления, какие бы они ни были, суть только переходные». Но республиканская форма правления представляется Долгорукову «в высшей степени преждевременной для России и для Европы вообще». Для плодотворного развития республиканского строя необходимо, чтоб в людях выработались «чувства законности, уважения к долгу, уважения к самому себе, терпимости религиозной, терпимости политической, желание покорять себе противников не угрозами, не преследованиями, не казнями, а силою убеждений, силою разума». «Без этих чувств, без этих понятий, доколе они не выработались, не развились и не укрепились в стране... дотоле республика не может быть ни спокойною, ни прочною», потому что республиканский образ правления зависит «от беспрестанных случайностей, часто весьма подлых и весьма низких, чему пример являют Мексика и республики Южной Америки»[2]. Поэтому Долгоруков «не надеется на республику в России, он борется против писателей, которые ее поддерживают»[3]. Он — «сторонник умеренной конституционной монархии» как естественной переходной ступени между самодержавием и республикой. «Под эгидой этой благодарной формы правления... человечество, по-видимому, призвано идти еще долгое время по пути прогресса морального и социального, одним словом — прогресса христианского»[4].

---

[1] О перемене образа правления, стр. 12.

[2] Там же, стр. 10, 12, 57—58. Des réformes en Russie, p. 67.

[3] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 17. О перемене образа правления, стр. 10—12, 57—58. Des réformes en Russie, p. 69.

[4] Там же.

Есть одно обстоятельство, которое заставляет Долгорукова, при всех его феодальных традициях, цепляться за буржуазную монархию. Это — ясное представление о том, что самодержавие в условиях XIX века уже не в силах защищать его классовые интересы. «Самодержавие, первобытный образ правления почти всех государств, — говорит он, — полезно и почти необходимо для скрепления воедино различных частей государства». Но теперь явились «новые потребности в обществе», «становится необходим новый порядок государственный, является необходимость в правлении правильном, основанном не на воле одного лица, а на законах, которые непременно были бы выражением общественного мнения: этого самодержавие дать не может ни под каким видом, даже при самодержце самом добром и самом честном... Если самодержавие, исполнившее свою историческую задачу и отжившее свой век, продолжает существовать, то заводит страну в политическое болото», и это грозит революцией, а ее Долгоруков страшится[1].

Кровавый призрак революции, нависающей над Россией, преследует воображение Долгорукова. Ее грозную близость он ощущает совершенно реально. «В настоящую минуту Россия находится в состоянии, в каком была Франция в 1789 г... Спасите нас, спасите себя от 1793 года», — обращается он в 1860 году к царю[2]. Революция неизбежна. «Мы видим, — говорит Долгоруков, — что отживший порядок вещей нигде продолжаться не может: когда здание ветхо и качается от ветра, надо поспешно выстроить новое здание; если хозяин заупрямится, то упрямством своим он вовсе не удержит ветхого здания, которое неминуемо рушится, да еще, пожалуй, при падении и хозяина раздавит»[3]. И набросав картину общего разложения государства, он с пафосом обращается к русскому правительству: «Отвечай, царская дворня... Ведь подобное политическое положение, столь униженное и столь унизительное, не может долго продлиться: оно неминуемо должно привести к ужасному взрыву. Каким образом взрыв этот возникнет и воспоследует, какие именно события произведут его, с какой именно

---

[1] О перемене образа правления, стр. 12.

[2] Vérité sur la Russie, p. 32.

[3] О перемене образа правления, стр. 73. «Правда», т. II, стр. 247—249.

точки горизонта поднимется буря, коей суждено сокрушить нынешний порядок вещей, порядок отживший и гнилой, этого в точности предугадать невозможно, но долго этому порядку не устоять... Если своевременно не будет приступлено к реформам, тогда разложение, растление нынешнего порядка вещей в России, разложение и растление, ясно видимое для всех, будет все увеличиваться и возрастать; неудовольствие на правительство, ныне уже почти всеобщее, еще более увеличится; взаимные сношения между различными сословиями получат характер раздражения и, наконец, чего Боже упаси, вражды взаимной; государственное банкротство более или менее расстроит состояние частных лиц... А если при этом ужасном положении вдруг возникнет война... и враги России, вторгаясь в наши пределы, объявят крестьянам истинную свободу, т. е. свободу с укреплением за ними в потомственное владение не только их усадеб, но и участков земли, если в то же время враги эти объявят свободу вероисповедания... что будет тогда с Россией?»[1]. И Долгорукову видится в будущем «расчленение России» и «безвозвратная заграничная поездка» для членов царской фамилии[2].

Как и при каких условиях произойдет революция — Долгоруков сказать не может, но для него ясно, что «почва под ногами Александра II гораздо более расшатана, чем хочет это признать его интимное окружение»[3]. Революция у двери. Он ее увидит собственными глазами. Если сама верховная власть не пойдет навстречу «разумным желаниям и законным требованиям своих подданных», «то по прошествии нескольких лет неотразимый

---

[1] «Правда», т. II, стр. 217.

[2] Des réformes en Russie, p. 79. Ср. также ниже в тексте.

[3] Там же, p. 71. Впрочем, царское окружение, по словам Долгорукова, уже принимает свои меры на случай революции: «Эта камарилья дурацкая, вероломная, варварская и подлая уже вывозит свои капиталы за границу, чтобы при первой опасности обратиться в бегство и бросить на произвол судьбы государя, которого она обманывала и обкрадывала». Так гр. Орлов, «убежденный, что Александр II ведет Россию к гибели, перевел за границу сколь можно более денег». Сам Николай I, когда ему говорили о присоединении уделов к ведомству министерства государственных имуществ, мотивировал свой отказ тем, что «императорской фамилии недурно на всякий случай иметь частную собственность, потому что, — говорил он, — никто не может знать будущего: когда-нибудь, — разумеется, не при мне — форма правительства может измениться в России».

поток событий увлечет и с корнем вырвет в России нынешний порядок вещей. Получит ли мое отечество конституцию от государя, или революция своим насильственным путем учинит у нас реформы, которые в настоящее время еще зависит от правительства совершить мирно и спокойно, в обоих случаях я возвращусь в Россию»[1], — демонстративно пишет он русскому послу в Париже в 1860 году. Через два года, призывая русское правительство к реформам, он опять предупреждает его: «Года через два может случиться, что будет уже поздно»[2]. Позднее он стал сомневаться в столь быстром ходе событий: «Россию свободную, конституционную, по правде сказать, не надеюсь увидеть, — писал он Погодину в 1865 году. — Лет 8 или 10 тому назад я полагал, что в России скоро водворится свобода, но события последних трех лет показали мне, что русские еще не излечились от чумы, внесенной в нашу кровь монгольским владычеством»[3].

Единственное спасение от надвигающейся революции заключается в конституции. Долгоруков в этом убежден. «Правительство петербургское стоит ныне на перепутье двух дорог. На одной, при условии разогнать царскую дворню и ввести новый образ правления — реформы мирные, полезные, благополучие русских и царской фамилии, благополучие России; на другой дороге — влияние царской дворни, чиновной орды, царство тайной полиции, отсутствие гласности, своеволие казнокрадов, государственное бессилие в делах политики внешней, безурядица в делах внутренних, безденежье, всеобщее недовольствие, и на конце пути — революция»[4]. «Искренно желаю, чтобы дом принцев Голштейн-Готторпских, ныне восседающий на престоле всероссийском, понял, где находятся истинные его выгоды; желаю, чтобы он снял наконец с себя опеку царедворцев жадных и неспособных; желаю, чтобы он учредил в России порядок правления дельный и прочный, даровал бы конституцию и через то отклонил бы от себя в будущем неприятную, но весьма возможную случайность промена всероссийского престола на вечное изгнание»[5]. Если Александр II будет

---

[1] «Правда», т. I, стр. 14.
[2] Des réformes en Russie, p. 81.
[3] М. И. Барсуков, цитированная статья.
[4] «Правда», т. II, стр. 220—221.
[5] Там же, т. I, стр. 15.

упорствовать, то «через несколько лет проявление революции исторгнет у него насильственно то, что ныне еще он может даровать по собственной воле, и, вероятно, исторгнет в преувеличенном виде»[1]. И Долгоруков сентенциозно добавляет: «Когда в какой-нибудь реке вода станет сильно возвышаться, у плотины открывают спуски и пропускают воду. Никакой честный человек не делает наводнения, но всякий человек, не лишенный здравого рассуждения, знает, что в случае возвышения воды необходимо открыть спуск, иначе вода разольется и прорвет плотину»[2]. От доброй воли императора зависит открыть «спуски» и предотвратить революцию, и Долгоруков не без пафоса взывает к Александру: «От вас зависит спасти нас и себя от этих опасностей... Даровав конституцию, вы приобретете благословение и любовь своих подданных, история поставит вас наряду с величайшими монархами, и вы упрочите потомство свое на престоле всероссийском»[3]. Так перед лицом революционной опасности Долгоруков готов солидаризироваться с Голштейн-Готторпской монархией, чувствуя в ней естественного союзника своего класса. Но он не верит ни в готовность, ни в способности этого союзника, боится, что он не сумеет своевременно сделать необходимый шаг. «Существует слово, роковое для династий: «слишком поздно». И случается услыхать это роковое слово от других, благодаря тому, что сам слишком часто повторяешь неразумное слово: «Слишком рано». Мы выражаем искреннюю надежду, — говорит Долгоруков, — чтоб Александр II, произнося постоянно второе, не дожил до того, чтоб услышать от своих подданных первое из этих двух слов... Если русское правительство, — добавляет он, — запоздает с своими мероприятиями, то события захлестнут его, и роковое «слишком поздно» прозвучит в его ушах, как оно уже прозвучало в ушах многих династий, которые ныне принуждены оплакивать в изгнании свое нежелание вовремя постичь потребности эпохи и неумение ухватить благоприятный момент для перехода от самодержавия к конституционному образу правления»[4].

---

[1] «Правда», т. II, стр. 247.
[2] Там же, т. I, стр. 253.
[3] «Правдивый», № 8, № 1.
[4] Des réformes en Russie, pp. 35, 56.

Итак, страх перед революцией, опасение рокового «слишком поздно» — вот еще один из мотивов, который толкнул родовитого потомка Рюрика и Мономаха на путь буржуазной реформы. Он боится реформ, исторгнутых «насилием» и «в преувеличенном виде», говоря точнее, он боится социализма, но «дайте конституцию, и социализм потеряет три четверти своего влияния»[1].

III

Общее политическое мировоззрение Долгорукова, как оно сложилось из сочетания пережитков феодальной идеологии с буржуазной, вылилось в совершенно конкретную программу реформ, которую он неоднократно излагал печатно: в 1860 году в своей книге «La Vérité sur la Russie» и ее позднейших изданиях, в серии статей в журнале «Будущность» по вопросу «о перемене образа правления в России», впоследствии вышедших отдельной книгой[2], и, наконец, в специальной книге: «Des réformes en Russie»[3].

Основными пунктами его программы были: освобождение крестьян, установление гражданских свобод и конституция.

На первом плане в 1860 году стоял, конечно, вопрос крестьянский, без разрешения которого — Долгоруков это отлично понимал — невозможны были никакие реформы[4].

Долгоруков — и это очень характерно для идеологии душевладельца, — относясь отрицательно к крепостному праву как к институту, склонен видеть в нем известные хорошие стороны, по крайней мере в бытовом, житейском отношении. «Конечно, мы не защищаем крепостного права, — говорит он. — По нашему мнению, эмансипа-

---

[1] Le Véridique, t. I, № 1, pp. 27—29.

[2] О перемене образа правления в России. «Будущность», 1861, №№ 16—17, 18, 19, 20—21.

[3] Des réformes en Russie, suivi d'un aperçu sur les Etats Généraux Russes au XVI et au XVII siècles, par le prince P. Dolgoroukow. Paris-Bruxelles-Leipzig, 1862, ниже цитируется кратко «Réformes».

[4] Общие суждения о крестьянской реформе см. в «Правде», гл. XIV и отчасти гл. VII, в «Réformes» и в брошюре «La question du servage en Russie par le prince Dolgoroukow. Extrait du Journal des Economistes», Paris, 1860.

ция— и эмансипация *поспешная* — составляет вопрос чести и общественного спасения. Но следует сказать, что казенные крестьяне притесняемы гораздо более крестьян помещичьих... Не говоря уже о добрых и хороших помещиках, число коих значительно в России, собственная выгода каждого разумного помещика заключается в благосостоянии его крестьян... Доселе эти 22 миллиона русских (помещичьих крестьян) не были людьми, они были вещами, не пользовались никакими гражданскими правами, и мы, их господа, располагали ими по нашему произволу, часто необузданному. Зато они пользовались вполне на наш счет пищею, одеждою и жилищем, а в случае несчастий непредвиденных, подобно пожару и скотскому падежу, мы должны были им оказывать помощь, часто для нас весьма убыточную. Сверх того, мы должны были отвечать перед правительством за их подати и повинности»[1].

Чрезвычайно любопытна общая концепция истории возникновения крепостного права, какую мы находим у Долгорукова. Она очень типична для представителя крупного титулованного землевладения, мало заинтересованного в изучаемую эпоху в сохранении принудительного труда. Крепостное право, по его представлению, было установлено правительством в интересах мелкопоместного дворянства с целью укрепить самодержавие. Крупные землевладельцы не были заинтересованы в этом мероприятии. До отмены Юрьева дня «крестьяне сохраняли свободу передвижения, и люди богатые и могущественные из числа дворян охраняли свободу сельского населения более эффективно, чем это могли сделать мелкие землевладельцы». Поэтому Юрьев день «был особенно выгоден для бояр и вообще для богатых землевладельцев, на землях коих крестьяне могли находить большее приволье и лучшую защиту от притеснения властей, чем на землях владельцев мелкопоместных и бедных». Борис Годунов в борьбе с боярством стремился «опереться на мелкое дворянство и, чтоб привлечь его на свою сторону, установил крепостное право на крестьян». Во время смуты его закон перестал соблюдаться, но по вступлении на престол новой династии патриарх Филарет «для восстановления деспотизма стал опираться на мелкое дворянст-

---

[1] «Правда», т. I, стр. 65, 131. Ср. La question du servage, p. 9.

во» и в угоду ему восстановил крепостное право и этим обеспечил себе его поддержку, после чего мог свести на нет деятельность земских соборов, лишить их законодательных прав и превратить их в совещательное учреждение.

В этой концепции характерны две черты: во-первых, стремление доказать, что интересы крестьянства никогда не противоречили интересам *крупного землевладения,* — мысль, унаследованная еще от XVIII в., когда Татищев писал, что отмену Юрьева дня Годунов произвел, «не слушая совета старших бояр», а во-вторых, стремление установить связь между закрепощением крестьянства и развитием политического «деспотизма». Из последнего соображения вытекают и последующие выводы Долгорукова: мелкое дворянство купило крепостной труд ценою собственного порабощения. Оно «захотело иметь крепостных, оно захотело умножить их число... оно заставило правительство ввести крепостное право в России, оно добилось этого крепостного права. Оно получило крепостных, оно значительно увеличило их число, но по справедливой каре небес, обратив в крепостное состояние большинство своих соотечественников, оно само оказалось под игом рабства столь же тяжелого, как и позорного, и само ползает в грязи, в которую алчность, одинаково противоречащая и политическому благоразумию, и христианским принципам, погрузила большинство его соотечественников». Отсюда следует, что как долго существует крепостное право — высшие сословия не могут претендовать на политическую свободу. «Ни в каком монархическом правлении высшее сословие не может приобрести свободы, доколе низшее сословие связано узами рабства. Русское дворянство, доколе имеет само крепостных людей, не может никакими способами свергнуть с себя тяжкое иго крепостного холопства, наложенное на них царем... Сохранение крепостного состояния низшего сословия делало конституционную монархию невозможною: нельзя в монархии установить свободу на фундаменте крепостного права. Для прочности монархии конституционной необходимо, чтобы все сословия были свободными и пользовались гражданскими правами». Зато «эмансипация» крестьянства неизбежно должна повлечь за собою падение самодержавия. «Наивно думать, — говорит он, — что можно уничтожить крепостную

зависимость сельского сословия и не уничтожить бесспорную крепостную зависимость сословия высшего... До 19 февраля 1861 года, — говорит Долгоруков, — порядок, господствовавший в России, представлял собою пирамиду рабства: дворянство давило на крестьян, правительство топтало в ногах дворянство. Раз совершилось освобождение внизу, невозможно сохранить крепостное право вверху. Всегда можно перестроить дом, но невозможно разрушить первый этаж, не трогая второго»[1].

Так исторически обосновывал Долгоруков с дворянской точки зрения необходимость освобождения крестьян. Но это не был единственный мотив, побуждавший его стать в ряды убежденных эмансипаторов.

Если Долгоруков высказывался всегда с такой горячностью за «эмансипацию, и эмансипацию поспешную», то на это было много и веских причин. Как представитель того слоя крупного дворянства, который был заинтересован в основной перестройке своего хозяйства в соответствии с возрастающими требованиями рынка, он очень ясно сознавал всю невыгоду крепостного труда и преимущества труда вольнонаемного. «Помещики, — пишет он, — имеющие полную власть над своими крепостными людьми, могущие их наказывать телесно, могущие их ссылать, никогда не могли добиться, чтобы на барщине работали хорошо и усердно. Всем, кто живал в деревне, известно, что трое работников вольнонаемных в течение недели наработают больше, чем девять или десять тягол барщинных». Поэтому «труд вольнонаемных будет гораздо более продуктивен, чем барщина»[2].

Но есть еще одна причина, которая заставляет Долгорукова торопиться с «эмансипацией». Как историк и человек умный, он имел всегда в памяти восстание Степана Разина, когда «кровь дворян полилась ручьями в юго-восточных областях России, и мятежники не восставали на царя, но требовали освобождения крестьян и уничтожения дворянства», помнил и о Пугачеве, провозгласившем «уничтожение крепостного состояния и резню дворян». «Народ, — говорит он в 1860 году, — ... ожидает в великом спокойствии результатов работ всех комитетов и всех комиссий, коим вверена грядущая судьба его. Но

---

[1] «Правда», т. I, стр. 176, 184, 222—223. Réformes, pp. 104—105, 110. La question du servage, pp. 5, 10.
[2] «Правда», т. I, стр. 135. La question du servage, p. 8.

не советуем стародурам впадать в ошибку и воображать себе, что народу неизвестны его человеческие права и его могущество. Вчерашние рабы соделались людьми: они ждут своего освобождения, и горе России, если бы стародурам удалось исполнить свои неразумные желания, состоящие в том, чтоб обмануть крепостных людей дарованием им вместо настоящего освобождения ложной свободы... Если бы стародурам — чего Боже сохрани! — удалось привести желания свои в исполнение, то по нашему отечеству потекли бы реки крови»[1].

Основные пункты своего проекта крестьянской реформы П. В. Долгоруков изложил уже в записке тульскому дворянскому собранию в 1858 году: «В видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других отпустить крестьян не иначе, как с наделом некоторого количества земли в постоянное владение», при условии «полного добросовестного денежного вознаграждения» помещиков «за уступаемые ими земли»[2]. Освобождение он мыслил обязательно с землею. Мотивом к этому, однако, служили не соображения социальной справедливости, а совершенно реальное сознание социальной опасности иного разрешения проблемы для его класса. «Согласно ли с правилами политики осторожной и предусмотрительной, — спрашивает он, — ставить... 22 миллиона людей, целую треть населения империи, в положение пролетариев, подверженных влиянию всех колебаний цен найма?.. Глас здравой политики не предписывает ли непременно воспользоваться минутою, единственною в истории России, для удаления, по крайней мере, на долгий срок опасности пролетариата, ныне угрожающего бедствиями столь многим странам Европы». Итак, опасность пролетаризации крестьянских масс, превращения их в «бездомных пролетариев», «одним словом, учреждения в России новой Ирландии в обширных размерах» — вот один из мотивов, побуждающих помещика к уступке крестьянам части своих земель. А далее всплывает все тот же страх перед крестьянской революцией. «Дать крестьянам землю тем более необходимо и неизбежно, что русский крестьянин не понимает свободы безземельной: если ему не дадут земли,

---

[1] «Правда», т. I, стр. 11, 99.
[2] «Современник», 1858, декабрь (Современные заметки).

он сам себе ее возьмет, и никакая человеческая сила ему в этом помешать не может»[1]. Вот соображения, по каким Долгоруков настаивает на «предоставлении крестьянам в полное владение не только усадеб их, но еще и некоторого количества земли», как на мере, «необходимой для безопасности будущих времен». «В имениях, состоящих на барщине, — добавляет он, — безопаснее (разрядка наша. — **С.Б.**) было бы предоставить крестьянам всю землю, которою они пользуются в настоящее время; в имениях оброчных следует отделить им количество, особенно определяемое для каждой губернии (в зависимости от стоимости земли)». В тех же соображениях «собственной безопасности помещиков» необходимо «немедленное уничтожение всех прав помещичьих над крестьянами, всякого рода оброка и всяких повинностей крестьянина к помещику»[2].

Но если Долгоруков очень рано понял необходимость обеспечения в достаточной мере землею освобождаемого крестьянства и в этом отношении проявил гораздо большую проницательность, чем большинство его класса, он отнюдь не имел в виду, чтоб такая мера была произведена за счет помещиков и в ущерб их землевладельческим интересам. «Крепостное состояние, — рассуждает он, — противно и закону Божию, и здравому правосудию человеческому; крепостные люди имеют неотъемлемое право на полную и немедленную свободу. Это бесспорно. Но, конечно, они вовсе не имеют ни малейшего права на землю помещичью». Поэтому «отчуждение собственности помещичьей в руки крестьянские требует вознаграждения, и вознаграждения действительного, настоящего». Вознаграждение это позволит землевладельцам безболезненно перейти к капиталистическим формам хозяйства. «Так как в России доходы помещичьи основаны или на барщине или на оброке, то необходимо и по закону и по совести, — говорит Долгоруков, — дать помещикам вознаграждение, с помощью коего русские помещики, большею частью не имеющие запасного капитала, могли бы заменить барщину и оброк трудом вольнонаемным, без капитала невозможным»[3].

---

[1] «Правда», т. I, стр. 131—132. La question du servage, p. 8.

[2] «Правда», т. II, стр. 232, 136. Современник, 1858, декабрь (Современные заметки).

[3] «Правда», т. I, стр. 130—131, 104, 136. Ср. Le Véridique, vol. I, № 1, 1862, p. 97.

В проектах Долгорукова вопрос о выкупе является тем краеугольным камнем, из-за которого он рассорился с «либеральной» бюрократией и разошелся с славянофильской общественностью. Выкуп он понимает в совершенно откровенной форме, как выкуп «душ», причем в оценку входит и земля, обрабатываемая крестьянином на себя. За каждого мужчину помещик должен получить 100 рублей серебром (женщины освобождаются бесплатно)[1]. Вопрос о том, как реализовать сумму, необходимую для выкупной операции, обсуждался Долгоруковым во всех подробностях; он был предметом записки, поданной им в ноябре 1858 года, из-за которой и произошел, по-видимому, окончательный разрыв его с деятелями реформы. Долгоруков с его проницательным умом сразу расценил всю невыгоду для помещиков такого «плачевного» паллиатива, каким являлись спроектированные Редакционными комиссиями «временно-обязанные отношения», не обеспечивавшие «настоящего» вознаграждения помещику и создававшие почву для социальных недоразумений в будущем и «кровавых столкновений между двумя сословиями: помещиков и крестьян». «Эти два сословия будут поставлены обязательною работою и прямым платежом оброка в положение ежедневных столкновений, борьбы упорной с невозможностью мирного исхода; вознаграждение будет мнимое, обратится в пуф; помещики будут разорены; неудовольствие умов породит беспорядок, а беспорядок доведет до революции». «Обязанная» работа, как форма труда подневольного, в условиях буржуазного хозяйства помещику невыгодна: «опасно предаваться мечтаньям и воображать себе, что с отменением крепостного состояния помещикам остается какая-либо возможность видеть обязанную работу исполненною хорошо или получать оброк исправно». Наконец, помещики лишены будут фактически возможности взыскивать с крестьян выкупные платежи: и это окончательно превратит «вознаграждение» помещиков в фикцию, «в пуф», в «призрак»; «если сбор этих платежей возложить на самих помещиков, то крестьяне платить будут неисправно, а во многих местах и вовсе платить не будут». «Дать призрак вознаграждения, как хочет Редакционная комиссия, — с негодованием восклицает Долго-

---

[1] «Правда», т. II, стр. 233.

руков, — было бы не что иное, как настоящий грабеж»[1].

Собственный проект Долгорукова заключается в том, чтобы выкуп, и выкуп обязательный и немедленный, взяло на себя правительство и затем, минуя помещиков, взыскивало выкупные платежи с крестьян. Эта система, в конечном итоге, была узаконена и Положением 1861 года, с тем отличием, что выкуп полевых угодий признавался Положением «добровольным» и, как необязательный, откладывался ad infinitum[2].

Вполне оригинальным является предлагаемый Долгоруковым способ реализации выкупной операции. Помимо выпуска облигаций («земских билетов») под залог выкупаемых земель и зачета суммы помещичьего долга (двух мероприятий, принятых также Положением), он настойчиво требует финансирования операции посредством распродажи на 350 миллионов рублей государственных доменов. Он предлагает продать казенные заводы, фабрики, соляные промыслы, рыбные ловли, луговые угодья, леса и проч.; продажа одной Николаевской железной дороги могла бы дать 70—80 миллионов. Эта программа расхищения государственных средств в интересах дворянства испугала, как мы видели, даже сторонников реформ, и Долгорукову было запрещено упоминать о ней в печати. А между тем, по его мнению, «если не производить продажи государственных имуществ, то не может быть и речи о действительном вознаграждении помещиков». Хищническая и разорительная для государства мера была, таким образом, необходима для обеспечения благосостояния бывших душевладельцев[3].

Расчеты с крестьянами Долгоруков возлагает на правительство, так как «посредничество между крестьянами и помещиками» — «священная обязанность» его, и этого требует «здравого понятия политика». Крестьяне могут вносить всю выкупную сумму разом или рассрочить ее на 33 года по 5 руб. в год[4].

«Однажды расплатившись с правительством», крестьянин «делается потомственным владельцем своей усадьбы

---

[1] «Правда» т. I, стр. 134—137, 147. La question du servage, p. 9—10.

[2] На неопределенное время (*лат.*).

[3] «Правда», т. I, стр. 147—149; т. II, стр. 233—234. La question du servage, p. 10.

[4] «Правда», т. I, стр. 147; т. II, стр. 232.

и нарезанного ему участка земли». Согласно своим буржуазным политико-экономическим воззрениям, Долгоруков — противник общины. Он допускает «общинную систему» лишь временно, на 30—35 лет, «доколе община не выплатит всей суммы выкупа»; иначе говоря, ему нужна не община, а круговая порука, возможная лишь при условии общинного устройства. «По уплате же этой суммы можно будет разделить землю окончательно и в полное владение между всеми мужчинами, составляющими в то время общину». Долгоруков в своей крестьянской политике ориентируется, таким образом, на крестьянина-собственника, на крепкого мужика-хуторянина[1].

Освобождение крестьян является в глазах Долгорукова первым шагом к установлению в России буржуазного правового порядка[2]. В этой части своей программы он мало оригинален. Тут фигурируют у него все буржуазные «свободы». В первую очередь требует он для своих сограждан «свободы личной». «Личность каждого русского должна быть, — говорит он, — ограждена от всякого оскорбления и от всякого своевольного заключения в тюрьму. Никто не должен быть арестован иначе как порядком, законом предписанным, с немедленною отдачею под следствие и под суд, смотря по указанию закона». Это — требование Habeas Corpus Act'a[3], весьма неуместное в условиях Российского самодержавия[4]. За «свободою личной» следует буржуазная «неприкосновенность собственности». Естественно, Долгоруков не может примириться с тем, что «царский произвол» «самовольно распоряжается имуществом, личностью своих рабов, в насмешку именуемых подданными». «Имущество каждого русского должно быть неприкосновенно. Он не должен быть лишаем его иначе как по судебному приговору, в случае долгового взыскания, или в случае отчуждения под дорогу, или в случае отчуждения под общественные постройки. В этих двух последних случаях он должен быть *предварительно* вознагражден по цене, им принятой,

---

[1] «Правда», т. II, стр. 132; т. I, стр. 149.

[2] Свою политическую программу Долгоруков изложил особенно подробно в названных выше книгах: «О перемене образа правления» и «Des réformes en Russie».

[3] Букв.: ты должен иметь тело... (начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г. Изд. «Новости»).

[4] О перемене образа правления, стр. 96.

или, в случае его несогласия, судебным порядком определенной». Долгоруков требует «уничтожения конфискаций и секвестров», от которых сам пострадал, как пострадали и другие высокопоставленные эмигранты[1].

Сам в свое время испытавший отказ в заграничном паспорте, Долгоруков настаивает на свободе выезда из России, пребывания за границей на любое время и даже политической экспатриации. В последнем случае, имея, несомненно, в виду свое собственное положение, он требовал «права беспрепятственного перевода состояния своего за границу». Это был ответ на секвестр его имений в России[2]. Точно так же «pro domo sua»[3] звучат и пожелания свободы «развода брачных союзов», «потому что невозможность развода не что иное, как поощрение к распутству». Тут, несомненно, отголосок семейных неурядиц самого автора, для улаживания которых он в свое время обращался даже в III Отделение[4].

Если не сам Долгоруков, то другие представители крупной титулованной знати, такие же князья, как он, лица, с которыми он был тесно связан, испытали на себе гнет религиозной нетерпимости русского правительства. Друг молодости Долгорукова, князь Иван Гагарин, перешедший в католичество и вступивший в иезуитский орден «за то, что последовал своим религиозным убеждениям, лишился состояния, дававшего более 100 000 франков дохода в год... Князь Августин Голицын за то, что крестил своего ребенка по римско-католическому обряду, потерял свое состояние, которое русское правительство имело подлость секвестровать». Ввиду этого Долгоруков уделяет большое внимание вопросу о свободе совести или, как он выражается, «вероисповедания», которая «должна быть полною и совершенною, без малейшего ограничения, потому что в отношении к религиозным верованиям совесть человеческая должна оставаться неприкосновенным святилищем, подлежащим суду лишь единого Бога». Поэтому, по его мнению, «каждый русский или русская, достигшие 21-летнего возраста, должны иметь право переменить веру по своему убеж-

---

[1] О перемене образа правления, стр. 97. «Будущность», № 1. Письмо к Александру II («Правдивый», № 1).

[2] О перемене образа правления, стр. 97.

[3] Букв.: для себя (*лат.*).

[4] О перемене образа правления, стр. 94.

дению». Впрочем, он допускает исключение для «сект противообщественных», т. е. «скопцов и бегунов», потому что, сентенциозно рассуждает он, «никто не должен позволять себе уклоняться от исполнения обязанностей гражданских и соблюдения законов»; очевидно, по тем же соображениям он требует «некоторых ограничений» и для молокан. Особенно внимательно относится Долгоруков к раскольникам (старообрядцам), которым он предлагает предоставить «не только свободу открытого вероисповедания, но и церковную иерархию, ими самими избираемую». Исключительный интерес к расколу объясняется мечтами Долгорукова об использовании раскольнической массы для революционных целей[1].

Не удовлетворяет Долгорукова и положение господствующей православной церкви. «Духовенство, — пишет он, — предано на произвол безусловной прихоти высших пастырей, которые, в свою очередь, преданы на произвол безусловной прихоти правительства». Он и вырабатывает своего рода конституцию, долженствующую, с одной стороны, обеспечить независимость церкви в целом от произвола светской власти, а с другой — оградить низшее духовенство от произвола его духовного начальства. В этих целях он требует, во-первых, преобразования синода: в состав синода входят члены ex officio[2] и по избранию епископата, причем звание члена синода в последнем случае пожизненное; должность обер-прокурора сохраняется, но ему воспрещается входить в дела церковного управления, и роль его ограничивается наблюдением за тем, чтобы синод сам не вступался в дела светские. Над синодом, однако, Долгоруков ставил «Всероссийский собор» из представителей высшей церковной иерархии и депутатов от городского и сельского духовенства, «которому синод отдавал бы отчет в своем управлении». Ту же двойную цель преследует и предлагаемый Долгоруковым порядок избрания епископов из трех кандидатов, представляемых духовенством епархии, удаления с кафедры лишь по суду или по собственному желанию иерарха и перемещения только с

[1] «Правда», т. II, стр. 242, 204—221. О перемене образа правления, стр. 95—99. «Правдивый», № 1. Réformes, p. 203.

[2] По должности, по обязанности, официально *(лат.)*.

согласия духовенства новой епархии и самого перемещаемого[1].

Очень горячим поборником является Долгоруков свободы слова, или, как он выражается, свободы «книгопечатания и журналистики», понимаемой им, впрочем, довольно своеобразно. С одной стороны, он считает, что без нее «все прочие виды свободы всегда останутся лишь призраками»; с другой — он видит в ней средство обуздания революции: «гласное и публичное обсуждение всех вопросов предупреждает подземные ковы и через то содействует сохранению общественного спокойствия». Он, по-видимому, искренно говорил в 1857 году своему кузену, шефу жандармов, что «Панин должен быть истинным другом Герцена и Шнейдера и что, вероятно, он хочет перевести всю литературу в их руки, уничтожая ее в России, потому что цензурные строгости есть услуга, оказываемая русской заграничной торговле». В соответствии с таким взглядом на свободу печати, Долгоруков требует одновременно с отменой предварительной цензуры и «установления с у р о в о г о (разрядка наша. — **С.Б.**) закона против злоупотреблений (печати)» и издания «разумного закона о судебном порядке преследования таковых»[2].

Гарантией действительного осуществления всех перечисленных свобод должен быть реформированный на новых началах суд.

Долгоруков в своих писаниях дает яркую картину дореформенного судопроизводства. «Правосудия, — говорит он, — вовсе нет; надобно пройти через десять инстанций с пачкою кредитных билетов в руке, чтоб встретиться в одиннадцатой инстанции с царским произволом». Он требует суда гласного и открытого с участием адвокатов. «Гласность и публичность судопроизводства, печатание процессов в газетах, присутствие адвокатов» являются важнейшими гарантиями правильности судопроизводства. В целях обеспечения независимо-

---

[1] О духовенстве вообще — «Будущность», № 1; Réformes, ch. IX. «Правда», т. II, стр. 240—241, 188—203. Статья в № 15 «Будущности»: «Журнал «Христианское соединение».

[2] «Правда», т. II, стр. 242, 156—157; Перемена образа правления, стр. 99; «Правдивый», № 1. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. XV, стр. 105.

сти суда от администрации он хочет установить выборность судей. Высшая судебная инстанция в империи — сенат — пополняется по назначению верховной власти, но сенаторы должны пользоваться пожизненной несменяемостью. В основном, в области суда пожелания Долгорукова идут немногим далее чем то, что было осуществлено судебной реформой Александра II[1].

При наличии нового суда — не могут и не должны сохраниться и старые средневековые карательные средства, унизительные для человеческой личности и варварские по своей жестокости. Отмену телесных наказаний «без всякого исключения» Долгоруков ставил всегда во главу своей программы. Он говорит на эту тему с тем большей горячностью, что, как мы видели, считал их фактически не отмененными даже для членов того сословия, к которому он «имел честь» принадлежать. В 1843 году, когда он был арестован, прошел слух, что он сам был подвергнут телесному наказанию в III Отделении, и, хотя это была неправда, но он испытал на себе всю оскорбительность подобного предположения, тем более, что отлично сознавал, что это не было невозможно. По этому вопросу он полемизировал с жаром против сторонников розги из среды либерального дворянства, и его «письмо о розгах кн. Черкасского» дышит самым злым сарказмом[2].

IV

Основу политического строя России Долгоруков видит в широкой децентрализации и развитии самоуправления на местах, которое позволит произвести сокращение числа чиновников и обезвредит деятельность бюрократии. «Страна не может пользоваться истинной свободой, — говорит он, — без муниципальных и общинных учре-

---

[1] «Правда», т. I, гл. II и III. О перемене образа правления, стр. 94—95, 100—105. Ср. замечания по поводу проекта судебной реформы в Le Véridique, № 3, 1863 г., в статье: Chronique des événements intérieurs en Russie de septembre à novembre 1862.

[2] «Правда», т. II, стр. 232; О перемене образа правления, стр. 93; «Правдивый», № 1; «Будущность», № 6 (Письмо о розгах кн. Черкасского), № 7 (О крепостном состоянии, в какое погружено русское дворянство).

ждений». Поэтому он приветствовал земские учреждения, видя в них «богатые зародыши плодотворного развития в будущем»; он был уверен, что «они лягут широкою и твердою основою будущему конституционному порядку вещей»[1]. В его собственной схеме государственного устройства принцип самоуправления пронизывает все местные административные деления, начиная с деревень и кончая областями. Он проектирует разделение России на 25 областей; «каждая область разделялась бы на уезды; каждый уезд на несколько волостей; каждая волость — на несколько общин». Наиболее мелкой самоуправляющейся единицей является таким образом деревенская община, в которой «все... начальники должны подлежать выбору»[2]. В каждой общине был бы общинный староста и, для содействия ему в управлении, общинный совет из трех-четырех или пяти членов, также общинный суд из четырех или пяти членов; все эти должностные лица «были бы избираемы на срок всеми жителями общины». Так же организуется и волость, тут тоже «волостной староста, равно как и члены волостного совета и волостного суда были бы избираемы на срок волостным сходом». На тех же основаниях в городах и посадах должны быть учреждены должности старост, советы (в городах по 6—7 членов, в посадах по 3—4 члена) и городские (посадские) суды «из большего или меньшего числа членов, смотря по народонаселению города»[3]. Более крупной единицей являлся бы уезд, во главе которого стоит «уездный начальник», в помощь которому избирается «уездный совет» из 10 или 12 членов, имеющий, впрочем, «лишь голос совещательный и право обращать внимание как губернатора области, так и областного сейма на все, что может споспешествовать благосостоянию уезда»; кроме того в уезде намечается «уездный суд» для дел уголовных и «земский суд» для дел гражданских по искам менее 300 руб.; все должностные лица уезда должны избираться каждые три года «уездным сходом», которому, «сверх того следовало бы предоставить... право избрания членов в Областной сейм и во Всероссийскую думу земскую»[4].

---

[1] «Листок», № 18. Réformes, p. 139.

[2] «Правда», т. II, стр. 235. О перемене образа правления, стр. 74—75. Réformes, ch. V.

[3] О перемене образа правления, стр. 76. Réformes, ch. V.

[4] О перемене образа правления, стр. 77—78. Réformes, ch. V; «Правда», т. II, стр. 12.

«Области» проектировались в размерах больших, чем существовавшие со времени Екатерины II губернии. Какого-либо общего принципа областного деления у Долгорукова нет. Прежние губернии объединяются в области, во-первых, по принципу национальному: так, прибалтийские губернии могли бы составить Остзейскую область, губернии литовские — область Литовскую, губернии белорусские — Белоруссию, губернии Киевская, Полтавская, Черниговская, Харьковская, Волынская и Подольская — Малороссийскую область, губернии Рязанская, Тульская, Орловская и Курская — Великороссийскую; Кавказ образует область Кавказскую. Во-вторых, принимается во внимание «чрезмерная обширность» территории (область Архангельская), и совершенно особенные условия местные (области Пермская, Оренбургская, Астраханская, Войска Донского); область Новороссийская, в состав которой входят также Крым и Бессарабия, Сибирь западная и Сибирь восточная тоже «могли бы составить каждая особую область». Остальные губернии механически объединяются с соседними. Московская и Петербургская губернии выделяются в особые области, как «столичные», «потому что присоединение (к ним) провинциальных губерний замедлит и даже, может быть, вовсе не допустит развития... в последних провинциальной самостоятельности»[1].

Во главе области должны стать губернатор и вице-губернатор, «назначаемые правительством», и «Областной сейм» в составе «смотря по народонаселению области» от 30 до 150 членов, орган совещательный, но имеющий право контроля над действиями областной администрации, законодательной инициативы в вопросах, касающихся области, и рассмотрения «областной приходо-расходной росписи» (бюджета). Областному же сейму довольно непоследовательно Долгоруков предоставляет «право принимать с согласия губернатора, а в случае несогласия губернатора — с разрешения совета министров, все те нужные меры, которые, не нарушая единства империи и общего ее законодательства, относятся лишь к той области».

Наконец, Областной сейм избирает членов Областного совета, Областной уголовной палаты и Областной

---

[1] О перемене образа правления, стр. 71—73.

гражданской палаты, а также кандидатов в Боярскую думу. Областной совет должен состоять из 25—30 членов, избираемых сеймом на три года; в нем под председательством губернатора «были бы сосредоточены все административно-хозяйственные дела губернии, до тех пор заведовавшиеся учреждениями смешанного сословно-чиновнического состава; Областной совет отчитывался бы перед Областным сеймом[1].

Такова общая схема местного управления по Долгорукову. Характерной чертой его является стремление заменить бюрократические и сословные учреждения — выборными. Однако (и это очень характерно для нашего автора), за коронной администрацией (губернатор, вице-губернатор) сохраняется довольно значительная власть; так, разрешение разногласий между уездным начальником и уездной сходкой имеется в виду предоставить губернатору области.

Система, на которой Долгоруков думает построить выборы в местные учреждения, — типично буржуазная. Исходной точкой является для него принцип, согласно которому «для осуществления какого-либо права человек нуждается в двух качествах — в известном умственном развитии и в некоторой независимости положения». Избирательное право он предоставляет всем жителям округа «без всякого различия происхождения и без всякого различия вероисповедания», но к выборам допускаются лишь лица, «достигнувшие двадцати одного года». Впрочем, против повышения возрастного ценза до 25 лет, установленного Положением о земских учреждениях, он впоследствии громко протестовал. Вторым условием участия в выборах является для Долгорукова обладание необходимым для «независимости положения» имущественным цензом, который им определяется владением усадьбою, занимающею не менее 500 квадратных сажени или шестью десятинами земли удобной, или лавкою, или промышленным заведением, оцененным в определенную сумму (но «самое большее в 1 000 руб.»). Устанавливая ценз, Долгоруков, однако, признавал, что «можно не иметь ни земли, ни дома в городе, ни капитала и быть человеком весьма даровитым: Грановский, Гоголь, Бе-

---

[1] О перемене образа правления, стр. 78—81; Réformes, ch. VI («De l'organisation des provinces»).

линский, Добролюбов, Помяловский не имели ни земли, ни дома; Пушкин, имея своих родителей в живых, не владел ни землею, ни домом; Сперанский в первые годы своей службы жил одним жалованьем и т. д.». Поэтому в своих проектах он делал исключение для некоторых категорий лиц, которые допускались «к безусловной подаче голосов» вне зависимости от ценза; сюда входят профессора, учителя, медики, адвокаты, все окончившие университеты и другие высшие и средние учебные заведения, офицеры, георгиевские кавалеры, духовенство и «все занимающие несколько значительные должности по гражданскому ведомству». В общем итоге избирательные права предоставлялись собственникам и интеллигенции[1].

При такой системе приходилось особо ставить вопрос о политических правах общин, поскольку они сохранялись до окончания выкупа. Долгоруков разрешал его тем, что вводил в состав уездной сходки «определенное число депутатов, избранных сельскими общинами»; во избежание, однако, слишком большого влияния общинного крестьянства на состав Областного сейма, он предоставляет участие в выборах в сейм лишь «одной трети депутатов сельских общин». Эта система двух- и даже трехстепенного представительства крестьян-общинников до известной степени совпадает с той, которая была усвоена Положением о земских учреждениях 1864 года и позже Положением о Государственной думе[2].

Все сказанное об избирательной системе Долгорукова касается права активного участия в выборах. Право пассивное регулируется иными требованиями. Право избрания в члены областного сейма и Земской думы он считал «справедливым» предоставить «всякому русскому подданному», безразлично «владеет ли он каким-нибудь состоянием или нет»; но вместе с тем он повышает возрастной ценз для избрания до 25 лет, а в Боярскую думу — даже до 35—40 лет.

По мнению Долгорукова, выработанная им схема «отдельного областного управления» должна удовлетворять вполне всем стремлениям отдельных частей импе-

---

[1] О перемене образа правления, стр. 74—75; Réformes, p. 148—149; «Листок», № 18.

[2] «Правда о России», т. 11, стр. 235—236. О перемене образа правления, стр. 81, 83.

рии к самостоятельному национальному существованию и прекратить все сепаратистские тенденции, существующие в губерниях с населением, не принадлежащим к господствующему великорусскому племени. Он с полным сочувствием относится к «желанию весьма естественному в жителях малороссийских губерний изучать свое местное наречие, говорить и писать на нем, усовершенствовать его литературную обработку... одеться в платье местного покроя» и готов предоставить право на областных сеймах Остзейской области говорить на немецком языке, Литовской области — на литовском, Малороссийской — на украинском, Белорусской — на белорусском, но на остальных сеймах он требует употребления русского языка, и «само собой разумеется, что и в Думе земской и в Думе боярской не должно быть произносимо речей на ином языке, как на русском». Но с предоставлением этих льгот национальным меньшинствам всякие дальнейшие сепаратистские тенденции Долгоруков считает возможным прекращать силой. Если даже после установления конституционной формы правления отдельные области «захотят отделиться, тогда государь и обе думы имели бы уже полное право прибегнуть к оружию для сохранения единства России»[1]. Относительно Польши Долгоруков считает необходимым предоставить ей совершенно самостоятельное существование, потому что «соединение с Царством Польским не только не полезно России, но еще положительно вредно». Восстановление польской конституции «дарованной Александром I и бесчестно отнятой Николаем», по его мнению, является «вопросом чести» для Александра II. Но он горячо протестует против присоединения к Польше исконно русских областей и считает нелепостью «уступить полякам все, что они требуют в противность справедливости, истории и этнографии». «Нам совершенно безразлично», говорит он, «видеть отделение от России Царства Польского в границах 1815 года, но одна мысль отказаться с легким сердцем от трети нашей страны и отодвинуть границы до Пскова, Смоленска, Калуги и Курска обливает наше сердце кровью. Мы не настолько философы в деле па-

---

[1] О перемене образа правления, стр. 87—88, 110—120; «Листок» № 20.

триотизма»[1]. В отношении Финляндии он сторонник соблюдения автономии и сеймовой конституции[2].

Здание местного управления увенчивает всероссийское «народное» представительство[3]. Долгоруков в этом вопросе держится двухпалатной системы. Предпочтение именно двухпалатной системы со стороны титулованного публициста не требует особых пояснений после того, что уже сказано о личности и идеологии «князя-республиканца». «Необходимость существования двух палат, — говорит он, — и опасность иметь одну только палату — истина, бесспорно доказанная опытом всех стран, как монархических-конституционных, так и республиканских. Всякая палата — собрание людей, а собрание людей всегда может быть увлечено к необдуманному проступку под влиянием обстоятельств, часто временных и скоро преходящих, но имеющих сильное влияние на страсти человеческие. Чтоб необдуманный поступок не

---

[1] Réformes, p. 44; «Будущность», № 23.

[2] Недостаток места не позволяет подробнее остановиться на отношении Долгорукова к Польше и Финляндии. Польскому вопросу Долгоруков посвятил специальную брошюру: «La question Russo-polonaise et le budjet Russe», (Leipzig, 1860) и ряд статей в своих журналах: «О нынешних событиях в Царстве Польском» («Будущность», «Третий лист Великорусса» (там же, № 23). «Польша и Украина» (там же, № 25), «О прокламациях русским Польского Нар. Центр. Комитета» («Листок», № 1), «Что видим мы в Польше?» (там же, № 6), «Несколько слов о нынешнем положении дел в России» (там же, № 10, № 17); «De l'état de choses en Pologne» (Le Véridique, vol. II, № 4, 1863), «L'insurrection polonaise» (там же, № 5, стр. 123—184 и приложение, стр. 185—189). См. также Réformes, p. 37—50. О Финляндии: «Конституция вел. княжества Финляндского» («Будущность», № 13). «Несколько слов о нынешнем положении дел в России» («Листок», № 10). «О нынешнем положении дел» (там же, № 20; Réformes, p. 52—56). Необходимо отметить, что позиция Долгорукова в польском вопросе не удовлетворяла поляков; со своей стороны и он допускал весьма резкие выступления в отношении их; отсюда ряд столкновений, принимавших с обеих сторон порою очень грубый характер (Полн. собр. соч. Герцена, т. XVI, стр. 147—149, т. XVII, стр. 309—310).

[3] В ряде своих сочинений Долгоруков горячо полемизирует с мнением, будто Россия недостаточно подготовлена для конституционного режима (см. например, О перемене образа правления, стр. 13—16). В 1862 г. по этому поводу у него разгорелась чрезвычайно резкая полемика с «безымянной книжонкой, пошлой и подленькой» Кавелина: «Дворянство и освобождение крестьян» («Правдивый», № 3. Статья «О новых русских книгах»). См. Невский Альманах, вып. 1, Петроград, 1917. стр. 62, 67.

обратился в закон, весьма полезно, чтобы проекты законов обсуждаемы были двумя различными палатами, одною после другой». Характерно для стремления Долгорукова оградить будущее «народное» представительство от всяких «необдуманных поступков» — рекомендация им «весьма достойного подражания английскому обычаю, по коему каждый закон (билль) баллотируется в каждой палате по три раза», чем гарантируется «широкий простор зрелой обдуманности и глубокомысленному обсуждению законодательных вопросов»[1].

В соответствии с высказанными им взглядами, Долгоруков намечает две палаты: «Думу Земскую» и «Думу Боярскую». Дума Земская проектируется в составе 600—650 членов, переизбираться она должна каждые 3—4 года. Выборы, как сказано выше, производятся в уездных сходках, выборным правом пользуются собственники и представители интеллигентных профессий, к числу которых он относит и духовенство; право избрания ограничивается только высоким возрастным цензом. Члены Земской Думы пользуются личной неприкосновенностью во время исполнения ими их обязанностей. К функциям Земской Думы относится в первую очередь — утверждение бюджета; в этом вопросе она, по образцу английской палаты общин, является окончательной инстанцией и не разделяет своих прав с Думой Боярской: «во всякой благоустроенной стране, — говорит по этому поводу Долгоруков, — бюджет вотируется народом, который оплачивает его, и расходуется под контролем страны; между тем истинными представителями страны являются члены Земской Думы»[2]. В случае конфликта с правительством по этому вопросу, оно имеет право распустить палату и объявить новые выборы. Другой функции, которую Земская Дума несет всецело на себе и не разделяет с Боярской Думой, — является разрешение конфликтов между министерством и областными сеймами.

Законодательные свои функции (утверждение законов, вносимых правительством, и право законодательной инициативы) Земская Дума разделяет с Думой Боярской. Точно так же разделяет она с нею право привлечения к

---

[1] О перемене образа правления, стр. 59—60. «Правда», т. II, стр. 253.
[2] Réformes, p. 177.

уголовной ответственности министров за «противозаконные» действия, — довольно примитивная форма, в какой мыслится Долгоруковым ответственность министров.

Нет необходимости подробнее останавливаться на Земской Думе Долгорукова — она ничем существенным не отличается от обычного типа буржуазного представительного собрания, и в основном списана с английской палаты общин. Нельзя не отметить, что система выборов имеет некоторые общие черты с той, которая существовала после 1905 года при выборах в Государственную Думу (представительство собственнических классов и интеллигенции).

Гораздо характернее для идеологии Долгорукова проектируемая им конструкция Боярской Думы, соответствующей английской палате лордов. По своему происхождению, по всему укладу мышления — Долгоруков не мог не сочувствовать великобританской потомственной пэрии, «этому учреждению, служащему в одно и то же время преградой к безурядице масс и самовластию правительства»[1].

Но разрыв, происшедший между ним и русской знатью, не позволял ему механически перенести на русскую почву принципы английского майората. Он прямо ставит вопрос так, что в России нет элементов, из которых можно было бы создать наследственную пэрию. «В России, — говорит он, — есть много людей почтенных и заслуженных; некоторые из них обладают значительным состоянием, что для наследственной пэрии не только представляет серьезное преимущество, но является даже необходимым условием. Тем не менее, люди эти не составляют окружения двора; они не создание всемогущей камарильи; поэтому не на них пал бы выбор правительства, которое бы в этом случае возвело в звание потомственных пэров членов Государственного совета, главнокомандующих, сенаторов, сановников двора, флигель-адъютантов императора, его камергеров и т. д. Длительное рабство положило препятствие... созданию в России аристократии; в Петербурге имеются только рабы, и выбор правительства может пасть только на фаворитов из числа этих рабов, на титулованных холопов в мунди-

[1] «Правда», т. I, стр. 180.

рах непосредственного его окружения»[1]. С другой стороны, делать звание «бояр» выборным Долгоруков тоже не хочет, и он останавливается на компромиссе. Звание «боярина» не должно быть наследственным, но оно — пожизненное (несменяемая палата). Комплектоваться состав Боярской Думы («числом, примерно, до 500») должен из числа «только тех людей, которые владеют имуществом, законом установленным» и достигших 35—40-летнего возраста. Порядок комплектования двоякий: половину членов назначает государь, а другую половину избирает Земская Дума из кандидатов, представленных Областными сеймами, — порядок, отчасти напоминающий систему выборов в Государственный совет после 1905 года (члены от правительства и от земств). Затем в Боярскую Думу входят наследник престола и все великие князья, образующие разряд «бояр по праву рождения». Наконец, по образцу палаты лордов, в ней должны заседать и церковные магнаты («бояре духовные»), назначаемые пожизненно правительством. Наряду с духовенством православным (15—20 чел.) и духовенством других христианских вероисповеданий — римско-католическим, лютеранским и старообрядческим (по 4—5 чел.), предусматривалось введение в состав Боярской думы и одного-двух еврейских раввинов и стольких же мусульманских мулл. В общем итоге, по мнению Долгорукова, «все русские знаменитости по всем поприщам без исключения могли бы на будущее время иметь доступ в Думу Боярскую или по назначению царскому, или, что гораздо более лестно, по выбору Думы Земской», и в этом учреждении сосредоточились бы «все те личности, которые своим умом и характером своим заслуживали всеобщее уважение». Невольно возникает мысль, что самого себя Долгоруков предназначал на это почетное положение и мечтал уже видеть себя «облеченным в звание боярское». Функции Боярской Думы те же, что и Земской, за исключением указанных двух пунктов, о которых сказано выше (бюджет и конфликты администрации с областными сеймами)[2].

Остается вопрос о взаимных отношениях между вер-

---

[1] Réformes, p. 185—186. «Правда», т. II, стр. 253—257.

[2] Об организации Земской и Боярской Думы, см. «Правда», т.II, стр. 257—259; Réformes, ch. VII; О перемене образа правления, стр. 59—93.

ховной властью и народным представительством, как его понимал Долгоруков. «Происхождение династии и способ, каким она достигла престола» не должны были внушать ему чувств пиетета перед носителями царского венца, а «если вспомнить безумное тиранство сумасшедшего Павла, фельдфебельское тиранство Аракчеева и полусистематическое, полусумасшедшее тиранство Незабвенного, то легко будет понять, почему русские дворяне не могут питать к государям своим чувств французского монархиста или английского роялиста эпохи Стюартов»[1]. Долгоруков неоднократно позволял себе чрезвычайно едкие насмешки над «монголо-немецкой» «Голштейн-Готторпской» династией, и, тем не менее, какие-то пережитки, унаследованные от вековой вассальной службы предков московским сеньорам продолжали бессознательно тяготеть над его политической мыслью, не позволяя порвать с традиционным феодальным преклонением перед верховной властью как таковой. Рассуждая о возможности революции, он выражает заботу о личной безопасности царской семьи[2]. Членам императорской фамилии он готов предоставить привилегированное положение в новой конституционной России: право заседать в Боярской Думе, изъятие из общей подсудности[3]. Нас не должно поэтому удивлять, если Долгоруков весьма внимательно оберегает прерогативы короны от возможных притязаний «представителей народа». «Государь, — пишет он, — не должен подлежать никакой ответственности; особа его должна быть неприкосновенною и священною; вся ответственность лежит на его министрах, без скрепы которых ни один указ государя не имеет законной силы и не подлежит исполнению; государю присвояются следующие права: назначение и смена всех чиновников и служащих лиц, назначение пожизненных членов Боярской думы, Верховного уголовного суда и сената; верховное начальство над всеми военными силами, руководство всей внешней политикой: объявление войны, заключение мира, заключение договоров (единственным ограничением является требование утверждения торговых трактатов и статей, связанных с расходом,

---

[1] Réformes, p. 71; «Правда», т. I, стр. 213.
[2] О перемене образа правления, стр. 213.
[3] Там же, стр. 89—90, 94.

Земской Думой); смягчение судебных приговоров и помилование осужденных и, наконец, «раздача орденов и всяких знаков отличий». Государю предоставляется распускать «по своему благоусмотрению» как Земскую Думу, так и областные сеймы, под условием немедленного назначения новых выборов; за ним сохранялось право «veto». Впрочем, в одном вопросе Долгоруков был неумолим — в вопросе о содержании царского двора. Безмерность этих расходов он неоднократно подвергал самой резкой критике в своих публицистических произведениях; он придавал поэтому большое значение тому, чтобы «суммы, которые предоставлены будут государю на его придворные расходы» и на «содержание» членов императорской фамилии назначались Земской Думой»[1].

Говоря о прерогативах короны, надо, однако, иметь в виду, что Долгоруков рассуждал отвлеченно и имел в виду не обязательно Голштейн-Готторпскую династию, в способность которой перейти к конституционным приемам управления он не верил. Он предусматривает возможность таких обстоятельств, когда «безопасность отечества непременно требует перемены династии, возведения на престол династии новой, которая уже не могла бы мечтать, что ее подданные принадлежат ей, а понимала бы, что в наш век государи должны принадлежать подданным и должны свято охранять права подданных своих»[2]. Недоброжелатели Долгорукова намекали, что он сам втайне считал себя претендентом на престол мономаховичей. Это, вероятно, злая сплетня, но, во всяком случае, оставаясь в принципе монархистом, к этой новой возможной династии Долгоруков далеко не относился с тем недоверием, которое внушала ему царствовавшая династия.

Таковы основные черты выработанной Долгоруковым конституции.

Легко усмотреть, что вообще вся система народного представительства, проектируемая Долгоруковым, имеет целью обеспечить его умеренность. «Обе Думы должны заключать в себе представителей всех сил страны, и сил нравственных и сил вещественных, взаимное содействие

[1] О перемене образа правления, стр. 88—90, 92—93.
[2] Там же, стр. 94.

коих друг другу служит основою **общественному порядку** (разрядка наша. — **С.Б.**) и благоденствию общественному»[1]. Выработанные им принципы политического устройства России должны, по мысли Долгорукова, лечь в основание особого «Всероссийского устава государственной свободы» или «Всероссийского Государственного устава», изменение которого Думами обставляется ими значительной сложностью[2].

В общем нельзя не согласиться с отзывом Н. А. Белоголового, что программа Долгорукова «в то возбужденное время не могла не казаться слишком пресной и бесцветной»[3]. Но он сумел воплотить в ней живые политические чаяния, дальше которых не шли ни обуржуазившаяся часть дворянства, ни нарождавшаяся крупная буржуазия, и очень долго его программа оставалась для этих кругов русского общества крайним пределом политического вольнодумства.

Свои общие политические представления Долгоруков неоднократно пытался обосновать исторически. Русскую историю он знал, интересовался ею с ранних лет и имел в своих руках большое собрание ценных и малоизвестных исторических материалов. Созданная им историческая концепция разрывает с официальной традицией Карамзина; по существу, это типичная либерально-буржуазная концепция, напоминающая исторические представления декабристов. Можно даже догадываться, что на нее оказали непосредственное влияние исторические схемы Фонвизина и Николая Тургенева, с которыми Долгоруков познакомился еще в начале 40-х годов. Вся русская история представляется ему в виде последовательной борьбы между началом свободы и деспотизмом, между стремлением к гражданскому равенству и сословной исключительностью; весь исторический процесс мыслится им как приближение к высшей цели, каковой являются буржуазные «свободы». В начале русской истории «700 лет тому назад народ русский пользовался свободою гораздо более значительной, чем какою пользовались народы европейские, подчиненные тяжкому игу феодализма». До 862 года общественный строй восточных славян был

---

[1] О перемене образа правления, стр. 84.
[2] «Правда», т. II, стр. 259, «Будущность», № 24.
[3] Н. А. Белоголовый. Воспоминания, стр. 123.

«полупатриархальный» и «полуреспубликанский», представляющий полную аналогию с позднейшим «миром»; «не было никакого различия в правах сельского жителя и горожанина, все должности, даже высшие, замещались прямым избранием, которое производилось на вече; на вече же обсуждались общественные дела и принимались постановления, касавшиеся нужд и интересов города и его области». Такова политическая идиллия древнейших славян. С призванием варягов дело меняется. До тех пор «звание князя было выборное и означало не государя, а военачальника»; теперь оно стало наследственным, и вскоре «новгородцы увидели, что защитник, призванный ими для обороны, дерзновенно посягает на их права». В старых городах вече сохранило, однако, свою силу; наоборот, новые города, основанные князьями, оказываются в полном у них подчинении. «Под влиянием татарского ига форма правления приняла характер самого абсолютного и варварского деспотизма». Татарское иго «приучило представителей власти, особенно русских государей, смотреть на народ, как на стадо, которым они имели полное право свободно и безотчетно распоряжаться». Таким образом, политическая идиллия, нарушенная в 862 году установлением монархии, была уничтожена совершенно благодаря татарскому нашествию. Социальная идиллия еще продолжалась: «До XV в. не существовало в России сословий. Все должности были доступны всем: самые высокие звания, даже боярство, не были наследственными. Существовали семьи, которые благодаря заслугам их членов или благодаря богатству, или благодаря счастливому стечению обстоятельств удерживались в течение ряда поколений в высших государственных должностях, но это была аристократия в высшей степени подвижная, носившая исключительно личный характер, без наследственных привилегий, вроде той, которую видим в Швейцарских кантонах. Земледельцы пользовались свободой перехода... Рабов не было, кроме военнопленных и людей, которые, не имея средств к существованию, выбирали доброго и гуманного человека и отдавались ему добровольно в рабы, чтобы получать у него помещение, одежду и пищу»[1].

---

[1] «Правда», стр. 169—170. Réformes, p. 122, 221—222, 228—229. La question du servage, p. 4.

Но и эта идиллия подверглась изменению, после того как московские князья при помощи татар сосредоточили в своих руках единодержавие, прикрепили к службе служилых людей и в угоду им установили крепостное право на сельское население. «Россия сделалась страною рабства и осталась ею до наших дней. Крестьяне были рабами помещиков, помещики — рабами царя, все сословия превратились в холопов; стали служить не отечеству, а прихоти царя и прихоти начальников; убеждения заменены были розгами, плеть заменила совесть, кнут заступил место чести»[1].

Во время смуты была сделана попытка положить предел царскому абсолютизму. При избрании Михаила Федоровича он должен был присягнуть исполнять конституцию и управлять совместно с земским собором[2]. Согласно этой конституции государь не имел права устанавливать новые законы, объявлять войну, заключать мирные договоры и подписывать указы без предварительного согласия «думы боярской» и «думы земской». Филарет Никитич по возвращении из плена ценою окончательного закрепощения крестьян привлек на свою сторону среднее дворянство и восстановил самодержавие[3]. Избирательную грамоту 1613 года он велел «истребить» и написать новую, «в коей вовсе не упоминалось об ограничении власти». Новая попытка ограничить верховную власть была сделана в 1730 году и окончилась неудачей вследствие узких олигархических тенденций верховников. Вопрос о конституции всплывал и при Екатерине II; ради нее пошли в Сибирь «мученики 14-го декабря». Таким образом, начиная с 1613 года, он видит во всем ходе русской истории ряд сменяющихся попыток подойти к разрешению вопроса о конституции, попыток, оканчивавшихся неудачно вследствие антагонизма отдельных сословий и отсутствия политического чутья и такта у господствующего класса.

Какими средствами думает сам Долгоруков добиться

---

[1] О перемене образа правления, стр. 38—39.

[2] Впервые печатно Долгоруков изложил эти события в «Notice» в 1843 г. (стр. 30—31); впоследствии он часто возвращался к этому вопросу, считая его чрезвычайно важным с принципиальной точки зрения. Легко заметить, что «конституция» Михаила Федоровича с ее двухпалатной системой сильно модернизирована.

[3] «Правда», т. I, стр. 198. Réformes, p. 72—73.

намечаемых им реформ? Революции он боится и не хочет.

Наилучшим выходом было бы, если бы сам Александр II даровал конституцию, но Долгоруков отлично понимает, что на это рассчитывать нельзя. Тогда — неизбежна революция в форме дворцового переворота или военного пронунциаменто, или банкротство, возможно, заставит «правительство, теснимое напором вопроса польского и других обстоятельств, а внутри обессиленное безденежьем» — «прибегнуть к помощи подданных, к помощи земства». Долгоруков не предвидит или, вернее, боится предвидеть возможность выступления масс. Действовать должны господствующие классы, в крайнем случае — армия; со стороны «народных масс» можно допустить «деятельное сочувствие», но нельзя упускать из рук инициативу. Если уже необходима революция — то наиболее безболезненной и, следовательно, наиболее желательной формой переворота является для Долгорукова старый, испытанный дворянский способ XVIII века: «заговор в столице, при участии умной, благонамеренной, отчизнолюбивой части гвардейцев», как имело место в Швеции в 1809 году. Иначе говоря, повторение опыта декабристов[1]. Но 14 декабря потерпело неудачу вследствие отсутствия «деятельного сочувствия народных масс». Поэтому перевороту должна предшествовать большая подготовительная работа, которую Долгоруков тоже мыслит в формах, не далеко опережающих декабристскую практику. В основу им кладется «учреждение в России тайных обществ». Он проектирует образование тайных обществ в каждой губернии, в каждой военной дивизии, в каждой флотской эскадре. Вся организация возглавляется центральною думою из 7—10 человек; каждое общество сносится с нею «через двух или трех из среды своей избранных вождей». Это в сущности повторение опыта декабристской организации, только в более законспирированной форме[2]. Но Долгоруков — и в этом, несомненно, значительный шаг вперед против декабристов — на их примере убедился, что нельзя замыкать движение в рамки законспирированных тайных обществ. Необходимо подготовить «сочувствие» более широких

---

[1] О перемене образа правления, стр. 120—121.
[2] Там же, стр. 128—129.

кругов. Он горячо призывает «молодых офицеров, цвет и надежду русской армии» принять участие в революционной работе и рекомендует им вести пропаганду среди «подчиненных им солдат»: «Особенно полезны при этом могут быть унтер-офицеры и ефрейторы как наиболее близкие к солдатам и имеющие влияние в войске». «Наивны Гольштейн-Готторпы, — пишет он с задором, — если они думают свековать при своих штыках и пушках. Не все же военные будут олухами, как были по сию пору, поймут же они, наконец, свою пользу и еще более пользу дорогой своей родины»[1]. Большое значение придавал Долгоруков раскольникам, «потому что раскол, будучи тайным обществом, воспитал в них все качества заговорщиков» и по связям, которые они имеют по всей России. В них он видит большую революционную силу, на них возлагает большие надежды. Как историк, он любил вспоминать о роли раскола в Пугачевщине и предполагал со стороны его приверженцев восстание в случае неудачной войны. В бытность за границей, он стремился установить связи с старообрядцами, вступал в сношения с белокриницким митрополитом Кириллом и атаманом некрасовцев Гончаром. «Вооружайтесь, ваше преосвященство, — писал он Кириллу, — против нашего и Вашего врага»[2].

Одним из главных средств организованной борьбы за конституцию является в глазах Долгорукова широкая пропаганда посредством печати. В этих целях он «убедительнейше» приглашает «друзей свободы заводить в России тайные типографии»[3]. В первую очередь пропаганда должна быть направлена к дискредитированию правящих кругов. «Пусть друзья свободы, — говорит он, — по всей России всеми силами выставляют окружающих государя, зловредную дворню царскую, в ее настоящем виде, виде подлом и презренном... Оно тем необходимее, что едва ли Александр Николаевич добровольно расстанется с окружающею его сволочью»[4].

---

[1] О перемене образа правления, стр. 125—127, 129. «Будущность», № 24.

[2] Там же, стр. 129. Полн. собр. соч. Герцена, т. XIV, стр. 623—633, т. XVI, стр. 169.

[3] Там же, стр. 127—128.

[4] Там же, стр. 128.

Эту последнюю область деятельности — печатную пропаганду, в частности разоблачение «царской дворни», Долгоруков и взял на себя, когда выехал из России и попал в условия для того благоприятные.

V

Первые годы своего пребывания в эмиграции, с 1860 по 1864 год, Долгоруков всецело посвятил себя публицистике.

Страстный и темпераментный, не стеснявшийся в средствах, Долгоруков развивал бешеную пропаганду своих идей. Одну и ту же книгу он издавал на французском языке, переводил на русский язык, переиздавал, печатал статьи, выпускал их отдельными брошюрами и в каждом своем печатном произведении уже грозил выпуском какого-нибудь нового издания, сообщал о ходе своих очередных работ, об имеющихся в его распоряжении сенсационных материалах, торопился, проявляя лихорадочную деятельность, не боясь беспрестанных повторений, упоенный мыслью о страхе, который он думал внушать в Петербурге. А в Петербурге его действительно боялись не тем сосредоточенным и почтительным страхом, который вызывал Герцен, а тем страхом, который почтенное и приличное мещанство испытывает перед озорством хулигана.

В своей публицистической деятельности Долгоруков не мог не попытаться использовать своим орудием периодическую прессу. Успех «Колокола» побудил его тотчас по приезде в Париж, приступить к изданию собственного органа, который бы был для него такой же трибуной для проведения его политических идей, каким был «Колокол» для Герцена и Огарева. В 1860 году Долгоруков вступил в соглашение с владельцем книжного магазина А. Франка в Лейпциге Фивегом на предмет издания под его, Долгорукова, редакцией «русского листка», которому было присвоено заглавие «Будущность» (L'Avenir). Первый номер вышел 15 сентября и заключал в себе краткое изложение программы журнала. Это — обычная умеренно-либеральная программа Долгорукова, с конституцией в виде краеугольного камня. «Будущность»

просуществовала 15 месяцев; за это время сменился издатель, так как Фивег в 1861 году продал магазин. С новым владельцем, Герольдом, у Долгорукова начались недоразумения. По его словам, новый владелец потребовал от него изменения направления журнала, «неприятного русскому правительству». Долгоруков отказался, и после № 25 (31 декабря 1861 года) «Будущность» прекратила свое существование. 24 февраля 1862 года Долгоруков уже заключил договор с лейпцигским издателем Вольфгангом Гергардом о редактировании нового журнала, под заглавием «Правдивый» (Véridique), первый номер которого вышел 27 марта 1862 года. В предуведомлении читатели оповещались, что «Правдивый» будет продолжением «Будущности» — с прежним «монархически-конституционным» направлением. Поэтому русскому правительству и новый журнал должен был быть «неприятен», и издание его оборвалось на № 6 — 12 июля 1862 года. В этом номере было помещено за подписью Гергарда примечание следующего содержания: «Князь Петр Долгоруков не хочет подчиниться законам книгопечатания и потому более не участвует в издании «Правдивого». Одновременно объявлялось, что журнал будет продолжаться под заглавием «Правдолюбивый» в духе «конституционных и либеральных стремлений».

Долгоруков со своей стороны печатно заявил, что уход его из редакции был вызван попыткой Гергарда «цензуровать» его статьи и очень прозрачно намекал, что перемена фронта у Гергарда явилась результатом посещения русского консула Томгаве и денежной сделки. Гергард действительно придал своему «Правдолюбивому» направление, угодное русскому правительству. Первый номер, вышедший без Долгоруковской редакции, нарочито подражал «Правдивому» в подборе статей, но содержание их было значительно смягчено, и из нападок на русское правительство заботливо выгораживалась личность Александра II, которого осыпали довольно неловкими комплиментами; в дальнейшем он все более принимал аполитичный характер, помещая лишенные политической остроты известия, исторические документы, проект университетского устава, корреспонденции с курортов и т. п. В нем, по ироническому замечанию Долгорукова, «сообщаются России весьма любопытные для нее известия о том, что в Бадене погода теплая, а в Швейцарии холодная, и виноград кисел». Своему «Правдолюби-

вому» Гергард присвоил в виде подзаголовка прежнее название «Правдивый» — Véridique — что показывает, что Долгоруковский журнал имел свой круг читателей, которых он не хотел упускать. Долгоруков энергично протестовал против такой «лжи и мошенства». Одновременно он переселился в Брюссель, где стал издавать на французском языке свой собственный «Véridique», превратив его в небольшой толстый журнал, первый номер которого вышел уже в августе того же 1862 года. В Брюсселе же он завел новое издание типа «Будущности» и «Правдивого» — «Листок», первый номер которого вышел в ноябре. «Листок» всецело принадлежал Долгорукову и печатался им в собственной типографии. Когда весною 1863 года Долгорукову пришлось перебираться в Лондон, он перенес туда издание «Листка» (с № 6, в мае 1863 года). Всего вышло 22 номера «Листка»; последний был от 28 июля 1865 года.

Из сказанного видно, что все три издания представляют собою в сущности один и тот же журнал, менявший лишь заглавие. И по содержанию, и по программе они являются единым целым. Нельзя сказать, чтобы содержание было особенно разнообразно: корреспонденции из России о злоупотреблениях администрации, полемика с русскими публицистами, занимавшими более правую позицию (Кошелевым, Кавелиным, Безобразовым), материалы по декабристам, статьи о реформах, о внешней политике, характеристики русских государственных деятелей, исторические материалы и т. п.

Значение этих публикаций расценивалось современниками разно. Н. А. Белоголовый отзывался о них, как о брани заграничной прессы, которая «служит личным интригам, сплетням, искажает события, дает фальшивое представление о вещах» и тем «подрывает доверие к печатному слову» и потому «крайне вредна». Самое «изложение» Долгорукова он находил «вялым»[1]. Наоборот, Герцен признавал журнал Долгорукова полезным и называл свой «Колокол» — его «единоутробным братом»[2]. Последний отзыв, даже в шутливой форме, конечно, может вызвать одно лишь недоумение; но и суждение Бело-

---

[1] Н. А. Белоголовый. Воспоминания, стр. 123—125.
[2] Полн. собр. соч. Герцена, т. XV, стр. 133.

голового вряд ли вполне справедливо. В той литературной войне с царским самодержавием в России, которую вела русская эмиграция в начале 60-х годов, Долгорукову принадлежит известное, хотя и не передовое, место. Нельзя не считаться с тем, что современники ставили его имя непосредственно за именами Герцена и Огарева; показательно и то, что лейпцигский издатель счел для себя выгодным сохранить за своим журналом название Долгоруковского «Véridique» и даже сохранить прежнюю нумерацию, очевидно, с целью воспользоваться популярностью Долгоруковских публикаций. Упорство, с которым русское правительство стремилось подорвать журнальную работу Долгорукова, также показывает, что она казалась опасной в Петербурге.

Я думаю, впрочем, что этим временным успехом Долгоруков меньше всего был обязан публицистическому таланту. Природного огня, силы трибуна, у него не было. Он не лишен остроумия, но у него не хватало терпения обдумывать и обтачивать свои мысли, он был слишком ленив и слишком распущен, чтоб работать над своим стилем, и чаще всего заменял язвительную остроту бранью, а пламенный порыв — раздраженным повторением одних и тех же суждений. Сила Долгорукова-журналиста заключалась исключительно в том, что он знал хорошо ту правящую среду, против которой он направлял тяжеловесный огонь своих батарей, и не стеснялся вскрывать перед читателем ее реальную физиономию. На страницах его листков — русский, попавший за границу, с захватывающим любопытством читал самые интимные подробности о таких людях, имена которых у себя дома, в России, он не дерзал произносить вслух; а в Петербурге ни один из самых блистательных сановников не мог быть уверен, что в очередном номере «Будущности» или «Листка» он не найдет свой портрет, облитый грязью. А поскольку всем было известно, что Долгоруков до своего отъезда был действительно близок к тем сферам, которые он теперь так жестоко разоблачал, то это придавало его разоблачениям особенную пикантность, а его инвективам — особенную убийственность.

Таким образом, pièce de résistance[1] Долгоруковских журналов составляли характеристики. Уже в «Будущ-

[1] Сильную сторону *(фр.)*.

ности» появилась биография знаменитого М. Н. Муравьева-«вешателя» (№№ 5—6), впоследствии перепечатанная с дополнениями в «Листке» и затем вышедшая отдельной брошюрой в Лондоне, и очерки «Министр Ланской» (№ 1), и «Великий князь Константин Николаевич» (№ 23). В «Будущности» же были напечатаны и первые «Письма из Петербурга», в которых читатель находил обозрение политической жизни столицы в данный момент, анекдоты о петербургских сановниках, иногда коротенькие характеристики лиц, выплывавших в эту минуту на поверхность административного моря[1]. Первоначально характеристика Марии Александровны в № 19—20 является как бы наброском, предваряющим последующую ее характеристику в «Правдивом». В одном случае мистификация проглядывает с почти полной очевидностью. «Правду сказал Вам сенатор NN года три тому назад», пишет мнимый корреспондент Долгорукова, и последний от имени редакции «Будущности» спешит подтвердить в подстрочном примечании, что сенатор NN действительно говорил ему приводимые слова в 1858 году. Эти корреспонденции носили довольно случайный характер и помещались часто даже в «Смеси» в виде отдельных небольших отрывков, но среди них попадаются два «письма», дающих очень полную характеристику министра финансов А. М. Княжевича и его сотрудников (в № 9 и № 24)[2]. Только с 1-го номера «Правдивого» «Письма из Петербурга» начинают печататься по известному плану, как продуманная серия портретов русских правительственных деятелей, начиная с самого Александ-

---

[1] В № 9 «Будущности» напечатано «Письмо из Петербурга» «о том, что происходит в министерстве финансов» по случаю назначения министром Княжевича, в № 14 — отрывок из петербургского письма, в № 16—17 два отрывка из писем, в которых, в частности, сообщается об отъезде царя в Ливадию и набрасывается характеристика императрицы Марии Александровны; в № 21 — три отрывка с резкими замечаниями по адресу нового министра народного просвещения Путятина, Адлерберга-«Минина» и Княжевича; в № 22 — письмо о студенческих беспорядках в Москве и Петербурге и в № 24 — письмо, посвященное министерству финансов и служащее продолжением письма в № 9. Письма и отрывки из писем получаются якобы от действительных корреспондентов, но все они, можно сказать уверенно, скомпанованы самим Долгоруковым, как видно из их стиля и из одинакового словоупотребления, в частности из характерных для автора словечек и прозвищ.

[2] Оба письма печатаются во втором отделе настоящего издания.

ра II. Сначала Долгоруков поддерживал еще фикцию неизвестного корреспондента (см., например, прямое обращение к «князю Петру Владимировичу» в тексте настоящего издания, примечания «редакции» и т. п.), но эти наивные уловки никого не обманывали. Мы имеем к тому же свидетельство издателя «Правдивого» В. Гергарда о том, что «Письмо из Петербурга», помещенное в № 5 этого журнала, писано рукою Долгорукова[1]. В дальнейшем Долгоруков перестал прикрываться фикцией мифических корреспондентов и в «Листке» продолжал свои корреспонденции под заглавием «Петербургские очерки» (под каковым они и издаются нами). Наряду с этим Долгоруков время от времени помещал, вне серии «Очерков», отдельные характеристики, как то: «Законодатель Войт» («Листок» № 17), некролог Г. С. Батенькова (№ 16). Кроме того, в издававшемся Долгоруковым в 1862—1863 годах для французской публики ежемесячнике «Le Véridique» помещались обозрения русских дел на французском языке, в которые были вкраплены характеристики всех современных государственных деятелей, написанные несколько в ином стиле, чем те, которые печатались им в его русских изданиях. В том же ежемесячнике (т. II, № 2) появились биография гр. П. Д. Киселева и французский перевод статей, посвященных Муравьеву и Батенькову.

«Петербургские очерки» оборвались на полуслове летом 1864 года с переездом Долгорукова из Лондона и прекращением им издания «Листка». Много позже, в 1867 году, он поместил «Письмо из Петербурга» в № 235—236 от 1 марта и № 237 от 15 марта «Колокола»; письмо это подверглось предварительно редакционной обработке со стороны Герцена и вышло поэтому в литературном отношении более выдержанным, чем прежние; но поскольку Долгоруков в данном случае пользовался сведениями из вторых рук, оно менее интересно для нас, чем более ранние его письма, составленные по личным впечатлениям.

В общем итоге Долгоруков оставил нам значительный материал, характеризующий петербургские правящие сферы 1860-х годов и предшествующих годов. Ценность этого материала, как неоднократно отмечалось,

[1] «Колокол», № 141, 15 августа 1862 г.

заключается в том, что Долгоруков больше чем кто-либо мог считаться осведомленным в предмете.

«Мы были лично знакомы, — пишет о себе сам князь Петр Владимирович, — с большею частью людей, в течение последнего 25-летия управлявших делами России, равно и с большею частью тех, которые ныне (1860) имеют влияние на дела; нам коротко известны биографические о них сведения, подробности об их частной жизни и о взаимных сношениях между собою. Нам известны также тайные причины многих событий. Мы живали в обеих столицах и во внутренних губерниях; мы изведали и ссылку; мы находились в связях близкого знакомства с лицами, стоящими на различных ступенях лестницы общественной, от самых высших, до самых низших»[1]. Одного поверхностного обозрения его произведений достаточно, чтоб убедиться, насколько он прав. Страницы «Очерков» пестрят встречами и интимными разговорами с такими крупными личностями на бюрократическом горизонте России, как председатель Государственного совета Д. Н. Блудов, министр юстиции В. Н. Панин, будущий министр народного просвещения А. В. Головнин, вице-канцлер князь А. М. Горчаков, шеф жандармов князь В. А. Долгоруков, начальник III Отделения Тимашев и многие другие, с такими выдающимися общественными фигурами как А. П. Ермолов или декабрист князь С. Г. Волконский.

Благодаря своим связям, Долгоруков был всегда в курсе закулисной жизни правительственных учреждений, тех взаимоотношений и группировок, которые в них существовали, хода в них работ Он сам рассказывает, что о деятельности комитета по амнистии, организованного при Александре II, ему говорил Блудов; от него же он получил копию «с проекта комитета 6 декабря» и узнал «подробности» об их судьбе.

Человек не служащий, отрезанный от непосредственного делового общения с правительственными дельцами, к тому же запечатленный подозрением в неблагонадежности, Долгоруков не мог, однако, иметь в этой области полную и серьезную осведомленность. Беседы, о которых он пишет, по большей части случайные салонные разговоры, часто характерные, но мало содержательные, во

---

[1] «Правда», т. I, стр. 4—5.

время которых собеседники скользили по поверхности вопросов, больше заботясь о том, как сказать, чем о том, что́ сказать. И по характеру своему Долгоруков едва ли был способен глубоко вникать в суть вопросов. Он, по существу, — салонный bel-esprit[1]; умеющий остро сказать, зло подсмеяться, ехидно посплетничать на чужой счет. Он любит салон, и его любят в салоне. Он «делит время между любимыми своими научными занятиями и беседами, которые он любит чрезвычайно как человек умный и острый, каким он проявляет себя в самых блестящих аристократических и дипломатических салонах»[2]. Здесь, на почве салона, он перекинется либеральной шуткой с «сановником-стародуром», ввернет политическую мысль в банальный разговор, заденет политического противника двусмысленным намеком; но, главное, здесь он может болтать и болтает без стеснения с дамами высшего света, умными и неумными, злыми и добродушными, но неизменно занятными, галерею портретов которых он набросал злой и мстительной рукою в своих «Очерках». Что это были за разговоры, которые велись светскими дамами с «умным каналией» — легко угадать. Они нашли себе отражение в письмах к баронессе Боде, представляющих собою «болтовню в письменной форме», в которых, по осторожному выражению его адвоката, он «затрагивает слишком свободно репутации»[3]. Великосветское злословие, политическая сплетня — вот чем питалась рассеянная мысль молодого князя в аристократических салонах Петербурга и Москвы, которые он посещал с таким увлечением, пока не покинул Россию. Отсюда те черты, которые характерны для «Очерков» и шокировали современников: преобладание анекдота, пристрастие к сплетне, склонность делать большие выводы из мелких фактов. Но в этом же и ценность его очерков-мемуаров для нас. Долгоруков вскрывает в них то, что нельзя найти ни у кого из других мемуаристов: то, что говорили с глазу на глаз, что думали про себя, как отзывались друг о друге в том замкнутом высшем петербургском кругу, из которого выходили вершители судеб России; он громко говорит то, о чем шептали жены министров, состоящих в должности министров в

---

[1] Человек с тонким, острым умом, остроумец *(фр.)*.
[2] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow. p. 22.
[3] Там же, p. 13.

отставке и министров in spe[1]. Он позволяет нам судить о том, как глядела на себя сама правящая верхушка, когда ей не надо было разыгрывать комедию перед посторонней аудиторией и можно было быть откровенной в кругу «своих». Тут, в кругу «своих», говорилось много лишнего, много необдуманного, часто «ради красного словца», в полной уверенности, что все сказанное не выйдет за стены великосветской гостиной, а «замечательная память» Долгорукова, которой удивлялся Герцен, все это запечатлевала, чтоб потом сделать соответствующее употребление из, казалось бы, невинной салонной болтовни.

В «Очерках» Долгорукова нашла себе отражение и другая сторона жизни их автора в России — его историко-генеалогические интересы. Материалы для своих генеалогических трудов Долгоруков искал не только в тех исторических документах, которых он собрал очень много, но и в личных беседах с представителями видных дворянских фамилий, у которых он выспрашивал терпеливо про их фамильные предания. «Я знавал много стариков, — говорит он, — я всегда любил вызывать их на разговоры, слушать их, записывать их рассказы; воспоминания некоторых из них шли далеко назад и часто основывались на воспоминаниях других стариков, которых они сами знавали в отдаленные дни их молодости»[2]. Перед юным генеалогом ничего не скрывалось: с феодальным тщеславием перед ним раскрывались семейные архивы. «Явись к большей части таких людей, — говорит Долгоруков, — человек, занимающийся историей, хоть будь Тацитом или Маколеем, ему бумаг этих не сообщат... Но явись человек, хотя бы ума ограниченного, только занимающийся родословными, и ему поспешат все показать и все сообщить»[3]. С такою же охотой делились и сведениями, сохранившимися в словесной передаче; следы таких преданий рассеяны по всем сочинениям Долгорукова. Говоря о царствовании Петра III, он, например, записывает некоторые подробности, слышанные от князя Д. Вл. Голицына, гр. П. А. Толстого и П. Ф. Карабанова, «отцы коих были современниками» этого императора; от князя же Д. В. Голицына слышал

---

[1] В надежде *(лат.)*.
[2] Mémoires, vol. I. Genève. 1867, p. 2.
[3] «Правда», т. I, стр. 163—164.

он про ответ князя Федора Барятинского князю Воронцову по поводу своего участия в убийстве Петра III и т. д.[1].

Высказывания не ограничивались давно прошедшими временами. От Блудова он слышал весьма подробные рассказы о его собственных молодых годах, об эпохе Александра I, о декабристах. Эти рассказы легли в основу соответствующих его «Очерков». Касались эти разговоры и современников, людей живых. По существу, это была та же непринужденная салонная болтовня со «своим человеком», которому не стеснялись на ухо сообщить не подлежащую разглашению политическую тайну или не совсем цензурный фамильный скандал, в полной уверенности, что «свой человек» не выдаст. Так накопился в руках Долгорукова значительный запас материалов по истории дворянских фамилий, как документальных, в виде писем и других фамильных документов, так, главным образом, словесных. По использовании всего, что было возможно, в печатных трудах по генеалогии, у него оставалось еще много таких данных, которые не могли быть опубликованы; их он бережно хранил, предполагая рано или поздно использовать. Его «Mémoires», посвященные XVIII веку, над которыми он работал за границей и I том которых ему удалось выпустить в 1867 году, базируются именно на этих фамильных преданиях. Получилось, в сущности, скандальное приложение к официальной «Родословной книге» — «Бархатная книга русского дворянства», как назвал «Мемуары» Долгорукова Герцен, «Бархатная книга» наизнанку, злостная и беспощадная.

I том «Мемуаров» был посвящен первой половине XVIII века, последующие тома должны были довести изложение до современности; этими своими мемуарами он беспрестанно угрожал русскому правительству, и перспектива их опубликования очень нервировала петербургские сферы. После смерти Долгорукова III Отделение приняло меры к тому, чтоб через подставное лицо приобрести весь его архив, и даже для устранения подозрений издало из него кое-какие материалы по второй половине XVIII века. Однако нет уверенности, чтобы III Отде-

---

[1] «Правда», т. II, стр. 1—3. Записи рассказов о Екатерине II, слышанных Долгоруковым от его деда, напечатаны во втором посмертном томе его «Mémoires», Bâle-Genève, 1876.

лению достался весь Долгоруковский архив целиком; во всяком случае, дальнейшая его судьба неизвестна[1].

Можно, мне думается, с уверенностью сказать, что для «Петербургских очерков» автор использовал материал, предназначавшийся для его записок. Они представляют собою как бы первичный набросок будущих мемуаров. В них поэтому отразились — и в подборе фактов и в их освещении — характерные черты того словесного предания, которое жило в кругах родословного русского дворянства XIX в. Оппозиционная дворянская легенда густой паутиной покрывает все воспоминания о недавнем прошлом. Наиболее ярким образцом ее является фантастическая басня о чухонском происхождении ненавистного дворянству Павла I, воскрешающая представления XVII века о «подложном царевиче», которыми в свое время оперировали предки Долгорукова в отношении царей Алексея и Петра I. Много способствовал Долгоруков созданию той легенды о декабристах, которая так прочно впоследствии держалась в кругах либерального дворянства. Сведения о декабристах собирались из-под полы, передавались шепотом; понятно, что они часто весьма неточны, особенно в той мере, в какой были почерпнуты из рассказов вторых лиц вроде Блудова. Наоборот, данные, которые Долгоруков получил непосредственно от самих декабристов, например, от кн. С. Г. Волконского, имеют свою ценность. Но вне зависимости от источников его осведомленности, Долгоруков окутывает имена и деятельность «мучеников 14 декабря» флером сентиментальной идеализации, сквозь которую чувствуется наряду с восхищением самоотверженными героями его сословное негодование по поводу обращения верховной власти с представителями дворянства. Наличие этой дворянской легенды приходится учитывать при оценке исторического значения «Очерков».

Таковы источники осведомленности князя Долгорукова. В эмиграции к ним присоединилась информация «Колокола» и зарубежная русская литература. «Былое и думы» Герцена оказали несомненное влияние на некоторые детали «Очерков»; у Герцена, например, заимствовал он эпитет «трехполенный» в применении к Панину, прозви-

---

[1] Об этом см.: Р. М. Кантор. В погоне за Нечаевым. Ленинград, 1922 г.

ще «инквизитора» для кн. А. Ф. Голицына и т. д. На «Колокол» он беспрестанно ссылается при сообщении фактов: в ряде случаев (например, при изображении в «Правде о России» деятельности генерал-интенданта Затлера во время Севастопольской кампании) он безоговорочно повторяет сведения «Колокола» от своего имени. С другой стороны, факты, сообщаемые им, в той или иной форме находят себе отражение и на столбцах Герценовского органа. К сожалению, поскольку Долгоруков сам являлся одним из источников осведомления «Колокола», очень трудно установить степень влияния последнего на него и наоборот.

Остается наиболее трудный вопрос, — вопрос о степени достоверности помещенных в «Очерках» разнообразных сведений. В какой мере можно доверять произведениям пера столь страстного и несдержанного. Густой налет сплетни и брани производит малоблагоприятное впечатление; иногда трудно удержаться от мысли, что личные отношения играли большую роль в оценках титулованного эмигранта, как отрицательных, так и положительных, и что, говоря словами Тучковой-Огаревой, он в своих писаниях «сводил свои личные счеты, по совести или нет — ему одному известно»[1]. Современники, как общее правило, относились отрицательно к этой стороне его публицистической деятельности. «Долгоруков только повторяет то, что всякому как истина или как сплетня более или менее известно, приукрашивая свой рассказ бранными словами», — категорически пишет д-р Э. С. Андреевский[2]. Н. А. Белоголовый с удовлетворением отмечает, что Долгорукову пришлось «поплатиться за свои не всегда достоверные печатные обличения», и что «он не мог представить в защиту своей книги (La Vérité sur la Russie) никаких серьезных документов»[3]. Есть указания, что Герцен, ценя его как сотрудника «Колокола», тем не менее относился с некоторой осторожностью к его суждениям. По поводу печатавшегося в 1867 году в «Колоколе» «Письма из Петербурга» он категорически настаивал на смягчении его тона: «Я решительно не могу допустить без подписи все, что вымарал, —

[1] Русская старина. 1894, № 10. стр. 34.

[2] Из архива К. Э. Андреевского. Записки Э. С. Андреевского, Одесса, 1913, т. I. стр. 236.

[3] Н. А. Белоголовый. Воспоминания. стр. 126.

писал он Огареву 4 марта. — В этом у меня уступки не жди. *Я кладу полное veto.* Даже с подписью я вряд напечатал бы. Читал ты или нет? Rather (вернее) нет... О Жуковском я вымарал для сына, — добавляет он, — да оно же и неверно». «В статье Долгорукова, — подтверждает он 7 марта, — мои вымарки следует исполнить. Ответственный редактор — я, и на себя не беру писать про Соллогуба, что он вор»[1]. Если верить некоторым показаниям, Герцен и после смерти Долгорукова «далеко не высказывался в пользу направления, которому следовал Долгоруков в I томе «Мемуаров»; по его мнению, многое было через меру резко, как продукт желчного характера князя, и часто историческая истина принесена в жертву мелкой сплетне, до чего, как известно, Долгоруков был страстный охотник»[2]. Вероятно, и Н. А. Тучкова-Огарева отражала мнение Герцена, когда писала: «Страстный характер Долгорукова бросался в глаза: нельзя было безусловно верить всем его подозрениям». В тех кругах, которые были непосредственно задеты обличениями князя, отзывы о литературной деятельности его были гораздо резче. В петербургском высшем свете о нем прямо говорили, как о «замечательном лгуне»[3]. «Брань такого человека не стоит даже презрения», — заявлял поэтому обиженный им незаслуженно кн. В. Ф. Одоевский[4]. В том же тоне высказывалась та часть русской прессы, которая так или иначе была связана с правительственными и аристократическими кругами. Суворин едко писал в 1868 году, что «воспоминания Долгорукова о собственной жизни и лицах, бывших с ним в близких отношениях» отличаются «мифичностью»[5]. Бартенев в «Русском архиве» напоминал в 1870 году, что воронцовский процесс «доказал всю недобросовестность автора La Vérité...» и крайнюю осторожность, с которой надо пользоваться его часто «весьма интересными данными»[6].

И среди французской публики, по крайней мере тех ее кругов, которые были связаны с верхами русского об-

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т., XIX, стр. 232—233, 236.

[2] Р. М. Кантор, В погоне за Нечаевым.

[3] Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина, стр. 129 (отзыв Н. Н. Пушкиной в передаче ее дочери Н. А. Меренберг).

[4] Опровержение кн. В. Ф. Одоевского, см. у П. Е. Щеголева, назв. соч. стр. 506—508.

[5] Петербургские Ведомости, 1868, № 183.

[6] Рус. Архив, 1870, стр. 1391.

щества, желчные инвективы Долгорукова не встретили ни доверия, ни сочувствия. «Знаете ли что это такое?» — с пафосом восклицал на суде прокурор по поводу «La Vérite». «Это — памфлет... Выражение неточно и слабо. Это — пасквиль, и пасквиль отвратительный, направленный против предков и против отдельных личностей. Под предлогом анализировать учреждения своей родины, он их диффамирует без всякой меры, и страстность увлекает его до такой степени, что он доходит до самой грубой карикатуры... Главным образом нападает он на личности. Какой мотив заставляет его диффамировать на каждой странице и в каждой строчке лица и должности? А между тем эти 400—500 страниц переполнены скандалами»[1].

Нам известно несколько случаев, когда при жизни Долгорукова лица, задетые им, выступали с возражениями. В примечаниях мы приводим заметки князя Одоевского на свою карикатуру. Граф Яков Толстой, которого под очень прозрачными инициалами он обозвал в своей «Vérité sur la Russie» «шпионом русского правительства», вызвал было его на дуэль, но согласился удовлетвориться печатным опровержением: Долгоруков напечатал 11 апреля 1860 года в «Les Débats» двусмысленное заявление, в котором объяснял, что «автор, не помещающий собственных имен или отмалчивающийся инициалами или даже первыми буквами, не называет, в сущности, никого». Из сопоставления с письмом Толстого, напечатанным по его требованию в том же номере, всем, кому до тех пор было невдомек, становилось ясно, кого Долгоруков назвал в своей книге шпионом. Самое пикантное во всем этом эпизоде было то, что, как выяснил совершенно точно М.К. Лемке, Толстой действительно был агентом III Отделения, и Долгоруков был в самом деле задержан на границе по его доносу; его опровержение, таким образом, лживо от начала до конца[2].

Позже, в своих «Mémoires» Долгоруков, обиженный тем, что И.С. Тургенев, в бытность в Женеве, не отдал ему визита, рассказал известный эпизод, имевший место с будущим писателем в 1838 году во время пожара

---

[1] Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow, p. 173—176.

[2] История с Я. Толстым изложена М. К. Лемке на основании данных, почерпнутых из архива III Отделения, в книге «Николаевские жандармы».

на пароходе «Николай I». 10 июля 1868 года Тургенев обрушился на него в письме в «Петербургские Ведомости» за то, что ему «заблагорассудилось выкопать старый анекдот о нем». Однако, из самого текста опровержения видно, что что-то в этом роде имело место[1]. Наконец Н. А. Белоголовый, со слов вдовы декабриста Поджио, передает, как ее муж был возмущен написанным Долгоруковым некрологом Волконского, «в котором устами покойника задел Киселева», рассказав про его сношения с декабристами. Поджио, по словам Белоголового, негодовал на то, что Долгоруков «заявил себя хранителем тех тайн, которые будто бы покойный доверял ему для оглашения лишь после его смерти». «И это же ложь, все — ложь. Но сочинителю, вероятно, хотелось свести свои личные счеты с Киселевым, и он воспользовался удобным для того случаем и под прикрытием интервью... хотелось самому порисоваться и для этого придумал пустым рассказам придать характер какой-то политической исповеди»[2]. Хотя, по уверению Белоголового, Долгоруков защищался «неудачно и бездоказательно», но и тут правда была на его стороне. Как известно, об осведомленности Киселева о заговоре говорит и И. Д. Якушин (в частности о том что свою «Русскую Правду» Пестель читал у него), и сам Волконский на следствии с большой осторожностью давал понять, что Киселев дал ему возможность своевременно предупредить Орлова. Сравнение некролога с подлинными записками С. Г. Волконского не оставляет сомнения в том, что он написан на основании собственного рассказа декабриста, и в этом отношении представляет большой интерес. Таким образом, и тут Долгоруков более прав, чем его обличители.

Приведенные факты показывают, что и к заявлениям критиков Долгорукова следует относиться очень осторожно. Конечно, Долгоруков далеко не беспристрастен. По справедливому замечанию гр. П. Д. Киселева, «личная обида, задетое самолюбие, зависть и желание мести, без сомнения, не чужды оценкам автора»[3]. Нередко под влиянием озлобления он бывает слишком категоричен в своих суждениях. Если Я. Толстой был действительно шпионом, то вряд ли справедливо было даже при самой горя-

---

[1] «Петербургские Ведомости», 1868, № 183.

[2] См. подробнее об этом в примечаниях.

[3] М. К. Лемке. Князь П. В. Долгоруков-эмигрант («Былое», 1907, март), стр. 166.

чей фантазии назвать «полицейским шпионом» А. В. Никитенко, которого можно было обвинять лишь в излишней податливости перед властью[1].

Он слишком легко подозревал всех во взяточничестве и в казнокрадстве, и это приводило его иногда к самым комичным qui pro quo[2], вроде недоразумения с генералом Гернгроссом, которого он в марте 1861 года в № 9 «Будущности» называет вором, а в декабре в № 24 объявляет безукоризненно честным человеком[3]. Человек импульсивный, пишущий под влиянием момента, он слишком быстро делает заключения на основании случайных впечатлений, но нет оснований думать, что он сознательно искажает истину, и там, где он не знает, он предпочитает молчать. «О некоторых из членов Государственного совета, — говорит он, например, — а именно о генералах П. А. Тучкове, Ф. С. Панютине (и других)... мы говорить не будем, за неимением нами биографических сведений»[4]. О вновь назначенном министре финансов Княжевиче он воздерживался от суждения, пока не выяснилась его физиономия, как администратора и человека и т. д. Очень часто он называет точно лиц, от которых он слышал те или иные подробности, и обстановку, при которой имело место описываемое происшествие. Все это, конечно, не гарантирует полной объективности высказываний Долгорукова. Страстный темперамент князя не позволяет принимать без большой критической проверки его суждений о людях. В примечаниях к настоящему изданию приводится некоторый материал для такой проверки. Из него видно, что ряд характеристик, данных Долгоруковым, совпадает с отзывами других современников, часто людей совершенно противоположных взглядов, и лишь в редких случаях они являются совершенно неверными. Особенно любопытно сравнить характеристику императрицы Марии Александровны, которую дает Долгоруков, с той, которую находим в записках А. Ф. Тютчевой, человека искренно преданного ей. Еще показательнее сравнение биографии кн. В. И. Барятинского с воспоминаниями В. А. Инсарского, которые

---

[1] Vérité sur le procès, p. 123.

[2] Букв.: один вместо другого, путаница, недоразумение (*лат.*).

[3] Об этом см. в примечаниях.

[4] См. ниже в тексте. Ср. Le Véridique, № 3, p. 370: «Мы не знаем лично Глебова, но мы слышали о нем много хорошего».

подтверждают ее во всех мельчайших подробностях, хотя автор глядел на своего бывшего хозяина совершенно иными глазами[1].

Как общее правило, можно сказать, что он изображает людей такими, какими они были в действительности, но с иной точки зрения, чем это делалось обычно, подчеркивая темные стороны их характеров и давая отрицательное освещение их поступкам. Например, отмечаемая всеми современниками нервная хлопотливость великой княгини Елены Павловны, в которой ее друзья и поклонники видели проявление живого интереса ко всему окружающему, — рассматривается им как стремление всюду «совать нос» из честолюбия; ее общественная деятельность, вызывавшая восхищение ее политических единомышленников, казалась ему вызванной исключительно тщеславным желанием играть роль; наконец, то, что другие называли в ней тактом, представлялось ему хитростью. В итоге ни одной неверной черты, но каждая из них перетолкована и человек весь рассматривается как бы со стороны изнанки.

Изложение Долгорукова — это зеркало Андерсеновской сказки, имевшее свойство отражать все предметы в отрицательном, но не в ложном свете, и если вспомнить, что громадное количество мемуаров страдает противоположным недостатком, раболепно рисуя сильных мира сего в одном и том же бесцветном трафарете условного приличия и сановной добродетели, то нельзя не признать, что желчные выпады Долгорукова часто вносят в понимание людей его времени очень существенный корректив.

Предубеждение, которое иногда вызывают к себе «Очерки», мне кажется, в значительной степени, объясняется языком, которым они написаны. Долгоруков не владеет уменьем высказывать злые вещи в корректной форме. Для усиления впечатления он злоупотребляет грубыми выражениями и «ругательствами». Это, несомненно, ослабляет впечатление. Когда он работал в «Колоколе», то Герцену приходилось «постоянно вымарывать» в

---

[1] Мы не останавливаемся на том, что многие отзывы Долгорукова подтверждаются сообщениями «Колокола», потому что трудно установить, в какой мере суждения Долгорукова обусловливались данными, почерпнутыми из «Колокола», или, наоборот, «Колокол» основывался на информации Долгорукова.

его статьях излишние резкости[1]. Вместо общепринятых иностранных терминов он прибегал в русском переводе к новым сочетаниям слов, не лишенным известной остроты и своеобразным, но придававшим оскорбительный оттенок понятию и часто грубоватым по форме: слово «бюрократия» он переводил «чиновная орда», «камарилья» — «царская дворня», «реакционеры» — «стародуры» и т. д. Одни и те же грубые эпитеты и прозвища повторяются с таким плоским однообразием, что они перестают производить впечатление на читателя.

Во всем этом сказывались, кроме природных свойств Долгорукова, его барская распущенность, привычка и в жизни не стесняться в выражениях, лень работать над своим стилем и, может быть, недостаточное знакомство с литературным русским языком. Когда Долгоруков принимался за французский язык, то перо его скользило легче, фразы округлялись, резкие выражения теряли свою грубость, не утрачивая своей остроты. Он, по-видимому, лучше знал французскую речь, чем русскую, а необходимость угождать вкусам более требовательной публики и подражать изысканному литературному стилю заставляли его писать осмотрительнее.

Недостатки формы не должны заслонять ценные стороны Долгоруковской публицистики как материала мемуарного. Долгоруков в общем итоге сумел показать нам без условных прикрас «большое азиатское дитя в европейском платье, называемое русским правительством», показать во всей его наготе петербургский придворный круг — «этих полумонголов, полувизантийцев, имеющих претензию на значение английских лордов», «этих холопов превосходительных, сиятельных, светлейших», всю эту «холопию, воображающую себя аристократией».

Сам Герцен, столь неодобрительно относившийся, как мы видели, к приемам политической полемики Долгорукова, отдавал должное его литературным произведениям, столь богатым «материалом, касающимся каторжников, которые у нас называются министрами», и находил его «Петербургскую корреспонденцию», написанную в 1867 году для «Колокола» — «превосходной»[2].

Позднейшие исследователи высоко ценили «Очерки»

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XIX, стр. 203.
[2] Там же, стр. 218.

Долгорукова как исторический источник. «Долгоруков был страшен правительству, — говорит М. К. Лемке, — постоянными разоблачениями всевозможных интриг и закулисных дрязг среди выдающихся его членов; своими биографиями Долгоруков вскрывал многое, что без него надолго, если не навсегда, оставалось бы неизвестным»[1].

Еще определеннее отзывается об «Очерках» Долгорукова П. Е. Щеголев: «Многочисленные биографические очерки министров и сановников государства, написанные со знанием дела, с желчной иронией и злостью, рисовали картины глубокого развращения и падения правящих слоев России. Нельзя не пожалеть о том, что все эти материалы не сделались достоянием исследователей и не вошли в научный оборот»[2].

П. Е. Щеголев, так высоко ценивший историческое значение «Петербургских очерков», собрал и подготовил их к печати для настоящего издания. К сожалению, преждевременная смерть не позволила ему довести дело до конца. «Петербургские очерки» печатаются по копии, предоставленной им редакции «Записей прошлого» и проверенной и дополненной по подлинникам, хранящимся в Государственной публичной библиотеке имени Ленина.

В наше издание вошли: 1) «Письма из Петербурга», помещенные в «Правдивом», начиная с № 1 и кончая № 5; письмо, которое напечатано в № 5, вышедшем уже без участия самого Долгорукова, подверглось редакционной обработке издателя В. Гергарда, но, по его словам, он ограничился тем, что «только вычеркнул личные обиды и бранные слова»[3]; 2) «Петербургские очерки», печатавшиеся в «Будущности»; 3) «Письмо из Петербурга», напечатанное в №№ 235—236 и 237 «Колокола» за 1867 год, принадлежность которого Долгорукову устанавливается из писем Герцена к Огареву от 20 февраля, 4 марта и 7 марта 1867 года[4]; 4) отдельные биографические очерки, разбросанные на страницах «Будущности» и «Листка»; 5) два «Письма из Петербурга», посвященные деятельности министерства финансов, помещенные в №№ 9 и 24 «Будущности», принадлежность которых перу Долгорукова определяет-

---

[1] М. К. Лемке. Князь П. В. Долгоруков-эмигрант, стр. 171.
[2] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, 3-е изд., стр. 495.
[3] «Колокол», 1862. № 141.
[4] Полн. собр. соч. Герцена, т. XIX.

ся не только общностью стиля, но и частичным совпадением фактического содержания (эпизод с вызовом Ребиндера из Кяхты) и наличием излюбленного Долгоруковым сравнения русского правительства с Крыловским возом, которое повторяется в его позднейших «Письмах», и, наконец, 6) русский перевод биографического очерка П. Д. Киселева, помещенного во французском ежемесячнике Долгорукова «Le Véridique», t. 1, № 2.

При печатании «Петербургских очерков» допущены следующие небольшие изменения: опущены ссылки на предшествующие и последующие номера журналов, нарушающие связность повествования, и в одном случае пропущено стихотворение слишком грубого содержания, что и отмечено многоточием в прямых скобках. В остальном все произведения Долгорукова печатаются без пропусков с соблюдением своеобразных Долгоруковских синтаксиса и словонаписания.

Подстрочные примечания к тексту принадлежат Долгорукову за исключением тех, которые поставлены в прямые скобки и внесены редакцией. Подробные примечания отнесены в конец книги; в виде дополнения к «Петербургским очеркам» и отдельным биографиям здесь напечатаны все отсутствующие в них характеристики современников Долгорукова, которые разбросаны в других его произведениях (как в «Правде», так и в отдельных журнальных статьях, в частности в «Le Véridique») с таким расчетом, чтобы весь важнейший материал такого рода был собран в нашем издании. Не приводится только биография А. П. Ермолова, вышедшая отдельной брошюрой на французском языке, как дающая мало характерных данных.

Указатель составлен Н. П. Чулковым, которому редакция чрезвычайно признательна за содействие. Редакция приносит также глубокую благодарность Государственной публичной библиотеке имени В. И. Ленина за предоставление возможности воспользоваться принадлежащими ей изданиями князя Долгорукова.

С. Бахрушин

Москва.
7 мая 1934 года

Петербургские очерки



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Орфография и пунктуация в книге П. В. Долгорукова «Петербургские очерки» приведены в соответствие с современной нормой, однако сохранены некоторые особенности авторских написаний, несущие смысловую нагрузку или отразившие речевой этикет середины XIX века. Орфография имен собственных, а также названий литературных произведений и периодических изданий в тех случаях, когда она отражает широко бытовавшую практику, не приводится в соответствие с современной нормой. Оформление сносок не изменялось и соответствует нормам, принятым в 1934 году.

I

Нынешнее положение дел при дворе. Взгляд назад. Император Александр Николаевич. Его характер и образ жизни. Его жена Мария Александровна.

Да лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду.

Эти слова крыловской басни «Лебедь, рак и щука» вполне применимы в настоящее время к петербургскому правительству. Правду сказал вам четыре года тому назад N. N. (хотя сенатор, а человек умный): «У нас, в России, пошла всеобщая игра в ералаш, которая со временем уступит место игре в бескозырную!»

Чтобы объяснить нынешнее положение дел при дворе, необходимо бросить взгляд назад.

Государь, не имеющий определенной политической системы и вовсе не понимающий дел, даже самых несложных, всегда шел то вправо, то влево, беспрестанно меняя свое направление, и особенно склонный к испугу от малейших событий, выходящих из обыденной колеи. В прошлом году, издав Положение о крестьянах и вместе с тем разослав по губерниям генерал- и флигель-адъютантов, людей не только ненужных, но и положительно вредных, которые штыками и пулями хотели приучать крестьян к свободе, государь вдруг перепуган был варшавскими событиями. Не имея никаких политических понятий, он не догадался, что неудовольствие можно уничтожить только либеральным направлением, а что гнет и давление увеличивают неудовольствие; он не догадался, что стремление к беспорядкам уничтожается про-

свещением, а развивается невежеством, и вместо того, чтобы распространять просвещение, он допустил открыть гонение на университеты. Издав самые нелепые постановления насчет студентов, государь уехал на южный берег Крыма, оставив власть в Петербурге в руках стародуров. Пока государь прогуливался под миртами и тополями Ливадии и прислушивался к плеску волн Черного моря, в Петербурге, в Москве и в Варшаве стародуры творили черные дела, а между тем через телеграф беспрестанно пугали государя. Таким образом они выхлопотали у него объявление в осадном положении Царства Польского и западных губерний и закрытие Петербургского университета, имевшее столь горестные последствия. Когда после закрытия университета между оскорбленными студентами обнаружилось весьма понятное неудовольствие, петербургские паши: великий князь Михаил Николаевич, Игнатьев, Шувалов и Паткуль спросили по телеграфу у государя, каким образом поступать со студентами. Государь отвечал им: по-отечески. Паши пришли в недоумение: что значит это слово? К ним на совет явился долговязый, полоумный, трехполенный Панин и объявил, что, по его понятиям, поступить по-отечески значит: высечь розгами! К счастью студентов, граф Блудов, узнав об этом, поехал к великому князю Михаилу Николаевичу и упросил его не делать подобной мерзости. Таким образом, студенты спасены были от розог и обязаны этим тому просвещенному и честному старцу, который еще в 1848 году спас университеты от уничтожения, умолив Николая Павловича не закрывать университетов, что Незабвенный* хотел было сделать!

Наступил октябрь месяц: государь все еще жил в Ливадии. Наконец и он увидел, что дела в Петербурге не клеятся, и отправился в возвратный путь. За пять дней до проезда его через Москву в ней произошла знаменитая своей отвратительностью Крейцовская бойня студентов*. Павел Алексеевич Тучков (человек, бесспорно, добрый) поступил со слабостью и с робостью ребенка, а обер-полицмейстер граф Крейц и товарищи его полицмейстеры вели себя, как разбойники в лесу. В тюрьмах и больницах были еще студенты, избитые, перераненные, и среди этого важного события государь не понял, что ему

---

* Здесь и далее следует смотреть Примечания. — *Изд. «Новости».*

следует остановиться в своей первопрестольной столице и вниманием, участием, добротой успокоить оскорбленную и справедливо раздраженную Москву. Вместо того государь с тульского шоссе проехал прямо на станцию Петербургской железной дороги, где собрался московский высший чиновный люд. Там он не нашелся выразить ни одного слова упрека Тучкову, ни одного слова негодования Крейцу и полицмейстерам; напротив, выказал такое совершенное непонимание обстоятельств, дел и людей, что благодарил Тучкова и Крейца за сохранение порядка в городе; потом преспокойно кушал чай и затем отправился в Петербург.

Когда государь возвратился в Петербург, граф Блудов, князь Горчаков и генерал Милютин рассказали ему, что студенческие истории производят самое плачевное впечатление и в России, и за границей, о чем его величество и не догадывался до тех пор. В России еще, положим, ничего: на это есть III Отделение, Петропавловская крепость и Сибирь, но за границей: вот что скверно! Известно, что петербургское правительство не боится ни Бога, ни совести, но трепещет перед европейской гласностью, в особенности перед гласностью на французском языке...

Тут решились вызвать из-за границы великого князя Константина Николаевича, который в течение лета отправился путешествовать на неопределенный срок. Я говорю: «неопределенный срок», потому что великий князь, уезжая, сам не знал, когда ему позволено будет возвратиться: ближняя царская дворня весьма желала его удаления и сильно противилась его возвращению...

С возвращением великого князя положение дел приняло иной оборот. Он посадил своего друга Александра Васильевича Головнина в министры просвещения, а друга Головнина, Михаила Христофоровича Рейтерна, — в министры финансов; сблизился с министрами внутренних дел и военным, находится в хороших отношениях с графом Блудовым и с генералом Чевкиным, выжил из министерства всем ненавистного Муравьева, оказывает князю Горчакову наружное внимание и уважение, которое людям, незнакомым с истинным положением дел, не позволяет и догадываться о взаимной нелюбви друг к другу этих двух особ. Таким образом, великий князь в Совете министров* имеет решительный перевес. Против него говорить может один Панин, но Панин слишком

труслив и слишком придворно-боязлив (если можно так выразиться), чтобы вступить в открытую борьбу с человеком, имеющим власть в руках и силу при дворе. То же самое следует сказать и о бароне Корфе, новом начальнике II Отделения Собственной [Е.И.В.] канцелярии. Что же касается до остальных министров: Адлерберга-Минина, князя Василия Долгорукова, Анненкова и Прянишникова, то эти четыре индивидуума тупоумны, безгласны, и редко один из четырех начнет о чем-нибудь рассуждать в Совете, а если и начнет, то уж непременно понесет такую ерунду, что доставит великому князю и приятелям его предмет разговоров и смеха дня на три.

Теперь великий князь имеет в виду: Панина заменить князем Оболенским*; Анненкова заменить Татариновым; князя Василия Долгорукова кем-нибудь из своих моряков; Николая Алексеевича Милютина сделать министром внутренних дел, а Валуева посадить на место Прянишникова; князя Барятинского на Кавказе заменить графом Муравьевым-Амурским. Когда все это будет совершено, тогда останется великому князю докончить свое дело и исполнить свое давнее желание, заменив князя Горчакова князем Лобановым, нынешним посланником в Константинополе.

Теперь необходимо рассказать вам положение и взаимные отношения в настоящую минуту наших главных деятелей, наших государственных кашеваров.

Государь, как вам известно, добрый человек и желает добра, но трудно встретить подобное совершенное непонимание дел и совершенное незнание людей. Когда он в 1857 году приступил к освобождению крестьян, то сказал одному из приближенных к нему лиц: «в шесть месяцев все будет кончено и пойдет прекрасно!» Теперь он продолжает проявлять подобную же наивность в государственных делах. Ему страстно хочется, чтобы о его либерализме писали, кричали, а самодержавной власти из рук выпускать не хочет. Он желает, чтобы в журналах и книгах его расхваливали, а между тем боится гласности и об отменении цензуры слышать не хочет. Желает, чтобы повторяли, что он второй Петр I, а между тем умных людей не только не отыскивает, подобно Петру I, но еще не любит их и боится: ему с умными людьми неловко. Наконец, он вполне убежден, что стоит ему что-нибудь приказать, чтобы это было тотчас исполнено; что стоит

ему подписать указ, чтобы указ был исполняем. Нигде в мире не найдешь Совета министров, составленного подобно петербургскому: между этими господами, которые вместе сидят, вместе рассуждают и должны бы управлять вместе, сообща, между этими господами не только различие совершенное, но и противоречие во взглядах: точно лебедь, рак и щука крыловской басни. Государь этого никак и понять не может.

Расположение дня у государя следующее. Встает он часов в восемь, одевается и совершает пешком, при какой бы то ни было погоде, прогулку в Петербурге около Зимнего дворца по тротуару, а в Царском Селе около пруда в саду; возвратившись во дворец, пьет кофе, глаз на глаз с своим доктором Енохиным; потом отправляется в ретирадное место, где заседание происходит оригинальным образом. Его величество наследовал от своих отца и деда тугость на пищеварение и в бытность свою на Кавказе в 1850 году, попробовав курить кальян, заметил, что кальян много способствует его пищеварению. Итак, его величество, воссев где подобает, начинает курить кальян и курит, доколе занятие это не увенчается полным успехом. Перед государем поставлены огромные ширмы, и за этими ширмами собираются лица, удостоенные по особой царской милости высокой чести разговором своим забавлять государя во время куренья кальяна и совершения прочего... Лица эти получили в Петербурге прозвание «кальянщиков», и множество генерал-адъютантов, флигель-адъютантов и придворных добивается всевозможными интригами высокой чести поступить в почетный круг кальянщиков. Неуспех их благородных, возвышенных стремлений глубоко огорчает этих достойных сановников, наполняет горечью их полезную жизнь, благу отечества посвященную...

Пока государь курит кальян и ожидает его благотворного действия, кальянщики рассказывают разные анекдоты, забавные, скандалезные и прочие. Между ними особенным искусством рассказывать и смешить государя отличаются Александр Адлерберг и генерал-адъютант Огарев*; они мастера, что называется по-русски, привирать, а подчас и выдумывать анекдоты для вящего развеселения озабоченного монарха. К числу кальянщиков принадлежат: граф Эдуард Баранов, барон Ливен, Иван

Матвеевич Толстой, оба графа Ламберты, генерал Герздорф, Тимашев, граф Ферзен, князь Паскевич, граф Шувалов (бывший воевода шпионов); подчас допускаются, на один раз, люди, которые вне себя от радости подобному отличию... Андрей Иванович Сабуров не может утешиться, что не попал еще в кальянщики...

Окончив это полезное занятие, государь идет к императрице и пьет с ней чай; потом возвращается к себе в кабинет, садится за письменный стол, и тут начинается подпись или, правильнее, подмахивание подписи на бумаги, ворохами лежащие на царском бюро. Бумаг государь не читает, да по правде сказать, если бы и захотел читать, то времени недостанет. При нашей русской централизации до государя доходят бумаги о всяких пустяках, и он едва успевает их подписывать, не только читать. Если бы кому-нибудь вздумалось положить на царский стол указ о назначении митрополита Филарета командиром гренадерского корпуса, то и эта бумага наверно удостоилась бы царской подписи.

Между тем, часов в одиннадцать являются министры к докладу. Хотя существует, с декабря 1857 года тайно, с ноября 1861 года гласно, Совет министров (четыре года пребывавший, словно какое-нибудь преступление, под кровом тайны официальной, тайны, разумеется, всем известной), хотя все вопросы должны бы обсуживаться сообща в Совете министров, однако министры сохранили личные отдельные доклады, что им доставляет драгоценную для них возможность спасать часть своих дел от контроля товарищей и еще более ценимую ими возможность пакостить друг другу. Оно вредит ходу дел и наносит ущерб пользам России, но кто же, поступив в третий класс табели о рангах, думает о пользе России? Об ней имеют заботу только люди малочиновные или неслужащие.

Министр военный является с докладом почти каждый день; управляющий морским министерством великий князь Константин Николаевич приезжает, когда ему угодно; начальник III Отделения собственной канцелярии имеет право являться в полдень, когда пожелает, хоть каждый день; министр иностранных дел имеет два доклада в неделю; председатель Государственного совета, начальник II Отделения собственной канцелярии и министр финансов имеют по одному докладу в неделю;

прочие министры для приезда к докладу должны испрашивать дозволение государя.

В час пополудни по четвергам государь идет в Совет министров, где посторонние зрители, если бы они были допускаемы, могли бы, как я сказал выше, любоваться до смеха деятельностью лебедей, щук и раков. В прочие дни государь отправляется на развод. После развода он делает визиты, посещает членов своей фамилии; посещает разные заведения, прогуливается в экипаже и пешком; возвратясь во дворец, занимается снова подмахиванием подписи к бумагам и, наконец, отправляется обедать к императрице. В половине пятого садятся за стол; почти всегда бывает несколько лиц приглашенных. После обеда государь курит сигару; потом в скором времени удаляется к себе и ложится спать до семи часов. В семь часов приходит к нему императрица с детьми; дети пьют чай у него. В восемь часов императрица с детьми уходят; государь занимается опять подмахиванием подписи к бумагам. В девять часов он идет к императрице и пьет у нее чай. Если есть приглашенные на вечер, то он садится с ними играть в карты; если нет, то садится к особому столику, на коем приготовлены карандаши, кисти, краски и тушь, и занимается делом важным и полезным... рисованием новых форм мундиров, панталонов, киверов, касок и прочих русских государственных учреждений, на которые столь обильно его богатое поэтическое воображение. Иногда вечер у императрицы заменяется поездкой в театр. Часов в одиннадцать императрица идет почивать. Государь возвращается сперва в свой кабинет, в коем свечи горят часу до второго, но государь не остается в кабинете; он отправляется куда-нибудь; часу в первом или в час возвращается к себе, занимается подмахиванием подписи к бумагам и в половине второго или часа в два ложится спать.

Этот обыденный порядок изменяется иногда поездками на охоту, и, судя по рассказам тех, кому случалось встречать царские поезды, охоты эти отличаются большой веселостью... Ужины на этих охотах бывают отличные и, говорят, — продолжительные...

Лиц, которые ему представляются, государь обыкновенно принимает в полдень, часу в первом; делает несколько вопросов, большей частью отрывистых; но расспрашивать как следует или вести разговора не умеет, и

вообще, всякий разговор с человеком, не принадлежащим к кругу его приближенных, тяготит государя.

Императрица Мария Александровна* в первые годы своего пребывания в России пользовалась репутацией женщины необыкновенно умной. При пустом, легкомысленном дворе Николая, который в последние годы своей жизни любил употреблять в разговоре с женщинами тон самый грязный, самый циничный, при этом николаевском дворе, который умел безвозвратно убить в России всякое уважение к двору, появление среди этого круга молодой женщины, отлично воспитанной, поразило всех. Приличие ее обхождения, ее молчаливость, ее скромность (скрывающая, впрочем, порядочную долю гордости) заставило принять ее за женщину необыкновенно умную. Холодность ее вежливости, вежливости отменной, но самой сухой и почти отталкивающей, приписана была желанию не вмешиваться в дела, чтобы не навлечь на себя гнева грозного свекра. Ее отчуждение от всех, ее любовь к уединению приписаны были осторожности, глубокомыслию и, наконец, отвращению, которое, как полагали, внушал ей жалкий николаевский двор. Все это придавало ей в России огромную популярность. Наконец, муж ее вступил на престол; тут обаяние упало, все обнаружилось, и популярность, какой пользовалась императрица в бытность свою цесаревной, совершенно исчезла. В первые месяцы своего царствования Александр Николаевич советовался с Марией Александровной, которая иногда присутствовала даже при докладах министров. Но едва прошло несколько месяцев, и приближенные государя, камарилья, или, выражаясь по-русски, ближняя дворня царская, стали нашептывать Александру Николаевичу, будто по России разнесся слух, что Мария Александровна им управляет. Для человека с твердым характером подобный слух показался бы смешным; люди энергические любят советников и советниц (я нарочно выражаюсь так, потому что, если умные мужчины видят вещи далее женщин, зато умные женщины весьма часто смотрят на вещи более тонко и более ясно, чем мужчины). Люди энергические не только не боятся советов, но ищут их, напрашиваются на них, но для человека с характером слабым, как Александр Николаевич (ни упрямство, ни мгновенные вспышки вовсе не суть признаки твердости характера), для такого человека слух, будто им управляет жена, был настоящим огорчением. Царская дворня

получила полный успех: государь не только перестал говорить о делах с императрицей, но еще начал с ней обходиться довольно резко и не всегда вежливо. Ныне, если императрица желает для кого-нибудь выхлопотать у государя что-нибудь, то обращается к посредству министров. Она видит, что все идет плохо, но не решается вмешиваться в дела. Ум ее, ясный в небольшом кругу понятий и вещей, не видит далеко; умственный кругозор ее не обширен. Она много читает, имеет большие познания, но для императрицы две первые обязанности — знание людей и знание своего края, а из науки книжной никак нельзя извлечь вполне ни того ни другого: для этого необходима наука жизни, которая приобретается лишь от общения с людьми, от бесед с ними, от знакомства с их страстями, с их предрассудками, с их интересами. Императрица любит уединение и малочисленное общество, а в ее звании это составляет настоящий порок; ее обвиняют в недоступности, в гордости, и популярность ее исчезла. Искреннюю дружбу питает она лишь к двум лицам, с коими находится в деятельной переписке: к великой княгине Ольге Николаевне и к своей бывшей гувернантке, госпоже де Грансе, из швейцарской фамилии, поселившейся в Гессене. Но великая княгиня Ольга Николаевна оставила Петербург шестнадцать лет тому назад и нынешней России знать не может, а госпожа де Грансе никогда не могла знать России. В Петербурге некоторой степенью доверия императрицы пользуется лишь Анна Федоровна Тютчева, воспитательница молодой великой княжны. Анна Федоровна — женщина умная, образованная, с направлением просвещенным и вполне достойная уважения, но коротких бесед с одной особой, какие бы, впрочем, ни были ее ум и прекрасные качества, недостаточно, чтобы знать Россию и знать людей. Императрица, женщина вполне добродетельная, одарена большой силой недвижности, но не имеет никакой энергии, ни малейшей предприимчивости. Она видит, что все идет скверно, что государя обманывают и обкрадывают, Россию грабят, дела путают, императорскую фамилию ведут к большим бедствиям; она все видит, понимает, проливает втихомолку горькие слезы и не решается вмешаться в дела. А кто же бы имел более ее права в них вмешиваться? Ее участь соединена с участью государя; ее дети — дети государя. Если бы она стала прямо, открыто, громогласно говорить истину, обличать

дураков и мерзавцев, окружающих ее мужа, кто бы мог ее заставить молчать? Мать шести великих князей, мать наследника престола, что бы с ней могли сделать? Ровно ничего. Нельзя же было бы ее ни выслать из России, ни сослать в Сибирь, ни посадить в казематы... Она не умеет пользоваться своим положением...

«Правдивый», № 1, 27 марта 1862, стр. 58.

II

Великий князь Константин Николаевич и константиновцы. Жена Константина Александра Осиповна. Великие князья Николай, Михаил, великая княгиня Мария Николаевна и ее муж граф Григорий Александрович Строганов. Великая княгиня Елена Павловна. Принц Ольденбургский. Наследник Николай Александрович и его воспитатели: Владимир Павлович Титов, граф Сергей Григорьевич Строганов и Курьяр. Принцы Лейхтенбергские. Герцог Мекленбургский. Лейб-медик Енохин. Граф Александр Федорович Адлерберг. Происхождение Адлербергов. Граф Владимир Федорович Адлерберг и Мина Ивановна Буркова.

Зрелище государственного разрушения, окружающее императрицу, и горести домашней жизни, горести ежедневные, едкие, разъедающие внутренний обыденный быт ее, развили в Марии Александровне, и без того склонной к меланхолии, чувство набожности. Этим воспользовались духовник императорской фамилии Бажанов* и митрополит Филарет* и, развивая постепенно в ней это чувство все более и более, чтобы успешнее завладеть ее умом, довели ее набожность до ханжества. Странный человек этот Василий Борисович Бажанов. Он умен, чрезвычайно хитер и ловок; по характеру своему рожден быть генерал-губернатором или командиром армейского корпуса, а судьбою брошен на поприще русского белого духовенства. Он имеет на императрицу огромнейшее влияние и действует по советам своего друга, митрополита Филарета. Митрополит Филарет человек необыкновенного ума, какой редко вмещался в человеческой голове; человек огромной учености и не меньшей хитрости,

лукав, честолюбив и властолюбив в высшей степени; с подвластным ему духовенством деспот неумолимый и ненавидим своими подчиненными[1].

О великом князе Константине Николаевиче говорено было в 23 номере «Будущности», и я не стану повторять здесь того, что там высказано[2]. Эта статья о великом князе сильно рассердила его императорское высочество и приближенных его и тем только подтвердила истину, высказанную в статье, что Константин Николаевич и его приближенные хотят прослыть в Европе за великих преобразователей и передовых либералов, а вместе с тем хотят держать русских в опеке; хотят быть Петрами Первыми нынешнего века, а вовсе не представителями разумных желаний и законных требований русских людей. Нам, русским, самодержавие уже надоело по горло; мы не хотим никакого произвола, ни даже произвола просвещенного. Мы хотим управлять сами собою; мы хотим конституции, и как там ни хлопочи и ни вертись Константин Николаевич и друзья его, мы конституции добьемся, тем или другим путем, мытьем или катаньем, но добьемся непременно... Горе тем, которые станут наперекор разумным и справедливым требованиям русских! Горе тем людям!

Лица, окружающие Константина Николаевича, и некоторые из коих отличаются замечательными способностями, соглашаются, что конституция для России необходима, но уверяют, что в настоящий момент она еще преждевременна; что Россия для нее еще не дозрела и что Россию нужно приготовлять к введению конституции лет через пятьдесят. В переводе на язык истины эти громкие фразы значат: «Конституция для России была бы весьма полезной; она даже необходима; но мы не хотим ее давать, пока надеемся иметь власть в руках. К чему вы, люд нетерпеливый, просите учреждения нового образа правления? Ведь мы, А, Б, В, Г и так далее, для вас лучше всяких конституций; мы считаем себя умнее всех вас, вместе взятых, и будем управлять вами отлично, но с тем

---

[1] Лет двадцать пять тому назад английский путешественник, бывший в Москве, сказал одному архимандриту: «Ваш митрополит, должно быть, святой человек?» «Почему вы так полагаетс?» — спросил архимандрит. «Он такой худощавый», — отвечал англичанин. «Помилуйте, — возразил архимандрит, — черт еще худощавее его!»

[2] [Эта статья воспроизведена в нашем издании.]

условием, чтобы вы не позволяли себе обсуждать ни нас, ни наших действий. Молчите и повинуйтесь нам. А когда нас на свете уже не будет, тогда пусть вводят конституцию».

Вот сущность пышных, свободообразных фраз, произносимых приближенными Константина Николаевича, «константиновцами»*, как их стали называть теперь. Прибавьте к этому, что каждый из константиновцев в своем внутреннем убеждении считает именно себя предназначенным к роли преобразователя России, к роли Петра I девятнадцатого века.

Если бы Константин Николаевич сочетал обширный государственный ум с преданностью к своему старшему брату, то он понял бы, что для государя единственное средство упрочить свою династию на престоле заключается в немедленном даровании конституции; он бы непременно убедил Александра Николаевича сделать это, и сделать неотложно. Он этого не делает, следовательно, ведет Россию к переворотам бурным, и потому, не позволяя себе подозревать в ней задней мысли подкопать престол своего брата и на его месте воздвигнуть престол для себя, не позволяя себе подозревать его в этом, и убежденный, что Константин Николаевич действует прямо и честно, я прихожу через то к необходимости отрицать в нем и обширность ума, и всякую политическую дальновидность...

Приближенные Константина Николаевича находят сильный отпор и горячее противодействие в великой княгине Александре Иосифовне*. Женщина ума недальнего, но искренно привязанная к своему мужу, она страшится для него политической деятельности и мщения врагов политических и оказывает явную нелюбовь к людям, окружающим великого князя. Из всех близких к Константину Николаевичу — самый умный, самый предприимчивый, самый энергический, одним словом, самый способный человек — Александр Васильевич Головнин*, и его-то Александра Иосифовна более всех ненавидит. Великому князю часто приходится испытывать то дружеские супружеские бури, то супружеское упрямство. Константин Николаевич, кроме жены и детей, не любит никого в мире, но зато любит их страстно; крутой деспот характером, он вместе с тем муж самый нежный и самый мягкий: великая княгиня, чтобы поставить на своем, иногда прибегает к тому роду упрямства, которое, по

словам Сен-Симона*, употребляла иногда королева испанская в отношении мужа своего короля Филиппа...

Когда царедворцы хотят удалить на время из России великого князя, хотят отправить его путешествовать, то прибегают обыкновенно к посредству его доктора, лейб-медика Ивана Самойловича Гауровица, датчанина происхождением, известного свой страстью к звездам и к лентам. Гауровиц тогда уверяет Александру Иосифовну, что здоровье великого князя неотменно требует поездки за границу и лечения, что иначе опасность может угрожать даже самой жизни ее супруга. Великая княгиня, страстно любящая мужа, перепугается и не дает мужу покоя, доколе не увезет его за границу. Зато Александра Иосифовна столь же благосклонна к Гауровицу, сколь ненавидит Головнина, а это не безделица...

Великий князь Николай Николаевич, не одаренный ровно никакими способностями, имеет особенную специальность, в коей едва ли найдет себе соперника: это воспитание и улучшение пород петухов и куриц.

Великий князь Михаил Николаевич в отношении к способностям умственным находится на полдороге между Константином Николаевичем и Николаем Николаевичем. Он отличается непомерной гордостью — гордостью, сделавшей его весьма непопулярным, — и ненавистью к либеральным идеям, то есть отличается таким направлением мнений, которое готовит ему в будущем большие неприятности...

Великая княгиня Мария Николаевна женщина умная: лета охладили ее пылкий характер; она всегда отличалась добрейшей душой. Пользуясь особенным расположением своего грозного отца, который любил ее более всех своих детей, находясь в самых дружеских отношениях и с государем, и с императрицей Марией Александровной, она многим оказала и продолжает оказывать услуги, делать добро, а зла никогда и никому в своей жизни не причинила.

Муж ее, граф Григорий Александрович Строганов*, умный, честный и вполне благородный человек. Положение его весьма затруднительно, и он держится в нем с большим тактом. Преданность свою Марии Николаевне он доказал самой свадьбой с нею, которая совершена была в тайне, в последние месяцы жизни Николая Павловича, и могла повести Строганова в Сибирь. Помолвка их произошла летом 1854 года в Гостилицах, имении

Татьяны Борисовны Потемкиной, которая потом на упреки своих приятельниц отвечала, что полагала совершить этим богоугодное дело, потому что темперамент Марии Николаевны не позволяет ей обходиться без мужа, не впадая в грех. Венчание происходило в домовой церкви Марии Николаевны, в ее дворце. Священник этой церкви на просьбу великой княгини обвенчать ее отвечал, что не может этого сделать без разрешения духовника царской фамилии, протопресвитера всех придворных церквей, Василия Борисовича Бажанова. Это был отказ, но ловкий священник, отказываясь от действия, которое, если бы о нем проведал Николай Павлович, могло бы повести его в Сибирь или под белый ремень, принес великой княгине ключ от церкви и сказал: «Это церковь вашего высочества. Вы можете пригласить любого священника для совершения треб, а меня извольте предуведомить: я на это время скажусь больным». Так и было сделано. Венчал великую княгиню осенью 1854 года священник церкви села Гостилиц, который немедленно вслед за тем подал в отставку и ныне живет в доме Татьяны Борисовны Потемкиной на Большой Миллионной, получая пенсию от великой княгини. Свидетелями при свадьбе были: князь Василий Андреевич Долгоруков и граф Михаил Юрьевич Виельгорский. Великая княгиня предлагала сперва графу Матвею Юрьевичу Виельгорскому, состоявшему в то время при ее особе, присутствовать при ее свадьбе, но граф Матвей Юрьевич, человек ловкий, отвечал ей: «Ваше высочество, я назначен от государя состоять при Вашей особе и управлять Вашим двором; если я решусь на такой поступок, то государь, если узнает, прогневается сильно, и я понесу страшную ответственность. Пригласите лучше моего брата: он всем известен как человек весьма рассеянный, и если произойдет беда, то все можно будет свалить на его рассеянность».

Из всех членов царской фамилии о свадьбе великой княгини извещены были лишь заблаговременно цесаревич и цесаревна (нынешние император и императрица). Николай Павлович до самой смерти своей ничего не знал о браке своей любимой дочери.

В январе 1856 года Мария Николаевна едва не выхлопотала официального признания своего брака. Граф Строганов находился в то время на войне в Крыму, командуя малороссийским милиционным казачьим пол-

ком. Ему велено было прибыть в Петербург, где через два или три дня после его приезда государь собрал на совет всех членов императорской фамилии и королеву Нидерландскую Анну Павловну*, проводившую ту зиму в Петербурге. На слова государя, что он считает себя обязанным официально признать брак сестры, потому что знал о ее намерении тайно венчаться и изъявил в то время свое согласие на тайную свадьбу, королева Анна Павловна отвечала: «Ваше величество в то время были первым подданным Вашего отца и не должны были изъявлять Вашего согласия на свадьбу, которую он не дозволял и которая совершилась в тайне от него. Теперь Вы сами царствуете: что бы Вы сказали, государь, если бы Вас послушались таким образом? Я полагаю, что брака моей племянницы, а Вашей сестры, признавать официально невозможно».

И брак официально признан не был, хотя браки эти, так называемые морганатические, употребительны почти во всех царствующих домах. Отказ этот признать брак Марии Николаевны тем более непостижим, что происходит в фамилии, в коей одна из царствующих императриц, Елизавета Петровна, была замужем за малороссийским казаком Разумовским, в фамилии, ведущей свое происхождение в прямой линии от чухонской девки Марфы, которая, начав поприще свое служанкой в доме пастора Глюка, была постепенно наложницей генерала Бауера, фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, и наконец, под именем Екатерины Алексеевны, наложницей Петра I, который, хотя и без свадьбы, объявил ее своей женой, провозгласил императрицей и оставил ей престол. Что же постыдного или дурного для Марии Николаевны быть женой графа Строганова? Официальная тайна ровно ничего не скрывает, ровно ничего не покрывает: нет в России ни одного уездного городишки, ни одного сельского помещичьего дома, где бы не было известно, что великая княгиня Мария Николаевна замужем за графом Строгановым. К чему же служит эта официальная тайна? Кого этим надеются обмануть или провести?.. Смех, да и только.

Что также весьма смешно, это обхождение государя и великих князей с графом Григорием Строгановым. Они не только не признают его мужем своей сестры, но еще

обходятся с ним гораздо более холодно, чем с большей частью придворных. Граф Строганов, с своей стороны, нимало не огорчается холодностью и смешной пред ним надменностью его августейших шурьев; не кланяется временщикам, но вместе с тем не поднял носа ни перед кем; со всеми прежними своими знакомыми остался на прежней ноге, и если бы, к сожалению, не дал промаха, приняв на себя должность вице-президента конюшенной конторы, если бы не этот смешной промах, то про него по справедливости можно было бы сказать, что он держит себя в отношении к высшим и к низшим не как петербургский барин (что составляет середину между монголом и холопом с претензиями на качества английского лорда), а как истинный европейский вельможа. И в самом деле, чего же ему при дворе добиваться? Ведь не титула же светлейшего князя? Титул этот в России, как известно, носят лица, из коих некоторые, по своей глупости, сделались истинной притчей во языцех. Ведь бывали же примеры, что барин чиновный и богатый, но подленький душой, чтобы добиться титула светлости, женил своего дурака-сына на любовнице царской*, да еще на такой, на которой другой человек, посмышленее, отказался жениться, пожертвовав частью своего состояния, чтобы избавиться от подобного срама [...].

Нет! Строганову, честному человеку, русская светлость не по плечу. Не добиваться же ему также и Андреевской ленты? Ведь ее носят и вор-тиран граф Клейнмихель, и деспот-притеснитель граф Закревский, и набитый глупец граф Адлерберг-Минин, и придворный холоп граф Шувалов.

Если великая княгиня Мария Николаевна не вмешивается в дела политические, зато великая княгиня Елена Павловна* только и делает, что вмешивается в политику; старается всеми силами удить рыбу в мутной воде и нарочно мутит воду для удобнейшего рыболовства. При жизни мужа ее, великого князя Михаила Павловича, ей вмешиваться в политику было невозможно. Михаил Павлович, не имевший ни серьезного ума, ни рассудка, был, подобно братьям своим, Константину и Николаю Павловичам, человеком грубым, пошлым, ненавидел книги и умных людей и являл в себе смесь азиатского хана, австрийского капрала и французского парикмахера-каламбуриста. Он являлся *попеременно* или тигром с

ухватками настоящего мальчишки, или мальчишкой в тигровой шкуре. Он не допускал Елену Павловну вмешиваться в политику, беспрестанно ссорился с нею и на вопрос одного из своих адъютантов: «Ваше высочество будет праздновать годовщину двадцатипятилетия своей свадьбы?» он отвечал: «Нет, любезный, я подожду еще пять лет и тогда отпраздную годовщину моей тридцатилетней войны!» По смерти мужа, пока еще был жив Николай Павлович, Елена Павловна не смела открыто вмешиваться в дела: с Незабвенным шутить было плохо. Но лишь вступил на престол Александр Николаевич, Елена Павловна ринулась в политику. Она в глаза чрезвычайно льстит и государю, и императрице Марии Александровне, осыпает вежливостями и знаками внимания всех лиц, имеющих влияние при дворе, но за глаза над государем подтрунивает, а приближенным его отдает полную справедливость, то есть отзывается о них с величайшим презрением. Про императрицу она говорит: «Бедная женщина! Зачем она позволяет обходиться с собой таким образом! Ума-то, видно, у нее, бедной, мало!» Константину Николаевичу она в глаза льстит, а за глаза дает понимать другим, что руководит и управляет великим князем. Когда он сделает что-нибудь умное, она всегда даст почувствовать, что это сделано по ее совету, а если великий князь даст какой-нибудь политический промах, она говорит: «Ах! Зачем Константин меня не послушался! Ведь я ему советовала этого не делать! Константин, конечно, умен, но в нем нет никакого благоразумия: он слишком пылок, ему необходим советник, который бы находился при нем безотходно и мешал бы ему проказить». Само собой разумеется, что роль подобного советника добрая и попечительная тетушка предоставляет себе. В старые годы с Еленой Павловной решительно никто уживаться не мог, но лета (ей теперь пятьдесят пять лет) несколько сгладили угловатости ее нрава, в старину столь неприятного, что один человек, после разговора с нею, в коем она расточала свою салонную любезность, на вопрос приятеля своего, как он находит Елену Павловну, отвечал: «Это самый любезный еж».

Принц Петр Георгиевич Ольденбургский — добрый, честный человек, многим делает добро и никогда никому не причинил зла. Притом нам, русским, не следует забывать, что ему, его огромным пожертвованиям обязано

своим существованием Училище правоведения, а его благородному характеру обязаны тем направлением бескорыстия, коим отличаются почти все воспитанники этого заведения. История не будет обязана ни слушать плохой музыки, ни читать плохих стихов принца Петра Георгиевича, но всегда с уважением помянет имя основателя Училища правоведения, который к тому же всегда был добрейшим и честнейшим человеком.

Цесаревич еще так молод, что характер его еще не совершенно вылился в определенную форму, но по тому, о чем уже можно судить теперь, следует бояться, что этот юноша готовит себе несчастную будущность крутостью своего нрава и непомерным властолюбием, подчас напоминающим его необузданного деда. Он имеет ум быстрый, сметливый, но неспособный продолжительно обсуждать предметы, неспособный ясно вникать в вещи, и едва ли из него выйдет человек глубокомысленный. Он питает глубокое уважение к уму и к познаниям дяди своего Константина Николаевича; ему случилось говорить: «Надобно спросить у дяди Кости: он все знает!», и это чувство может со временем погубить цесаревича, потому что Константин Николаевич имеет на него огромное влияние, а Константин Николаевич, при всем своем, подчас весьма бурном, псевдолиберализме, в сущности страшнейший деспот. Константин Николаевич не хочет равенства перед законом, то есть правления конституционного, а хочет просвещенного самодержавия, то есть равенства перед прихотями царя и ближней дворни его. «Вы, русские, дескать, дураки, — думает про себя Константин Николаевич, — куда вам собою управлять; я буду вашим опекуном: буду действовать просвещенно, буду платить в Европе журналам, чтобы прославляли мой либерализм. а вы, братцы, молчите, повинуйтесь и кланяйтесь мне, а коли пикнете против таких просвещенных и либеральных людей, как я и мои ближние, то вы не забывайте, что в России есть Вологда, Вятка, Пермь и разные другие загородные увеселения самодержавия!» Константин Николаевич своими советами и своим примером направляет цесаревича на ложный путь, на конце коего может предстоять для них обоих бсзвозвратная заграничная поездка...

Воспитание цесаревича по слабости характера императрицы было весьма плохое. При нем были Николай

Васильевич Зиновьев и Григорий Федорович Гогель, люди честные, но совершенно бездарные и вовсе не понимающие потребностей времени, не понимающие условий, необходимых в нашу эпоху для воспитания будущего властителя России. Когда Незабвенный осчастливил Россию, отправившись к своим праотцам, то императрица Мария Александровна определила к цесаревичу для наблюдения за учением его Владимира Павловича Титова, человека умного, отлично образованного и отменно честного. Умный и честный Титов понял огромную ответственность, какую подобное звание возлагало на него перед Богом и перед историей, и добросовестно принялся за свое дело. Он определил в учителя к цесаревичу людей весьма способных. Но некоторые из этих назначений сделаны были императрицей по ходатайству Титова без согласия государя, узнавшего, например, о назначении г-на Бабста по докладу князя Василия Андреевича Долгорукова, который, верный своей привычке чернить людей просвещенных и клеветать на людей с либеральным направлением, представил Бабста человеком самым опасным, или, как любят выражаться стародуры, «красным». Государь ужасно рассердился на императрицу и сказал ей: «Видно вы распоряжаетесь воспитанисм моих детей без моего согласия!» Титов, как человек умный и бывалый, знакомый с Европой, хотел, чтобы Николай Александрович слушал курс в университете. Куда! Вся царская дворня возопила: «Титов — якобинец!», и в течение нескольких месяцев зимы 1857—1858 года, если бы царской дворне предложили вопрос: «Кто хуже: Титов или Робеспьер?», она бы тотчас воскликнула: «Разумеется, Титов». Люди с умом и со здравым рассудком тщетно указывали на примеры европейских принцев, которые слушают курсы наук в университетах, но в Зимнем дворце этого и понять не могли. Ведь и то правда: европейские принцы предназначены быть истинными монархами, то есть монархами конституционными, а Николай Александрович предназначается быть самодержцем, сиречь миропомазанным фельдфебелем! На что же ему университет? Преображенский манеж гораздо ближе к цели!

Назначая Титова в звание инспектора классов цесаревича, императрица не могла добиться, чтобы воспитание сына ее было вверено Титову. Как можно? Ведь он статский, не военный, а для блага России необходимо, чтобы

будущий император воспитан был людьми в эполетах. Зиновьев и Гогель оставались еще при цесаревиче. Между ними и Титовым возникла борьба. Тут подоспел со своими доносами всего боящийся и всетрепещущий князь Василий Андреевич, нашептывая государю всякие бессмыслицы; одного из определенных Титовым учителей, Кавелина, удалили от цесаревича; благородный Титов обиделся этим и подал просьбу о своем увольнении. Императрица, по своему обычаю, поплакала втихомолку, и пока она отирала свои слезы, Титов назначен был посланником в Стутгардт.

Наконец, когда наследнику уже наступил семнадцатый год, время его политического совершеннолетия, к нему назначили «попечителем» графа Сергея Григорьевича Строганова*.

Граф Сергей Григорьевич Строганов странный человек: в нем соединены качества и недостатки, какие редко встречаются в одном и том же лице. Он умен и хитер, но невзирая на свой нынешний семидесятилетний возраст не знает людей. Он получил основательное классическое образование — вещь редкая в России между его современниками — обладает обширной ученостью, перечитал в жизнь свою целые библиотеки и остался теоретиком. Семьдесят лет живет он на свете между людьми всякого рода; по рождению и по состоянию своему принадлежал всегда к высшему кругу общества; служебной своей деятельностью поставлен был в сношения с людьми средних и низших слоев, одним словом, видел род человеческий от кабинета царского до хаты пермского крестьянина и людей не знает! Воспитанный в Европе, он чужд азиатских замашек большей части русских сановников; он гуманен и весьма любит, чтобы это знали; либерализм его всегда достигал той черты, за коей начинается ссора с правительством, и ни разу не перешагнул за эту черту. Будучи молодым человеком, он хотя был из числа самых образованных людей того времени, но вовсе не принадлежал к обществу декабристов, заключавшему в себе цвет современной молодежи. При Николае Павловиче, пока либерализм ограничивался фразами, разговором и получением из-за границы запрещенных книг, граф Сергей Григорьевич был либералом настолько, насколько можно было, чтобы не поссориться с государем. Николай Павлович считал его теоретиком (это была одна из не-

многих здравых мыслей, нашедших себе приют в не совсем здравой голове Незабвенного), но оказывал ему благосклонность, думая сам про себя: «Каков, дескать, я великий человек; ведь вот Строганов либерал, а я его терплю при себе генерал-адъютантом и даже выслушиваю все, что он мне говорит. Ведь это хоть бы Петру Великому под руку! Вот каков я, Николай Первый!» Одной из лучших страниц жизни графа Строганова было его губернаторство в Минске после польской кампании в 1831 году: человеколюбивым своим обхождением он заслужил благословения несчастных поляков! Тринадцатилетним просвещенным отличным управлением Московским университетом (1835—1848) граф Сергей Григорьевич оказал России величайшую услугу, но должно прибавить, что главным руководителем Министерства народного просвещения в это время был сам министр, граф Уваров*. Граф Строганов с Уваровым враждовал, ссорился, часто был не совсем вежлив со своим министром, но шел по уваровскому направлению и прекрасно делал. Ссоры его с Уваровым происходили не из-за различия мнений: воззрения их были одинаковые; но из-за того только, что графу Строганову неприятно было, что почин этому направлению положен Уваровым, а не им. Когда граф Строганов жил в Москве, то он писал прямо к Николаю Павловичу свое мнение о происходившем в Москве, об административных лицах; когда приезжал в Петербург (то есть по крайне мере раз в год), присутствовал в кабинете государя при докладах начальника III Отделения о делах московских и по приказанию государя подавал о них свое мнение. Честность графа Сергея Григорьевича не подлежит ни малейшему сомнению, но как же он мог решиться принять на себя подобную... «наблюдательную» должность? Это можно разве изъяснить лишь отсутствием логики! Граф Строганов находился уже на половине седьмого десятка лет своих, когда вопрос об уничтожении крепостного состояния возник серьезным образом и здравая политика потребовала уступки крестьянам их земельного надела; тут словесный либерализм оказался недостаточным, граф Строганов совершенно растерялся и, будучи членом московского губернского комитета, не знал, что делать. После пятимесячного исправления должности московского военного генерал-губернатора он был назначен попечителем цесаревича 8 сентября 1859 года. Едва успел он попасть на

постоянное пребывание в Зимний дворец, как тяжелая, удушливая атмосфера этого вредного здания раздражительно подействовала на его старческие нервы; он был объят страхом! И бывший поборник просвещения сделался гонителем его. Он первый подал мнение о непременном взимании платы с бедных студентов; хотел даже увеличить эту плату!.. Поистине непонятно!.. Ныне, когда Россия проснулась от сна, укрепившего ее силы, когда в ней стремится быстрый поток, могущий сделаться бурным, если ему бессмысленно ставить будут преграды; когда все разумные люди, все ясные умы стараются очистить широкое русло, чтобы этот поток имел течение удобное, вольное и, протекая беспрепятственно, оплодотворял берега тех мест, в это время вместить себе в голову мысль — ставить преградами против этого потока заборы и перегородки — это нелепость, которая находит последовательный, законный приют свой в глупых головах Адлерберга-Минина и князя Василия Андреевича Долгорукова, но должна была бы оставаться чуждою графу Сергею Григорьевичу Строганову.

Итак едва ли граф Сергей Григорьевич может иметь вполне хорошее влияние на довершение воспитания цесаревича.

Из числа наставников, находившихся при цесаревиче, полного уважения заслуживает г-н Курьяр, женевский уроженец, англиканский пастор, бывший одним из капелланов герцогини Кентской, матери королевы Виктории. Он учил королеву Викторию французскому языку и по окончании ее воспитания возвратился в Женеву. Он имел несчастье поместить свой небольшой капитал к банкиру, который впал в несостоятельность, и лишился своих денег. Бывшая воспитательница императрицы Марии Александровны, госпожа де Грансе, рекомендовала императрице г-на Курьяра, который и определен был к цесаревичу учителем французского языка. Человек образованный, отменно умный, с ясным и светлым взглядом на вещи, с характером благородным, с чувствами возвышенными, приятный и любезный в обхождении, но неуклонно твердый характером, г-н Курьяр был весьма полезным цесаревичу, и его просвещенное влияние служило подчас весьма хорошим противодействием неевропейскому влиянию генералов Зиновьева и Гогеля. Из Женевы и из Лондона, где в обоих местах столь высоко развиты

чувства личного достоинства и независимости человеческой, заброшенный судьбою на топкое и грязное болото петербургского двора, г-н Курьяр остался чистым, независимым и безупречным. Цесаревичу он никогда не уклонялся вещать истину, с придворными сановниками держал себя прекрасно, на такой ноге, что ни один из самых безмозглых монголо-петербургских баскаков никогда не осмелился забыться перед г-ном Курьяром. Никогда ни одно слово лжи не вышло из уст г-на Курьяра (а это редкость при петербургском дворе); часто он говорил истину там, где андреевские кавалеры молчали и кланялись, и наконец, что вполне обрисовывает его характер, его самостоятельность, его благородную личность, он никогда не хотел принять никакого «чина»...

В 1860 году граф Строганов оказал цесаревичу двойную услугу, удалив от него генералов Зиновьева и Гогеля, людей честных, но отсталых представителей николаевской эпохи, и оставив при цесаревиче назначенного к нему еще в 1858 году полковника Рихтера*. Оттон Бурхардович Рихтер — человек честнейших правил и благороднейшего характера. Такие люди редки везде, а при дворах еще более[1].

Воспитатель великих князей Александра Александровича и Владимира Александровича, граф Борис Алексеевич Перовский, человек добрый, довольно хитрый, но ума ограниченного, обязан своим местом старинной дружбе своей с графом Александром Адлербергом и опирается на это могущественное покровительство.

Что же касается до сыновей великой княгини Марии Николаевны, то они воспитаны весьма хорошо. Воспитатель их, Константин Григорьевич Ребиндер, умел выполнить свою должность, и этому, конечно, много содействовало долгое пребывание двух старших из них, герцога Николая Максимилиановича и принца Евгения Максимилиановича, за границей, в Англии, вдали от Петербурга. Ведь в Петербурге, в этом болоте, истинном болоте физическом и нравственном, двор и сотни две-три семейств, его окружающих, представляют (за весьма немногочисленными исключениями) зрелище, какого не

---

[1] О. Б. Рихтер — родной брат умного и благородного Александра Борисовича Рихтера, бывшего русским посланником в Бельгии и там умершего в 1859 году.

встретишь ни в одной стране в мире: смесь монгольской дикости с византийской подлостью, и все это плохо прикрыто европейским платьем; смесь необразованности с самоуверенностью, основанной на чтении французских журналов и английских романов; совершенное незнание России, потому что никогда не живали в своих поместьях, а во всю жизнь свою ползали при дворе и обивали пороги у временщиков; незаслуженное презрение к москвичам и к жителям провинций, презрение, которое москвичи и жители провинций возвращают им с лихвой, но только заслуженным образом; и наконец, в довершение всего, низость перед всяким временщиком, сколь бы он отвратителен ни был. Эти холопы превосходительные, сиятельные, светлейшие, эта холопия, воображающая себя «аристократией» (!!!), боится лишь одного — гласности; она готова выносить всевозможные оскорбления, всевозможные унижения, всевозможный позор — лишь бы только Европа о том не знала! Полумонголы, полувизантийцы в европейских платьях — они имеют претензию прослыть за английских лордов, но все знают, что они «холопия» и больше ничего[1].

Принцы Лейхтенбергские воспитаны хорошо, воспитаны как принцы европейские, а не как русские великие князья, то есть из них старались сделать людей, а не миропомазанных фельдфебелей. Одного только следует бояться, чтобы они в Петербурге не испортились...

Герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий, муж великой княгини Екатерины Михайловны, держит себя весьма прилично и весьма умно. Когда он женился, то не впал в ошибку, совершенную герцогом Лейхтенбергским, который, женясь на великой княгине Марии Николаевне, имел неосторожность по свадебному договору подчинить себя власти Николая Павловича; эта мгновенная ошибка дорого обошлась герцогу Лейхтенбергскому: он лишился всякой свободы, всякой самостоятельности и не мог выезжать из России иначе, как с дозволения Николая Павловича, даже для свидания с своей матерью. Герцог Мекленбургский поступил осторожнее. По свадебному

---

[1] В настоящее время, когда множество русских путешествует, не один Петербург являет выставку холопии — этого продукта невских болот. Порядочное количество экземпляров ее, подлых и смешных вместе, можно встретить в Париже. *(Примечание редактора «Правдивого».)*

договору его Екатерина Михайловна, в качестве герцогини Мекленбургской, освобождена от русского подданства; она и муж ее имеют право выезжать из России, когда им угодно, и пользуются весьма выгодным положением членов царской фамилии, оставаясь чуждыми невыгодам этого положения, то есть пользуются совершенной свободой, недоступной русским великим князьям и великим княгиням.

Герцог Мекленбургский — человек умный, чрезвычайно благоразумный, с весьма добрым сердцем; человек характера честного и прямого, получил отличное воспитание, обладает обширными сведениями по разным отраслям наук. Он весьма счастлив в семейном быту; Екатерина Михайловна женщина весьма добрая и очень любит своего мужа. Герцогу приходится, правда, вести борьбу против своей тещи, Елены Павловны, несноснейшей женщины, страсть которой во все вмешиваться и всеми управлять, но он ведет эту борьбу тихо, скромно и для публики совсем незаметно, с большим тактом.

Из числа людей, самых приближенных к государю, особенную важность имеет — не по способностям своим, потому что редко можно встретить подобный пример бездарности, но по своим ежедневным сношениям с государем — его доктор Иван Васильевич Енохин*. Сын священника в Малороссии, он воспитывался в семинарии, потом в Киевской духовной академии, откуда поступил в Медико-хирургическую академию, и по выходе из нее очутился доктором в Преображенском полку. Человек ума самого ограниченного, но хитрый и весьма пронырливый, он превосходно умеет подслуживаться. Во время турецкой кампании 1828 года Николай Павлович как-то имел случайный припадок легкой лихорадки; за временным отсутствием государева лейб-медика к нему из штаба Преображенского полка призван был Енохин, и тут Николай Павлович увидел его в первый раз. Во время польской кампании 1831 года Паскевич, страстный охотник до женщин, весьма боялся, чтобы какая-нибудь полька в порыве геройского самоотвержения не отомстила ему за свое отечество *весьма неприятным образом,* и потому всякая женщина, допускаемая до интимной беседы с фельдмаршалом, обязана была предварительно провести несколько минут с глазу на глаз в соседней комнате с Енохиным в полном послушании у почтенного

медика. После взятия Варшавы Енохин ездил в отпуск на родину для свидания с отцом и, как человек расчетливый, на возвратном пути заехал по дороге на поклон к отцу фельдмаршала, старику Федору Григорьевичу Паскевичу, жившему в деревне. Федор Григорьевич принял весьма ласково вкрадчивого, искательного проезжего и снабдил его письмом к своему сыну, фельдмаршалу. Когда для цесаревича (нынешнего государя) устраивали придворный штат, фельдмаршал выхлопотал Енохину место лейб-медика при цесаревиче, чтобы иметь при этом новом дворе свою креатуру. Сначала нелегко было Енохину на придворном поприще. Начальником двора цесаревича находился в то время сумасшедший генерал Кавелин. Однажды во время своего первого заграничного путешествия Александр Николаевич в Копенгагене имел небольшой припадок лихорадки. Кавелин взбесился, обратился к Енохину и, почти показывая ему кулак, закричал: «Чтобы завтра его высочество был здоров! Если завтра его высочество не выздоровеет совершенно, то я тебя пошлю на гауптвахту здесь же, в Копенгагене!» Любопытно то, что на другой день великий князь был здоров... Цесаревичу очень хотелось провести зиму 1838—1839 года за границей, а Николай Павлович требовал непременно возвращения его в Россию; Енохин взялся уверить и уверил грозного государя, что здоровье Александра Николаевича непременно требует провести зиму в Риме, что иначе у него может сделаться чахотка, и цесаревичу разрешено было провести зиму в Риме. Этой услуги Александр Николаевич никогда не позабыл. Будучи великим князем, он всякое утро пил кофе с Енохиным. На другой день после восшествия Александра Николаевича на престол утром Енохин не является. «Где Енохин?» — спрашивает новый государь. Ему отвечают: «Дожидается в приемной». — «Позвать его!» Является Енохин. — «Зачем ты не велел о себе доложить?» — «Не смел, государь; я имел счастие каждое утро пить кофе с цесаревичем, но к государю моему без приказания явиться не смею». Это понравилось Александру Николаевичу: он велел ему сесть и пить с собой кофе. С той поры Енохин ежедневно утром пьет кофе с государем с глазу на глаз, что дает ему возможность говорить государю, о чем ему вздумается. Сверх того он всегда сопровождает государя во всех его путешествиях. При дворе все смеются над Енохиным, но все чрезвычайно за ним ухаживают. Самые важные лица в Петербурге из

числа тех, которые за глаза наиболее насмехаются над Енохиным, ездят по большим праздникам с поздравлением к Ивану Васильевичу и при встрече с ним жмут ему руку с самой приятнейшей улыбкой.

Но самый приближенный, самый любимый государем человек — что в настоящее время известно всей России — это граф Александр Адлерберг. Он один во всей России разделяет с дежурным камердинером царским право во всякое время входить к государю без доклада. Вы видите, что более интимного холопства и существовать не может. Адлерберги и родственники их Барановы ныне составляют какую-то особую династию, которая, с присовокуплением к ней разных приближенных царских, составляет в России какое-то особое сословие: царскую дворню. Сословие это, подобно тинистому и грязному болоту, окружает престол и отделяет его от России. Когда Александр Николаевич воцарился, по Петербургу ходила какая-то песенка, написанная господином, по-видимому, весьма незнакомым с историей, потому что он принимал Голштейн-Готторпов* за Романовых. Куплеты этой песенки я позабыл, но помню припев их:

От Адлербергов и Барановых
Избави, Боже, дом Романовых...

Адлерберги — шведская фамилия. Настоящее имя их Свебелиус, и при пожаловании их в дворяне в 1684 году король Карл XI, как часто делается в Швеции, переменил это имя на фамилию Адлерберг. Фридрих Адлерберг, умерший лет шестьдесят тому назад, женат был два раза, и оба раза на девицах Багговут. От первой жены он имел несколько сыновей, а эти народили ему внуков, один из коих находится ныне членом генерал-аудиториата. От второй жены своей, Юлии Федоровны, он имел сына, нынешнего графа Адлерберга-Минина, и дочь, статс-даму графиню Баранову.

Кстати о графе Адлерберге. Считаю, князь Петр Владимирович, долгом довести до Вашего сведения, что по доходящим до меня слухам Ваш старый знакомый и сосед по Чернскому уезду, бывший чернский уездный и бывший тульский губернский предводитель дворянства, Василий Петрович Минин, весьма на Вас негодует и считает себя оскорбленным Вами тем, что Вы позволяете

себе придавать имя Минина такому болвану и казнокраду, каков граф Владимир Федорович Адлерберг, сделавшийся посмешищем и предметом презрения всей России. По моему мнению, Василий Петрович Минин совершенно прав, и Вы перед Василием Петровичем вполне виноваты.

Юлия Федоровна Адлерберг и муж ее находились в большой бедности, когда воспитательница великих княжон, дочерей императора Павла, баронесса (впоследствии княгиня) Шарлотта Карловна Ливен определила Юлию Федоровну Адлерберг нянюшкой: сперва к великому князю Николаю Павловичу, а потом к великому князю Михаилу Павловичу. Юлия Федоровна усердно мыла и обтирала этих двух индивидуумов, а между тем, будучи женщиной хитрой, ловкой и под личиной холодного добродушия весьма вкрадчивой, втерлась в доверие к императрице Марии Федоровне. В начале царствования Александра I она была назначена начальницей Смольного монастыря и занимала до самой смерти своей (1839) эту должность, с которой сопряжены: квартира, экипаж, большой оклад, разные в России так называемые невинные доходы и придворные отличия (например, на этом месте Адлербергша, так называли ее в Смольном, умела выхлопотать себе статс-дамский портрет и Екатерининскую ленту). Сына своего, Эдуарда-Вольдемара, нынешнего графа Владимира Федоровича, она сделала участником детских игр Николая Павловича и Михаила Павловича; он был помещен в Пажеский корпус, выпущен офицером лейб-гвардии в Московский полк, и когда Николай Павлович пришел в возраст, то Владимир Федорович был назначен к нему адъютантом и получил в Аничковском дворце квартиру, на которой жил до поступления своего в министры почт. Когда Николай Павлович вступил на престол и учреждена была следственная комиссия над несчастными 14 декабря, Адлерберг, хотя не был членом комиссии, но ежедневно присутствовал на ее заседаниях в звании царского соглядатая; переносил потом государю известия обо всем, что происходило в этой комиссии, которая по своей несправедливости, по своей жестокости и по своему бездушному легкомыслию составляет одно из величайших пятен грязного царствования Незабвенного. По назначении в 1827 году Чернышева военным министром, а Клейнмихеля дежурным генералом Адлерберг был назначен начальником военно-

походной канцелярии и командующим главной квартирой. Чернышевское время ознаменовано было в военном министерстве воровством, доходившим до грабежа: Чернышев, Клейнмихель и Адлерберг брали подряды и поставки под чужим именем и делили между собой огромные суммы. Когда в марте 1842 года один из самых презренных царедворцев эпохи Александра I и Николая, князь Александр Николаевич Голицын, низкопоклонный под личиной добродушия, подлый под личиной вельможи и развратный под личиною ханжи, потеряв зрение, принужден был оставить двор и звание министра почт, звание это возложено было на Адлерберга. Владимир Федорович отличается совершенным отсутствием ума, соображения и познаний: трудно встретить такую полную, совершенную, безграничную бездарность. Дел он не понимает вовсе, занят лишь своими удовольствиями и добыванием какими бы то ни было способами денег, которые проматывает на свои удовольствия. Много времени берет у семидесятилетнего старика туалет его: он в парике, с усами и бакенбардами нафабренными, с лицом нарумяненным, весь расписан, как балаганная кукла. С подчиненными горд, как истинный глупец, и высокомерен, как истинный выскочка[1]. Деньгами и подлостью через него можно все получить, особенно, если достигать до него путем Мины Ивановны.

Лет двадцать пять тому назад Павел Александрович Нащокин привез в Петербург невесть откуда молодую и красивую женщину по имени Эмилия, а по-русски именуемую Мина Ивановна. По смерти Нащокина, коего она любила и на первых порах после его смерти с отчаянием оплакивала, Мина Ивановна после нескольких лет жизни разнообразной и веселой нашла себе покровителя во Владимире Федоровиче Адлерберге. Он влюбился в нее со всей безумной страстью старика, да еще старика в парике, нарумяненного и нафабренного. В числе подчиненных его по департаменту почтовому находился чино-

---

[1] В прошлом году в Биарице я сам видел, как на гулянье по морскому берегу действительный статский советник и камергер Иван Демьянович Булычев подавал стул графу Адлербергу. Один француз спросил у меня: «Неужели этот человек — камергер?» «Камергер», — сказал я. «Представьте себе, — возразил француз, — я, видя как он подает стул, принял его за трактирного слугу!» «Не во многом и ошиблись!» — отвечал я. *(Примечание редактора «Правдивого».)*

вник Бурков, который согласился обвенчаться с Миной Ивановной и немедленно после свадьбы, не заходя к ней в комнату, сесть в коляску и отправиться на безвыездное пребывание в какую-то дальнюю губернию, где ему дали весьма теплое, доходное место и ежегодную пенсию. Как сказано — так и сделано. Свадьбу отпраздновали весело: Адлерберг был посаженым отцом; после свадьбы и ужина посадили Буркова в коляску и пожелали ему счастливого пути. Мина Ивановна, разумеется, осталась в Петербурге и вела дружескую переписку с тем, чье имя носила. Несколько времени спустя Бурков умер в чине статского советника; при известии о его смерти расплакалась Мина Ивановна: она говорила, что надеялась на скорое производство своего мужа в действительные статские советники и теперь лишилась надежды быть превосходительством.

Но это письмо уже вышло весьма длинно. Итак, до следующего письма, в коем расскажу о загробном производстве мужа Мины Ивановны в действительные статские советники.

«Правдивый», № 2, 18 апреля 1862, стр. 9—16.

III

Карьера Мины Ивановны.

Нежное сердце Адлерберга не устояло против слез огорченной вдовы: он поспешил помочь ее горю; о смерти Буркова в приказах отдано не было, его представили, будто живого, к чину «за отличие по службе», и когда о производстве его в действительные статские советники помещено было в приказах, то через несколько дней спустя объявлено и о смерти его. Мина Ивановна получила титул превосходительства, а Адлерберг сочинил таким образом оригинальное дополнение к книге «Мертвые души». Это было, впрочем, единственным литературным трудом Владимира Федоровича. Известно, что по части искусства и наук он занимается живописью — раскрашиванием своего лица — и наукой употребления помады.

Мина Ивановна зажила роскошно*. Адлерберг со всеми своими окладами и пенсиями получает от казны с лишком семьдесят тысяч рублей серебром в год, кроме квартиры для себя и для сыновей своих, освещения, отопления и для себя, и для своей жены, экипажа. Сверх того, в пребывание государя в загородных дворцах, то есть в течение месяцев семи в году, он имеет стол, на сколько кувертов ему угодно. Жене своей он дает весьма мало денег, детям также, и почти все деньги идут на Мину Ивановну. Зато г-жа Буркова живет великолепно: мебель у нее из дворца; экипажи и лошади с придворной конюшни; в комнатах цветы из придворных оранжерей; когда у нее обед или вечер, то придворные повара готовят стол из придворных припасов. Придворные чины к

ней ездят на поклон; через нее легко получить место при дворе, а по ведомству почтовому, доколе им управлял Адлерберг, то есть до 1858 года, без нее просто нельзя было получить никакого места. Ее милость возводит людей, а гнев ее низвергает их.

Невозможно себе представить, до каких пределов доходит низкопоклонность перед Миной Ивановной петербургского придворного круга, этих полумонголов, полувизантийцев, имеющих претензии на значение английских лордов, низкопоклонность этой «холопии», которая воображает себя аристократией... Гостиная Мины Ивановны набита людьми знатными, которые приезжают на поклон и заискивают ее покровительства. Бывают забавные случаи. Однажды егермейстер граф Ферзен, только что вступивший во второй брак, встречается с одним из своих придворных знакомых: «Представь себе, — говорит граф, — какая дерзкая эта Мина; когда я был вдов, то езжал к ней, знаешь, повеселиться, а теперь, когда я женился, она вдруг осмелилась прислать мне приглашение на обед в четверг!» «Представь себе, — говорит знакомый, — что она осмелилась и мне прислать приглашение к обеду на тот же день!» «Ты поедешь?» «Конечно, нет!» «И я, разумеется, не поеду!» Оба почтенные мужа расстались в полной уверенности каждый, что может в четверг ехать на обед, не рискуя встретить собеседника, перед коим заявлял свою независимость, и, к взаимному своему неудовольствию, встретились в четверг на обеде!

В Москве, когда Мина Ивановна приезжает туда, перед ней держат себя более независимо, потому что в Москве чувства чести и личного достоинства более развиты, чем в высшем петербургском кругу, но и в Москве есть индивидуумы, достойные жить на невских болотах. Самый низкопоклонный из мининских холопов в первопрестольной столице — начальник Московского архива иностранных дел князь Михаил Андреевич Оболенский, который через ее посредство купил чин гофмейстера. Я говорю «купил», потому что при петербургском дворе чины и кресты весьма часто продаются втихомолку. Торг этот существует издавна, и даже при князе Петре Михайловиче Волконском, который при всех своих пороках был человеком вполне бескорыстным, лица, имевшие на него влияние, торговали придворными чинами. Андрей Ива-

нович Сабуров, например, купил в 1851 году чин гофмейстера, заплатив двадцать тысяч рублей серебром Жеребцовой, любовнице старика Волконского.

Соперником князя Михаила Оболенского в холопстве явился однажды князь Николай Александрович Щербатов, известный друг Закревского, в последние годы ханствования Закревского на московском пашалыке бывший московским гражданским губернатором. Мина Ивановна, приехав в Москву, съездила в Троицкую Лавру. Щербатов заказал серебряный позолоченный крытый стаканчик в виде просфоры, велел на стаканчике вырезать надпись: «радуйся, благодатная» (!!!) и по возвращении Мины Ивановны из Лавры московский гражданский губернатор, приехав к новой пилигримке, на коленях поднес ей эту просфору (!) в память ее «благочестивой поездки в Лавру»(!)

Когда Незабвенный скончался, Мина Ивановна, в качестве особы четвертого класса, велела обить карету свою черным сукном.

Через несколько недель после того, как Россия имела счастье лишиться Незабвенного, одна из придворных дам рассказала императрице Александре Федоровне, что, посетив накануне могилу императора, нашла ее покрытой цветами и что на вопрос ее, откуда эти цветы, сторожа отвечали: «Присланы от ее сиятельства графини Адлерберг». Александра Федоровна, имевшая весьма доброе сердце, расчувствовалась, расплакалась от умиления, говоря: «Какие прекрасные люди эти добрые Адлерберги! Как они помнят все, что покойный государь для них сделал! Как они нам преданы!», и приказала этой придворной даме съездить к обеим графиням Адлерберг, свекрови и невестке, благодарить их от имени царской фамилии. Что же оказалось?.. Графини Адлерберг и не думали посылать цветов, которые присланы были Миной Ивановной, а взяты были из придворных оранжерей!..

«Правдивый», № 3, 12 мая 1862, стр, 23—24.

IV

Граф Владимир Федорович Адлерберг и подрядчики. Граф Александр Федорович Адлерберг. Их сестра, графиня Баранова. Полудинастия Адлербергов и Барановых.

По всем подрядам, заключаемым по министерству двора, подрядчики обязаны выделять часть барышей своих графу Владимиру Федоровичу Адлербергу и Мине Ивановне. Она очень дружна с госпожей Прокопович-Антонской, и потому для мужа последней, тайного советника Дмитрия Михайловича Прокопович-Антонского, нарочно учреждена была особая, весьма бесполезная «Строительная контора» по министерству двора, с жалованьем в восемь тысяч рублей серебром для председателя (т. е. для Антонского). Подвиги этой конторы известны: пока еще строят дворцы, в них уже балки валятся, как это случилось с дворцом великого князя Михаила Николаевича и с другими зданиями. Правителем дел «Строительной конторы», этой карикатуры вавилонского столпотворения, находится действительный статский советник и камергер Антонин Дмитриевич Княжевич, один из самых интимных приятелей Мины Ивановны. Когда прошлой осенью государь жил два месяца в Крыму, в Ливадии, то Мина Ивановна приказала старику Адлербергу назначить на это время Антонина Княжевича смотрителем дворца в Ливадии. Княжевич провел эти два месяца в кругу самых приближенных лиц к государю; как превосходный мастер буфонить он весьма понравился его величеству и даже во время царского пребывания в Ливадии

был ежедневно допускаем в круг кальянщиков (значение этого слова см. в 1 номере «Правдивого»)[1].

Граф Александр Адлерберг, самый могущественный из нынешних временщиков, на поклон к коему ездят и министры, и Андреевские кавалеры — человек ума весьма недальнего, но чрезвычайно сметливый, хитрый и ловкий. В сущности он совершенно равнодушен к политике, но, будучи страстным картежником, неисправимым мотом, беспрестанно нуждаясь в деньгах, и в больших деньгах, он непременно хочет продолжения того порядка вещей, в коем не существовало бы ни контроля, ни гласности, чтобы, пользуясь дружбой государя, запускать лапу свою в государственное казначейство почаще и поглубже. На этом основании он и является главой партии стародуров, в чем помогает ему усердно князь Василий Андреевич Долгоруков, который, по своему званию всероссийского воеводы шпионов, имеет ежедневный доступ к государю и может нашептывать в царское ухо все, что захочет. За неспособностью Адлерберга и Долгорукова к политике, их учителем и наставником, их нимфой Эгерией*, является сумасбродный граф Панин, который поучает их, в особенности Долгорукова, что говорить государю. Граф Александр Адлерберг никогда не брал ни одной книги в руки; он не читает ничего, кроме тех заграничных изданий, в коих печатают истины насчет его и отца его: к литературе он питает глубокое презрение, а к писателям ненависть. Эти чувства к литературе и к писателям ему общи с государем, который в 1858 году, когда вздумали учреждать верховный тайный цензурный комитет, на просьбу ошеломленного этим известием министра просвещения Ковалевского составить по крайней мере комитет этот из литераторов, отвечал: «Всякий писатель — природный враг правительства». Это напоминает знаменитое изречение Леонтия Васильевича Дубельта, который во дни могущества своего, в бытность свою на пашалыке III Отделения, однажды в полном заседании Главного правления цензуры провозгласил, что «всякий писатель есть медведь, коего следует держать на цепи и ни под каким видом с цепи не спускать, а то, пожалуй, сейчас укусит». Однажды при государе одно

---

[1] Пакостные проделки и воровство Адлербергов, отца и сына, описаны в № 13 «Под суд», прибавления к «Колоколу» 22 апреля 1862. *(Примечание редактора «Правдивого».)*

лицо сказало про Ивана Сергеевича Тургенева, что он прекраснейший человек. «То есть, — возразил государь, — насколько литератор может быть прекрасным человеком!» и прибавил: «самый лучший из них никуда не годится». Это общее чувство у государя и у графа Александра Адлерберга весьма сближает их. Впрочем, если граф Александр враг гласности и враг литературы, зато есть один род письменности, коим он занимается с особым усердием: это составление заемных писем. Едва ли кто на своем веку подписывал столько заемных писем, по большей части коих он никогда не платил, доколе князь Суворов, назначенный генерал-губернатором Петербурга, не принес государю несколько раз жалоб на это наглое нахальство, и государь решился заплатить часть долгов своего друга. Его министром финансов и денежным путем для достижения его милости состоит Александр Львович Невахович, брат того остроумного Михаила Неваховича, который лет пятнадцать тому назад издавал карикатурный журнал «Ералаш»* и, представив однажды в цензуру вид Петербурга «с окрестностями» (окрестности, изображавшие Шлиссельбург, Вятку, Пермь и Вологду), потребован был в III Отделение, где Дубельт объявил ему, что если он в другой раз позволит себе подобную шутку, то будет немедленно выслан в одну из петербургских «окрестностей»[1].

Директор театров Андрей Иванович Сабуров стал преследовать своими «любезностями» воспитанницу театрального училища госпожу Прихунову. Она пожаловалась начальнице театрального училища госпоже Рельи, которая, в свою очередь, жаловалась министру двора старику Адлербергу. Дело было о смене Сабурова, но Андрей Иванович человек пронырливый: знает, где раки зимуют; знает, что при петербургском дворе деньгами всего достигнешь. Он скупил векселей Александра Адлерберга на шестьдесят тысяч рублей серебром; вслед затем госпожа Рельи была уволена со своей должности, и все

[1] Верховный тайный цензурный комитет, о коем шла речь выше, составлен был из обер-форшнейдера Муханова*, генерал-адъютантов графа Александра Адлерберга и Тимашева. В Петербурге тогда говорили, что это le comité des hommes de lettres (комитет писателей), потому что Адлерберг постоянно занимается подписыванием заемных писем, Тимашев в III Отделении часто занимается подпечатыванием чужих писем, а на Муханова, по его званию обер-форшнейдера, возложена обязанность преследовать дичь в литературе.

семейство Адлербергов обедало у Сабурова, который остается директором театров, к неописанному огорчению генерал-адъютанта Огарева, весьма желающего получить это место*.

Другие два сына графа Адлерберга вдали от двора, и потому я говорить о них не буду; граф Николай русский военный комиссар в Берлине, а граф Василий родился со зрением весьма слабым и почти ничего не видит. Мать их, графиня Мария Васильевна, урожденная Нелидова, в дела не вмешивается, никуда не выезжает и мало имеет влияния.

Статс-дама графиня Юлия Федоровна Баранова — сестра графа Адлерберга. Она вышла замуж в первых годах нынешнего века за Трофима Осиповича Баранова, который, по протекции своей тещи старухи Адлерберг, получил место начальника таможенного округа в Риге. Местечко было теплое, и Трофим Осипович сильно поддерживал его теплоту. Когда в последние годы царствования Александра I директором департамента внешней торговли назначен был Дмитрий Гаврилович Бибиков, то Дмитрий Гаврилович призвал к себе Баранова и произнес ему следующий спич, краткий, но ясный: «Трофим Осипович! Я знаю все... я выпросил у министра, чтобы оклад Ваш был увеличен, и министр получил на это соизволение государя. Но... берегитесь... Вы меня понимаете... я шутить не люблю!» Этого спича и вообще строгого надзора Дмитрия Гавриловича Бибикова за Трофимом Осиповичем никогда Барановы простить ему не могли и много содействовали его удалению из министерства в 1855 году, когда по воцарении Александра II семьи Адлерберга и Барановых почти вышли из ряда частных людей и поднялись на степень какой-то полудинастии.

Графиня Юлия Федоровна добрая женщина, ума ограниченного, и Незабвенный с этим особенным даром, который ниспослало ему провидение — отыскивать неспособности и употреблять людей бездарных — поручил Юлии Федоровне сообщить своим дочерям, великим княжнам Марии, Ольге и Александре Николаевнам, то, чего Юлия Федоровна сама никогда не получала, то есть воспитание. Но русский Бог, как известно, велик, и три княжны воспитались сами собой. Это нелепое назначение подняло семейство Барановых из полного и совершенного ничтожества на высоту придворного могущества.

Графиня Юлия Федоровна Баранова получала при Незабвенном 15000 рублей серебром в год, а по завещанию своему Незабвенный оставил ей еще такую же пенсию, итак она получает ежегодно тридцать тысяч рублей серебром. *Сверх* того она имеет квартиру во дворце, придворный экипаж, придворный стол, на сколько приборов ей угодно, и вообще все ее расходы делаются на счет двора. А что такое расходы ее, можно судить по следующему факту: всякий раз, как она садится в ванну, на эту ванну употребляется два фунта бобровой струи, цена коей двести рублей серебром за фунт. Таким образом, каждая ванна графини Барановой обходится России в четыреста рублей серебром. Вот почему и печатают бюджет ложный и не хотят контроля действительного, чтобы скрыть грабеж, происходящий по министерству двора.

У графини Барановой четыре сына: Николай, Эдуард, Александр и Павел. Старший, граф Николай Трофимович, не вмешивается ни в какие дела, но зато жена его, графиня Елизавета Николаевна, урожденная Полтавцева, есть настоящая руководительница семейства Барановых и, можно сказать, семейства Адлербергов. О ней и о Полтавцевых я буду говорить далее.

Граф Эдуард Трофимович Баранов во всякой другой семье был бы человеком весьма обыкновенным; между Барановыми он слывет гением. Он весьма дружен со своим двоюродным братом Александром Адлербергом, действует с ним заодно и через то сделался уже издавна человеком весьма близким к государю. Он весьма хитер и в виде уступки современным идеям соглашается иногда на некоторые улучшения, но с тем, чтобы улучшения эти не касались принципа самодержавия, принципа священного для тех, кои любят запускать лапу свою в государственную казну. После Александра Адлерберга едва ли кто более получает денег от государя, чем Эдуард Баранов; в коронацию, в 1856 году, когда гвардейские офицеры, большей частью люди бедные, издержав много денег, во-первых, на беспрестанные перемены в мундирах, коими ознаменовано было в особенности начало нынешнего царствования, а во-вторых, и на самый поход в Москву, просили у государя вспоможения, Его Величество с негодованием изволил отозваться о непристойности для благородных офицеров просить денег и не считать себя вполне счастливыми тем, что им, бедным людям, предо-

ставляют возможность окончательно разоряться на мундиры и на коронации. В то же самое время графу Эдуарду Баранову и графу Александру Адлербергу пожаловано было, как бы на смех над бедными офицерами, по сто тысяч рублей серебром каждому! Можно себе представить негодование, возбужденное подобной... «наивностью».

Третий из братьев, граф Александр Трофимович Баранов, большой нелюдим: он даже не бывает у своих сестер, когда знает, что у них может встретить чужих лиц. Но это не мешает ему помнить, что он — дескать — граф Баранов. Во время последней войны, служа батальонным командиром в Екатеринбургском пехотном полку, он говорил офицерам: «Полковой командир знает, что если он мне объявит какое-нибудь замечание, я тотчас сяду на лошадь и, не спросясь у него, поеду в Петербург, а он мне ничего сделать не посмеет!»

Младший из братьев, граф Павел Трофимович Баранов, тверской губернатор, в сущности добрый малый, и если бы не родился Барановым, то бы мог быть прекрасным человеком. Но скверная атмосфера Зимнего дворца кружит головы и поздоровее, и посильнее, чем голова графа Павла Баранова. Известен его поступок с Алексеем Михайловичем Унковским* и с Александром Ивановичем Европеусом. Государь в 1860 году вследствие доноса известного стародура генерал-адъютанта Николая Матвеевича Яфимовича написал на докладе, представленном ему из III Отделения: «Этих двух следовало бы удалить из Твери», а граф Павел Баранов, получив отношение из шпионницы (как остроумно названо III Отделение в «Колоколе»), нашел, что слово «удалить» означает для Унковского — Вятку, а для Европеуса — Пермь, и отправил их туда по февральской распутице.

Выше сказал я, что настоящей двигательницей полудинастии Адлербергов и Барановых была жена графа Николая Баранова графиня Елизавета Николаевна, урожденная Полтавцева. Влияние ее тем сильнее, что ее родная сестра Екатерина Николаевна замужем за графом Александром Адлербергом. Любопытно взглянуть, откуда возникли эти нынешние звезды первой величины в петербургском придворном мире, и в будущем письме я расскажу о происхождении Полтавцевых.

«Правдивый», № 4, 31 мая 1862, стр. 30—32.

V

Происхождение Полтавцевых. Граф Блудов. Владимир Петрович Бутков, Князь Александр Михайлович Горчаков.

В первых годах нынешнего века скончались Александр Ильич Пашков* и жена его Дарья Ивановна, урожденная Мясникова. Александр Ильич был богат, но Дарья Ивановна была еще богаче его. Они оставили трех сыновей; двое старших, Иван Александрович и Василий Александрович, были люди честные и добрые; младший, Алексей Александрович, по смерти отца подкупил его управителя и стащил себе все отцовское столовое серебро, стоившее огромной суммы денег. При разделе двум старшим братьям досталось имение материнское в Оренбургской губернии: Ивану Александровичу — заводы железные, Василию Александровичу — заводы медные. Алексею Александровичу досталось имение отцовское: великолепное тамбовское поместье и знаменитый Пашковский дом в Москве[1].

---

[1] В коем ныне помещается Московская публичная библиотека*. Дом этот выстроен был Петром Егоровичем Пашковым, который, пораженный параличом, лишился ног, умер холостым и завещал все свое имение, дом и тамбовские деревни дальнему родственнику своему Александру Ильичу Пашкову. История тамбовского имения любопытна. Отец Петра Егоровича, Егор Иванович Пашков, служил при Петре I полковником и сыщиком, а впоследствии был генерал-майором и членом военной коллегии. Губернатор сибирский, знаменитый князь Матвей Петрович Гагарин*, хотел воспользоваться затруднительным положением Петра I, занятого внешней борьбой с Карлом XII и внутренней борьбой с защитниками старого порядка вещей, чтобы отделить Сибирь от России и самому сделаться царем Сибирским. Петр I, не зная, каким образом завладеть особой могущественного губернатора Сибири, вызвал Гагарина будто для участия в суде над царевичем Алексеем в

Он поселился в тамбовском имении и там вел себя истинным извергом. У него, между прочим, был обычай: сечь людей «на трубку» или «на две трубки». Это значило, что человека секут, пока Пашков выкурит трубку или две трубки! Крестьяне однажды ночью подожгли у него дом таким образом, что одна из дочерей его не успела спастись и сгорела. Остались у него: сын, честнейший и благороднейший человек, Федор Алексеевич, который в молодых летах скончался, оставив двух детей, умерших в младенческом возрасте, и две дочери, Елизавета и Дарья. За эту последнюю сватался один из бедных соседних помещиков, Николай Петрович Полтавцев, образованностью и обхождением своим напоминавший вполне Тараса Скотинина в «Недоросле» Фонвизина. Прадед Полтавцева, Игнатий Полтавцев, получил дворянство в бытность свою камердинером цесаревны (впоследствии императрицы) Елизаветы Петровны. Пашков, богатый помещик, обиделся сватовством Полтавцева и велел ему сказать, что если он осмелится ступить ногой к нему на двор, то будет отведен на конюшню и высечен плетьми. Несколько времени спустя поехал Алексей Александрович в отъезжее поле и встречает Полтавцева с двумя отличными гончими собаками. Он послал их у него торговать. Полтавцев отвечал, что он собак этих не продаст никому, а когда женится, то подарит их своему тестю. По прошествии нескольких месяцев обе гончие собаки стояли на псарне у Пашкова, а Дарья Алексеевна была женой Николая Петровича Полтавцева[1].

1718 году, а между тем послал тайным образом в Сибирь полковника Егора Пашкова, который в качестве царского сыщика захватил бумаги, хранившиеся у Гагарина в его тобольском доме в потаенном ящике, в стене находящемся. Бумаги эти Пашков привез к царю: Гагарин был арестован и три года судим; Петр I обещал князю Матвею Петровичу прощение и сохранение всего огромного имения, если он только объявит себя взяточником и вором, а в случае упорства обещал повесить, сына записать в матросы, а имение конфисковать. Князь Матвей Петрович отказался объявить себя взяточником и вором: 18 июля 1721 года он был повешен в Петербурге, сын его записан в матросы, и все несметное имение его конфисковано. Из этого имения тамбовские деревни пожалованы Егору Ивановичу Пашкову, и одно из сел в этом имении, называемое село Гагарино, с тех пор получило в тамбовском краю прозвание «села крови», как приобретенное Пашковым ценою жизни князя Матвея Петровича. Село это принадлежит в настоящее время одной из сестер графини Елизаветы Николаевны Барановой.

[1] Всё это рассказывали также мне слово в слово: 1) бабушка моя Авдотья Николаевна Пашкова, жена Ивана Александровича и свояченица Алексея Александровича, и 2) граф Петр Александрович Толстой, сестра коего, Екатерина Александровна, была женой Василия Александровича Пашкова. *(Примечание князя Петра Долгорукова.)*

Поселившись по смерти отца в Москве, Дарья Алексеевна была очень холодно принята в московском обществе, где с нею обходились весьма свысока. Она отправилась в Петербург, смастерила свадьбу дочери своей Елизаветы Николаевны с Николаем Барановым, а Елизавета Николаевна, женщина весьма ловкая, смастерила свадьбу сестры своей Екатерины Николаевны с двоюродным братом мужа своего Александром Адлербергом. Тут семейство Полтавцевых подняло носы и вообразило себя знатной фамилией. Трудно представить себе их надменность, тем более огромную, что она проистекает из их дурного воспитания. Нет ничего забавнее, как видеть их усилия на разыгрывание роли знатных барынь, особенно в нынешнее царствование: они составляют какую-то кринолину императорской фамилии, а между тем роль знатных барынь весьма к ним не идет, и нынешнее их высокомерие напоминает басню Крылова «Ворона»:

И кончились ее затеи тем,
Что от ворон она отстала,
А к павам не пристала,
И сделалась моя Матрена,—
Ни пава, ни ворона...

Старшая сестра Дарьи Алексеевны, Елизавета Алексеевна, была за генералом Андреевским, и на дочери ее женился Герштенцвейг, который сделал блистательную карьеру благодаря покровительству своего полуавгустейшего двоюродного братца, Александра Адлерберга.

Кончив свой рассказ о полудинастии Адлербергов и Барановых, я отложу до предпоследующих писем рассказ о прочих приближенных царских и перейду теперь к министрам и вообще к лицам, которые по их званиям имеют прямое и открытое влияние на дела.

Председатель Государственного совета граф Блудов по расстроенному здоровью взял отпуск на несколько месяцев, и место его занял великий князь Константин Николаевич.

Граф Дмитрий Николаевич Блудов родился 5 апреля 1785 года во Владимирской губернии Суздальского уезда, в селе Романове, которое пожаловано было царем Михаилом Федоровичем предку его в седьмом колене воеводе и члену Земской думы Назарию Васильевичу Блудову по прозвищу «Беркут» (по-татарски беркут значит —

степной орел) за верную службу России в войске, предводимом Пожарским и Мининым, и за участие в избрании на престол царя Михаила. Дмитрий Николаевич начал службу в коллегии иностранных дел; был секретарем посольства в Голландии; находился в дипломатической канцелярии главнокомандующего армией против турок графа Николая Михайловича Каменского; был советником посольства в Стокгольме, потом в Лондоне. Николай Павлович, вступив на престол, говорил умирающему в то время Карамзину: «Представьте себе, что вокруг меня никто не умеет написать двух страниц по-русски, кроме одного Сперанского, а ведь, пожалуй, того и гляди, что Сперанского не нынче так завтра придется отправить в Петропавловскую крепость»[1]. Слова эти живо рисуют наш тогдашний двор и воспитание сановников той эпохи! Карамзин рекомендовал государю Дмитрия Николаевича Блудова и Дмитрия Васильевича Дашкова, которые и были пожалованы в статс-секретари. Дмитрий Николаевич назначен был правителем дел следственной комиссии, имевшей поручение допрашивать декабристов. Тут он, к сожалению, омрачил себя угодливостью: не только написал известный доклад, в коем была попытка осмеять и оскорбить людей, из отчизнолюбия принесших в жертву все, чем обыкновенно дорожат смертные, то есть свое имущество, свое общественное положение, свою личную свободу, одним словом, все блага земные, но еще допустил Незабвенного прибавить к этому докладу несколько выражений, самых оскорбительных для людей, в награду за свою высокую любовь к отечеству и к гражданской свободе низринутых в пучину бедствий. Эта слабость легла мрачным пятном на поприще графа Блудова, поприще, кроме этого единственнного несчастного эпизода, чистое и благородное. Слабость эта легла, и тяжело легла, на его совести: во всю жизнь свою он старался, где только мог, употреблять свое придворное

[1] Сперанский знал о заговоре 14 декабря через Гавриила Степановича Батенькова и через Николая Александровича Бестужева. Однажды следственная комиссия отправила одного из своих членов, графа Левашова, к государю рассказать ему об участии Сперанского в заговоре и спросить, прикажет ли он арестовать Сперанского? Николай Павлович, выслушав Левашова, в раздумье прошелся несколько раз по комнате и потом сказал: «Нет! Он член Государственного совета! Это будет скандал, оставьте его в покое!» Эти слова спасли Сперанского.

влияние в пользу декабристов, и когда по восшествии на престол Александра II был назначен членом комитета, составлявшего указ об амнистии, то явился жарким ходатаем за декабристов и весьма был огорчен, что не мог им исходатайствовать полной амнистии. Воспоминание о 1826 годе тяжело легло на душе его; однажды, разговаривая с одним из коротких знакомых своих с глазу на глаз, он сказал: «Да! Всякий человек имеет минуты слабости, в коих после горько раскаивается!» Тут глаза семидесятилетнего старца наполнились слезами, и он продолжал: «Да! Бывают минуты, что сделаешь то, что после хотел бы искупить своею кровию!.. В одном только я не знаю за собою упрека, это в отношении денежном; я всегда был чужд стяжанию, и никогда руки мои не касались чужих денег. Свое небольшое родовое состояние я не только не увеличил, но еще расстроил, и живу только одними моими окладами, которые получаю от милости государя».

И это совершенная истина.

Граф Блудов был товарищем министра просвещения, почтенного Александра Семеновича Шишкова (1826—1828); товарищем министра внутренних дел, весьма непочтенного Закревского (1828—1831); министром внутренних дел (1831—1839); находился несколько месяцев министром юстиции; потом в течение двадцати одного года (1840—1861) главноуправляющим II Отделением Собственной [Е.И.В.] канцелярии и председателем департамента законов в Государственном совете; в продолжение этого времени ездил в Рим заключать конкордат русского правительства с главой латинской церкви; три года (1853—1856) исправлял должность председателя Государственного совета, Комитета министров, комитетов Сибирского и Кавказского; наконец, в январе 1861 года снова назначен был к этим четырем должностям. Одним словом, граф Блудов в течение тридцати шести лет постоянно занимал, одно за другим, такие места, а большей частью в одно и то же время несколько таких мест, на каждом из коих человек, не вполне добросовестный, вроде большей части петербургских сановников, мог бы нажить себе состояние значительное. Граф Блудов остался бедным. Ежедневная трапеза его скромнее трапезы всякого директора департамента, но, не взирая на скудное его состояние, никогда ни один бедный не отходил без подаяния от дома его. Когда в салоне графа Блудова подают вечерний чай, на столе является самовар *медный*,

явление редкое в роскошном Петербурге, в особенности редкое в салонах петербургских сановников. Этот медный самовар украшает жилище графа Блудова лучше самой драгоценной мебели, даже лучше картин и статуй: он служит гербом бескорыстия графа Дмитрия Николаевича.

В 1858 году здоровье графа Блудова требовало поездки к минеральным водам в Виши: у него не было денег, чтобы ехать за границу! Он уже начинал принимать распоряжения к перезалогу своего незначительного родового имения, когда князь Александр Михайлович Горчаков, узнав о том, доложил государю о стесненном положении, в коем находится один из самых первых сановников империи, и государь пожаловал графу Блудову деньги на совершение необходимой для него поездки в Виши.

Русская история не позабудет, что в 1848 году граф Блудов отстоял университеты, которые Незабвенный хотел было закрыть. Незабвенный был сильно подстрекаем к этому безумному поступку князем Чернышевым, графом Клейнмихелем и Дмитрием Петровичем Бутурлиным, подлейшим мерзавцем, который исправлял должность шпиона из желания попасть в министры просвещения, и непременно попал бы в министры, если бы смерть не избавила от него Россию в октябре 1849 года.

Граф Блудов человек весьма умный, обладает обширными сведениями и отличным даром слова; среди своих многочисленных и часто утомительных служебных занятий он всегда находил время читать журналы, книги и следить за ходом мысли человеческой. В течение своей долголетней жизни он чрезвычайно много перечитал; много видел и знал людей замечательных, и при его необыкновенно счастливой памяти беседа с графом Блудовым представляет истинное наслаждение: он бесспорно один из самых приятнейших собеседников в Европе.

Говоря о графе Блудове, нельзя не упомянуть о почтенной дочери его, графине Антонине Дмитриевне, которая никогда не хотела расстаться со своим отцом и ныне составляет опору и утешение его маститой старости. Графиня Антонина Дмитриевна женщина умная, с добрейшей душой, постоянно занятая мыслью делать добро всем несчастным, употреблять влияние отца своего на помощь всем угнетенным. Одаренная горячим сердцем, отменно верная в дружбе, она являет полное сочетание благородных качеств и возвышенных чувств.

Нельзя не упрекнуть графу Блудову, что он оставил Буткова государственным секретарем.

Отец этого Алкивиада Большой Мещанской, Петр Григорьевич Бутков*, был весьма добрый и честный человек, обладавший большими сведениями по части русской истории и древностей русских, и вместе с тем изумительно трудолюбивый. Он долго управлял одним из департаментов министерства внутренних дел, и когда сделался стар, дряхл и уже ни к чему не способен, его, разумеется, посадили в сенат, где он и кончил жизнь. Один из сыновей его, Владимир Петрович, начал службу свою в министерстве внутренних дел, потом перешел в Военное министерство, под начальство князя Чернышева. Время чернышевское в Военном министерстве было эпохою грабежа необузданного, и Бутков воспитался в этой школе. Искательный перед теми, которые могут быть ему полезными, исполненный пренебрежения ко всем прочим, он, как истый петербургский чиновник, соединяет в себе ум ограниченный с большой хитростью и с пронырливостью самой ловкой. Слывет он деловым человеком, потому что работает скоро и в состоянии провести ночь напролет за письменным столом, но лишен дара соображения, не понимает современных потребностей, защитник старого порядка вещей и вообще тип стародура. Он до такой степени чиновник, что ему случалось прогуливаться в летнем платье и в летнем пестром галстуке с владимирским крестом на шее! Однажды при нем сказали, что такой-то помещик приносит жалобу на губернатора своей губернии. «Как! — воскликнул Бутков. — Жаловаться на губернатора! Да в своем ли уме этот помещик? Ведь губернатор — представитель царской власти! Жалоба на губернатора — это мятеж!» Вот понятия человека, коего стародуры неоднократно силились посадить на министерство внутренних дел!

Он весьма большой охотник до подарков: прямо не берет, но получает чрез своего помощника по управлению делами комитетов Кавказского и Сибирского, действительного статского советника Николая Васильевича Гулькевича.

Князь Чернышев, который, само собою разумеется, оценил Буткова и весьма любил его, поступив в 1848 году на председательство Государственного совета и Комитета министров, сделал Буткова в 1849 году правителем дел

Комитета министров. Это место занимал Брок, и чтобы дать Броку повышение, его назначили на открывшуюся в то время вакансию товарища министра финансов. Таким образом, благосклонности Чернышева к его достойной креатуре Буткову Россия обязана министерством Брока и, следовательно, отчасти своим финансовым расстройством. Потом, в 1853 году, Чернышев сделал Буткова государственным секретарем и управляющим делами комитетов Кавказского и Сибирского, места, доселе им занимаемые. Что его в эти должности определил Чернышев — это весьма понятно; но что его на этих местах оставил сидеть граф Блудов, это со стороны графа Дмитрия Николаевича слабость непростительная. Надеемся, что великий князь Константин Николаевич его сменит.

Князь Александр Михайлович Горчаков родился в 1797 году. Он поступил четырнадцати лет от роду в Царскосельский лицей при самом учреждении этого заведения. Там он имел товарищами Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Ивановича Пущина, Вильгельма Карловича Кюхельбекера и барона Антона Антоновича Дельвига. В 1817 году он оставил Лицей после экзамена, в коем был одним из двух первых воспитанников, получивших золотые медали (другим был Владимир Дмитриевич Волховский, впоследствии начальник штаба кавказского корпуса). Отец его, князь Михаил Алексеевич, вовсе не был человеком богатым и, кроме сына, имел четырех дочерей. Князь Александр Михайлович предоставил всю свою часть имения своим сестрам, а сам вступил в службу в коллегию иностранных дел, коею в то время управляли вместе два статс-секретаря: граф Нессельроде, недавно умерший в звании государственного канцлера, и граф Капо д'Истрия[1], один из самых замечательных людей своего времени. Граф Капо д'Истрия весьма полюбил умного молодого человека и старался дать ему ход. Князь Горчаков сопровождал в Лондон графа Стакельберга, бывшего русским чрезвычайным послом на коронации Георга IV; сопровождал графа Нессельроде на Веронский конгресс в 1822 году и вслед за тем назначен был первым секретарем посольства в Лондон, где русским послом находился в то время князь Христофор Андреевич Ливен. В 1825 году князь Горчаков взял отпуск в

---

[1] См. в № 3 «Будущности» статью «О союзе России с Австрией».

Россию на несколько месяцев; проезжая через Псковскую губернию, он свернул с дороги, чтобы посетить опального товарища своей юности, знаменитого Пушкина, в то время сосланного в деревню отца своего, село Михайловское, и там жившего под надзором местной полиции. Со стороны двадцативосьмилетнего дипломата, ехавшего в Петербург, в аракчеевскую эпоху поездка в деревню для посещения опального друга была весьма благородным поступком. Пушкин оценил это, и всем известны стихи его к лицейской годовщине 19 октября 1825 года: «Ты, Горчаков, счастливец с первых дней» и проч.

Князь Горчаков находился в Петербурге, когда получено было известие о кончине Александра I в Таганроге и произошло известное недоумение о наследстве престола. Северное общество заговорщиков, сперва ошеломленное неожиданностью известия о смерти государя, немедленно опомнилось, оценило всю пользу, какую свобода России могла извлечь из неопределенности и смуты тогдашнего порядка вещей, и решилось действовать (к сожалению, избранный образ действий был непрактичен, и потому благородное предприятие декабристов не имело успеха). Товарищ князя Горчакова по Лицею, Иван Иванович Пущин, был одним из главных членов московского отделения Северного общества; он также находился в то время в Петербурге и сообщил князю Горчакову о существовании заговора, приглашая его вступить в общество. Князь Горчаков отклонил предложение и под видом необходимости возвращения в Англию сократил добровольно время своего отпуска и отправился в Лондон. Предложение, сделанное Пущиным, каким-то образом стало известным правительству, и Николай Павлович во всю жизнь свою никогда не мог простить князю Горчакову, что он знал о заговоре. При назначении князя Горчакова уже в нынешнее царствование, через тридцать лет после 14 декабря, министром иностранных дел достойный друг Незабвенного, разрумяненный Адлерберг-Минин, повторял, вытаращивая свои бессмысленные глаза: «Как можно делать министром человека, знавшего о заговоре 1825 года?»

По возвращении в Лондон князь Горчаков неосторожно отозвался о своем начальнике, князе Христофоре Андреевиче Ливене; отзывы эти были переданы послу, который рессердился, написал о том в Петербург и требо-

вал, чтобы князь Горчаков был отозван из лондонской миссии. Его назначили первым секретарем посольства в Рим, что после Лондона было понятным шагом. Князь Горчаков употребил весь свой ум и все свои связи, чтобы получить место более значительное, и назначен был поверенным в делах во Флоренцию, где место посланника, нарочно учрежденное по влиянию графа Нессельроде для свояка своего Алексея Васильевича Сверчкова, упразднено было по смерти Сверчкова[1]. Прошло года четыре, и князь Горчаков назначен был в 1832 году советником посольства в Вену. В 1835 году Николай Павлович посетил Вену на несколько дней, и с ним находился любимец его граф Бенкендорф, привыкший, чтобы ему воздавали всевозможные почести, привыкший к тому поклонению, к тем ласкательствам, к той подлой угодливости, какими петербургский придворный круг окружал постоянно и во все времена всех временщиков, сколь бы они подлы и отвратительны ни были. Князю Горчакову надобно отдать справедливость, что он, отменно вежливый и любезный со всеми без различия, никогда не льстил временщикам; всегда, и в вёдро и в бурю, держал себя самым приличным образом, совершенно как европейский вельможа, и вообще снабжен от природы склонным хребтом весьма не гибким, вещь самословно-редкая в Петербурге! Граф Бенкендорф, в то время могущественный временщик, в краткое пребывание свое в Вене нашел князя Горчакова недовольно к себе приветливым и сделался его врагом. Русским послом в Австрии находился Дмитрий Павлович Татищев, родная племянница коего, вдова графиня Мария Александровна Мусина-Пушкина, урожденная княжна Урусова, жила в то время в Вене. Князь Горчаков в нее влюбился и собирался на ней жениться. Татищеву не хотелось, чтобы племянница его, не имевшая другого состояния, кроме седьмой части после своего (впрочем, весьма богатого) мужа, вышла замуж за человека, не имевшего решительно никакого состояния (я уже сказал выше, что он уступил свое небольшое родовое имение своим сестрам). Нерасположение Татищева к это-

[1] Граф Нессельроде и Сверчков женаты были на родных сестрах, дочерях министра финансов графа Гурьева, того самого, при замене коего графом Канкриным к общей радости в России в день Светло-Христова воскресенья 1832 года все говорили: «Христос воскрес — Гурьев исчез!»

му браку еще искусно раздувал тогдашний властелин австрийской политики, знаменитый князь Меттерних: он не любил князя Горчакова за его русскую душу, за его русские чувства, за его неуступчивость в переговорах, неуступчивость, всегда прикрытую отменным знанием приличий, вежливостью самой изящной, но тем не менее весьма неприятную для Меттерниха; одним словом, он всеми силами старался рассорить Татищева с князем Горчаковым и удалить этого последнего из Вены. Штука удалась. Татищев решительно восстал против свадьбы. Князь Горчаков, поставленный в неизбежную необходимость выбора между любимой женщиной и весьма заманчивой для его честолюбия службой, не поколебался: не взирая на свое огромное честолюбие, он в 1838 году вышел в отставку и женился на графине Пушкиной.

В 1839 году князь и княгиня Горчаковы прибыли в Петербург и наняли квартиру на Литейной (в доме Степана Федоровича Апраксина). Князь Горчаков стал искать для себя место посланника, и это ему было весьма не легко. Николай Павлович его не любил по воспоминанию о 14 декабря; вице-канцлер, министр иностранных дел граф Нессельроде не любил его за русское знатное имя, за русские чувства, за отсутствие искательства в начальстве и в сильных людях и более всего еще не любил по влиянию князя Меттерниха, коего граф Нессельроде считал себе наставником, учителем и дарованиям коего, весьма замечательным, но заблудившимся на пути совершенно ложном, он поклонялся со всей ревностью своего ума ограниченного и своего характера трусливого. Граф Бенкендорф, имевший в то время большое влияние, терпеть не мог князя Горчакова. Но в Петербурге находилась сестра княгини Горчаковой, княгиня Софья Александровна Радзивилл, которая пользовалась особенной благосклонностью Николая Павловича: она выхлопотала мужу сестры своей дипломатическое место, и летом 1841 года князю Горчакову объявлено было, что он вскоре назначен будет посланником в Царьград.

В то время открылись две вакансии важнейших дипломатических мест. Посланник в Царьграде Аполлинарий Петрович Бутенев принужден был по расстройству здоровья оставить свою должность и поехал в Италию; посол в Вене Дмитрий Павлович Татищев, почти совсем

потеряв зрение, оставил также свою должность и возвратился на житье в Петербург, где пожалован был в обер-камергеры. Здравый рассудок предписывал Николаю Павловичу назначить посланником в Вену князя Горчакова, коему по шестилетнему пребыванию в этой столице венский двор и австрийские государственные люди были коротко известны, а князь Меттерних не хотел иметь в Вене посланника истинно русского; через Нессельроде он воспротивился этому назначению, и место посланника в Вене дано было графу Павлу Ивановичу Медену. Князя Горчакова предназначили в Царьград; ему, как я сказал выше, уже было объявлено о том; в течение лета 1841 года он уже посещал архив министерства иностранных дел и, как всегда водится в подобных случаях, чтением депеш своих предшественников знакомился с тем краем и с тем двором, при коем ему казалось суждено быть представителем России. Но Меттерних, сильно озабоченный делами Востока, бодрствовал: ему не хотелось видеть князя Горчакова и в Царьграде; он употребил все свое влияние, а Нессельроде воспользовался этим, чтобы доставить блистательное место Владимиру Павловичу Титову, который за два года перед тем, женясь на графине Елене Иринеевне Хрептович, сделался шурином нессельродову зятю, графу Михаилу Иринеевичу Хрептовичу. В то самое время, что князь Горчаков читал депеши прежних посланников, новым посланником в Царьград назначен был Владимир Павлович Титов, и князь Горчаков остался без должности, что было весьма неприятно! Назначение графа Медена в Вену делало вакантным место посланника в Стутгардте, и хотя это место в сравнении с Веной и Царьградом было крайне незначительно, но делать было нечего: князь Горчаков принял его, сказав одному из своих друзей: «Это не важно, но значит поставить ногу в стремя». Нелюбовь к нему Николая Павловича, графа Нессельроде и царских приближенных была причиной того, что ноги тридцать лет оставались в этом стремени.

Пребыванием своим в Стутгардте князь Горчаков воспользовался, чтобы устроить свадьбу великой княжны Ольги Николаевны с наследником короны Вюртембергской. Новая крон-принцесса, поселясь в Стутгардте, оценила ум и способности русского посланника, была ходатаем его перед Николаем Павловичем, доставила ему,

наконец, место посланника в Вене и сблизила его с императрицей Марией Александровной, с коей Ольга Николаевна весьма дружна. Покровительство этих двух особ доставило князю Горчакову в 1856 году место министра иностранных дел, и благоволение императрицы к нему никогда не изменялось. Но благоволение крон-принцессы Вюртембергской рушилось в 1858 году, когда князь Александр Михайлович не хотел исполнить ее желания, на коем она весьма настаивала: когда он решительно отказался назначить посланником в Стутгардт свиты государевой генерал-майора Исакова*, бездарного, но ловкого придворного интригана, во время университетских историй 1861 года в Москве доказавшего все свое бездушие, всю низость и трусость своего характера.

Но возвратимся назад. Во время последней Восточной войны русским посланником в Вене, по глупости Николая Павловича, по нелюбви Нессельроде ко всему русскому, по его постоянной угодливости желаниям Меттерниха, который, хотя официально оставил службу в 1848 году, но продолжал иметь на австрийские дела влияние сильное и почти открытое, русским посланником в Вене находился барон Петр Казимирович Мейендорф*, женатый на сестре тогдашнего первого австрийского министра графа Буля!!! Про барона Петра Казимировича Мейендорфа один из петербургских сановников (не в пример другим, человек умный и честный) сказал весьма справедливо: барон Мейендорф человек умный и ученый — он знает все в мире, кроме России, о коей понятия не имеет! Наконец даже Незабвенный и граф Нессельроде спохватились, что невозможно оставлять барона Мейендорфа посланником в Вене, и на его место по ходатайству великой княжны Ольги Николаевны в июле 1854 года назначен был князь Горчаков.

Положение русского посланника в Вене было весьма затруднительным и крайне неприятным. Во-первых, Восточная война разорвала завесу, дотоле в глазах Европы скрывавшую бессилие огромной пространством России. Оказалось, что армия, которую Незабвенный считал образцом военного совершенства, потому что она выучена была отлично маршировать и отменно маневрировать, не может, невзирая на беззаветное мужество солдат, обер-офицеров и многих штаб-офицеров, бороться с армиями европейскими по причине непроходимой глупо-

сти генералов. Незабвенный, одаренный от природы особенным даром отыскивать и выводить людей бездарных, умел разогнать все, что было способного: при нем чины превратились в настоящий парник дураков. Администрация являла зрелище необузданного грабежа, доходившего до разбоя, особенно в администрации военной, благодаря двадцатипятилетнему министерству князя Чернышева. Железных дорог, кроме московско-петербургской, не было, потому что граф Клейнмихель не допускал частных компаний и хотел предоставить исключительное право постройки в России железных дорог Министерству путей сообщения, в коем он и родной племянник его генерал-адъютант Огарев обрели себе Калифорнию. Николай Павлович назначил преемником Чернышеву князя Василия Долгорукова. На русской земле, в Крыму, войска французские, английские и пиэмонтские вдали от своей родины не нуждались ни в чем, а русские солдаты умирали с голоду, гибли в госпиталях без призора, без помощи, даже без одежды, и когда хоронили мертвых, то чиновники и подрядчики военного министерства воровали даже их гробовые саваны! Грозный призрак могущества России, пугавший Европу, распался, исчез, и место его уступили в Европе чувства сожаления к русскому народу и презрения к петербургскому правительству. В этот плачевный момент русской истории князю Горчакову суждено было явиться русским посланником при дворе австрийском, уже полтораста лет России постоянно враждебном и в настоящее время еще более ненавидящем Россию, потому что спасен был ею в 1849 году от гибели неминуемой и тяготился чувством признательности*. Затруднения еще более увеличивались от личных свойств первого австрийского министра графа Буля, человека характера самого неприятного и ненавидящего Россию за то, что Незабвенный в бытность графа Буля посланником в Петербурге не полюбил его и не скрывал своей к нему неприязни. Князь Горчаков давно был знаком с графом Булем: они находились в одно и то же время секретарями посольств в Лондоне, потом посланниками в Стутгардте и часто бывали в размолвке. В Вене существует древний этикет, что архиканцлер берет шаг при дворе даже перед чрезвычайными послами и не обязан никому отдавать визитов — этикет, который князь Меттерних всегда поддерживал в свою пользу. Граф Буль, хотя был не архиканцлером, но лишь первым министром, вздумал также

не отдавать визитов иностранным министрам и бывал у барона Мейендорфа не как у русского посланника, но как у своего шурина. Барон Мейендорф это выносил, но князь Горчаков не захотел терпеть. Приехав в Вену, он остановился не в русском посланничьем доме, а в гостинице. Граф Буль не только не отдал ему визита, но еще нарочно, из аффектации, приехал в ту гостиницу посетить иностранную даму, там остановившуюся, и не зашел к русскому посланнику. Князь Горчаков не захотел принимать от него приглашений ни на обед, ни на вечер, доколе не заставил его отдать себе визит, и уже тогда только переехал в русский посланничий дом. Отношения их были самые натянутые.

Известно, что Австрия настаивала на уступке Бессарабии и добилась уступки южной части ее с берегом Дуная[1]. Переговоры на дипломатической конференции европейских держав, учрежденной в то время в Вене, принимали иногда характер величайшей резкости, и князь Горчаков, представитель России, прежде столь могущественной, а ныне впавшей в бессилие, говорил с такой твердостью и с такой отвагой, как будто имел за собой победоносную армию. Граф Буль, убеждая его к уступкам, сказал, что следует брать пример с Австрии, которая нередко уступала целые области и потом часто умела их возвращать себе. Князь Горчаков отвечал: «Австрии уступки областей не в диковинку, а для России это было бы новостью!»

Парижский мир 1856 года, мир тяжкий, горестный и унизительный для России, но совершенно необходимый, был естественным последствием австрийской политики Нессельроде и его тридцатипятилетнего управления Министерством иностранных дел. Оставаться министром Нессельроде было невозможно. Человек хитрый, он сам это понял и после неудачной интриги посадить на Министерство иностранных дел барона Мейендорфа покорился судьбе.

Князь Горчаков вызван был из Вены в феврале 1856 года. Приехав в Петербург, он заболел. Врач, к нему призванный в гостиницу Демута, где он остановился, сказал ему: «У вас, князь, желудок расстроен: вам необ-

---

[1] В 1857 году, через год после Парижского мира, граф Блудов разговаривал с графом Нессельроде, главным виновником союза России с Австрией. Беседа их была накануне событий, предшествовавших последней войне, и граф Нессельроде сказал: «С тех пор много воды утекло». Граф Блудов отвечал: «Весь Дунай от нас утек».

ходимо лекарство». «Да, — отвечал князь, — я провел полтора года в Вене и там набрался всякой австрийской дряни: пропишите мне поскорее лекарство, которое бы меня прочистило, чтобы во мне не осталось более ничего австрийского!» 15 апреля 1856 года он был назначен министром иностранных дел.

Со времени восшествия на престол Александра II петербургский двор сделался поприщем всевозможных ежедневных интриг. Придворные интриговали при Незабвенном; не интриговать им невозможно, словно рыбам нельзя жить вне воды; интриги — стихия их, но при Николае они интриговали втихомолку, скрытно, боясь гнева грозного государя; а при Александре II стали интриговать открыто, гласно, явно; всякий из них получает все, что хочет; и разве только ленивые не берут себе ныне и денег и земель. Окружающие государя не желали иметь князя Горчакова министром иностранных дел: они готовили это место другому — Ивану Матвеевичу Толстому, который в течение семнадцати лет находился при Александре Николаевиче шталмейстером, был одним из самых близких к нему лиц, спутником его поездок на охоту и проч.

Иван Матвеевич отличается самой полной и самой безграничной бездарностью, сопряженной с невообразимой самонадеянностью и с мнением самым высоким о своей личности; трудно решить, что именно преобладает в нем: глупость или чванство? И той, и другого в нем Кавказские горы! Со времени восшествия на престол Александра II надменности Ивана Матвеевича нет пределов; он до такой степени поднял нос, что в Петербурге его прозвали «Павлин Матвеевич», и мне случалось, разговаривая с иностранными дипломатами, в Петербурге пребывающими, слышать, как они, упоминая о Толстом, называли его: одни — le paon, а другие — le pavline. Надменность эта еще забавнее и еще смешнее при виде полного тупоумия, с коим она находится в сочетании!

Царская дворня, не успев в своем замысле посадить Толстого на Министерство иностранных дел, успела, однако, сделать его товарищем министра иностранных дел, чему много содействовали императрица Александра Федоровна и тогдашний австрийский посланник в России граф Валентин Эстергази: Александра Федоровна вследствие влияния на нее камерфрейлины графини Ека-

терины Федоровны Тизенгаузен, женщины весьма умной и весьма хитрой, двоюродной сестры Толстого, и графа Эстергази, потому что другая двоюродная сестра Толстого, родная сестра графини Тизенгаузен, графиня Дарья Федоровна, также весьма умная женщина, была супругой (ныне вдова) одного из самых влиятельных австрийских сановников, графа Фикельмона. Эстергази, действуя в видах пользы своего отечества (что было, разумеется, для него долгом), поднялся через австрийское влияние Толстого перечить противо-австрийскому, русскому влиянию князя Горчакова* — и не ошибся в своем расчете.

«Правдивый», № 5, 16 июня 1862, стр. 33—39.

VI

Князь Василий Андреевич Долгоруков.

Мы займемся теперь всероссийской шпионницей; будем говорить о князе Василии Андреевиче Долгорукове, Тимашеве, Потапове и Шуваловых.

Нынешний главный начальник государственной помойной ямы, или всероссийской шпионницы, князь Василий Андреевич Долгоруков родился 25 февраля 1804 года. Отец его, князь Андрей Николаевич, был человек весьма добрый, бескорыстный, набожный, и хотя не пропускал ни обедни, ни всенощной, ни даже заутрени, но весьма дорожил, чтобы сыновья его были в возможно большей милости при дворе, и который из сыновей был лучше принят при дворе, того он как-то невольно любил еще более прочих своих детей.

Князь Василий поступил лет семнадцати юнкером в конногвардейский полк. Сверстником его по летам и товарищем в полку был князь Александр Иванович Одоевский, юноша редких свойств, одаренный умом, отменной добротой сердца, способностями к поэзии и к музыке, душой пылкой и возвышенной. Судьба двух юношей-товарищей была весьма различной, как и следовало ожидать в правлении монголо-голштейнском. Одоевский, умный, даровитый, исполненный благородства душевного, попал в Сибирь на каторгу, потом в виде *милости* послан был служить рядовым на Кавказ и кончил жизнь, не имея позволения покинуть этого места своей ссылки. Василий же Андреевич, каким мы его знаем, стал одним из первых сановников империи...

Из двух юношей, совершенно равных по общественным условиям и в отношении к благам мирским, один, умный и даровитый, — погиб; другой, бездарный и пустой, — сделался министром! Будь в России правление конституционное, правление, подчиненное неотразимому влиянию общественного мнения, Одоевский был бы министром, а Василий Андреевич остался бы лишь знатным барином, и деятельность его, вероятно, ограничилась бы занятием развозить по салонам свою улыбку, неизменную и пошлую...

И тут оправдалась примером явным и неоспоримым старая истина, что самодержавие губит все хорошее и полезное и содействует развитию всего бесполезного и всего вредного.

С 13 на 14 декабря 1825 года Василий Андреевич стоял со взводом из своего эскадрона на внутреннем карауле в Зимнем дворце и по случаю событий этого бурного дня вместо того, чтобы быть смененным с караула перед полднем 14 декабря, простоял в нем до самого вечера. Он был, таким образом, свидетелем страха и ужаса, наведенных событиями того дня на жителей Зимнего дворца; он мог видеть, как уже укладывали вещи императорской фамилии; он мог слышать, что уже было отдано приказание закладывать и держать в готовности на конюшенном дворе экипажи для отъезда (восемь карет в шесть лошадей и четверо крытых саней в пять лошадей были уже заложены, кучера на козлах, форейторы на седлах и готовы к немедленному отъезду). Воспоминание об этом дне, в котором успех заговорщиков и перемена образа правления *висели на волоске,* воспоминание об этом замечательном дне оставило неизгладимые следы в трусливой и мелкой душонке Василия Андреевича; с тех пор он привык всего бояться, всего страшиться, всего трепетать и видеть революционный набат во всяком несколько громком чихании...

В 1828 году Василий Андреевич женился, и свадьбе своей он бесспорно обязан своей карьерой...

Графиня Елизавета Алексеевна Остерман-Толстая, урожденная княжна Голицына, жена знаменитого победителя при Кульме, была женщиной отличных свойств души. Добрая ко всем, она была теплым, деятельным и верным другом для друзей своих. Это редкое качество в соединении с умом ясным, с отличным знанием сердца

человеческого и с мужеством, если так можно выразиться, светским мужеством, весьма редким в высшем кругу, говорить истину почти обо всех предметах и о многих лицах, — все это сочетание качеств придавало графине Остерман большое значение в обществе. Подобным же значением пользовалась, подобными же свойствами одаренная, старшая сестра ее, графиня Мария Алексеевна Толстая, жена почтенного графа Петра Александровича Толстого. И Марию Алексеевну и Елизавету Алексеевну любили весьма многие, уважали все и вместе с тем все боялись, высоко ценя их мнение. Графиня Остерман, не имея детей, взяла к себе на воспитание родную племянницу свою, дочь умершей сестры графини Софьи Алексеевны Сен-При Ольгу Карловну Сен-При, и упрочила за ней наследство своим богатым имением, состоявшим (как все в то время считали на ревизские души) из четырех тысяч пятисот душ крестьян в губерниях Нижегородской и Костромской. Ольга Карловна Сен-При была лицом некрасива до безобразия, но зато одарена была от природы не только замечательным умом, но еще и самыми редкими свойствами души. Невозможно было встретить натуру более чистую, сердце, одаренное большим благородством, верностью в дружбе, и эти прекрасные качества еще развились, эти редкие дары природы вошли в полный свой блеск под влиянием воспитания, полученного ею в доме умной и почтенной тетки графини Остерман. Сочетание ума, доброты, прямоты характера со взглядом оригинальным, часто необыкновенно оригинальным, на людей и на предметы, взглядом, который Ольга Карловна не скрывала не только в дружеских беседах, но и в салонах большого света, это сочетание свойств, приправленное отличным умением говорить истины, не оскорбляя, подчас осмеивать людей самым добродушным образом, — все это придавало очаровательный характер беседе умной и добрейшей Ольги Карловны. Но лишь несчастный прибегал к ее помощи, насмешка ее исчезала: оставались только доброта и великодушие. За друзей своих она готова была идти в огонь и в воду и, вопреки петербургским обычаям, никогда не обращала внимания ни на общественное положение, ни на придворное влияние своих друзей, и на нее — что отменно редко в Петербурге — можно было полагаться всегда и во всем. При дворе ее не любили за ум, за остроту, за прямизну характера, но не могли не уважать

именно за те самые качества, за которые не любили; придворные ее боялись, зная, что она двумя-тремя словами добродушно, но верно обрисует свойства человека не хуже, чем лучший художник набросает карандашом очерк его наружности.

Выйдя замуж за человека пустого и самого ограниченного, Ольга Карловна посвятила себя вся своему мужу и столь искусно умела маскировать всю пустоту этого человека, что при жизни ее Василий Андреевич слыл за человека ума неблистательного, но за кабинетного дельца; молчание его о делах серьезных она выдавала за осторожность и глубокомыслие; беседу о пустяках, единственную беседу, на которую он способен, она выдавала за ловкость сметливого дипломата. Княгиня Ольга Карловна скончалась сорока шести лет от роду в сентябре 1853 года, через год по назначении мужа ее военным министром и перед самым началом Крымской войны. Едва сошла она в могилу, как Василий Андреевич тотчас и невозвратно упал в общественном мнении; все увидели, что он — пустоцвет!

Выдав замуж племянницу, свою родную дочь по сердцу, графиня Остерман старалась сделать из Василия Андреевича флигель-адъютанта. В то время число генерал-адъютантов и флигель-адъютантов еще не было столь необъятным, как ныне; теперь они многочисленностью своей напоминают дворню графов Шереметевых* во дни существования крепостного права. Графине Остерман, не взирая на ее влияние, пришлось хлопотать три года, и лишь в 1831 году Василий Андреевич получил вензель на эполеты. Этим назначением, им столь пламенно желанным, он был обязан родственнику графини Остерман — князю Александру Николаевичу Голицыну, одному из царедворцев самых влиятельных, самых пронырливых и наименее достойных уважения (даже между петербургскими царедворцами). Князь Александр Николаевич Голицын был, как известно, самым низкопоклонным придворным холопом в продолжение четырех царствований (Екатерины, Павла, Александра I и Николая).

В 1837 году между князем сербским Милошем Обреновичем — с одной стороны, Турцией и Австрией — с другой, возникли недоразумения, грозившие превратиться в столкновение. Управлявший в то время Министерст-

вом иностранных дел граф Нессельроде усердно держался системы австрийского союза: он считал князя Меттерниха первым гением в мире и, пользуясь тем, что самодержавобесие и легитимизмобесие входили в число многочисленных видов сумасшествия Николая Павловича, Нессельдоре во все время тридцатипятилетнего своего управления постоянно влек русскую дипломатию по австрийской колее. Николай Павлович вздумал послать к Милошу одного из своих флигель-адъютантов для объяснений и для наставлений (!). Нессельроде, желая вести дела по-своему, без препон и препятствий, зная пустоту Василия Андреевича, его непонимание истинных выгод России, его постоянное стремление подслуживаться и угождать влиятельным лицам, предложил Незабвенному послать в Сербию Долгорукова*, что и было исполнено. Инструкция для него была написана хитрым пройдохой Родофиникиным, бывшим русским агентом в Сербии за 25 лет перед тем. Родофиникин был самый ловкий и самый тонкий из чиновников Министерства иностранных дел: его бы и сам Бруннов не смог провести, но сам, будучи греком по происхождению, он не любил славян и шел наперекор всему, что могло восстановить самобытность племен славянских, а тем более всему, что могло способствовать их преуспеванию и могуществу.

Василий Андреевич съездил в Сербию, говорил с Милошем, который обещал исполнить все, что захочет Россия, и ничего не сделал. Зато встреча, сделанная Милошем русскому флигель-адъютанту, была великолепной: он въезжал в резиденцию сербского князя между рядами войск, отдававших ему честь, и при звоне всех колоколов города. При его отъезде Милош далеко провожал его; при расставании они обнялись, и Милош, сев на лошадь в обратный путь, с улыбкой сказал сопровождавшему его сербскому сановнику: «Пусть верит всему, что я ему наговорил!»

Если посольство Василия Андреевича в Сербию не принесло ровно никакой пользы России, зато принесло пользу Родофиникину, который назначен был членом Государственного совета.

В 1838 году цесаревич (нынешний государь) отправлялся путешествовать по чужим краям. Василию Андреевичу сильно хотелось попасть в свиту цесаревича, чтобы сблизиться с будущим владыкой России, и он для этой цели зимой с 1837 на 1838 год обегал всех влиятельных

лиц, кланялся им, хлопотал и, наконец, достиг своей цели с помощью вышеупомянутого мерзавца князя Александра Николаевича Голицына и старухи княгини Екатерины Алексеевны Волконской[1]. Его назначили в свиту цесаревича на время поездки за границу. Но какую же должность было ему поручить? Для переписки с различными посольствами и вообще для переписки уже определен был Иван Матвеевич Толстой; для осмотра всего относящегося к военной части — флигель-адъютант (ныне остзейский генерал-губернатор) барон Вильгельм Карлович Ливен; для наблюдения за нравственностью молодых адъютантов цесаревича — Владимир Иванович Назимов; оставалось вакантным лишь место бухгалтера, ведущего счетную книгу расходов во время путешествия, и эта блистательная обязанность возложена была на князя Василия Андреевича. В этом звании он сопровождал цесаревича по всей Европе и с этого времени приобрел и постоянно пользовался доверенностью Александра Николаевича.

По возвращении цесаревича в Россию Василий Андреевич остался как бы неофициально причисленным ко двору его и всегда сохранял право свободного к нему доступа. Ему этого-то и хотелось. В августе 1839 года он был послан поздравить герцога Насауского с восшествием на престол, а в феврале 1840 года королеву Викто-

---

[1] Княгиня Екатерина Алексеевна Волконская, дочь того Алексея Петровича Мельгунова, который, будучи любимцем Петра III, был однажды им поколочен тростью на разводе, а при Екатерине, находясь вологодским генерал-губернатором, имел поручение отвезти из Холмогор в Данию братьев и сестер несчастного Иоанна Антоновича, — скончалась в 1853 году, с лишком восьмидесяти лет от рождения. Она была женой родного дяди князя Петра Михайловича Волконского, князя Дмитрия Петровича, который находился в начале царствования Александра I генерал-интендантом; после Тильзитского мира он был за воровство уволен с должности и лишь благодаря обширным родственным связям избежал суда и Сибири. Вдова его, будучи бездетной и обладая большим состоянием, назначила своим единственным наследником мужнина племянника, князя Петра Михайловича Волконского, передав ему даже то родовое имение, коему следовало идти в род Мельгуновых. Таким образом, она пользовалась огромным влиянием на фельдмаршала Волконского, а через него и на весь придворный круг. Трудно было найти женщину более искательную перед придворными фаворитами, более подлую и более жадную: она была страшной взяточницей. Невзирая на свою знатность, на свое богатство, на свое влиятельное общественное положение, она брала взятки столь же усердно, как и жена письмоводителя любого городничего; не брезгала ничем, даже банкой помады, и про нее говорили, что «у нее всякое даяние благо и всяк дар совершен».

рию со вступлением в брак: поручения, не имеющие никакого государственного значения.

В 1841 году граф Клейнмихель, значение коего при дворе возрастало ежегодно и начинало уже внушать зависть и опасение старым придворным холопам —Чернышеву, Бенкендорфу и прочей сволочи в андреевских лентах, — не довольствовался уже званием дежурного генерала Военного министерства и захотел быть военным министром. Он расставил уже свои батареи при дворе, вел свои подкопы, но дело ему не удалось. На случай назначения своего военным министром Клейнмихелю хотелось иметь в запасе дежурного генерала, а идти в подручники к грубому и дерзкому Клейнмихелю охотников было не много. Князь Василий Андреевич на подобные вещи внимания не обращает: он не заносчив, он весьма терпелив и все готов был перенести, чтобы только, как говорили на языке того времени, сделать карьеру. Он согласился идти в дежурные генералы под кулак Клейнмихеля, и оба они работали сообща, чтобы дать стречка Чернышеву, но этот последний в течение сорокалетней холопской службы заматеревший в придворных интригах, знавший насквозь Николая Павловича, от коего неоднократно и с подобострастием выслушивал слово «дурак», умел своими собственными происками оградить себя от происков своих врагов. Чтобы избавиться от них, он устроил дело таким образом, что Клейнмихелю обещано было место главноуправляющего путями сообщения, в то время занятое графом Толем, который был уже весьма болен и быстро склонялся к могиле, в которую вскоре и сошел. Чтобы удалить Василия Андреевича от двора, Чернышев выпросил для него у государя звание начальника штаба у инспектора всей поселенной кавалерии графа Никитина. Чернышев представил Николаю, что весьма лестное назначение для полковника — быть начальником штаба у такого генерала, который командует тремя корпусами и под начальством своим имеет с лишком тридцать генералов. Под этим предлогом Чернышев выпроводил Василия Андреевича осенью 1841 года из Петербурга в Чугуев, не предвидя, что семь лет спустя Василий Андреевич вернется из Чугуева его товарищем и преемником.

Мы видим из Библии, что Иаков для получения в замужество двоюродной сестры своей Рахили четырнад-

цать лет пас стада отца ее. Эти четырнадцать лет ровно ничего не значат в сравнении с тем семилетием, которое провел Василий Андреевич на выправке перед Никитиным, в страхе и трепете перед строгим начальником. Алексей Петрович Никитин был отличным артиллерийским офицером и уже в Отечественную войну 1812 года, еще находясь в чине полковника, славился как отменной храбростью, так и умением распоряжаться артиллерией на поле сражения; впоследствии он командовал кавалерийским корпусом; наконец, по смерти графа Витте — всеми военными поселениями на юге России; был хорошим практиком в сельском хозяйстве, заботился о благосостоянии вверенных ему солдат, но так, как заботились о них в старину, то есть считая солдат хотя и людьми, только не себе подобными. Но во всем, что не касалось до артиллерийской науки, граф Никитин отличался полным и совершенным отсутствием всякого образования; все, что совершилось или изобретено было в Европе после 1815 года, эпохи возвращения наших войск в Россию, было ему совершенно чуждым, да и по Европе-то он прогулялся с своей артиллерийской бригадой в 1813, 1814 и 1815 годах, нимало не замечая ничего вокруг себя. Он был до того необразован, что, возвращаясь из Петербурга в Чугуев, он, в первый раз в жизни своей прибыв на железную дорогу и в ожидании звонка сидя на скамье в общей пассажирской комнате, спросил у сопровождавшего его зятя графа Орлова-Денисова: «Федор, когда же мы двинемся с места?» Старик воображал себе, что он в пассажирской комнате так и поедет из Питера в Белокаменную. Никитин сохранил привычку русского восемнадцатого века говорить *ты* всем своим подчиненным без исключения и никогда не позволял им садиться перед собой (исключая, разумеется, времени обедов и ужинов). Он вставал ежедневно в шесть часов утра, и в семь часов начальник его штаба уже обязан был находиться в его кабинете в мундире и, *стоя* перед сидящим в кресле Никитиным, докладывать ему дела, никогда не слыша от него слова *вы,* а всегда *ты.* Доклад и, следовательно, стояние на ногах продолжались иногда часа по два и по три, потому что Никитин, никогда не бывший бойким чтецом, на старости лет читал уже плохо и посредством очков; сверх того, как все люди ограниченного ума, он любил многословные рассуждения о том, чего не понимал.

Василий Андреевич выносил все причуды Никитина; в

семь часов утра являлся к нему в кабинет в мундире и, стоя на ногах часа по два и по три, выслушивал постоянные слова: «Ты, братец». Княгиня Ольга Карловна на своем оригинальном языке впоследствии сказала однажды одной из сестер Василия Андреевича: «За семь лет, проведенных у Никитина, мужу моему все грехи его отпустятся на том свете; когда он умрет, тело его останется нетленным».

Холопское усердие Василия Андреевича награждено было в 1842 году чином генерал-майора, а в 1845 году званием генерал-адъютанта.

В 1848 году, по смерти графа Левашова, председателем Государственного совета назначен был князь Чернышев, с 1827 года управлявший Военным министерством. Много и постоянно бывало беспорядков на Руси по военной части (как и по всем другим), но такого грабежа, какой установился с 1827 года, невозможно себе вообразить. Управление и дела Военного министерства находились в ужаснейшем беспорядке, и Чернышеву хотелось это скрыть, почему понятно желание его — или оставаться на все время своей жизни военным министром, соединяя звание это с председательством в Государственном совете, или посадить на это важное, даже важнейшее местечко такого барина, который, будучи ему, Чернышеву, всем обязан, имея в нем покровителя, милостивца и благодетеля, скрывал бы все беспорядки последних двадцати лет. Он нашел такого индивидуума в Анненкове (см. № 4 «Листка»)[1], приблизил его к себе, взял в директоры канцелярии в 1842 году, выхлопотал ему 6 декабря 1844 года чин генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта в один и тот же день и собирался устроить дела таким образом, чтобы государь назначил Анненкова сперва товарищем министра военного, а потом и министром. Но в то время Николаю Павловичу пришла блажная мысль (часто приходили они ему, голубчику) приготовлять в военные министры Василия Андреевича. В сентябре 1848 года государь приказал послать к князю Василию Андреевичу в Чугуев фельдъегеря с приказанием немедленно явиться в Петербург. Чернышев приказал фельдъегерю ехать эти 1400 верст с лишком две недели, в надежде, что

---

[1] [Эта статья воспроизводится в нашем издании.]

Николай примет просрочку за неаккуратность Долгорукова и лишит его своей милости. Но Василий Андреевич не поддался на штуку: он приказал в своем штабе засвидетельствовать, что фельдъегерь прибыл в Чугуев в такой-то день и в таком-то часу. Проделка Чернышева осталась без всякого успеха, и само собой разумеется, что виновным очутился лишь бедный фельдъегерь; Василий Андреевич отправился в Петербург, будто вызванный по делам службы для заготовления провианта войскам южных поселений, и в ноябре назначен был товарищем военного министра; Анненкова посадили во всероссийский сарай, то есть в Государственный совет.

Поступив в товарищи к Чернышеву, для коего назначение это имело всю приятность самой горькой редьки, Василий Андреевич тщательно старался заслуживать благоволение своего нового начальника, человека в высшей степени надменного, высокомерного, безжалостного и весьма невежливого со всеми теми, которые не могли ему быть полезными. Семь лет, проведенных Василием Андреевичем в почтительном стоянии навытяжку перед Никитиным, приучили его к подобному положению. В течение четырехлетнего нахождения своего при Чернышеве он был от него безотлучным и даже часто сопровождал его на балы и на вечера, приезжая и уезжая с ним вместе, словно какой-нибудь приживальщик.

Между тем Чернышев, старик летами и со здоровьем, совершенно растроенным бурной жизнью, начал впадать в детство, и невзирая на все его старания удержать за собой Военное министерство, 26 августа 1852 года Николай назначил Василия Андреевича военным министром, в то самое время, когда Россия стояла лицом к лицу с борьбой против двух сильнейших держав мира — Франции и Англии. Тут вовсе не лишним было бы иметь военным министром человека самого способнейшего, какого только можно было бы найти, а Николай назначил князя Василия Андреевича. Николай в припадке самонадеянности и ослепления, доходившем до полного безумия, считал себя непобедимым и всемогущим; он громко и ясно говорил, что не имеет ни малейшей нужды в гениях, а лишь в исполнителях. Главнейшим предметом его ненависти, после конституционных мыслей, было противоречие всякого рода; на этот счет он с Василием Андреевичем мог быть спокойным: Василий Андреевич никогда ему не противоречил.

В то самое время, когда Василий Андреевич вступал на государственное поприще, он лишился своего лучшего покровителя, своей умной и почтенной жены. Княгиня Ольга Карловна после самой кратковременной болезни скончалась в сентябре 1853 года. По смерти жены своей Василий Андреевич, предоставленный собственным силам, оказался явно перед всеми в своем настоящем виде, то есть пустейшим человеком.

Во все время войны у Василия Андреевича было единственной мыслью скрывать от государя настоящее положение дел, не расстраивать его дурными вестями, потому что дурные вести производили в нем раздражение; раздражение отзывалось неблагосклонным приемом всем окружающим, а тем более военному министру. Присылаемым из армии курьерам Василий Андреевич приказывал, если то были фельдъегеря, и советовал, если то были офицеры, не огорчать батюшку-царя, и без того уже обремененного заботами о благе подданных, ловко указывая им на ожидающие их награды в случае исполнения *благонамеренных советов* военного министра. Вот один факт. Один из уездных предводителей Смоленской губернии, богатый помещик и человек семейный, Николай Сергеевич Римский-Корсаков, вступил на время войны в военную службу юнкером и служил отлично. Главнокомандующий крымской армией, князь Михаил Дмитриевич Горчаков, произведя его в офицеры, захотел доставить ему звание флигель-адъютанта и отправил в Петербург курьером к государю с каким-то хорошим известием. Военный министр, увидя приехавшего Корсакова, стал его расспрашивать о происходившем в Крыму, и когда тот начал ему говорить об ужаснейших беспорядках администрации, он стал убедительнейше просить его не говорить о том государю, и если государь будет расспрашивать, то скрыть от него истину. Корсаков отказался содействовать к обману государя; представленный ему, на все вопросы отвечал истину и по окончании аудиенции подвергся сильным упрекам военного министра, который постоянно повторял: «У бедного государя столько горя, что огорчать его не следует: зачем все рассказывать?» Таким-то образом холопия государя окружающая, и довела Россию до нынешнего положения, бессильного и унизительного.

В награду за свое правдолюбие Корсаков не был

сделан флигель-адъютантом: Василий Андреевич помешал этому, чтобы не допустить примеру честности соблазнить других. Одной из величайших ошибок Василия Андреевича было оставление брата его, Владимира Андреевича, в должности генерал-провиантмейстера, должности важной во всякое время, но еще важнейшей в минуту войны, и войны с двумя самыми могущественными державами мира.

Князь Василий Андреевич был бы, несомненно, самым наинеспособнейшим и самым тупоумнейшим человеком во всей Российской империи, если бы не имел младшего брата Владимира Андреевича, который еще превосходил его в этих двух качествах. Бездарность князя Владимира Андреевича трудно себе вообразить; она равняется лишь его высокому мнению о самом себе и его неизлечимой страсти угождать всем тем, кто только может быть ему полезным. К его самонадеянности можно вполне применить известные французские стихи:

Si vous voulez faire en peu de temps
Une fortune immense, et pourtant légitime,
Achetez monsieur ce qu'il vaut,
Et vendez-le ce qu'il s'estime...[1]

Владимир Андреевич находился в течение нескольких лет адъютантом военного министра Чернышева, который, изведав всю глубину его человекоугодливости, полюбил его и сделал генерал-провиантмейстером в полной уверенности, что Владимир Андреевич в порученной ему части, ворочающей десятками казенных миллионов, будет *(чтобы не сказать худшего)* допускать воровство самое наглое и самое бессовестное. Чернышев не ошибся в выборе своего достойного сотрудника: Крымская война раскрыла всю бездну беспорядков и грабежа, приведенных в целую и стройную систему, потому что хорошо известно, что в России хаос и беспорядки везде, кроме грабежа и воровства, приведенных в систему самую определенную и самую полную. Во время войны Владимир Андреевич, вместо того чтобы быть отданным под суд,

---

[1] [Букв: если хотите в короткий срок законным образом сколотить себе громадное состояние, купите этого господина за то, что он стóит, и продайте его за то, во что он сам себя ценит *(фр.)*.]

пожалован был через месяц по вступлении на престол Александра II в генерал-адъютанты, вероятно, в награду за то, что наши войска умирали с голоду и принуждены были поддерживать свое существование тухлой провизией и что наши свежие припасы продавались врагам. По заключении мира и по удалении Василия Андреевича с Военного министерства Владимир Андреевич был удален новым министром Сухозанетом с генерал-провиантмейстерства, но вместо того чтобы быть исключенным со службы с позором, вполне им заслуженным, он был назначен членом Военного совета, вероятно, для назидания этого почтенного собрания в сохранении системы беспорядков. Впоследствии еще чин генерал-лейтенанта и лента Белого Орла пожалованы были ему в награду за услуги, во время Крымской войны оказанные им Англии и Франции доведением русских войск до голодной смерти[1].

Во время тяжкой и унизительной для России Крымской войны неспособность и тупоумие князя Василия Андреевича были удостоены таких наград, какие даются лишь полководцам за блистательные кампании: 6 декабря 1853 года Владимирская лента, 27 марта 1855 года лента Андреевская, которая, как известно, почти никогда не дается генерал-лейтенантам и составляет в этом чине награду самую редкую; наконец, год спустя, по заключении тяжкого Парижского мира, чин генерала от кавалерии — вот награды, в два года с половиной доказавшие, сколь выгодно при Голштейн-монгольском дворе быть человеком искательным, бездарным и пошлым...

---

[1] Вот черта, вполне обрисовывающая степень ума и всю ширину совести князя Владимира Андреевича. Он был опекуном сестры своей жены Марии Васильевны Нарышкиной, и когда тесть его старик князь Василий Васильевич Долгоруков умер 12 декабря 1858 года, то оказалось завещание, коим князь Василий Васильевич разделил свое родовое имение между дочерьми своими, Марией Васильевной Нарышкиной и княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, не поровну, а с назначением княгине Варваре Васильевне большей части наследства и лучших имений! Князь Владимир Андреевич, опекун Марии Васильевны, дошел до такой бессовестности, что подписал в качестве свидетеля завещание, в коем интересам его свояченицы, его опеке порученной, нанесен был ущерб в пользу жены его. Другой свидетель, подписавший это курьезное завещание, равно заслуживает быть упомянутым. Это был Александр Петрович Мельников, советник Конюшенной конторы, ежедневный посетитель князя Василия Васильевича. В завещании Мельникову подарен был дом, и Мельников нимало не усомнился подписаться в качестве свидетеля под завещанием, через которое приобретал дом!

Кончилась война миром необходимым и, следовательно, весьма полезным, но тяжким и унизительным. Даже царская дворня при всем своем тупоумии понимала необходимость назначить другого военного министра. Тут у князя Василия Андреевича возникла мысль, великолепная по своей крайней нелепости. Так как у покойной жены его, урожденной Сен-При, было в Париже родство и обширный круг знакомств, то он изъявил притязание на звание посла в Париже! «После трудов, понесенных на Военном министерстве в военное время, хорошо *отдохнуть* в Париже», — говорил простачок, исправляющий в Питере должность государственного мужа. Он столь мало понимает обязанности и значение посла, что представлял себе в виде легкого отдохновения место, трудное и забот исполненное всегда и во всякое время, а тем более при дворе такого мазурика, как Наполеон III. Он просил это место у Александра Николаевича, который, по своему обычаю никогда не размышляя и не обсудив дела, дал ему свое согласие. Но вновь назначенный министр иностранных дел князь Горчаков воспротивился этому и объявил, что в бытность его министром Василий Андреевич может быть по временам отправляем к тому или другому двору с почетными поручениями, но постоянным послом не будет[1]. И таким образом дипломатиче-

---

[1] Надобно отдать справедливость князю Горчакову, что он единственный из петербургских министров, который, как говорят на французском языке, mettait son portefeuille sur une question; благородный образ действий, столь чуждый русским министрам, что на самом языке нашем не имеется даже соответственно тому выражения! Он один объявлял иногда, что выйдет в отставку, если по такому-то или такому-то вопросу мнение его не будет уважено. Предместник его, граф Нессельроде, чувствуя и понимая, что Николай Павлович беспрестанно самодурствовал в политике внешней и в делах внутренних, никогда, однако, не противоречил деятельно, ограничиваясь лишь несколькими замечаниями, и потом покорно исполнял повеления самые нелепые. Однажды лишь Нессельроде заартачился. Когда графиня Нессельроде увидела, что Николай Павлович не хочет делать ее статс-дамой и что при пожаловании в это звание ее беспрестанно обходят, то она задала супругу своему сильнейший нагоняй, и граф Карл Васильевич, всю жизнь свою бывший покорным исполнителем велений своей Марии Дмитриевны, отправился в апреле 1836 года к государю и, проникнутый (о благодетельное действие супружеского нагоняя!) мужеством, дотоле ему совершенно чуждым, объявил своему медведю-монарху, что, если к 21 числу, дню именин императрицы, жена его не будет пожалована в статс-дамы, он 22 апреля подаст в отставку. 20 апреля графиня Нессельроде была пожалована в статс-дамы.

ские замыслы Василия Андреевича исчезли, аки туман в долине.

Но князю Василию Андреевичу, четыре года проглуповавшему на министерстве военном, не хотелось оставаться простым членом Государственного совета. Ему предлагали быть обер-шталмейстером, но он хотел непременно, во что бы то ни стало, быть министром, каким бы то ни было, но только министром. В это время Александр Николаевич не нашел сделать ничего умнее, как назначить председателем Государственного совета и Комитета министров князя Алексея Орлова, то есть посадить на первое по этикету место в империи пройдоху ограниченного и бездарного, придворного холопа, известного лишь своей хитростью, своим эгоизмом и ненасытной жадностью к деньгам, впрочем, неспособного ни к какому делу серьезному, а тем менее к занятиям постоянным и требующим трудолюбия[1].

Князь Горчаков в следующих четырех случаях воспротивился дипломатическим назначениям, которые придворные лица старались устроить, и всякий раз объявлял, что если мнение его не будет уважено, то он выйдет в отставку. Он действовал таким образом: в 1856 году против назначения князя Василия Андреевича послом в Париж; в 1857 году против назначения графа Николая Адлерберга посланником в Дрезден; в 1858 году против назначения Николая Киселева посланником в Вену и в 1859 году против назначения того же графа Николая Адлерберга посланником в Брюссель. За то Адлерберги и питают к нему такое же расположение, как черти к ладану.

[1] Вот пример, каким образом князь Алексей Орлов, в бытность свою главным начальником шпионов, обманывал и злоупотреблял именем того государя, который осыпал его благодеяниями и богатством и вывел из ничтожества. В бытность генерал-губернатором смоленским, витебским и могилевским князя Андрея Михайловича Голицына этот сановник, добрейший и честнейший из людей, но характера довольно сварливого, поссорился с витебским губернским предводителем графом Михаилом Осиповичем Борхом и послал в Петербург представление, «что пользы края требуют удаления графа Борха от службы». В III Отделении при составлении об этом доклада государю писарь, переписывая генерал-губернаторскую бумагу, по ошибке пропустил слова: «от службы», и вышло, что князь Голицын требовал удаления графа Борха, которого государь и приказал сослать на жительство в Ярославль! Двоюродный брат его граф Александр Михайлович Борх поехал к Орлову просить о прощении графа Михаила; Орлов через несколько времени отвечал, что государь отказал в прощении. Когда на Министерство внутренних дел поступил Дмитрий Гаврилович Бибиков, граф Александр Михайлович Борх возобновил свое ходатайство: Дмитрий Гаврилович доложил государю, тотчас получил согласие на прощение и сказал графу Александру Михайловичу, что государь полагал, что его двоюродный брат давно возвращен и что Орлов даже не докладывал о его просьбе государю. Какова мерзость?

Назначение Орлова делало вакантным важнейшее место в империи: звание шефа жандармов и главноуправляющего III Отделением Собственной [Е.И.В.] канцелярии. Претендентом на это место являлся Дубельт*, за неспособностью и леностью Бенкендорфа и Орлова управлявший делами в сущности с полным самовластием, но репутация Дубельта была уж такова, что производила скандал даже в Петербурге, привыкшем ничему не удивляться на поприще мерзостей. Сверх того, все кальянщики, зная необыкновенную хитрость и неотразимое пронырство Дубельта, трепетали, чтобы он не прибрал совершенно к своим рукам слабого и непонятливого Александра Николаевича. Того же самого боялся Константин Николаевич, который под видом мнимого либерализма стремился лишь к тому, чтобы забрать все бразды самодержавного правления в руки свои, Головнина и прочих приверженцев своих (что теперь и совершилось и, как видим, производит крутую кашу), но все-таки не хотел передать эти бразды в лапы Дубельта. И так решено было посадить на это место Василия Андреевича, тупоумие коего не внушало опасений никому. 25 июля 1856 года Василий Андреевич назначен был шефом жандармов, а Дубельту, который обиделся этим назначением и подал в отставку, обещали, если он в течение двух месяцев будет стараться приучить Василия Андреевича к занятиям и освоить его с этим благородным поприщем, то в день коронации получит чин полного генерала и министерскую пенсию в 12000 руб. Дубельт согласился, оставался до коронации Мен-

---

А вот образчик низости князя Алексея Орлова. Прибыв в Париж в 1856 году для мирных переговоров, он не только наистрожайшим образом запретил находящимся при нем офицерам и чиновникам вести знакомство с лицами, которые не ездят к бонапартовскому двору, но еще являлся усерднейшим низкопоклонцем Наполеона и выкинул следующую проделку, наделавшую много шума в Париже. Старец Барант, в шестилетнее свое посольство в Петербурге бывший знакомым с Орловым, узнав о приезде его в Париж, сделал ему визит и, не быв принятым, написал к нему весьма вежливую записку, объясняя, что весьма бы приятно было ему свидеться со старым знакомым, и осведомляясь, когда можно застать его дома. Так как Барант, подобно почти всем почтенным людям Франции, отстранил себя от всяких сношений с бонапартовским двором, то Орлов и имел совесть не отдать ему визита и даже не ответить на его записку!!! Старец Барант, рассказывая нам это, говорил: «Вина была моя: я мнил найти посла там, где был лишь холоп!»

тором неспособного Телемаха и воспользовался этим, чтобы в помощники Телемаху назначить закоренелого стародура Тимашева (о коем будет речь далее).

Таким образом, Василий Андреевич заделался верховным вождем III Отделения и агентов его, сделался главным начальником всероссийской помойной ямы и кувырнулся в эту яму не только не морщась, но еще с восторгом от мысли, что будет иметь к государю постоянный, беспрепятственный доступ и право вмешиваться во все дела и в дела каждого.

Мы вполне убеждены, что будь жива умная и почтенная княгиня Ольга Карловна, она никогда бы не допустила своего мужа до занятия должности столь подлой, какова обязанность ежеминутных сношений со шпионами.

В первый раз, как мы увиделись с Василием Андреевичем после поступления его в управление всероссийской помойной ямой, он, сделав нам вопрос, касающийся семейных обстоятельств, прибавил следующие, вполне характерные слова: «Теперь вы обязаны со мной говорить откровенно: ведь я сделался духовником всех верных подданных государя».

Хорош верховный жрец религии верноподданства, на шпионстве основанной, да и сама-то религия хороша, нечего сказать! Понятно, что порядочные люди не хотят быть верноподданными!

Одной из главных целей Василия Андреевича при поступлении его в управление всероссийской помойной ямой было достижение выгоды, столь завидной для каждого придворного холопа: иметь к государю доступ ежедневный. И потому он испросил дозволение являться к царю с докладом ежедневно в полдень.

Отношения Василия Андреевича к членам императорской фамилии и к министрам были весьма разнообразны.

Императрица Александра Федоровна смотрела на него как на человека, возведенного в министры волей Николая Павловича, и, следовательно, считала его мужем величайших способностей. Всем в то время жившим в Петербурге известно, что эта добрейшая императрица не понимала, как может Александр Николаевич не идти по стопам отцовским и удалять отцовских любимцев. Когда он сменил Клейнмихеля, она сказала ему: «Как можешь

ты удалять с министерства такого преданного и усердного слугу? Его избрал твой отец, *а кто лучше твоего отца умел распознавать и выбирать людей?*» Александр Николаевич принужден был успокоить свою расплакавшуюся маменьку следующим забавным ответом: «Папа был гений, и ему нужны были лишь усердные исполнители, а я — не гений, как был папа: мне нужны умные советники!» Александра Федоровна успокоилась...

Великая княгиня Елена Павловна, с самого восшествия на престол Александра Николаевича питавшая надежду завладеть кормилом правления, до той поры обходилась с Василием Андреевичем холодно и за глаза часто смеялась над ним, но после назначения его начальником тайной полиции стала искать в нем и усердно льстить ему. Главный начальник шпионов — лицо важное, с ним выгодно быть в ладах.

Великой княгине Марии Николаевне, единственной из детей Николая Павловича имевшей некоторое влияние на отца, Василий Андреевич всегда усердно угождал и даже для вящего угождения прикидывался плененным ее красотой. В бытность свою военным министром Василий Андреевич ежедневно посещал ее, уверяя, что милая и любезная беседа великой княгини заставляет его забывать тяжкое бремя и заботы государственной деятельности. Мария Николаевна смеялась тому, но, как женщина, не могла не быть хорошо расположенной к человеку, ею пленившемуся, и покровительствовала ему при дворе.

С великим князем Константином Николаевичем отношения Василия Андреевича были весьма неприятными. Оба управляли в одно и то же время министерствами: Василий Андреевич — военным, великий князь — морским. Главный советник и руководитель великокняжеский, Александр Васильевич Головнин, не занимался еще в то время, как ныне, отыскиванием в литературе, и внутренней и заграничной, подлецов и подкупом их*; он в то время еще не употреблял всех сил своего ума на то, чтобы ловить мерзавцев на золотую удочку. Он тогда старался, напротив, отыскивать людей способных и честных и привлекать их на службу в Морское министерство, в коем, благодаря этому благородному образу действий, было, сравнительно с прочими ведомствами, гораздо менее кражи и обнаруживалась некоторая степень честно-

сти, в прочих министерствах неизвестная. В Крыму, когда солдатам выдавалась гнилая провизия, моряки получали свежие припасы и рацион водки; морские госпитали не нуждались ни в чем в то самое время, как в госпиталях сухопутного ведомства раненые и больные были буквально грабимы чиновниками. Василий Андреевич не мог не видеть огромной разницы между обоими ведомствами; врожденная завистливость его характера сильно разыгралась, и он возненавидел великого князя, который в свою очередь платил ему полным и глубочайшим презрением, вовсе даже не скрывая этого презрения, выражая его на каждом шагу, что еще более раздражало и бесило Василия Андреевича. Ненависть между ним и Константином Николаевичем достигла до крайних пределов, до такой степени, что однажды Василий Андреевич сказал князю Александру Михайловичу Горчакову: «Вы много способствовали к тому, что этого мальчишку все избаловали: он начал забываться». На что князь Горчаков отвечал: «Мне кажется, любезный товарищ, что вы забываетесь, когда выражаетесь подобным образом о брате нашего государя!» Одним словом, великий князь и Василий Андреевич самым усердным образом рыли друг другу политическую яму, но, к искреннему сожалению, в эту яму ни один из двух не провалился... Должно прибавить, что Василий Андреевич, подобно всем политическим врагам великого князя, много способствовал назначению его наместником Царства Польского. Враги Константина Николаевича рассчитывали, что на этом невозможном месте он и перессорится с людьми либеральных мнений и вместе с тем докажет, до какой степени общественное мнение впадало в ошибку, считая его человеком отменно способным. Расчет врагов великого князя оказался верным...

В то время как Василий Андреевич погрузился во всероссийскую помойную яму, летом 1856 года состав министерства был следующий: князь Горчаков только что вступил в управление иностранными делами; граф Блудов продолжал управлять II Отделением Собственной [Е.И.В.] канцелярии; князь Орлов на председательском кресле Государственного совета предавался любимому занятию — кейфу*, горько, впрочем, сожалея об утрате своего могущества николаевских времен (сожаление это свело его в могилу); на Министерстве просвещения восседал добрейший и рассеянный Норов; в Минис-

терстве двора и в Министерстве почт дурил Адлерберг; в Министерстве финансов дурил Брок; в Министерстве юстиции самодурил Панин; в контроле Анненков был поглощен отпиской бумаг и тщательным рассмотрением аккуратности входящих и исходящих; пути сообщения служили Чевкину путями к ссоре со всеми. В Министерстве внутренних дел Ланской сытно ел и плотно запивал скушанное, утром румянился, вечером давал обеды, в промежутке подписывал, не читая, все, что ему клали на стол, и являл невозмутимое спокойствие духа, зная, что в России ни один кредитор не потревожит министра. В Министерстве Военном Сухозанет разыгрывал спартанца и в подтверждение того обедал прескверно, а при дворе желал прикинуться неуступчивым римлянином, старательно высматривая сквозь очки, кому выгоднее покрепче пожать руку и с резким видом усердно подслужиться. Министерство государственных имуществ по случаю отъезда в Париж хитрого и ловкого графа Киселева переходило от весьма отсталого, но весьма честного Василия Александровича Шереметева к столь же честному, но не всегда осторожному Дмитрию Петровичу Хрущову и от него попадало в грязные и жадные лапы трехпрогонного Муравьева*.

С князем Горчаковым Василий Андреевич* всегда жил в наружной дружбе, скрывавшей глубокую взаимную нелюбовь. К графу Блудову, также человеку умному и подчас весьма саркастическому, Василий Андреевич питал также нелюбовь, даже не всегда принимая на себя труд скрывать ее. Придворная натура Василия Андреевича не любила и добродушного Абрама Сергеевича Норова, столь чуждого всяким интригам. Зато он жил душа в душу с бездарными Адлербергом, Анненковым, Броком, Ланским и если не ладил с Сухозанетом, то лишь единственно по причине, что видел в нем своего преемника по Военному министерству. К графу Панину и князю Орлову Василий Андреевич питал глубокое уважение, аки мужам, заматеревшим в кознях придворных: Панин и Орлов были его советниками и наставниками; Панин и Орлов были коноводами реакционной партии, и во влиянии на стародуров с ними могли сравняться лишь канцлер Нессельроде и Петр Казимирович Мейендорф (ныне уже оба, подобно Орлову, умершие). С Чевкиным Василий Андреевич не ладил, потому что избежать ссоры с

Чевкиным столь же легко, как и отыскать квадратуру круга. С Шереметевым у Василия Андреевича короткости не было: сношения их ограничивались салонной вежливостью; Хрущова, как человека образованного, Василий Андреевич весьма не любил, а Муравьева готов был бы полюбить, если бы, подобно всем придворным, не опасался, что Муравьев заберет всю власть к себе в руки, что, как всем известно, было целью трехпрогонного вешателя.

Зато надобно видеть подобострастие, какое Василий Андреевич всегда выказывает к любимцу царскому графу Александру Адлербергу: он буквально увивается около него.

Василий Андреевич всегда питал сильное обожание к салонной элегантности и вскоре по назначении своем шефом жандармов выразил это однажды следующим образом. На другой день после придворного бала он, встретившись с нами, сказал: «Надо признаться, что мы быстро идем вперед; прогресс у нас сильно развивается; администрация делается совершенно элегантной. Вчера, например, на придворном бале, в числе самых ловких танцоров можно было любоваться начальником тайной полиции Тимашевым и обер-полицмейстером Шуваловым. Я радовался, видя, что полиция сделалась элегантной». Мы отвечали ему: «Жаль, что Жданов не танцует» (г-н Жданов был в то время директором Департамента исполнительной полиции в Министерстве внутренних дел).

В 1857 году приступили серьезно к уничтожению крепостного состояния, и тут Василием Андреевичем овладел панический страх.

Когда государь, убежденный великим князем Константином Николаевичем, решился уничтожить крепостное состояние, стародурами овладел страх неописанный, и князь Василий Андреевич по своему трусливому характеру совершенно растерялся. Назначенный по званию своему членом Главного комитета, для улучшения быта крестьян учрежденного, Василий Андреевич совершенно подчинился влиянию, с одной стороны, графа Панина, а с другой, своего помощника Тимашева и действовал по их указаниям; он поддерживал все меры, какие только могли клониться к тому, чтобы затормозить крепостной

вопрос. Заблуждение стародуров в этом отношении было столь великим, что еще весной 1858 года граф Панин говорил одной даме (от которой мы это слышали), что вопрос об уничтожении крепостного состояния может кануть в воду.

Особенную боязнь и вслед за тем ненависть высказывал Василий Андреевич литературе и журналистике; подобно всем невежам, он не понимал, что гласное и публичное обсуждение всех вопросов предупреждает подземные ковы и через то содействует сохранению общественного спокойствия. Почитаем не лишним рассказать здесь два анекдота о деятельности его против литературы.

В январе 1858 года Иван Сергеевич Аксаков предпринял впервые издание еженедельного журнала под именем «Парус». В № 1 во вступительной статье помещено было в шутку воззвание о поручении «Паруса» покровительству всех властителей вод от «древнего Нептуна до русского синего водяного включительно». Тимашев, с неприязненным чувством всегда взиравший на появление новых журналов, стал объяснять Василию Андреевичу, что слова «русский синий водяной» составляют намек, и намек оскорбительный (?!!) на голубой жандармский мундир. Василий Андреевич со свойственным ему тупоумием поверил этой чепухе и сделал государю доклад, или, чтобы правильнее выразиться, донос, в коем Иван Сергеевич Аксаков был обвинен едва ли не в покушении на государственную безопасность, а мирный «Парус» представлен в виде какой-то бомбы, начиненной всеми возможными ужасами. Это совпадало с эпохой покушения Орсини и издания французского закона об общественной безопасности, а всем известно, до какой степени в Зимнем дворце смиренно благоговеют перед всем, происходящим в Париже: лишь только Бонапарт чихнет — С.П.Б. правительство спешит сморкаться... «Парус» был немедленно запрещен (№ 3 даже не успел выйти); Иван Сергеевич Аксаков был вытребован в Петербург, допрашиваем в III Отделении и еле-еле не сослан в Вятку.

Ровно год спустя, в январе 1859 года, был новый случай для Василия Андреевича выказать свое стародурство. Граф Алексей Константинович Толстой (автор «Князя Серебряного»), человек с детства весьма близкий

к государю, читал императрице Марии Александровне свой стихотворный рассказ о св. Иоанне Дамаскине и потом отдал его напечатать в первую книжку «Русской Беседы» на 1859 год. Шпионы Василия Андреевича, находящиеся в Москве, донесли ему, что стихотворение Толстого печатается; Василий Андреевич под предлогом, что оно не было рассмотрено духовной цензурой, приказал своим жандармам остановить выпуск книги. Редактор «Русской Беседы» Иван Сергеевич Аксаков поспешил прислать из Москвы в Петербург корректурные листы министру народного просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому. Евграф Петрович, человек хитрый и ловкий, не одарен гражданским мужеством, кланялся и нашим и вашим, или, как говорят французы, не задевал ни козла, ни кочана капусты. Но тут он видел, что запрещение стихотворения Толстого будет оскорбительным для императрицы, в салоне коей оное было читано, и, рассчитывая на поддержку Марии Александровны, Евграф Петрович решился проявить на этот раз гражданское мужество. Он послал в Москву приказание цензуре выдать немедленно билет на выпуск книги в продажу. Василий Андреевич, узнав, взбесился и, встретив министра просвещения, сказал ему: «Как же вы разрешили выпуск книги, не предуведомив меня?» — «А разве вы первый министр, чтобы я обязан был просить вашего дозволения?» — отвечал Ковалевский. За это событие императрица в течение нескольких недель неблагосклонно обходилась с Василием Андреевичем и почти вовсе не говорила с ним; но Василий Андреевич, имея придворный навык, вилял и вилял столь усердно, что Мария Александровна позабыла об этом эпизоде и возвратила ему свою прежнюю благосклонность.

Из этого очерка можно видеть, что́ за человек Василий Андреевич. Бездарность полная и совершенная; эгоизм, бездушие в высшей степени; ненависть ко всему, что умно и просвещенно; боязнь в виду всякой мысли, в виду всего, что независимо и самостоятельно. Держится он на своем месте тем же самым средством, каким держались предшественники его, Дубельт, Орлов и Бенкендорф, а именно: стращая и запугивая государя мыслью о революции, представляя государю все умное — злонамеренным, все независимое и благородное — мятежным и уверяя, что, не будь он, Василий Андреевич, на III Отделении, все бы в России погибло и рушилось...

Невзирая на свою неспособность, Василий Андреевич один из самых вредных для России лиц.

Теперь перейдем к Александру Егоровичу Тимашеву.

«Листок», № 5, январь 1863. стр. 35—37;
№ 7, 19 мая, стр. 54—56;
№ 8, 12 июня, стр. 60—63;
№ 9, 6 июля, стр. 71—72.

VII

Александр Егорович Тимашев. Александр Львович Потапов. Семейство Шуваловых.

В № 9 «Листка» мы окончили рассказ о князе Василии Андреевиче Долгорукове; теперь займемся Александром Егоровичем Тимашевым*. В Оренбургской губернии жил богатый помещик Егор Николаевич Тимашев; он был в течение нескольких трехлетий губернским предводителем дворянства и должность свою отправлял с отменным усердием, то есть кормил на славу и дворян и чиновный люд губернии Оренбургской. Этот уральский кормилец имел двух сыновей: старший, Николай Егорович, по французскому выражению, не изобревший пороха, занимается хозяйством и гласом великим вопиет против уничтожения крепостного состояния, женат на дочери бывшего московского сенатора Толмачева[1]; младший, Александр Егорович, предмет нашего рассказа.

Начал службу свою Александр Егорович в одном из гвардейских кавалерийских полков и вскоре прославился отличными способностями к рисованию карикатур. Од-

---

[1] Афанасий Емельянович Толмачев, прежде чем его сдали в государственную кладовую, то есть в Сенат, долго служил в военной службе, и старые служаки николаевских времен с похвалой рассказывают о его хозяйственных соображениях; покойный сенатор, генерал и игрок Николай Петрович Мартынов говорил однажды: «Вот отличный был полковой командир — Толмачев Афанасий Емельянович! Во-первых, по фрунту — дока; а потом, что за хозяин! Сердце радовалось, глядя на него. У него ничего не пропадало: бывало, велит стричь солдат, *да стричь везде, без исключения;* волосами набьет тюфяк и продает. Мастер своего дела!»

нажды нарисовал он гвардейского офицера, стоящего в карауле. Офицер снял кивер, расстегнул воротник (при Николае полагалось, что безопасность отечества необходимо требует, чтобы воротники у военных были всегда застегнуты), разлегся в креслах и спит. Во сне видит он великого князя Михаила Павловича; ужас изображается на лице офицера, и он блуждающей рукой ищет кивер свой, на столе стоящий. Карикатура эта имела успех необыкновенный; одна из придворных дам показала ее императрице Александре Федоровне, а императрица Михаилу Павловичу, который, увидев этот рисунок, расхохотался. Тимашев был переведен в кавалерийский полк, имевший шефом своим императрицу, полк, офицеры которого, особенно в ту эпоху, принадлежали частью к фамилиям богатым и влиятельным при дворе и, следовательно, успешнее других могли заводить связи, полезные для их возвышения. Тимашев, выросший на злачных лугах Оренбургской губернии, не получил никакого образования: выучен был лишь говорить по-французски и танцевать, да и не горевал вовсе об этом недостатке, зная, что в петербургской придворной карьере образование не только не приносит пользы, но еще весьма часто служит помехой к возвышению на служебной лестнице[1]. Ловкий, хитрый, сметливый, пронырливый сын оренбургских степей заводил в Петербурге полезные связи и ловко угождал лицам влиятельным. По прошествии нескольких лет он пожалован был флигель-адъютантом, и при этом случае Николай Павлович, призвав его к себе, взял с него честное слово не рисовать более карикатур: известно, что рисование карикатур воинским уставом не предписывается. Сделавшись флигель-адъютантом, Тимашев, лишь только достиг полковничьего чина, стал домогаться генеральских эполет и для этого выхлопотал себе место начальника штаба в одном из кавалерийских корпусов, главная квартира коего находилась в Киеве. Он достиг своей цели.

---

[1] Канцлер граф Нессельроде, человек в петербургском смысле весьма практический, говаривал сыну своему, когда тот находился в Петербургском университете: «Я вовсе не требую, чтобы из тебя вышел ученый; ученость ни к чему тебе не нужна: ты — граф Нессельроде и богат; но я требую от тебя непременно, чтобы ты на выпускном экзамене получил чин десятого класса, для того чтобы не отстать от товарищей своих по службе». Дмитрий Карлович Нессельроде в точности исполнил волю родительскую и ученостью не заразился.

Мы сказали выше, что с назначением князя Василия Андреевича Долгорукова шефом жандармов Дубельт не захотел оставаться начальником III Отделения, и старо-дуры встрепетали при мысли, что, пожалуй, назначат на это место человека, склонного к нововведениям, и не менее трепетали стародуры при мысли, что — чего доброго — Константин Николаевич посадит на III Отделение кого-нибудь из своих близких — а в то время Константина Николаевича считали либералом: заблуждение это было всеобщим. Хитрый Дубельт успокоил стародуров и в числе их стоящую дворню царскую: он дал им совет назначить Тимашева, которого знал хорошо и за коего ручался, что он будет по возможности стараться поддерживать старый порядок дел. Вследствие этого ходатайства Тимашев в день коронации назначен был начальником штаба корпуса жандармов и начальником III Отделения.

Вступление его в эту почтенную должность совпадало с той эпохой, когда государь еще колебался: уничтожить ли крепостное состояние или нет; идти ли по пути реформ или сидеть неподвижно в болоте. В эту эпоху Тимашеву казалось любо действовать: враг всех реформ, поборник оренбургской свободы и киргизского просвещения, он, по-видимому, имел перед собой широкое поприще для своего властолюбия; а властолюбия у Тимашева не бугор, но целый холм, и преогромный. Оно казалось тем естественнее, тем достижимее, что с любимцем царским графом Александром Адлербергом Тимашев соединен и узами родства[1] и, что гораздо важнее в политике, сочувствием политическим; оба они проникнуты враждой к реформам, только у каждого из двух проявление вражды этой согласно с его личным характером: у Тимашева проявление открыто и резко, что называется с барабанного боя; у Адлерберга под наружностью кроткой, с видом мягкости и с постоянной улыбкой. Тимашев гоняется за властью; Адлерберг — за деньгами.

Но через несколько месяцев после коронации влияние великого князя Константина Николаевича устремило государя на путь реформ, и Тимашев с горестью увидел, что Россия не будет более управляться «по прекрасной

[1] Они женаты на внучатых сестрах: Тимашев на Екатерине Александровне Пашковой, Адлерберг на Екатерине Николаевне Полтавцевой.

николаевской системе», как он выразился однажды. Впрочем, он вел сильную борьбу и, как мужественный воин, уступал грунт земли лишь шаг за шагом, прицепляясь ко всем возможным обстоятельствам, чтобы запугать государя мнимой революцией. Стародуры и предводящая ими царская дворня, зная всю обширность неспособности и слабость характера главного начальника государственной помойной ямы князя Василия Андреевича, возложили все свои надежды на второго начальника этого почтенного места, на умного и энергического Тимашева, и старались через него влиять на государя. Все предводители стародурной партии — Орлов, Панин, Нессельроде, Петр Казимирович Мейендорф — осыпали Тимашева ласкательствами и снабжали его советами, плодами своей долголетней опытности в придворных передних. Тимашев, со своей стороны, старался вдохнуть энергию в князя Василия Андреевича, но уже этот труд оказался вполне безуспешным. Сильно негодовал Тимашев на слабость своего начальника и однажды в разговоре со мной сказал: «Князь Василий Андреевич прекрасный человек, но за ним большой порок: он не любит ни с кем ссориться».

Особенной ненавистью Александра Егоровича пользовались, разумеется, литература и журналистика и вообще гласность. Во время заседания комитетов для уничтожения крепостного состояния он старался всеми возможными средствами отстранить журналы, газеты и вообще публику от участия в обсуждении вопроса, который и мог быть хорошо решен лишь общей думой всех русских. Но с особенным рвением он преследовал журналистику. Однажды в январе 1858 года он сказал мне: «Русская литература ведет себя самым преступным образом: хвалит государя и все порицает администрацию». «Мне кажется, — сказал я, — что Вы, Александр Егорович, нападаете на государя, когда хотите возложить на него ответственность за злоупотребления администрации?» «Извините, — отвечал, смеясь, Тимашев, — если бы государь был недовольным администрацией, тогда он бы сменил начальствующих лиц; он их не сменяет, следовательно, доволен ими и их действиями. Нападать на администрацию, значит нападать на государя!»

В № 9 «Листка» говорено было о запрещении в январе 1858 года газеты «Парус» за то, что она упомянула о

«русском синем водяном», выражение, понятое III Отделением как *преступный намек на голубой мундир жандармского ведомства!* Редактор «Паруса» Иван Сергеевич Аксаков был вызван в Петербург и допрашиваем в III Отделении. В день этого допроса Тимашев, встретив меня вечером на большом бале у графа Панина, сказал мне: «Знаете ли Вы, какую штуку мне Аксаков отпустил сегодня утром? Я ему говорю: Вы, Иван Сергеевич, может быть, возненавидите меня хуже Дубельта, а он мне в ответ: да Вы, Александр Егорович, во сто раз хуже Дубельта; его можно было купить, а вас не подкупишь!» И, передавая мне эти слова Аксакова, лицо Тимашева, невзирая на всю его хитрость и умение владеть собой, не могло скрыть улыбки самолюбия и гордости: русский чиновник погружается в столь приятное удивление, когда его не считают вором...

Тимашеву чрезвычайно хотелось быть генерал-адъютантом. С самого дня назначения его в государственную помойную яму он добивался золотого аксельбанта, и у него уже был наготове генерал-адъютантский мундир. Наконец, в 1859 году, в день рождения государя отдано было утром в приказе о пожаловании Тимашева в генерал-адъютанты, и в то же самое утро он уже явился во дворец в генерал-адъютантской форме. Государь, увидев его, спросил: «Как это у тебя мундир так скоро поспел?» Тимашев смекнул, что своей торопливостью дал промах, и сказал с улыбкою: «Ваше величество, какой же бы я был начальник тайной полиции, если бы не знал того, что каждый приготовляется делать?» Этим забавным ответом он так озадачил государя, что Александр Николаевич не нашел, что ему возразить, и прошел мимо...

Через несколько дней после пожалования своего в генерал-адъютанты Тимашев поехал за границу, на воды в Виши. Невзирая на его сорокалетний возраст, это была его первая поездка за границу. Многим он был поражен, многим удивлен, и хотя мало высказывался, но подчас вырывались у него слова, ясно означавшие, что до поездки своей за границу он о весьма многом не догадывался и понятия не имел. Подобно большей части путешествующих русских высокочиновных стародуров, Тимашев *за границей* либеральничал на словах, изъявлял французам симпатию ко всему французскому, англичанам симпатию

ко всему английскому, а бельгийцам симпатию ко всему бельгийскому, предоставляя себе по возвращении в Россию действовать по направлению истинных своих влечений, то есть по-петербургскому, по образу и подобию незабвенного Николая, насколько то позволяли современные обстоятельства. В Виши во время пребывания Тимашева находилось несколько французских легитимистов из числа самых рьяных; они были в восторге от начальника русской государственной помойной ямы и говорили: «Истинно государственный муж!»

Вторую поездку свою за границу Тимашев совершил в следующем, 1860 году; осенью приезжал в Париж за женой своей и возвратился с ней в Россию. Во время трехнедельного пребывания своего в Париже он исключительно занимался изучением фотографического искусства и с этой целью проводил целые дни в мастерской знаменитого художника-фотографа Сергея Львовича Левитского.

Возвратился Тимашев в Петербург в декабре 1860 года и всю зиму провел в благородных занятиях по III Отделению. Между тем константиновская партия одерживала верх над стародурами, и хотя константиновцы вводят не что иное, как самодержавие, одетое в платье либерального покроя, нечто наподобие бонапартовской системы, но все-таки Тимашеву оно не нравилось: ему подай систему николаевскую, во всей ее полноте, то есть смесь немецкого с киргизским; иначе он не удовольствуется. Указ 19 февраля 1861 года и решительное уничтожение крепостного состояния окончательно вывели из терпения сына степей оренбургских; он объявил, что оставляет свое место, находя направление правительства слишком либеральным. В апреле того же года Тимашев замещен был Шуваловым, который в конце года заменен был Потаповым.

Прежде чем говорить о Шувалове и его семействе, скажу несколько слов о нынешнем воеводе государственной помойной ямы.

Что же касается до Тимашева, то он провел два года без политических занятий; сильно разыгралось в нем непомерное властолюбие его; он стал жаждать власти, и вот по ходатайству графа Александра Адлерберга он назначен ныне генерал-губернатором пермским. Но его настоящая цель: заменить князя Василия Андреевича на

главном начальстве всероссийской помойной ямы, а доколе эта цель не осуществится, он надеется заменить в Литве Муравьева, когда этот государственный разбойник достигнет желанного им звания верховного палача в Царстве Польском.

Александр Львович Потапов* — второй сын богатого воронежского помещика. Старшего брата его, Петра Львовича, служившего по гражданскому ведомству, помнит весь Петербург тридцатых годов, как он, бывало, с 2 до 4 часов пополудни прогуливается по модному того времени гулянью, Невскому проспекту, под руку с г-ном Ратмановым, принимая позы, по его мнению, грациозные, и за ними едет карета, запряженная четвернею по обычаю того времени. В 1842 году Петр Львович был сослан в деревню за свою преданность тому самому роду занятий, которые при Петре I положили первоначальное основание возвышению князя Александра Даниловича Меншикова* и графа Павла Ивановича Ягужинского*, а в нашу эпоху (столь времена переменчивы) помешали Филиппу Филипповичу Вигелю*, Дмитрию Николаевичу Бантышу-Каменскому и Андрею Николаевичу Муравьеву* достигнуть сенаторского звания.

Александр Львович Потапов вступил в военную службу в 1837 году юнкером в лейб-гусарский полк, где по чрезвычайно малому росту своему имел прозвище Потапенок. В сороковых годах он женился на княжне Екатерине Васильевне Оболенской; вскоре после того назначен был адъютантом к фельдмаршалу Паскевичу, и когда Паскевич в январе 1856 года окончательно догнил и был схоронен, некоторые из адъютантов его назначены были флигель-адъютантами, в том числе и Потапенок. Всем известно было, что он человек умный и весьма хитрый, но никто не подозревал, чтобы хитрость эта развилась до пределов, являющих в Потапенке весьма ловкого и искусного начальника тайной полиции. В 1860 году он был назначен обер-полицмейстером в Москву; в следующем году переведен в эту же должность в Варшаву, а в конце 1861 года назначен начальником штаба корпуса жандармов и начальником III Отделения.

Потапенок, как мы сказали, умен и весьма хитер; очень сметлив, одарен замечательной проницательностью; честолюбив и властолюбив в высшей степени, и честолюбие его и властолюбие не знают границ, и для

удовлетворения их он готов пожертвовать массами людей... На деньгу честен: взятки не возьмет, но суров и безжалостен; сверх того, подобно почти всем людям малого роста, он весьма склонен к гордости. Обхождение его с лицами, судьбой от него поставленными в зависимость, отменно вежливо: он всегда учтив, никогда не скажет оскорбительного слова, но вечно останется безжалостным и неумолимым; он жестокий инквизитор в лаковых сапогах и в лайковых перчатках: высоко ценит формы вежливости, но нимало не дорожит человечеством...

Теперь перейдем к графу Петру Андреевичу Шувалову, преемнику Тимашева и предшественнику Потапова, и вместе с тем поговорим о семействе его, потому что в «Петербургских очерках», в «Листке» помещаемых, мы намерены постепенно обозреть одного за другим всех лиц, в Петербурге имеющих или имевших значение какого бы то ни было рода.

Прадед графа Петра Андреевича, граф Андрей Петрович Шувалов, был сыном известного грабителя елизаветинских времен, фельдмаршала и генерал-фельдцейхмейстера графа Петра Ивановича Шувалова, который пользовался полным доверием Елизаветы за то, что содействовал вступлению ее на престол, и потому, что первая жена его, Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, пользовалась особенной доверенностью Елизаветы, постоянно жила во дворце в комнатах, соседних с комнатами императрицы, приводила к ней мужчин и отводила их обратно[1]. Между тем Петр Иванович грабил, где мог и сколько мог, и оставил огромнейшее состояние своему сыну, который большую часть его промотал. Этот сын, граф Андрей Петрович, был пустейший человек и горький пьяница. Находясь в Париже, он купил у одного

---

[1] Иван Иванович Шувалов, основатель Московского университета, покровитель Ломоносова, был двоюродным братом графа Петра Ивановича. Мавра Егоровна определила Ивана Ивановича в любовники к Елизавете, или, как выражались в восемнадцатом веке, ввела его в случай. У Ивана Ивановича Шувалова соперником был двадцатидвухлетний полковник Никита Афанасьевич Бекетов, чрезвычайно красивый лицом. Граф Петр Иванович Шувалов дал Бекетову какое-то притирание для сохранения, как он уверял, свежести лица. От притирания этого все лицо Бекетова покрылось сыпью и угрями; графиня Мавра Егоровна Шувалова сказала императрице: «Смотри, матушка, какого он зазорного поведения; с ним опасно», и Бекетов был тотчас удален от двора, переведен в армию, а Иван Иванович Шувалов остался любовником Елизаветы.

бедного французского сочинителя стихотворение: «Une épître à Ninon», которое выдал за свое собственное произведение; благодаря отчасти этой проделке, а еще более открытому образу жизни и прекрасному столу своему, он прослыл отличным французским стихотворцем. По возвращении в Россию он окончательно спился с кругу, допился, что называется, до чертиков и в полусумасшествии умер в 1789 году сорока шести лет от роду, оставив двух сыновей Петра и Павла. Этот последний, находясь генерал-адъютантом Александра I, имел дважды поручения к Наполеону, в обстоятельствах весьма несходных: в 1811 году он послан был поздравить его с рождением сына, а три года спустя провожать из Фонтенбло на остров Эльбу!

Старший сын французского мнимо-поэта и русского пьяницы, граф Петр Андреевич, наследовал от родителя своего страсть к бутыли. Он был некоторое время генерал-адъютантом Павла I, который в минуты гнева часто выражался весьма неявственно, почти глотая слова. Однажды Шувалов был дежурным и находился, как говорится, под шефе. Павел, выйдя из кабинета своего в дежурную комнату весьма не в духе, быстро сказал Шувалову: «Позови Винцингероде» и потом поспешно возвратился в свой кабинет. Шувалову послышалось, что государь сказал ему: «Положи винную ягоду в рот»; он стремглав со всех ног бросился в буфет, спросил винную ягоду, положил ее в рот и таким образом возвратился в дежурную комнату, полагая, что исполнил высочайшее повеление. Через час или полтора Павел снова вышел из кабинета и спросил: «Где же Винцингероде?» Все объяснилось; Павел расхохотался и сказал: «Экой дурак!», воротился к себе в кабинет, а Шувалов наконец расстался со своей винной ягодой. В то время подобное всемилостивейшее приветствие никого не смущало...

Граф Петр Андреевич оставил двух сыновей: Андрея и Григория. Этот последний, человек, подобно всем Шуваловым, весьма недальнего ума, был, однако, одарен благороднейшим характером и душой добрейшей. Он женат был на княжне Софье Александровне Салтыковой. Овдовев, он принял католическую веру, пошел в монахи и умер в монастыре, оставив сына, о коем будет речь далее.

Старший брат его граф Андрей Петрович, нынешний

обер-гофмаршал, всегда служил при дворе и про него сказали, вспоминая о покупке дедом его в Париже французских стихов: qu'il est resté fidèle à ses traditions de famille: son grand'père achetait des vers, et lui, il rince les verres[1]. Мать его была очень дружна с известной Марией Антоновной Нарышкиной, младшая дочь которой, Софья Дмитриевна, вообще известная под названием Софьи Александровны, была дочерью Александра I и весьма была любима государем. Она и Андрей Петрович Шувалов* были сверстниками, были дружны с детства, и Андрей Петрович искал на ней жениться. Государь хотел выдать дочь свою за графа Дмитрия Николаевича Шереметева, но граф Шереметев отказался. Тогда Александр Павлович согласился на ее свадьбу с Шуваловым. Молодую чету помолвили, но Софья Дмитриевна, с детства страдавшая грудью (была уже больна чахоткой), скончалась незадолго до свадьбы. В день похорон ее граф Андрей Петрович сказал одному из друзей своих: «Мой милый, какого значения я лишился!»[2]

Но делать было нечего: мертвых не воскресишь, и Андрей Петрович за невозможностью сделаться зятем государя стал отыскивать себе, по крайней мере, богатую жену. Он нашел такую во вдове князя Зубова, получавшей в седьмую часть после мужа имения, приносящие ежегодно дохода до ста двадцати тысяч рублей ассигнациями.

Известно, что князь Платон Александрович Зубов был последним любовником Екатерины II; грязная и весьма неприятная должность удовлетворять похотям старухи, которая была *тридцатью восемью годами* старее его, должность эта была щедро вознаграждена. Зубову при кончине Екатерины было двадцать девять лет от роду; он был генерал-фельдцейхмейстером, Андреевским

---

[1] [Непереводимая игра слов, основанная на созвучии слов: «vers» «стихи» и «verres» — «стаканы»: «Он остался верен своим фамильным традициям: его дед покупал стихи, а он опоражнивает стаканы».]

[2] После помолвки своей Шувалов, числившийся по Министерству иностранных дел, пожалован был камергером по официальному представлению графа Нессельроде. Император Александр Павлович, со дня помолвки уже обходившийся с Шуваловым, как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него, сколько он подарил графине Нессельроде? Этот анекдот рассказывала мне княгиня Екатерина Александровна Долгорукова, жена князя Ильи Андреевича и сестра Софьи Александровны Шуваловой...

кавалером, светлейшим князем Римской империи, владельцем двадцати восьми тысяч душ крестьян и пользовался таким влиянием, что без него ничего не делалось: он возводил и низвергал сановников по воле-прихоти своей[1]. Зато он впоследствии под пьяную руку рассказал однажды, что во время его *занятий* с императрицей у него иногда от омерзения дрожали ногти на пальцах...

В последние годы жизни своей князь Зубов обыкновенно проводил зиму в Вильне, а лето и осень в Курляндии, в великолепном замке, принадлежавшем прежним герцогам курляндским и Екатериной ему подаренном. В деревне он занимался хозяйством и приращением своего огромного состояния, а в Вильне вином и женщинами. Там, в Вильне, Зубов, уже пятидесятилетний старик, встретил семнадцатилетнюю красавицу Феклу Игнатьевну Валентинович, дочь шляхтича бедного и необразованного, и женился на ней к неописанному восторгу всего семейства Валентиновичей. Год или два спустя Зубов умер (7 апреля 1822 года), оставив беременную жену свою, которая вскоре родила дочь Ольгу; но эта дочь, наследница огромнейшего состояния, жила недолго. По ее смерти имение разделено было между наследниками Зубова, а седьмая часть досталась по закону княгине Фекле, или, как она любила называться, Текле (имя Феклы, столь употребительное в России между горничными, ей не нравится, как задевающее ее притязания на аристократизм, а притязаний у нее много). Во время раздела у нее с наследниками Зубова возник процесс. В то время часто живал в Вильне по нескольку месяцев граф Николай Николаевич Новосильцев, имевший поручение производить следствия по заговорам, открытым в Виленском университете. Граф Новосильцев был человек ума необыкновенного, обладавший обширными сведениями и замечательным даром слова, но властолюбивый, коварный, бездушный и жестокий. Охотник до всех чувственных наслаждений, он пленился красивой и богатой двадцати-

---

[1] В то время гофмейстериной фрейлин, живших во дворце, была Екатерина Ивановна Вильде, женщина глуповатая. В Николин день 1795 года она стала выговаривать некоторым фрейлинам, зачем они не были у обедни, и на возражение их, что они не предполагали, чтобы Николин день был большим праздником, г-жа Вильде воскликнула: «Как! Вы разве не знаете, кто такой св. Николай Чудотворец? Ведь он у Господа Бога то же самое, что Платон Александрович у матушки-императрицы — первое лицо!»

летней вдовушкой, и хотя имел уже шестьдесят лет от роду, но вздумал на ней жениться и принял на себя поручение вести все ее процессы. Фекла Игнатьевна была с ним весьма «любезною», пока длились тяжбы, но лишь процессы были ею выиграны, она тотчас Новосильцеву от дома отказала.

Выиграв свои процессы, княгиня Фекла Зубова поехала путешествовать, людей посмотреть и себя показать, в то время ей было что показать. В Вене она «познакомилась» с графом Андреем Петровичем Шуваловым, приезжавшим в Вену для свидания с теткой, сестрой отца, княгиней Дитрихштейн. Между тем Александр I умер, Незабвенный вступил на престол, и в 1826 году двор приехал в Москву для коронации, во время которой монах Авель предсказал, что «змей проживет тридцать лет»[1]. Княгиня Фекла явилась в Москву ко двору; красота ее поразила всех; она была богата, молода, и за женихами дело не стало. Но ей нужен был муж, который бы соединял в себе многие свойства, а именно: был бы безусловно покорным воле жены; не стеснял бы ее ни в чем, притом имел бы довольно большое родство, чтобы ей, провинциалке безродной, доставить связи в Петербурге, и имел бы довольно хитрости, довольно уклончивости, довольно безразборчивости, чтобы сделать придворную карьеру и доставить ей значение при дворе. Все эти свойства (качествами называть их нельзя) соединяет в себе Шувалов; к тому же он был ей почти ровесником по летам, а княгине Фекле, начавшей свое супружеское поприще с мужем пятидесятилетним и с трудом избегнувшей шестидесятилетнего Новосильцева, приятно было выйти за молодого человека. Она вышла в конце 1826 года за Шувалова, с которым, как я уже сказал, знакома была еще с Вены, продолжала знакомство в Москве и через несколько месяцев после свадьбы родила сына, Петра Андреевича, впоследствии бывшего в 1861 году начальником всероссийской помойной ямы*.

Граф Андрей Петрович и графиня Фекла Игнатьевна поселились в Петербурге и купили дом на Мойке, рядом с домом Греча (уже, видно, сама судьба сближала их с тайной полицией)*. Они заводили все связи, какие могли

---

[1] См.: «Записки Дениса Васильевича Давыдова», в России цензурой не пропущенные. Лондон, 1863, стр. 28.

быть им полезными при дворе, но в особенности искали они благосклонности министра двора князя Волконского; увивались около его любовницы Жеребцовой, льстили ей и дарили эту старуху, в свое время столь известную в Петербурге. Никто из лиц влиятельных не был ими забыт; Шувалов всегда знал, кому вовремя поклониться, кому улыбнуться, а к кому для лучшей пользы своей и спиной повернуться. Покровительству Волконского он обязан был постепенно чинами церемониймейстера, гофмаршала и обер-гофмаршала. Усердие его к исполнению придворных должностей не знало пределов: бывало, когда императрица Александра Федоровна кушает чай, Шувалов бежит в буфет и сам делает тартинки, собственноручно намазывает масло на ломтики хлеба. Увидя в одной из придворных зал паркет дурно навощенным, он сам показал полотерам, каким образом они должны работать. Одним словом, как природа производит специалистов, таким образом граф Андрей Петрович Шувалов родился с специальным даром быть дворецким.

Но не дешево обходится казне управление Шувалова: все расходы по двору возросли ужаснейшим образом, особенно со времени смерти в 1852 году фельдмаршала Волконского, человека необразованного, грубого, дерзкого, жестокого, весьма злого и мстительного, но на деньгу безупречно честного. Место Волконского заступил бездарный Адлерберг, ничего не понимающий в делах, но жадный к деньгам. С 1852 года в управлении дворцовом величайший беспорядок; расходы возросли неимоверно; деньгами сорят направо и налево; производятся расходы совершенно лишние, постройки совершенно ни к чему ненужные; прекратилось ежегодное составление описей посуде, мебели и имуществу придворному, и беспорядок достиг таких размеров, что вдруг оказалась в Лондоне часть великолепного сервиза из севрского фарфора, подаренного Екатерине II Людовиком XVI.

Нажирев во всех отношениях на обер-гофмаршальском месте, у Шувалова глаза разбегаются на звание министра двора. Он видит, что нафабренный и разрумяненный старик Адлерберг разрушается со дня на день, и смертельно хотелось бы Шувалову заступить его место (ведь местечко теплейшее!), но тут он сталкивается с двумя соперниками, простирающими виды свои на златое место министра двора: с князем Василием Андрееви-

чем Долгоруковым и с графом Александром Владимировичем Адлербергом. С последним в особенности борьба трудна: он закадычный друг государю и разделяет с дежурным камердинером царским исключительную привилегию: входить к государю во всякое время без доклада.

Видя почти совершенную невозможность достичь исполнения лучшей мечты своей — быть министром двора, граф Андрей Петрович, зная в 1861 и 1862 годах, что граф Киселев хочет отказаться от звания посла при бонапартовском дворе, стал искать этого места. Для этой цели он приезжал неоднократно в Париж «щупать грунт», как говорят французы, и при посещении посольского дома с особенным вниманием осматривал его, лаская себя надеждой иметь в нем свое обиталище... Надежды не сбылись, да и непростительно было бы князю Горчакову согласиться на назначение послом, и послом на место, столь важное и столь трудное во всех отношениях, бездарного и пустого придворного служителя. Что за посол был бы граф Андрей Петрович Шувалов? Гибкость спинного хребта, при отсутствии даровитости, не составляет еще дипломата; а уменье делать тартинки и вощить полы не обозначает еще государственного мужа. Хотя Андрею Петровичу и удалось пролезть в Государственный совет, но присутствие его там ограничивается постоянным молчанием и поклонами влиятельным лицам...

Хотя он в политику собственно не имел возможности вмешиваться, но всегда принадлежал к числу поборников союза России с Австрией. Когда нынешний государь вступил на престол, императрица Александра Федоровна выпросила у него право сообщения ей дипломатических депеш, даже секретных! Николай Павлович никогда этого не позволял, но Александр Николаевич имел слабость допустить. Князь А. М. Горчаков должен был посылать ей депеши; их читала императрице камер-фрейлина графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен *(сестра жены бывшего австрийского статс- и конференц-министра* графини Дарьи Федоровны Фикельмон), а возвращались депеши к князю Горчакову *в пакете за печатью обер-гофмаршала графа Шувалова.* В то время находился австрийским поверенным в делах в Петербурге граф Эмерих Сечени, человек умный и ловкий, и ему известны были все тайны политики русского двора.

Графиня Фекла Игнатьевна, разделяя и весьма сильно поощряя честолюбивые помыслы своего мужа, имеет еще, à parte[1], свой собственный замысел. Ей чрезвычайно хочется быть статс-дамой, и следует полагать, что желание попасть в небольшое число статс-дам должно быть особенно поощряемо и развиваемо у нее воспоминанием, как она в летах отрочества полола репу и капусту на огороде отца своего, шляхтича Валентиновича.

У обер-гофмаршала два сына, Петр и Павел, и дочь Софья Андреевна, добрая и милая женщина, замужем за петербургским губернатором графом Александром Алексеевичем Бобринским. Оба сына обер-гофмаршала начали службу свою в конной гвардии; оба ума недалекого, но одарены большой хитростью, сметливостью, ловкостью и для пользы своей сумеют, каждый, пролезть сквозь ухо иглиное.

Старший из двух, граф Петр Андреевич, будучи молодым офицером, пользовался особенной благосклонностью великой княгини Марии Николаевны. Известно, сколь Николай Павлович гневался на молодых людей, удостоенных особенной благосклонности его дочери; Шувалов, видя это, спешил отдалиться от великой княгини, за что подвергся ее большому неблаговолению. Но, между тем, уже раз замеченный государем, он никак не мог, вопреки всем исканиям своих родителей, попасть во флигель-адъютанты и, чтобы не оставаться во фрунте, вступил в адъютанты к военному министру князю Василию Андреевичу Долгорукову. Когда по вступлении на престол нынешнего государя и после падения Севастополя Орлов был послан в Париж для мирных переговоров, с ним поехали для свиты несколько офицеров и чиновников. Обер-гофмаршал упросил Орлова взять между прочим с собой и старшего сына его. По возвращении из Парижа Петр Андреевич пожалован был наконец во флигель-адъютанты; вскоре за тем по увольнении Галахова[2] назначен петербургским обер-полицмейстером и

---

[1] На стороне (*ит.*).

[2] О Галахове говорили, qu'il n'est guère spirituel, mais très spiritueux [непереводимая игра слов: «что он вовсе не остроумен, но преисполнен спирта»], и когда его сменили с обер-полицмейстерства, то насмешники уверяли, что он будет назначен генерал-губернатором на остров Мадеру или по крайней мере в город Херес.

через несколько времени произведен в генерал-майоры. Деятельность Шувалова на поприще должности оберполицмейстерской была серьезно и исключительно обращена на очищение и содержание в отличнейшем порядке мостовых тех улиц, по коим обыкновенно проезжают члены так называемой «августейшей» фамилии; о прочих улицах и о прочих отраслях своей должности Шувалов не заботился нимало.

В апреле 1861 года, когда Тимашев, находя направление правительства слишком либеральным (!!!), оставил должность начальника штаба корпуса жандармов и второго начальника всероссийской государственной помойной ямы, Шувалов успел выхлопотать себе эту должность. Политических мнений у Шувалова не имеется: он готов служить всякому правительству, и хотя, по семейным преданиям своим и по рассчету личных выгод, предпочитает самодержавие как самую выгодную форму правления для людей, сочетающих в себе бездарность с властолюбием и пронырливость с безразборчивостью, но готов служить всякому, кто облечет его властью, а где же более власти в России, как не в государственной помойной яме, именуемой III Отделением Собственной [Е.И.В.] канцелярии? Сверх того, ему смертельно хочется быть генерал-адъютантом, и если бы он усидел на помойной яме, то непременно получил бы генерал-адъютантское звание, которое в последние сорок лет столь опошлилось размножением числа лиц, им облеченных, и предоставлением золотых аксельбантов всякой швали!

Управление Шувалова помойной ямой ознаменовано было ссылкой Михайлова, арест коего сопровождался отвратительными подробностями*. Михайлов жил вместе с другом своим г-ном Шелгуновым, человеком женатым. Ночью ворвался к ним полицмейстер Загряжский в сопровождении *публичных женщин,* которым поручено было обыскивать госпожу Шелгунову (!) и сестру ее, девицу (!), и это происходило в столичном городе правительства, именующего себя либеральным, в столице царя-реформатора! Едва ли бы сам незабвенный медведь Николай допустил подобную мерзость!..

Рассказывают, что Михайлову во время допросов не давали спать; лишь только он начинал дремать, его будили вопросом: «Кто же ваши сообщники?»...

В России, как видите, пытки не существует...

Когда государь в конце лета 1861 года отправился на несколько месяцев в Ливадию, на южный берег Крыма, Шувалов находился в числе членов тайного временного правительства, которому поручено было распоряжаться в Петербурге во время отсутствия государя, и которое состояло из великого князя Михаила Николаевича, министра внутренних дел Валуева, петербургского генерал-губернатора Игнатьева и Шувалова. Известны события, происшедшие в Петербургском университете; известно, до какой степени меры, принятые петербургскими властями, отличались отсутствием ума, такта и самого здравого смысла: Шувалов был одним из главных деятелей в этой нелепице, он сумел в одно и то же время сделаться и отвратительным и смешным; отвратительным по той причине, что приказал ударить в штыки на студентов; смешным потому, что прискакал с пожарными трубами, за что посыпались на него насмешки и по-русски и по-французски: прозвали его «пожарная кишка»; также прозвали «L'ami de la pompe»[1].

События университетские принудили государя ускорить свое возвращение в Петербург; великий князь Константин Николаевич вызван был с острова Вайта*. Влияние Константина Николаевича восторжествовало, и реакция николаевская должна была уступить место псевдолиберализму константиновскому; деспотизм открытый, азиатский побежден был деспотизмом бонапартовским, прикрытым либеральными фразами, тем деспотизмом, который неумолкно болтает о прогрессе и в то же время ссылает на каторгу, расстреливает, вешает и конфискует, журналистов подкупает, а если не может подкупить, то журналы запрещает.

Шувалов в восемь месяцев управления III Отделением успел выказать свою политическую неспособность и был заменен Потаповым.

Нынешней весной он выпросил себе отряд войск для действия против польских повстанцев около Динабурга в надежде достигнуть пламенно желаемого генерал-адъютантства; надежда не сбылась, и он взял отпуск в чужие края для лечения на минеральных водах своего нерасстроенного здоровья.

---

[1] [Игра слов, основанная на двойном значении слова «pompe» — «пожарная труба» и «пышность»: «друг пожарной трубы» или «любитель пышности».]

Младший брат его граф Павел Андреевич столь же мало способен, как и он. Быв с молодости адъютантом великого князя Николая Николаевича, он по проискам отца своего назначен был в апреле 1859 года флигель-адъютантом и военным поверенным к французскому двору. В то время происходила война в Италии; Шувалов прибыл в лагерь Бонапарта; будучи, подобно отцу своему, поборником союза России с Австрией, он много говорил во французской главной квартире о сочувствии двора петербургского к венскому двору и через то значительно повредил итальянскому делу. Между тем надобно было писать депеши к военному министру, а на перо Шувалов плох. Он пригласил умного и способного артиллерийского офицера Дмитрия Дмитриевича Неелова писать ему депеши. В Петербурге были чрезвычайно довольны донесениями Павла Андреевича; уже начинали считать его человеком способным, как вдруг г-н Неелов, утомившись несоответственной с его дарованиями ролью частного шуваловского секретаря, поступил на службу в Министерство государственных имуществ, где ему прямо дали место директора департамента сельского хозяйства. Уехал из Парижа Неелов, исчезла и способность Шувалова; депеши его наполнились всякой дичью; в Петербурге ахнули от удивления... Отец спешил его отозвать в Россию и по старинному знакомству с Валуевым, поступившим на министерство, выхлопотал ему место директора Департамента общих дел в Министерстве внутренних дел. Но и тут его сиятельство оказалось неспособным и нынешней весной назначено в должность ему гораздо более сподручную — командира одного из гвардейских стрелковых батальонов.

Младший брат обер-гофмаршала граф Григорий Петрович, умерший католическим монахом, оставил сына Петра (род. в 1827). С ранних лет чувствуя в себе благородное влечение к службе при дворе, Петр Григорьев Шувалов еще в бытность императрицы Александры Федоровны, в Палермо зимой 1845—1846 года, определился волонтером по особым поручениям при дяде своем обер-гофмаршале, который сопровождал императрицу в этом путешествии и вел ее расходы. У почтенного и бескорыстного дяденьки своего Петр Григорьев учился науке придворной, благородству чувств, при петербургском дворе необходимому, а равно и науке покупок, закупок, зака-

зов, расходов и ведению счетов, науке, доведенной обер-гофмаршалом графом Шуваловым до утонченной степени совершенства. Вслед за тем Петр Григорьев Шувалов назначен был состоять при императрице Александре Федоровне, сопровождал ее в последующих путешествиях до самого конца жизни ее, вел расходы и счета двора ее, известного своею экономией и своею аккуратностью*. Он человек ума ограниченного, желает быть хитрым, но вечно пересолит, явится в настоящем своем виде и заставляет над собой смеяться. Не получив никакого серьезного образования, но — подобно многим ограниченным людям — считая себя гением, Петр Григорьев полагает себя предназначенным судьбою быть министром финансов (место теплое, а теплоту он всегда любит!); и в доказательство мнимых своих финансовых дарований напечатал он в «Indépendance Belge», за подписью P. S., несколько статей самых наипошлых, в которых так и виден недоучившийся индивидуум, претендующий на титло великого писателя. Статейки произвели заслуженное действие, то есть возбудили всеобщий смех. Вероятно, министром он не будет и останется с носом (что для него не шутка). Между тем, в ожидании своего поступления в министры финансов, он захотел быть по крайней мере губернатором (место теплое) и для этой цели приписался к Министерству внутренних дел, но тут случилось истинное чудо: невзирая на всю свою неспособность, он губернатором назначен не был.

Впрочем, Петр Григорьев Шувалов имеет одно свойство, неоцененное для людей, приезжающих ко двору и в Петербург вообще и не вполне знакомых с значением различных лиц при дворе. По его обхождению, по его улыбке, по его поклонам можно определить наверняка значение каждого лица при дворе и степень его влияния. Вообще Петр Григорьев Шувалов являет истинный образец петербургского придворного по благородству своего характера, по возвышенности своих чувств и по испытанному бескорыстию... Все эти свойства доведены у него до совершенства в своем роде.

В № 6 «Листка»* мы рассказывали, каким образом Петр Григорьев Шувалов вошел в брюссельский суд первой инстанции с жалобой на нас по поводу мнения, высказанного о нем автором книжки «La vérité sur le procès du prince Dolgoroukow», в примечании, напечатан-

ном на 94 странице этой книжки*. Петр Григорьев требовал за оскорбление своей графской чести десять тысяч франков и напечатание судебного решения на наш кошт в шести журналах: в Бельгии, России, Англии и Франции. Суд рассматривал его прошение 8 июля в наше отсутствие и 15 июля решил, что его сиятельству следует в восстановление оскорбленной его чести вдесятеро менее против его запроса, и приговорил нас к уплате Петру Григорьеву тысячи франков, то есть двухсот пятидесяти рублей серебром, и к напечатанию судебного решения на наш кошт в шести журналах. Петр Григорьев может быть вполне благонадежен, что с нас он не получит ни гроша: ему же остаться с носом так легко. Печатать судебное решение он может на свой счет, если заблагорассудит, и хоть в шести тысячах журналах: для нас это все равно; но не полагаем, чтобы издатель книжки «La vérité sur le procès» был к тому равнодушным. Нам кажется, что издатель этот будет, вероятно, весьма признательным Петру Григорьеву за процесс, им заведенный и наделавший столько шуму около этой книжки, которая, по всей вероятности, после этого шума будет расходиться еще в большем количестве против прежнего, и тем лучше, что Петр Григорьев как будто нарочно указал будущим читателям этой книжки на это примечание к странице 94, где упоминается о его личности. Нечего сказать: умен Петр Григорьев; бобра убил и, что называется, носом об стену уткнулся. Удивляться этому нельзя...

У обер-гофмаршала графа Шувалова двое двоюродных братьев, сыновей покойного генерал-адъютанта графа Павла Андреевича. Старший, граф Андрей Павлович, — знаток в лошадях; младший, граф Петр Павлович, с 1857 по 1863 год находился петербургским губернским предводителем дворянства, человек добрый и неглупый, но вполне неспособный, слабый, бесхарактерный, никогда не умеющий ни на что решиться, что называется «ни рыба, ни мясо». Если на том свете на него наложено будет какое-либо наказание, оно, вероятно, состоять будет в том, что его будут принуждать раз в месяц решаться на что-нибудь...

Теперь мы будем говорить о министрах и членах Государственного совета*, кроме, разумеется, тех из них, о которых мы уже говорили прежде, то есть кроме князя

Александра Михайловича Горчакова, графа Блудова, графа Адлерберга, о которых говорено было в издаваемом нами в прошлом году журнале «Правдивый», и кроме князя Василия Андреевича Долгорукова, графа Андрея Петровича Шувалова и Николая Николаевича Анненкова, о которых говорено было в предыдущих номерах «Листка». О некоторых из членов Государственного совета, а именно о генералах Павле Алексеевиче Тучкове, Федоре Сергеевиче Панютине, Николае Федоровиче Плаутине, бароне Николае Ивановиче Корфе, бароне Рокасовском, адмиралах Краббе, Мелихове, Метлине, бароне Филиппе Филипповиче Вигеле, министре финансов Михаиле Христофоровиче Рейтерне и государственном контролере Валериане Алексеевиче Татаринове мы говорить не будем за неимением нами биографических о них сведений. Затем в «Петербургских очерках» появятся один за другим: граф Александр Густавович Армфельд, князь Александр Иванович Барятинский, Николай Иванович Бахтин, Александр Павлович Безак, граф Федор Федорович Берг, Петр Федорович Брок, Аполлинарий Петрович Бутенев, Петр Александрович Валуев, князь Павел Павлович Гагарин, Густав Христианович Гасфорт, князь Александр Федорович Голицын (сыщик), Александр Васильевич Головнин, князь Петр Дмитриевич Горчаков, Андрей Логинович Гофман, граф Александр Дмитриевич Гурьев, Дмитрий Николаевич Замятнин, Александр Алексеевич Зеленой, Павел Николаевич Игнатьев, граф Павел Дмитриевич Киселев, граф Петр Андреевич Клейнмихель, Александр Максимович Княжевич, Евграф Петрович Ковалевский, барон Модест Андреевич Корф, Александр Васильевич Кочубей, граф Карл Карлович Ламберт, Адам Осипович Ленский, барон Вильгельм Карлович Ливен, граф Александр Николаевич Лидерс, Федор Петрович Литке, Павел Петрович Мельников, князь Александр Сергеевич Меншиков, Дмитрий Алексеевич Милютин, Николай Николаевич Муравьев, Михаил Николаевич Муравьев, граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, Павел Александрович Муханов, Владимир Иванович Назимов, Абрам Сергеевич Норов, граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, граф Петр Петрович Пален, граф Федор Петрович Пален, граф Виктор Никитич Панин, Федор Иванович Прянишников, граф Ефим Васильевич Путятин, граф Александр Иванович Рибопьер, граф Сергей Григорьевич Строганов, граф

Александр Григорьевич Строганов, князь Александр Аркадьевич Суворов, граф Сергей Павлович Сумароков, Николай Онуфриевич Сухозанет, Александр Сергеевич Танеев, граф Александр Петрович Толстой, Иван Матвеевич Толстой, Иосиф Игнатьевич Тымовский, Михаил Григорьевич Хомутов, Константин Владимирович Чевкин, также государственный секретарь и шут Бутков.

«Листок», № 10, 4 августа 1863, стр. 77—79; 79—80; № 11, 27 августа, стр. 83—86.

VIII

Граф Александр Густавович Армфельд и князья Барятинские.

Граф Александр Густавович Армфельд — второй сын знаменитого графа Армфельда, бывшего другом короля шведского Густава III и врагом Наполеона I. Граф Александр Густавович находился до 1841 года товарищем министра статс-секретаря финляндского в Петербурге графа Роберта Ивановича Ребиндера и после кончины Ребиндера заступил на его место, важнейшее в Финляндии после генерал-губернаторского. Все дела по великому княжеству Финляндскому поступают к статс-секретарю и через него докладываются государю. Хотя с 1831 по 1854 год финляндский генерал-губернатор имел постоянное пребывание в Петербурге (звание это имел в то время князь Александр Сергеевич Меншиков), но дружеская связь генерал-губернатора с графом Армфельдом сохраняла значение последнего в полной силе[1]. Граф Армфельд человек умный, отлично образованный, ласковый, приветливый, весьма приятный и в сношениях светских и в домашнем кругу. Он проницателен и хитер, но не лукав; весьма тонкий придворный, но тонкость его никогда не перейдет в подлость. Финляндец в душе, сердечно любящий Финляндию, он вполне убежден, что выгоды Финляндии требуют ее пребывания под одним скипетром с Россией, но с правлением совершенно отдельным, и он

[1] Всем известно, что знаменитый граф Армфельд, отец нынешнего министра, был также настоящим отцом князя Александра Сергеевича Меншикова.

много содействовал своим влиянием во время последней войны к поддержанию в Финляндии желания не отделяться от России. Граф Армфельд, как мы сказали выше, человек очень образованный и принадлежит к весьма небольшому числу тех петербургских сановников, которые могут удержаться при всякой форме правления; при самодержавии он умел остаться честным человеком, а при конституционном правлении он сумеет устоять в уровень с потребностями современными.

Того самого, конечно, никак нельзя сказать о фельдмаршале князе Барятинском, личности весьма не современной и сильно отсталой; подобные люди могут родиться везде, но достигнуть чина фельдмаршальского и звания наместника они могут лишь на невских болотах. Так как он весьма чванится своим родством с фамилиями императорско-российской и королевско-датской, то надобно рассказать об источнике этого родства, которому Барятинские обязаны своим богатством. Дед князя Александра Ивановича князь Иван Сергеевич Барятинский (1738—1811) находился флигель-адъютантом при Петре III, который однажды, будучи *под шефе*, приказал ему идти арестовать императрицу Екатерину и отвезти ее в Петропавловскую крепость. Барятинский поспешил к живущему во дворце двоюродному дяде императора, российскому фельдмаршалу и конной гвардии подполковнику принцу Георгию-Людвигу Голштейнскому, весьма любимому и уважаемому государем (принц Георгий-Людвиг был прадедом нынешнего великого герцога Ольденбургского). Барятинский рассказал принцу в чем дело, и так как принц и Екатерина терпеть не могли взаимно друг друга, то Барятинский говорит ему: «Ведь государь все это делает, чтобы развестись с императрицей и жениться на этой пьяной дуре Елизавете Романовне Воронцовой. Императрица имеет, конечно, свои недостатки, но, по крайней мере, она женщина умная, да к тому же и настоящая принцесса, принцесса Ангальтская. А Воронцова-то что такое? Откуда она взялась? Глупа, зла, пьянюшка, баба-яга настоящая! Воронцовы разбойники: грабят, сколько могут; они, пожалуй, всех нас оберут, да еще оттеснят от двора; все места захватят себе и своим креатурам». «Вы правы, — отвечал принц, — подождите меня здесь», и побежал к императору, бросился перед ним на колени, объявил, что не встанет, пока не получит

прощения для императрицы. Петр III, весьма любивший своего дядю, тотчас объявил прощение к неописанному огорчению Воронцовых. Екатерина, узнав о происшедшем, никогда не позабыла огромной услуги, оказанной ей Барятинским; а вскоре к этой услуге присоединилась другая, совсем иного рода, оказанная братом князя Ивана князем Федором Сергеевичем Барятинским. После низвержения Петра III и отвезения его в Ропшу князь Федор Сергеевич отправился 4 июля 1762 года в Ропшу вместе с графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским, Григорием Николаевичем Тепловым и Петром Богдановичем Пассеком, и там они задушили Петра III*. После смерти Екатерины Павел нашел в ее бумагах нарочно ею положенную записку графа Алексея Орлова, в которой он писал Екатерине, будто они это сделали спьяна. Записка эта, как говорят, написана была Орловым уже впоследствии времени по приказанию Екатерины, желавшей смыть с себя обвинение в участии в убийстве мужа. Но в сущности смерть Петра III была целью поездки этих господ в Ропшу, да и никто не поверит, чтобы они ездили лишь для приятной беседы с государем, которого за неделю перед тем они же низвергли с престола.

В царствование пьяной памяти Елизаветы Петровны прибыли в Россию и вступили в русскую службу два брата: герцог Карл-Людвиг Голштейн-Бекский и принц Петр-Август Голштейн-Бекский; впоследствии при Петре III оба были фельдмаршалами. Принц Петр-Август (1696—1775) до прибытия своего в Россию женат был на принцессе Софье Гессен-Филиппстальской и от этого брака имел сына, принца Карла-Антона, который был прадедом принца Христиана, нынешнего наследника датского престола. Овдовев, принц Петр-Август женился уже в России на графине Наталье Николаевне Головиной, единственной дочери от первого брака адмирала графа Николая Федоровича Головина и наследнице его огромного имения[1]. От этого брака родилась одна дочь, прин-

---

[1] Граф Николай Федорович Головин, тот самый, с которым враждовал Волынский, овдовев, женился на одной шведке, с которой издавна находился в связи и имел сыновей. Он хотел их привенчать, как говорили в старину, то есть подвести к аналою в день своей свадьбы и объявить законными, но императрица Елизавета тому воспротивилась,

цесса Екатерина Петровна, которую императрица Екатерина выдала замуж за князя Ивана Сергеевича Барятинского, состоявшего с нею в свойстве[1]. Эта Екатерина Петровна была женщиной весьма гордой и необыкновенно чванной; она беспрестанно давала чувствовать мужу своему, что оказала ему величайшую честь, сочетавшись с ним браком; терпеть не могла, чтобы ее именовали княгиней и титуловали сиятельством, а требовала, чтобы ее именовали принцессой и титуловали светлостью. Сына своего князя Ивана воспитала она в таком понятии, что он поставлен рождением на какую-то совершенно особенную степень величия, по крайней мере наравне с великими князьями. Едва-едва не внушали ему, что Господь Бог, создав Адама в шестой день и отдохнув седьмой день, в восьмой день уже создал предка князя Ивана Ивановича. Впрочем, князь Иван Иванович был от природы добр и не глуп, но пустой человек и большой сплетник. Он женат был в первом браке на Марии Дюттон, дочери лорда Шерборна; имел одну дочь; овдовев, искал жениться на жившей в Петербурге принцессе Амалии Баденской, родной сестре императрицы Елизаветы Алексеевны, но это ему не удалось и, назначенный посланником в Мюнхен, он женился на графине Марии Федоровне Келлер. От этого брака родились четыре сына: Александр, Владимир, Анатолий и Виктор и три дочери: графиня Ольга Ивановна Орлова-Давыдова, княгиня Леонилла Ивановна Витгенштейн и умершая в 1842 году княгиня Мария Ивановна Кочубей.

Князь Александр Иванович Барятинский* родился в 1814 году и лишился отца в отроческом возрасте. Воспитание он получил самое поверхностное: его выучили говорить по-французски и танцевать; его мать, женщина ума весьма ограниченного, гордая и чрезвычайно само-

---

хотя сама рождена была до свадьбы отцовской (если даже только Петр I был женат на Екатерине I, что весьма сомнительно). Должно полагать, что в этом случае Елизаветой руководили придворные лица, у каждого из которых были в семье женихи, с жадностью взиравшие на богатое приданое единственной дочери Головина. Этот последний отправился в чужие края морем и в пути умер на корабле; императрица приказала все его имение укрепить за дочерью его, Натальей Николаевной; сыновья Головина от второй жены поселились в Дании, служили в датском войске и, если не ошибаюсь, оставили потомство в Дании.

[1] Мать Барятинского княгиня Анна Петровна, урожденная Татищева, была в первом браке за графом Александром Федоровичем Головиным, родным дядей принцессы Натальи Николаевны Голштейн-Бекской.

любивая, обращала все свое внимание лишь на сохранение связей и значения при дворе; старалась сближаться лишь с влиятельными лицами: одним словом, была истинная петербургская барыня. Под влиянием этих понятий князь Александр Иванович вырос и поступил в 1831 году в юнкерскую школу, где учился более чем плохо и за невыдержанием экзамена выпущен был в 1838 году не в гвардию, а в армию, в лейб-кирасирский полк, в Гатчине стоящий. Года два спустя поехал он на Кавказ, где был ранен, и по случаю этой раны мать его сумела устроить ему перевод тем же чином в лейб-гусарский полк. Он поехал за границу на воды, потом побывал в Вене и в Лондоне, и по возвращении в Петербург мать его выхлопотала ему назначение в адъютанты к цесаревичу, назначение, составлявшее в ту эпоху предмет пламенных желаний всех гвардейских офицеров. В то время Александр Николаевич имел еще лишь трех только адъютантов: воспитанных вместе с ним графа Иосифа Виельгорского и Паткуля, и сына Николаева друга Александра Адлерберга, который назначен был к нему адъютантом немедленно после производства своего из камер-пажей в Преображенские офицеры. Граф Иосиф Михайлович Виельгорский (1816—1839) был существом, какие редко встречаются в этом мире; он одарен был замечательным умом, редкой любознательностью и душой самой возвышенной; но именно по причине возвышенности чувств своих он совершенно чуждался всяких интриг; сверх того, по уму и по любознательности своим, он весьма мало сходился или, лучше сказать, очень расходился с цесаревичем, не любившим ни людей умных, ни ученых. Притом он уже носил в груди своей зародыш той злой чахотки, которая вскоре прекратила жизнь его в Риме, во время первого заграничного путешествия цесаревича. Итак, вследствие качеств Виельгорского, качеств блистательных, но именно потому и вредивших ему при дворе, и вследствие совершенного тупоумия Паткуля, соперником Барятинскому являлся лишь один Адлерберг. С тех пор началась и всегда продолжалась между ними под личиной искреннейшей дружбы борьба тайная, но неутомимая; в этой борьбе Адлерберг одержал верх в отношении к доверенности государя, но Барятинский по дороге успел поймать кавказское наместничество, Георгиевскую звезду, Андреевскую ленту и фельдмаршальство.

Будем продолжать наш биографический рассказ о князе Александре Ивановиче, этом человеке, являющем разительный пример, какую блистательную карьеру совершить может в России бездарный пустозвон, сочетающий в себе хитрость и ловкость с безграничной самонадеянностью.

Итак, Барятинский около 1837 года поступил в адъютанты к цесаревичу и соперника в приобретении доверенности Александра Николаевича встретил лишь в одном Александре Адлерберге, или, как его в то время называли, Сашке Адлерберге.

С самим цесаревичем Барятинскому сойтись было нетрудно; Александр Николаевич всю свою жизнь боялся и терпеть не мог людей умных, литераторов и ученых; ему чрезвычайно под руку пришлись в Барятинском ограниченность ума и отсутствие познаний, соединенные с наружным лоском и той светской элегантностью, которая на некоторое время может служить прикрытием бездарности и внутренней пустоты. Оба они были весьма лукавы; адъютант был хитер и тонок, великий князь считал себя хитрым и тонким; адъютант подыскивался усердно под милость и под доверенность; никто не умеет лучше Барятинского являться вкрадчивым, искательным, льстить и угождать при сохранении наружного вида всей величавости, подобающей кандидату в вельможи. Мы говорим: «кандидату», потому что в стране самодержавия, в стране произвола и бесправия истинных вельмож быть не может, существование аристократии невозможно, а бывает лишь «холопия», рабы сиятельные, превосходительные, рабы богатые, в звездах и в лентах, но все-таки рабы[1]. Сведения Барятинского не простираются далее знания правил правописания, но если это было ему полезным при дворе петербургском, где людей способных боятся и стараются не давать им хода, где бездар-

---

[1] По всем сведениям, какие мы имеем из России, самая главная причина злобы к нам придворных лиц и лиц высшего круга петербургского общества заключается в том, что мы разоблачили и на русском языке и на французском всю тщету, всю пустоту, всю несостоятельность и все, если так можно выразиться, лакейство их положения; также за употребление нами выражений: царская дворня, холопия. Злоба эта, говорят, невообразима: ее ни словом рассказать, ни пером описать невозможно; в особенности за издания наши на французском языке. Мы будем продолжать своим путем, не обращая ни малейшего внимания на все эти завывания.

ность составляет лучшую из всех рекомендаций, то он понимал хорошо, что в общественном мнении ему выгоднее было прослыть человеком с познаниями, человеком серьезным; для этого он прибегал к следующему фарсу. Он покупал те из нововыходящих книг, о которых наиболее говорили, и читал их следующим оригинальным образом: прочтет всегда предисловие, потому что в предисловии всегда более или менее высказывается система автора; потом прочтет первые страницы, пятнадцать или двадцать; затем перелистает книгу, пробегая ее беглым взглядом и обращая особенное внимание на примечания внизу страниц; наконец, прочтет последние пятнадцать или двадцать страниц и потом при случае отважно излагает свое мнение о книге. Люди, имевшие привычку судить обо всем поверхностно, говорили: «Барятинский любит чтение», а за ними пошляки повторяли эти слова. Барятинский был блистательным женихом во всех отношениях; все матушки, имевшие взрослых дочерей на сбыте, единогласно хором пели ему всевозможные акафисты, и в петербургском высшем кругу было принято за неопровержимую аксиому: «Александр Барятинский такой блестящий молодой человек!».

Для придания большего значения своей мнимой любознательности он покупал старинные рукописи, в особенности русские, хотя старинного русского почерка читать не умел и из всех находящихся у него рукописей вытвердил наизусть лишь несколько строк в одной из них по той причине, что в этих строках говорилось об одном из его предков.

Он не только не способен к деятельности, но еще и не любит ее, будучи от природы весьма ленивым, но ему смертельно хотелось прослыть человеком деятельным, и для достижения этой репутации он прибегнул к следующей штуке. Иногда он вскакивал с постели часов в семь утра; часу в девятом является к какому-нибудь из своих знакомых и застает его, как выражались в старину, в объятиях Морфея. «Мимоездом заехал я к вам, — говорит он, — как можно так долго спать? Надобно быть деятельным; надобно вставать рано!»

Но Барятинскому совершенно вскружило его слабую голову воспоминание о том, что бабушка его была принцессой Голштейнской. Воображению его явилась мысль добиваться брака с великой княжной Ольгой Николаев-

ной*, потому что самонадеянность и заносчивость Барятинского не знают пределов. С этой целью он стал расставлять свои придворные батареи и лавировать между подводными камнями, которых в этом плавании являлось множество. Расчет Барятинского основан был на том, что старшая из великих княжон, Мария Николаевна, вышла замуж по любви за герцога Лейхтенбергского, дед коего виконт Богарне, конечно, во многом уступал в знатности предкам Барятинского, и что Николай Павлович не только не противился этой свадьбе, но еще радовался ей. Барятинский впал в ошибку, не приняв в свой расчет двух важнейших обстоятельств: во-первых, что Мария Николаевна была любимой дочерью отца своего и на него имела влияние, чего никогда достигнуть не мог ни один из детей его; во-вторых, хотя Ольга Николаевна женщина с душой и одарена всеми прекрасными женскими качествами, но не имеет в своем характере той способности увлекаться, какой Мария Николаевна снабжена от природы, может быть, с излишком; Ольга Николаевна одарена рассудком холодным, умом здравым и вместе с тем большим самолюбием; она отказала одному из владетельных немецких государей потому лишь, что он не король, и чрезвычайно была недовольна, когда расстроился план свадьбы ее с наследным принцем Баварским (нынешним королем Максимилианом II). Свадьбы этой весьма желал король Людвиг Баварский; с этой целью в 1840 году он перевел в Петербург посланника своего в Париже графа Иенисон-Вальворт, дипломата ловкого, опытного, бывалого, и который вел это дело искусно, невзирая на то, что должен был бороться с большими препятствиями. Источником этих препятствий была графиня Нессельроде*, жена канцлера, женщина ума недальнего, никем не любимая и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергией, дерзостью, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякой силой, откуда бы она ни происходила, если только имеет причины страшиться от нее какой-либо неприятности. Канцлер Нессельроде был клевретом системы союза России с Австрией и желал, чтобы великая княжна Ольга Николаевна вышла или за эрцгерцога Альберта, который в 1839 году приезжал в

Петербург и оставил по себе прекрасное воспоминание своим умом, своим воспитанием и своей величавой ласковостью в обхождении, или за сына тогдашнего венгерского палатина Иосифа эрцгерцога Стефана, бывшего палатином в 1847 году. Но двор австрийский не хотел, чтоб эрцгерцог женился не на католичке, а Николай Павлович и Ольга Николаевна не хотели слышать о перемене веры[1]. Пока граф Иенисон деятельно и ловко вел трудную борьбу против петербургской ведьмы графини Нессельроде, неожиданное обстоятельство разрушило весь его замысел: наследный принц Баварский, встретив в 1842 году шестнадцатилетнюю принцессу Марию Прусскую, в нее тотчас влюбился и женился на ней. Тут надежды Барятинского стали снова возникать: хотя великая княжна, девушка умная, под рукою подсмеивалась над этим искательством, но, впрочем, как поступила бы и всякая женщина на ее месте, вовсе не гневалась на человека, казавшегося восхищенным ее красотой, красотой поистине замечательной. Но иначе принял это дело венчанный медведь Николай Павлович. Хотя Барятинский, имеющий достаточно придворной сметливости, вел себя в этом вопросе осторожно и ловко, и Николай Павлович, готовый разгромить и уничтожить его при малейшем виде хотя бы самого легкого обнаружения помыслов, не мог решительно ни к чему придраться, но он догадывался об этом замысле; к тому же, весьма вероятно, и тайная полиция сообщила ему городские слухи о надеждах Барятинского. Чем менее мог он при-

---

[1] Австрийские эрцгерцоги всегда женятся на католичках; единственным исключением в этом отношении был покойный палатин венгерский эрцгерцог Иосиф (1776—1841). Он женат был три раза. Первой женой была великая княжна Александра Павловна (1781—1801): свадьба эта последовала в 1799 году, в то самое время, когда Суворов изгонял французов из Италии и Австрии, был необходим тесный союз с Россией. Эрцгерцог Иосиф после четырнадцатилетнего бездетного вдовства в 1815 году женился на принцессе Эрминии Ангальт-Шаумбургской, которая исповедовала веру евангелическо-реформатскую; вторично овдовев через два года, он женился в третий раз в 1819 году на принцессе вероисповедания лютеранского, принцессе Марии Доротее Вюртембергской, родной племяннице императрицы Марии Федоровны и, следовательно, двоюродной сестре его первой жены. От этого третьего брака родилась, между прочими детьми, герцогиня Брабантская, а бывший до 1848 года венгерским палатином эрцгерцог Стефан — сын Иосифа от второго брака с принцессой Ангальт.

драться к юному честолюбцу, тем более на него сердился, обходился с ним сколь возможно холоднее, отклонял представления цесаревича о производстве Барятинского; наотрез отказался произвести его в полковники в день цесаревичевой свадьбы и потом заставил его ждать полковничьего чина еще почти целых четыре года, до 6 декабря 1844 года, когда наконец произвел его, но вместе со многими другими, младшими в чине. Барятинскому это было весьма неприятно, и он отыскивал всевозможные тропинки, чтобы скорее выскочить в чины.

Мы говорили, что Николай Павлович чрезвычайно сердился на Барятинского за мечту князя Александра Ивановича о свадьбе с великой княжной Ольгой Николаевной, мечту тайную, но известную всему высшему кругу тогдашнего петербургского общества. Барятинский вел себя крайне осторожно и весьма ловко; иначе бы незабвенный медведь уничтожил его, и все, что мог делать Незабвенный, состояло в прицеплении тормоза к ходу Барятинского по служебной карьере. Он это и делал, а Барятинский под видом своего наружного хладнокровия внутренне бесился и рвался в чины.

В начале 1845 года назначен был наместником кавказским и главнокомандующим кавказским корпусом граф Михаил Семенович Воронцов* человек замечательного ума и редких способностей, административных и военных, но души самой подлой, низкий придворный интриган. Барятинский захотел отправиться на Кавказ в надежде получить генеральские эполеты, и цесаревич выпросил ему это у Воронцова с сохранением ему звания своего адъютанта, а Воронцов охотно согласился взять Барятинского на Кавказ, потому что кроме желания угодить цесаревичу ему было весьма выгодным иметь в ближайшем цесаревичевом кругу человека, который стал бы действовать под его влиянием.

Незабвенный, имевший о самом себе мнение самое высокое, считал себя гением, и в числе своих гениальных способностей полагал быть одаренным всеми качествами великого полководца. Он предписал новому главнокомандующему немедленно же, в лето 1845 года, совершить поход в горы в землю Андийскую, к главному месту пребывания Шамиля аулу Дарго*. Воронцов, с его отличным умом, воинскими способностями, шестидесятипятилетней опытностью, понимал, что поход этот не принесет

ровно никакой пользы даже в случае успеха, а в случае неудачи может сделаться причиной гибели целого войска; он слегка противился капризу венчанного балбеса, но подлость придворного холопа взяла верх, и он из угождения царю согласился совершить поход неразумный, а по окончании похода, откуда едва воротился живым, не устыдился принять от Незабвенного в память своей неудачи княжеский титул. Всем известны действия, сопровождавшие андийский поход 1845 года, в котором русские потеряли множество людей и в том числе одного из лучших генералов, Диомида Пассека, и едва не погибли все. Если бы отважный и энергичный генерал Фрейтаг, стремившийся на спасение окруженного в горах русского войска, опоздал бы хотя сорока восемью часами, то Воронцов со всем своим отрядом, изнуренным от голода, несомненно был бы взят в плен Шамилем[1].

Во время этого трудного похода Барятинский, предводительствуя батальоном, действовал со своей бесспорно отменной храбростью; что же касается до распорядительности, которой он отличился в походе андийском, общее мнение очевидцев приписывает ее состоявшему в его команде поручику Маевскому, человеку отлично способному, энергичному, весьма любимому солдатами, и который в этом же походе пал от пули горца[2].

---

[1] В последний день перед приходом Фрейтага голод в отряде дошел до такой степени, что князь Федор Паскевич купил у одного солдата *кусок черствого ржаного хлеба за сто рублей серебром* и поделился этим хлебом с принцем Александром Гессенским.

[2] Александр Сергеевич Маевский воспитывался в пажеском корпусе, откуда выпущен был в 1833 году офицером в лейб-гвардии Литовский полк. Он был одарен обширными умственными способностями, энергией и даром слова, но был характера бешеного и, к сожалению, был подвержен *азиатскому* пороку. Находясь полковым адъютантом Литовского полка, он имел в 1840 году из-за одного молодого барабанщика гнусную ссору с офицером того же полка Развадовским и, в припадке гнева выхватив шпагу, нанес Развадовскому легкую рану. Оба, и Маевский, и Развадовский, были немедленно посажены в крепость, преданы суду, лишены чинов и отправлены рядовыми в дальние полки. Маевский был послан на Кавказ в Навгинский или Тенгинский полк. На Кавказе вообще прекрасно обходятся с ссыльными или «несчастными», как их там называют, и не принуждают их к исполнению тягостных обязанностей службы, кроме редких исключений, каким, например, явился в отношении к знаменитому Александру Бестужеву командир линейного батальона, стоявшего в Дербенте, штаб-офицер Васильев, известная скотина. Но Маевский наотрез объявил, что не хочет пользоваться преимуществами своего исключительного положения: он насто-

По окончании андийского похода Барятинский возвратился в Петербург, весьма огорченный, что не получил генеральских эполет. В Петербурге его ожидало еще худшее для него. Год спустя, 1 июля 1846 года, последовала к его вящему огорчению свадьба великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Вюртембергским.

После этого события, разрушившего задушевные мечты Барятинского, все его помыслы и желания исключительно обратились к быстрому повышению в чинах. Ежедневно возраставшее доверие цесаревича к Александру Адлербергу сильно беспокоило Барятинского, но, зная людей, он видел невозможность перебороть Адлерберга; ему оставался лишь один исход: удалиться от цесаревича, чтобы не навлечь на себя вражды Адлерберга, но удалиться таким образом, чтобы сохранить дружбу и поддержку цесаревича и вместе с тем получить возможность быстрого хода по службе*. На этом поприще и Адлерберг готов был ему содействовать, лишь бы только достичь удаления Барятинского от двора. Он решился перейти на службу на Кавказ. Все ахнули от удивления, что любимец счастья, баловень его, тридцатитрехлетний человек, богатый, знатный, друг наследника престола, покидает двор, столичную жизнь и комфорт столичный и едет в дикие захолустья Кавказа. Многие полагали, что он впал в немилость у цесаревича, но мысль эта не могла устоять при виде изъявлений дружеской ласки, оказанных ему перед отъездом от цесаревича, который, чтобы сделать новое удовольствие Барятинскому, на вакантное его место взял к себе в адъютанты его брата Владимира, незадолго перед тем женившегося на дочери сильного при дворе военного министра князя Чернышева. Одним словом, отъезд Барятинского на Кавказ весьма удивил большую часть публики; лишь немногие догадались, в

ял на том, чтобы исправлять службу рядового, жил с солдатами, сблизился с ними, приобрел их доверие, снабжал их советами, ссужал их деньгами и приобрел на них огромное влияние, которое сохранил и по производстве своем в офицеры, что редко случается. В андийском походе он состоял под командой Барятинского, именем его распоряжался батальоном, и распоряжался отлично, потому что солдаты вслед за Маевским готовы были идти в огонь и в воду. Тут же он и был убит тридцати лет от роду, к величайшей горести солдат, которые плакали по своему «батюшке Александре Сергеиче», как они называли Маевского.

чем состоит дело; хитрый старик Ермолов, например, отвечал одному человеку, изъявлявшему удивление свое отъездом Барятинского из Петербурга: «Ведь на Кавказе большие горы, а в Петербурге болото топкое; в болоте столько же легко увязнуть, сколько в горах удобно подняться на высоту!»

Говоря об отъезде Барятинского из Петербурга весной 1847 года, нельзя не упомянуть об одном обстоятельстве, самом в себе ничтожном, но которое наделало ему довольно врагов, и врагов сильных, между членами Государственного совета и в кругу министров. В отсутствие Незабвенного, ездившего за границу зимою 1845 на 1846 год, главное управление делами в империи поручено было цесаревичу, который иногда отсылал к Барятинскому на прочтение получаемые им бумаги из Государственного совета и Комитета министров. Это сделалось известным в Петербурге; старики-министры и члены Совета ужасно взбесились и распустили слух, будто бы князь Александр Иванович позволяет себе писать свои замечания карандашом на полях листов. Мы не верим этому слуху о карандашных заметках, зная Барятинского за человека слишком хитрого и ловкого, чтобы совершить подобную глупость, но нет ни малейшего сомнения, что слухи эти доведены были до государя и, конечно, не уменьшили его всем известного нерасположения к Барятинскому.

Отлично принятый на Кавказе старым интриганом Воронцовым, он в том же 1847 году получил генерал-майорский чин по ходатайству Воронцова. На Кавказе Барятинский вел жизнь ослепительно роскошную. Ежедневно офицеры полка, коего он находился командиром, имели у него открытый стол два раза в день. Рассказывают, что когда он послал пригласить офицеров ежедневно завтракать у него в полдень и обедать в шесть часов, никто не явился. На вопрос, сделанный им полковому адъютанту, что за причина такого образа действий со стороны офицеров, полковой адъютант отвечал ему: «Мы, Ваше сиятельство, привыкли рано обедать!» «Хорошо, я это устрою», — сказал Барятинский. В тот же день он послал пригласить всех офицеров полка ежедневно у него обедать в час пополудни и ужинать в семь часов вечера — и все явились! Роскошь трапезы его была изумительной: рассказывают, что даже во время поисков в горах иногда подавали за столом цельные трюфли.

В это время Барятинскому угрожала весьма искусно устроенная западня, от коей он умел отделаться самым ловким и самым неожиданным образом.

Одна женщина, замечательная красотой*, ума бойкого и ловкого, искусная пройдоха, и притом весьма распутная, находилась в связи в одно и то же время и с цесаревичем, и с Барятинским; они пользовались ею с ведома один другого, не нарушая через то своей взаимной приязни. Овдовела барыня, и захотелось ей снова выйти замуж, но уже на этот раз составить партию блестящую, и внушила барыня цесаревичу мысль устроить свадьбу ее с Барятинским. Великий князь написал к своему другу на Кавказ письмо, в коем вызывал его в Петербург, но Барятинский, перед самым отъездом из Тифлиса получивший известие о приготовленной для него западне, доехав до Тулы, притворился больным глазами, просидел в Туле бо́льшую часть времени своего отпуска и потом, чтобы не просрочить явкой на службу, возвратился в Тифлис. Через несколько месяцев он получил повеление приехать в Петербург по делам службы; делать было нечего; отправился князь Александр Иванович от гор кавказских к болотам невским, но, не желая принять на себя позора свадьбы с распутной женщиной, придумал великолепный фокус.

За несколько лет перед тем он и его братья с согласия матери их обратили в заповедное имение все вотчины отца своего, населенные с лишком шестнадцатью тысячами душ крестьян; условились, что старший брат князь Александр будет владеть заповедным имением, а три младшие брата получат определенную сумму денег. Князь Александр Иванович расчел, что предметом брачных преследований является заповедное имение и что от преследований и докук ему не избавиться никак иначе, как расставшись с своим богатством или отказав наотрез вышеупомянутой распутной женщине; отказ этот мог его пересорить с цесаревичем, чего ему вовсе не хотелось... Итак, оставалось лишь одно средство — отказаться от имения. В день Сочельника перед Рождеством в доме брата его, князя Владимира, была елка для детей; князь Александр Иванович приехал и повесил на елку запечатанный пакет, адресованный на имя брата; по вскрытии пакета оказалось, что в нем находится акт, которым князь Александр Иванович отрекается от владения заповедным имением и передает

свои права по имению старшему за ним брату князю Владимиру под условием платить ему ежегодно семь тысяч рублей серебром. Рассказывают, что по словесному условию между обоими братьями доходы имения делились *пополам* до тех пор, пока князь Александр Иванович при назначении своем наместником на Кавказ не получил годовой оклад в восемьдесят тысяч рублей серебром, оклад, при оставлении Кавказа обращенный ему в пожизненный пенсион в награду за его совершенно бесполезную службу.

Этим ловким поступком отречения от заповедного имения Барятинский избежал брака позорного, а барыня, таким образом обойденная, сумела смастерить себе свадьбу с одним богатым глупцом.

Мы рассказали, каким образом князь Александр Иванович Барятинский ловкой сделкой с братом своим искусно избавился от позора, который хотели ему навязать, от позора свадьбы с распутной женщиной. Он в этом случае поступил и честно и умно, и вместе с тем с обычными ему ловкостью и хитростью, а эти два последние качества служат лучшими ручательствами жизненных успехов в стране самодержавной, какова матушка святая Русь, в коей, как и во всех странах самодержавных, в высших сферах владычествуют низость, подлость и все влечения наклонностей постыдных.

Возвратился Барятинский на Кавказ и продолжал там службу свою: храбрость и мужество его неоспоримы — об этом мы уже говорили. Но вместе с тем он мастер в реляциях и рассказах своих делать из мухи слона, выдавать стычки за битвы и на бумаге превращать военные прогулки в завоевания. Этой системы, на вежливом языке именуемой «преувеличением», придерживались многие знаменитые полководцы, между прочим и Наполеон I, и в этом отношении Барятинский, бесспорно, один из величайших полководцев нашего века. Однажды случилось нам вечером в Москве быть в гостях у Алексея Петровича Ермолова; является к нему проезжий с Кавказа в Петербург полковник Циммерман. Алексей Петрович спрашивает у него: «Скажите, пожалуйста, любезный полковник, с кем это Вы теперь сражаетесь на Кавказе? Ведь, судя по реляциям Воронцова и Барятинского, Вы уже столько убили горцев, что я не полагаю ни одного из них оставшимся в живых? Уж полно, не с тенями ли Вы там сражаетесь?»

Благодаря отчасти своей храбрости, отчасти своим реляциям, Барятинский призведен был в генерал-лейтенанты в 1852 году, а в следующем году пожалован в генерал-адъютанты. Воронцов взял его к себе в начальники главного штаба, и он всеми силами старался заслужить расположение и милость своего начальника. Воронцов был человек замечательного ума: одаренный блистательными способностями, и военными, и административными, но он был в высшей степени самолюбив и властолюбив; он требовал, чтобы все его окружающие поклонялись ему и исполняли беспрекословно волю его; правда, это всемогущество смягчаемо было отменной вежливостью, изяществом форм, любезностью в обхождении и со стороны Воронцова и со стороны жены его, женщины весьма умной и весьма ловкой, но все-таки для того, чтобы ладить с Воронцовым, необходимо было ему постоянно угождать, поклоняться, никогда не противоречить, а еще менее противодействовать, потому что не было человека более злопамятного и более мстительного. Главной целью его было преобладание исключительное, самовластное в странах, им управляемых, — и в Новороссии, и на Кавказе; нигде не допускал он вмешательства петербургских министров и готов был уничтожить людей, способных ему противодействовать. Везде, где он управлял, он не ограничивался желанием быть администратором; он хотел непременно быть властелином самодержавным и потому принужден был допускать страшные злоупотребления со стороны лиц, его окружавших или пользовавшихся его доверенностью, принужден был допускать, повторяем, потому, во-первых, что не хотел удалять лиц, усердно служивших воле его, а во-вторых, и не смел их удалить; им слишком хорошо были известны все подробности злоупотреблений в его управлении, и они в опале своей могли бы ему сильно повредить своими рассказами или даже своими доносами.

В этой политически безнравственной школе совершилось административное воспитание Барятинского. Но, чтобы действовать долго и успешно на подобном поприще, необходим был великий ум Воронцова, а с бездарностью Барятинского продолжительные успехи были невозможны. Между тем Воронцов начал подготовлять себе Барятинского в преемники в полной надежде, что он останется ему благодарным и будет беречь память его,

тогда как если бы в преемники поступил человек совершенно чуждый, он мог бы разоблачить все беспорядки воронцовского управления, беспорядки немыслимые, производимые людьми, коих преданность безграничная и безразборчивая, была необходима Воронцову для сохранения обожаемой им власти самодержавной и бесконтрольной. Барятинский не чувствовал себя от радости при мысли, что со временем будет наместником кавказским, а так как Воронцову шел уже восьмой десяток лет, здоровье его слабело, ему часто приходилось иметь нужду в помощнике, а Барятинский был еще слишком молодым в чине, чтобы Николай Павлович согласился назначить его на место, то Воронцов, со свойственной ему хитростью, выкинул ловкую штуку. Чтобы избежать неприятности получить внезапно в помощники какого-нибудь человека самостоятельного или влиятельного при дворе, он выпросил себе у Николая в помощники генерала от кавалерии Реада, впоследствии убитого в Крыму в сражении у Черной речки. Реад был воином отменно храбрым на поле сражения, но отличался бездарностью, далеко превосходившей бездарность Барятинского и достигавшей до пределов тупоумия; сверх того, не имея никакого знатного родства, никаких сильных связей, он являлся к Воронцову помощником лишь по имени, но в сущности адъютантом покорным и послушным: им можно было помыкать и помыкали сильно.

Вдруг произошло событие, которое, казалось, разрушало все надежды Барятинского на кавказское наместничество, а на деле лишь ускорило исполнение его надежд и превзошло самые отважные замыслы его. Открылась война. Воронцов всегда находился в дружеской переписке с канцлером Нессельроде, в то время управлявшим иностранными делами. Нессельроде не желал войны и все надеялся отвратить ее, не зная, до какой степени война была полезной и необходимой Наполеону III, а не знал этого Нессельроде по той причине, что тогдашний русский посланник в Париже Николай Дмитриевич Киселев* (нынешний посланник в Риме), человек самый пустой и ветреный, тщательно скрывал от своего двора возможность близкого разрыва в надежде, служившей явным доказательством его политической неспособности, что, скрывая опасность, он отвратит ее и не будет принужденным выехать из Парижа, где седовласый шалун вел образ

жизни, годный для юноши, но весьма смешной в старике пятидесятилетнем. Обманутый преднамеренно Николаем Киселевым, Нессельроде бессознательно обманывал Воронцова, который, зная хитрость и пронырливость Нессельроде, вполне положился на выраженное им убеждение в невозможности войны и не сделал никаких военных приготовлений... Вдруг война вспыхнула: Англия и Франция, две сильнейшие державы в мире, постоянно между собой враждебные, пошли союзом на Россию...

Невозможно себе представить того, что ощутил Воронцов при известии о вторжении турок в пределы управляемых им областей, где им не было учинено никаких приготовлений к войне! После семидесятилетнего блистательного поприща административного и воинского Воронцов был нравственно убит боязнью на старости лет быть побежденным и изгнанным с Кавказа, и еще кем же? Турками! Сильно огорчен был и Барятинский; тяжело человеку самолюбивому быть начальником штаба войск, принужденных отступать перед турками! Здоровье Воронцова, уже поколебленное летами и занятиями, начало совершенно разрушаться и принудило его к поспешному отъезду на отдых в Германию. Начальство принял Реад, но тут его неспособность выказалась в высшей степени. Храбрый воин, но к начальствованию не привыкший, он совершенно растерялся. Выведя все русские гарнизоны из крепостей и фортов, устроенных вдоль восточного берега Черного моря, уничтожив взрывами эти укрепления, он прислал государю доклад о необходимости вывести русские войска с Кавказа, одним словом, предлагал предать грузин и прочие подвластные нам племена христианские в жертву горцам и туркам! Доклад этот — поразительное свидетельство, до какой чудовищной степени может достигнуть у храброго воина гражданская трусость, — поразил и Николая, и цесаревича, нынешнего государя. К счастью России, на другой день после получения этого гнусного доклада Николай Николаевич Муравьев имел случайно аудиенцию у цесаревича.

Николай Николаевич Муравьев, человек блистательных военных способностей, но совершенно чуждый знанию администрации; одаренный умом замечательным, он, однако, вовсе не знаком с сердцем человеческим и тем менее способен уживаться с людьми, для весьма многих неприятны и даже оскорбительны его прямота, его беско-

рыстие и вообще возвышенность его душевных чувств, правда иногда принимающих в выражении своем форму слишком резкую... Николай Павлович, считавший себя великим полководцем, никогда не мог простить ему, что однажды был им побежден и взят в плен на маневрах около Красного Села[1], и окончательно их перессорил во время николаевской поездки в Крым в 1837 году старый интриган Воронцов, ненавидевший Муравьева. Николай Николаевич не захотел сносить дерзостей Николая Павловича, вышел в отставку, десять лет занимался сельским хозяйством, а в 1848 году, когда ожидали европейской войны, Николай Павлович спохватился наконец, что без способных людей обходиться нельзя[2], и пригласил Муравьева на службу. Назначенный командиром гренадерского корпуса под главным начальством цесаревича, он жил в Новгороде. Когда вспыхнула война, генерал-губернатором Финляндии находился барон Рокасовский, ныне вторично занимающий это место, человек весьма честный и добрый, но слабый и не одаренный военными способностями; отличный начальник края во дни мира и тихой гражданской деятельности, но которого, ввиду предстоящих тогда высадок врагов в Финляндии, справедливо сочли нужным заменить Николаем Николаевичем Муравьевым. Этот последний, прибыв в Петербург на пути в Финляндию, представлялся цесаревичу, который тут же сообщил ему бессмысленный доклад Реада и спрашивал его мнения. «Реад пишет вздор, — отвечал Муравьев, — Кавказ нельзя отдавать на жертву туркам и горцам; Кавказ отстоять можно и должно». Цесаревич сообщил эти слова своему отцу, и Муравьев был немедленно назначен главным начальником на Кавказе.

---

[1] На маневрах в Красном Селе генералы, командовавшие против государя, обыкновенно распоряжались таким образом, что бывали им разбиваемы. Так поступал всегда Паскевич. Однажды граф Редигер, победитель венгров, отступив на маневрах перед войском государя, спросил у присланного к нему флигель-адъютанта: «Между нами говоря, доволен барин?» «Доволен, Ваше сиятельство». «Нам более ничего и не нужно», — отвечал Редигер.

[2] В 1838 году, когда Николай Николаевич Муравьев вышел в отставку, государь, прогуливаясь по набережной, встретил брата его, нынешнего литовского «хана», и сказал ему: «Твой брат подал в отставку и получил ее; он вообразил себе, что он мне нужен; мне никто не нужен». В этих безумных и высокомерных словах и слышится Павлово отродье!

Приезд Муравьева на Кавказ был весьма неприятным для Барятинского. После вежливого и ласкового обхождения интригана, но приятного интригана, Воронцова резкость Муравьева, его обхождение, прямое, крутое, являлись на Кавказе нововведениями тяжелыми. Строгий к самому себе, он был строгим и к другим и не обращал ни малейшего внимания ни на знатность человека, ни на его блестящие придворные связи. Богато одаренный от природы и умом, и нравственными качествами, но вместе с тем натура цельная, натура неотшлифованная, до крайности угловатая, Муравьев не может уживаться с людьми. Звание начальника главного штаба ставило Барятинского в ежедневные и, можно сказать, ежечасные сношения с ним; столкновения проявились скоро и чрезвычайно огорчали Барятинского.

Когда Александр II вступил на престол, Барятинский, по словам людей, близко видавших его в это время, надеялся, что будет немедленно вызван в Петербург новым государем, своим другом. Но окружающие государя*, и в особенности Александр Адлерберг, вовсе не желали возвращения бывшего любимца, боясь его влияния. Проходили дни, недели, месяцы, и Барятинский все не получал приглашения явиться ко двору. Он потерял терпение и летом 1855 года под предлогом нездоровья и необходимости лечиться уехал из Тифлиса без позволения царского и прибыл прямо в Царское Село, уверяя, что для его здоровья воздух Ингерманландии полезнее благорастворенного климата кавказского. Александр Николаевич, подобно всем людям, водимым за нос их окружающими, чрезмерно оскорбляется всяким явным признаком непослушания. Он весьма рассердился на самовольный отъезд Барятинского с Кавказа и в первые дни его приезда в Царское Село не хотел даже принимать своего любимца. Барятинский сидел дома, объявляя, что все страдает подагрой, а между тем через друзей своих работал искусно и, наконец, был принят государем, но еще не на степени прежнего друга. Зато в течение зимы в его политическом положении произошел переворот самый благоприятный, и переворотом этим он обязан был приезду в Петербург своего прежнего начальника, князя Воронцова.

Принужденный для поправки здоровья своего уехать с Кавказа в Германию в 1854 году, Воронцов провел зиму

в Дрездене. Ни в Англию, ни во Францию, ни в Италию война ему ехать не позволяла, Германию и немцев он всегда терпеть не мог и потому смертельно скучал в Дрездене. Назначение преемником ему врага его Муравьева сильно его раздражало, и он весьма желал возвратиться в Россию в надежде снова приобрести политическое значение: бездействие томило семидесятипятилетнего честолюбца. Смерть Николая, восшествие на престол Александра II еще более возбудили в нем желание отправиться в Петербург: он надеялся при новом государе иметь значительное влияние на дела и в конце лета 1855 года прибыл в Петербург. Он не ошибся в своей надежде: государь, отъезжая осенью после падения Севастополя на несколько недель в южную Россию, поручил Воронцову на время своего отсутствия главное начальство в Петербурге, не объявляя о том публично, но объяснив свою волю министрам, генерал-губернатору Игнатьеву и главнокомандующему войсками в Петербурге графу Редигеру и предоставив Воронцову на случай нападения неприятельского или экстренных событий — власть полномочную. По возвращении государя в Петербург Воронцов своим влиянием и советами своими много содействовал заключению мира, а между тем не упускал из виду своей задушевной мысли: дать стречка врагу своему Муравьеву и посадить Барятинского в кавказские наместники. Барятинский переехал осенью из Царского Села в Петербург, нанял квартиру в Большой Миллионной улице, объявил себя жестоко страдающим от подагры, выезжал редко, прикидывался человеком дряхлеющим и почти разрушающимся; одним словом, разыгрывал ту же самую роль, как папа Сикст V, когда, быв еще кардиналом Монтальто, он простирал виды на римский тройной венец. В это время Барятинский старался говорить весьма мало, слушал слова других с мнимым рассеянием, отвечал невпопад, как будто не понимая вовсе того, что ему говорят, и уже по Петербургу пошли слухи, что Барятинский человек полумертвый, что еле на ладан дышит, что способности его гаснут и что ему уже весьма недалеко до могилы. Этот ловкий расчет возымел успех полнейший: все те лица, которые простирали виды свои на значительные дожности и боялись в князе Александре Ивановиче опасного соперника, успокоились, считая его близким к могиле, а между тем Воронцов у государя и у двора неустанно подкапывал Муравьева и выдвигал вперед Барятинского,

коему государь возвратил свою прежнюю дружбу. Придворные соперники Барятинского и более всех Александр Адлерберг, видя возобновление к нему царской милости, стали усердно хлопотать об удалении его от двора, и зная, что удалить его нельзя иначе, как удовлетворив его честолюбие и властолюбие, то есть предоставив ему безграничную власть над краем обширным, его придворные соперники стали деятельно сотрудничать покровителю его Воронцову. Таким образом, и друзья и недруги, самые даже обстоятельства работали в его пользу; прошла зима; наступила весна 1856 года; мир был заключен в марте месяце; коронация Александра Николаевича совершена 26 августа; в этот день Барятинский произведен был в генералы от инфантерии мимо множества генерал-лейтенантов старших его в чине и назначен кавказским наместником и главнокомандующим кавказским корпусом, в удовольствие ему переименованным в армию и значительно усиленным по числу войск. Ему сверх областей кавказских еще подчинена губерния Астраханская без всякой разумной причины, единственно лишь в удовольствие его властолюбию. Права ему предоставлены самые обширные; например, ему подчинены в тех губерниях чиновники всех ведомств, и министры не могли посылать приказаний подчиненным им чиновникам иначе, как через канцелярию наместника и *с его согласия*. Говорят, что Фридрих II по завоевании Силезии, Наполеон I по вступлении на престол и Петр I после победы Полтавской не являли лица, более сияющего радостью, чем то лицо, с каким в день коронации 1856 года будто бы расхаживал по залам кремлевского дворца хитрый и ловкий, но бездарный придворный, под именем наместника назначенный царем на Кавказ.

Мы уже говорили о причинах, побуждавших Воронцова желать иметь Барятинского своим преемником на Кавказе, но он знал всю неспособность князя Александра Ивановича и потому хотел приставить к нему умного и даровитого начальника главного штаба, могущего быть советником и наставником нового наместника. Выбор Барятинского, руководимого Воронцовым, был весьма удачным: выбор этот пал на генерала Милютина. Почти сверстник Барятинского по летам, Дмитрий Алексеевич Милютин, подобно брату своему Николаю Алексеевичу, обязан своим возвышением исключительно самому себе, своим дарованиям и способностям. Хотя они, по своей

матери, родные племянники графа Киселева, но этот сановник, который ныне с таким удовольствием и с таким родственным чувством обращается к своим племянничкам, с тех пор как они сделались государственными людьми, не обратил на них ни малейшего внимания в то время, когда они прибыли из Москвы в Петербург юношами еще безызвестными и бедными искать себе пути на служебном поприще[1]. Не встретив в дяде никакой поддержки, всем обязанный исключительно самому себе, Дмитрий Алексеевич Милютин, незадолго перед тем произведенный в генерал-майоры, состоял в 1856 году по генеральному штабу; известен был как отличный профессор Военной академии и как сочинитель прекрасной книги «История войны 1799 года»*. Мы, не будучи военным, не берем на себя судить о стратегических достоинствах этого сочинения, весьма, впрочем, ценимого знатоками военного дела, но в отношении историческом и политическом «История 1799 года» — книга основательная, дельная, исполненная любопытства и прекрасно написанная.

Итак, Барятинский, напутствуемый советами Воронцова и взяв к себе Милютина в начальники главного штаба, отправился царствовать на Кавказ. В руках человека даровитого полномочная власть, коею он был облечен, могла бы принести много пользы тому краю; многое можно было сделать, многое переделать, много создать, но подобные действия превосходили степень умственных сил Барятинского, и на долю Милютина выпала трудная борьба с неспособностью и с ленью наместника. Борьба эта оказывалась тем более трудной, что безмерное тщеславие Барятинского оскорблялось молвой о влиянии на него начальника его штаба, а молва о том не могла никак укрыться от хитрости Барятинского, хитрости, изощренной многолетним придворным навыком. Наместничество его на Кавказе ознаменовано было падением владычества Шамиля и Магомет-Аминя, взятием в плен первого и капитуляцией второго; в этих двух важных событиях,

---

[1] Умная и любезная маркиза де Виллеро* рассказывала мне, что Паскевич, женатый на ее родственнице, говорил ей однажды: «Как же мне вас не любить и не почитать? Вы всегда были так добры и так родственны и к жене и ко мне? Теперь, когда я фельдмаршал и наместник Царства Польского, оказывается, что каждый был знаком со мною в молодости и даже дружен, а ведь когда я был еще в черных генералах, меня никто и знать не хотел!»

коим Барятинский обязан Андреевской лентой, Георгиевской звездой и, наконец, фельдмаршальским жезлом, столь необдуманно и столь легкомысленно пожалованными ему от государя, в этих двух важных для России событиях главными деятелями были Милютин и граф Евдокимов, первый в качестве приготовителя и сочинителя планов действий, второй в качестве исполнителя. Зато самому Барятинскому принадлежит смешная до нелепости и для казны убыточная мысль учреждения генерал-губернаторов в Тифлисе и в Кутаиси. Необыкновенно чванный, он одарен был страстью совершать в тифлисском дворце блистательные выходы: у наместника Царства Польского является на выходах генерал-губернатор варшавский; Барятинский захотел иметь *двух* генерал-губернаторов и, разумеется, получил их. Этим двум новым сановникам назначили жалованья по пятнадцати тысяч рублей каждому; тут еще расходы на их штат, канцелярию, свиту; казне жутко, но зато как блистательны были выходы у князя Александра Ивановича! Тщеславие его сиятельства удовлетворено: значит, Россия счастлива, а Кавказ благоденствует! Хорошо еще, что он не потребовал себе полдюжины генерал-губернаторов: ведь Александр Николаевич не умеет ни в чем отказывать своим любимцам.

Надменность Барятинского не знала пределов: он решительно вообразил себя царем на Кавказе. Самовластно распоряжаясь по всем ветвям управления, он поступал совершенно безотчетно, как будто монарх самодержавный. Денежных отчетов в государственный контроль он не посылал, а государственный контролер Николай Николаевич Анненков был придворным слишком усердным и слишком раболепным, чтобы осмелиться возвысить голос свой против сановника столь могущественного: Анненков вздыхал, но молчал и покорно допускал это наглое беззаконие!

Жизнь Барятинского на Кавказе была жизнью сатрапа в полном смысле этого слова: все преклонялось перед его волей, все повиновалось его прихотям, все старалось предупреждать его желания. В Грузии сохранилось еще много азиатского раболепия, и чванство Барятинского каталось как сыр в масле. Его слабая голова совершенно вскружилась, и он выкидывал штуки, доходившие до дерзости. Вот, например, один факт, сам по себе малова-

жный, но вполне характерный: за обедом около прибора его сиятельства ставили исключительно для него назначенные два графина, один с хересом, другой с бордосским вином, а гостям подавали кахетинское вино! Об этой невежливости, какой в наш век не позволит себе ни один монарх в образованной стране, рассказывали нам не только русские, но и чужеземцы, при посещении ими Кавказа имевшие случай обедать у Барятинского.

В 1860 году Милютин назначен был товарищем военного министра, когда после отказа от этой должности князя Виктора Васильчикова, два раза уже просившего себе увольнения от звания товарища министра и лишь на троекратную просьбу его получившего, старик Сухозанет твердо устоял в своем отказе взять себе в товарищи графа Эдуарда Баранова и взял Милютина. С отъездом этого последнего с Кавказа Барятинский оказался как бы умственно-обезглавленным; все дела пошли комом, а между тем вскоре здоровье наместника принудило его к путешествию и к перемене климата.

Но ему не хотелось выпускать из рук своих управления Кавказом, не хотелось сойти с престола своего кавказского царства. Исполненный баснословной самонадеянности, он, неспособный управлять краем даже и во время личного пребывания своего в столице страны, в Тифлисе, вообразил себе, что может управлять краем через телеграфную проволоку, через эстафетов и через почту! Он предоставил главное начальство над Кавказом генерал-адъютанту князю Григорию Дмитриевичу Орбелиани, человеку весьма малоспособному, но принадлежащему к одной из знатнейших фамилий грузинских, и к фамилии особенно любезной сердцу Барятинского, — и отправился странствовать.

Разъезжал он по Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии, завернул в Египет, а между тем на Кавказе дела административные все более и более запутывались; положение становилось невыносимым, и даже само петербургское правительство, привыкшее к безурядице, не могло равнодушно взирать на состояние дел на Кавказе. В декабре 1862 года, когда двор находился в Москве, Барятинский, заболев в проезд через Вильну, провел несколько недель в этом городе. Из Москвы государь послал к нему в Вильну Александра Адлерберга объявить свое желание, чтобы он окончательно отказался от управ-

ления Кавказом, и условиться о мерах, какие можно принять. Решено было назначить наместником в тот край великого князя Михаила Николаевича, а Барятинскому предоставить *пожизненный ежегодный пенсион в восемьдесят тысяч рублей серебром*! И это в то время, когда государственное казначейство опустело! Таким образом, не только что единственный фельдмаршал, в настоящее время находящийся в списке русского войска, отличается совершенной неспособностью и не может быть употреблен ни в какую серьезную должность, но еще этот бездарный барин получает из истощенной русской казны восемьдесят тысяч рублей серебром в год, то есть сумму, на которую можно было бы содержать целый новый университет! Как же удивляться при подобном скандальном зрелище, что петербургские монголо-немецкие баскаки, воображающие себя европейскими вельможами, противятся введению в России конституции? Ведь они понимают, что, будь в России Земский собор, на нем стали бы рассматривать и обсуживать государственные расходы и тотчас возникли бы громогласные протесты против скандала подобных мер, как издержки по восьмидесяти тысяч рублей в год на фельдмаршала Барятинского или на эту постоянную выставку косметического искусства, которая на официальном наречии именуется графом Владимиром Федоровичем Адлербергом!

У Барятинского три брата: Владимир, Анатолий и Виктор. Князь Владимир, нынешний командир Кавалергардского полка, добрейший и честнейший человек, но женат на женщине неприятной и смешной по ее надменности. Мы не могли, впрочем, никогда понять источника глупому и смешному чванству княгини Елизаветы Александровны. Ведь не тем же ей чваниться, что отец ее, покойный военный министр князь Александр Иванович Чернышев, был и дерзок с подчиненными, и подлейшим холопом при дворе, был и тираном с несчастными, и в то же время взяточником-казнокрадом? Может быть, княгиня Елизавета Александровна чванится тем, что ни одна женщина не умеет лучше ее стрелять из пистолета? Кроме этого да богатства, нажитого ее отцом всякими неправдами и мерзостями, она ничем не отличается от многолюдной толпы.

Другой брат фельдмаршала, князь Анатолий, человек самый пустейший, ныне командует Преображенским пол-

ком. Он женат на Олимпиаде Владимировне Каблуковой, дочери доброго и честного Владимира Ивановича Каблукова, умершего в 1848 году в Москве, в странноприимном Сенате[1]*. Князь Анатолий промотал все свое состояние и в долгу как в шелку. Жена его, хотя в умственном отношении ограниченна почти до тупоумия, но являет пример, впрочем, не единственный в Петербурге, смеси глупости с хитростью самой пронырливой; никто лучше ее не узнает, с кем для выгод ее полезнее поговорить, улыбаться, любезничать. Весьма красивая лицом, но без всякого образования, она соединяет в себе всю пошлость горничной с самыми забавными притязаниями на разыгрывание роли знатной дамы. Разговор ее не отличается разнообразием: пошл и скучен. Когда умер Николай Павлович, то княгиня Олимпиада Владимировна до того повторяла всем одну и ту же фразу: «Это наш общий отец умер», что ее прозвали траурным попугаем. Нынешний государь в бытность свою цесаревичем часто посещал по утрам княгиню Олимпиаду Владимировну, и в Петербурге рассказывают, что между нею и одной из ее знакомых происходила однажды следующая беседа:

Знакомая. Цесаревич у вас бывает очень часто. О чем вы с ним разговариваете?

Княгиня Барятинская. Ни о чем.

Знакомая. Да что же вы делаете?

Барятинская. Ничего.

Знакомая. Так и сидите?

Барятинская. Сидим.

Знакомая. И молчите?

Барятинская. И молчим.

Знакомая. А потом?

Барятинская. Смотрим друг на друга.

Нынешний государь неоднократно уже платил долги

---

[1] Владимир Иванович Каблуков женат был на графине Татьяне Петровне Завадовской. Ее официальный отец граф Петр Васильевич Завадовский, знаменитый статс-секретарь Екатерины II, первый министр просвещения в России, женился, имея уже за пятьдесят лет, на двадцатилетней графине Вере Николаевне Апраксиной. Последствием этого неравного брака было, что князь Иван Иванович Барятинский был отцом графов Александра и Василия Завадовских, также и сестры их Татьяны Петровны Каблуковой. Это было известно вдове князя Барятинского княгине Марии Федоровне; она не хотела, чтобы сын ее женился, таким образом, на своей родной племяннице и долго не позволяла этой свадьбы, но наконец, хотя с трудом, согласилась.

князя Анатолия, который, не имея гроша в кармане, мотает деньги беспрерывно. Несколько лет сряду он в Петербурге давал на Масляннице завтраки с танцами, и по этому случаю говорили, что отыскано новое средство к жизни: если у кого нет куска хлеба, то надобно давать завтраки с танцами. Когда он командовал в Царском Селе стрелковым батальоном, то, приезжая вечером в Петербург в оперу, заказывал на железной дороге особый поезд исключительно для себя, вечно находящегося в долгах! Эта роскошь, которой не позволяют себе и люди, имеющие хорошее состояние, стоила ему по сорока рублей серебром на вечер. Но ведь нет миллионеров богаче людей, за которых постоянно платят их долги! Этот самый человек, считающий позволительным жить свыше своих средств и беспрестанно получать деньги от государя на уплату своих долгов, заставил несколько лет тому назад двух офицеров выйти из Преображенского полка за то, что они принимали участие в спектакле, данном с благотворительной целью! Он уверял, со свойственными ему бессердечием и тупоумием, будто этим офицеры запятнали преображенский мундир, который он, князь Анатолий, столь украшает своими доблестями и своими долгами.

Младший брат фельдмаршала князь Виктор, бывший моряк, отличный человек, никогда не хотел воспользоваться придворным влиянием своего брата для получения лент, чинов, крестов и прочей дряни, за которой столь усердно гоняются петербургские мелкие честолюбцы и достигнуть которых было бы ему весьма легко через фаворитизм его брата. Князь Виктор Иванович, одаренный благородной душой, предпочел придворному холопству жизнь независимую. Он женат на дочери известного дипломата Аполлинария Петровича Бутенева, Марии Аполлинариевне, красавице и лицом и душой.

«Листок», № 11, 27 августа 1863, стр. 87—88;
№ 12, 23 сентября, стр. 95—96;
№ 15, 24 ноября, стр. 117—118;
№ 17, 28 января 1864, стр. 134—136;
№ 18, 25 февраля, стр. 139—142.

IX

Князь Александр Федорович Голицын*.

Теперь расстанемся с Барятинским и поговорим об одной из самых отвратительных личностей нашего времени, о человеке, всю жизнь свою исправлявшем должность сыщика, ныне уже в течение тридцати лет исполняющем обязанности инквизитора и приготовляющем гибель уже второму поколению русского юношества: поговорим о князе Александре Федоровиче Голицыне.

Князь Александр Федорович Голицын родился в 1796 году. Бабка его, княгиня Прасковья Ивановна, была родной сестрой знаменитого Ивана Ивановича Шувалова, друга Ломоносова и основателя первого университета в России. Иван Иванович Шувалов, любитель и покровитель просвещения, которое в то время еще нуждалось в покровителях, не воображал себе, конечно, что двое из двоюродных внуков его, князья Иван и Александр Голицыны, будут злейшими врагами умственного и гражданского развития России и унизятся до исполнения должности инквизиторов. Не воображал также, вероятно, Иван Иванович, что и Шуваловы второй половины XIX века променяют просвещение на придворные кастрюли, предпочтут занятиям науками искательство у лиц влиятельных и променяют покровительство изящным искусствам на искусство кланяться, подслуживаться, подслушивать и холопски выслуживаться.

Прежде чем говорить о князе Александре Федоровиче, скажем несколько слов о достойном брате его, князе Иване, умершем в 1835 году сорока шести лет от роду.

Этот нравственный урод был одарен какой-то неистовой любовью к инквизиторству и особенной, болезненной страстью к пыткам. Он являл в себе какое-то, к счастью весьма редкое, психологическое уродство: для него допрашивать людей было удовольствием, а пытать людей — каким-то наслаждением! Он служил в Москве, и во время московских пожаров 1834 года ему поручено было следствие над поджигателями и над людьми, обвиненными в поджигательстве; тут он предался безгранично своей страсти к пыткам. Он изобретал для этой страшной цели *какие-то новые орудия с особыми пружинами;* будучи человеком богатым, *заказывал эти новые орудия пытки в Англии,* — да, в свободной Англии, и *за свой собственный счет их выписывал в Москву!* Рассказывают, будто он умер от яда, отравленный какой-то женщиной, мужа которой пытал самым лютым образом.

У этого достойного брата, семью годами его старейшего, князь Александр Федорович научился взгляду на жизнь, заимствовал понятия об обязанностях человека и гражданина. Он поступил еще в ранней молодости в канцелярию великого князя Константина Павловича, которого вся Россия считала в то время наследником престола, и, следовательно, служба при нем, казалось, могла в будущем принести большие выгоды. Александр Федорович усердно угождал своенравному, сумасбродному и дерзкому цесаревичу, усердно кланялся любимцу его Куруте, втирался в доверие адъютантов великого князя и в особенности старался угождать жене его, доброй и милой княгине Жанете Антоновне Лович. Извиваясь, кланяясь и угождая, он достиг места начальника канцелярии великого князя. Вдруг скончался Александр I; на престол вступил Николай, и Голицын, уже рассчитывавший играть большую роль при Константине I, остался правителем великокняжеской канцелярии. Ему это было весьма прискорбно, и он тотчас переменил свой план действий, заложив новые батареи честолюбия. В начале 1826 года Александр Христофорович Бенкендорф, алкавший власти для приобретения денег и тем более жадный к деньгам, что был страшным мотом, уверил Николая Павловича, смертельно напуганного событиями 14 декабря и трусливого от природы, что для его безопасности и для спасения России необходимо дать большее развитие тайной полиции, облечь тайную полицию весьма обширной

властью и подчинить ему, Бенкендорфу. Николай послушался жадного царедворца и учредил III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, которое завело себе агентов повсюду. Князь Александр Федорович, лишаясь надежды властвовать именем Константина, вошел в стачку с любимцем Николая, сильным временщиком той эпохи Бенкендорфом, и принял от него поручение быть главным агентом III Отделения в Варшаве, что для него было весьма легким и удобным по занимаемому им званию начальника канцелярии цесаревича. В Варшаве в то время существовали три тайные полиции, все три безусловно подчиненные цесаревичу. Одна, так сказать, государственная, круг надзора коей обнимал все Царство Польское, всех жителей его: и военных, и гражданских, и не служащих, также поляков, путешествующих по чужим краям; начальником этой полиции был генерал от кавалерии Александр Александрович Рожнецкий; другая полиция, городовая, имела кругом действия город Варшаву и вместе с тем отчасти контролировала действие полиции Рожнецкого; этими варшавскими соглядатаями заведовал вице-президент города Любовидский; третья полиция, дворцовая, имела обязанностью наблюдать за придворными, за окружающими великого князя и за всеми теми, которые по какому бы то ни было случаю находились в прямых сношениях с цесаревичем; этой дворцовой полицией заведывал генерал-лейтенант Александр Андреевич Жандр; и Жандр и Любовидский, в вечер восстания 17 ноября 1830 года найденные заговорщиками в передней великого князя, были исколоты штыками, и Жандр умер в ту же ночь.

Голицыну в 1826 году было поручено от Бенкендорфа наблюдать за всеми этими тремя полициями и *за самим великим князем*. Голицын, должно полагать, усердно исправлял свою почтенную должность, потому что заслужил особенное и постоянное благоволение верховного начальника государственной помойной ямы Бенкендорфа. Когда в 1831 году умер Константин Павлович, Голицын недолго оставался без места; он получил одну из важнейших должностей в империи: звание статс-секретаря у принятия прошений. В правлении самодержавном, в стране безурядицы и бесправия, в стране, где против насилия свыше не существует иных средств к

защите, как страх или подкуп там, где страху нет места; в здании, выстроенном по-европейски, в коем приемные парадные комнаты меблированы на европейский образ, но в комнатах внутренних и меблировка, и обычаи, и жизнь обыденная на азиатский лад — в таком государстве звание статс-секретаря у принятия прошений облечено огромным влиянием, и в руках человека мало-мальски порядочного может служить источником добру и преградой злу. Всякий потерпевший несправедливость или притеснение может приносить жалобу царю, но лишь через статс-секретаря у принятия прошений, от которого вполне зависит дать ход жалобе или, остановив ее, преградить обиженному, оскорбленному, угнетенному всякий доступ к правосудию царскому. Сколько на таком месте можно принести пользы, сделать добра, отвратить зла, остановить вредных посягательств; стоит лишь только быть одаренным душой и совестью! Вот уже тридцать лет как Голицын занимает это важнейшее место, и его единственными помышлениями всегда были — удержаться на этом месте и получать как можно более наград! Он добровольно превратился в какого-то постоянно обязанного служителя главных начальников III Отделения: угождал Бенкендорфу, угождал Орлову, угождал Дубельту и ныне угождает князю Василию Андреевичу Долгорукову и Александру Львовичу Потапову. Всякий раз, как поступает к нему прошение о каком-нибудь деле несколько серьезном или прошение, касающееся какого-нибудь лица влиятельного, тотчас князь Александр Федорович поспешно устремляется в государственную помойную яму и спрашивает у начальника ее, какого мнения его сиятельство или его превосходительство о таком-то деле или о таком-то лице, и спрашивает наставлений: дать ли ход прошению или отвергнуть его. Благодаря этой холопской угодливости он уже тридцать лет зловредствует в комиссии прошений. Когда в этой комиссии случится председатель честный и благонамеренный, каким был, например, Павел Алексеевич Тучков, то Голицын своими интригами, на которые он обер-мастер, сумеет лишить председателя всякого влияния и распоряжается самовольно, по предписаниям III Отделения и под его защитой. После кончины в январе 1858 года Павла Алексеевича Тучкова, одного из самых почтенных людей своего времени, Голицын через покровительство князя Василия Андреевича Долгорукова и графа Александра Адлерберга выхлопотал себе звание

председателя комиссии, оставаясь в то же время и статс-секретарем у принятия прошений. Соединением в своих руках этих двух должностей он сделался бесспорным и полновластным барином комиссии прошений, которую наполнил Рашетами, Яниковыми, Сербиновичами, Энегольмами, одним словом, всякой бюрократической мелюзгой, неспособной положить ни малейшего предела безграничию власти его; вся эта мелюзга только и делает, что кланяется Голицыну и за эти поклоны получает по его представлениям звезды, аренды и прибавки к окладу.

Но имя князя Александра Федоровича перейдет к потомству с заслуженным позором не потому лишь только, что он комиссию прошений превратил в конюшню III Отделения, но еще и потому, что он уже тридцать лет исполняет должность инквизитора. Всякий раз в течение этих тридцати лет, как Николай I, Александр II или тайная полиция хотели придать какому-нибудь делу ход беззаконный, хотели произвести какое-нибудь следствие не на основании порядка, законом предписанного, всякий раз беззаконное исполнение прихоти их возлагалось именно на того самого сановника, который поставлен в России на охранение справедливости и на стражу закона: возлагалось на статс-секретаря, состоящего у принятия прошений, на высочайшее имя приносимых. Подобное явление можно встретить лишь при дворе петербургском, дворе монголо-немецком, и любопытнее всего то, что ни Николай I, ни Александр II никогда и не понимали даже ни безобразия, ни глупости этого образа действий их! А Голицын тем пользовался, чтобы выказаться и выслужиться, и с рабским усердием исполнял гнусную должность инквизитора. Лишь только в каком бы то ни было уголке обширной России ни проявился какой-нибудь факт, почему бы то ни было неприятный влиятельным при дворе лицам, князь Александр Федорович, невзирая на свои уже преклонные лета, готов в угождение государю и лицам влиятельным при дворе скакать сломя шею в тот уголок России, где можно инквизиторствовать. Прискачет и давай арестовывать, тянуть к допросам, разыскивать, допрашивать, пытать. Для него губить людей составляет какого-то рода наслаждение: сколько юношей лишились всей своей будущности, сколько семейств предано на жертву страданиям для того, чтобы статский советник 1831 года был в 1864 году действительным тайным советником, членом Государст-

венного совета и Андреевским кавалером! Когда взглянешь на эту физиономию, глаза которой никогда прямо ни на ком не останавливаются и взор которой ходит кругом, как бы избегая чужого прямого взгляда; когда слышишь эту речь медоточивую, этот голос, употребляющий все усилия, чтобы казаться как можно более мягким, и вместе с тем вспомнишь все прошедшее этого человека, все его отвратительное прошедшее, его низость, его бездушие, длинную вереницу лиц, коих будущность он разбил, тогда звезды, напяленные у него на груди, поистине кажутся как бы составленными из слез человеческих.

Когда в 1857 году правительство решилось на реформы, то Голицын сперва сильно упал духом: он сделался грустным, печальным и боялся, что его влияние совершенно сгинет. Но царская дворня имеет в нем слугу слишком усердного и слишком раболепного, чтобы оставить его своей столь влиятельной поддержкой. Царская дворня хорошо знала, что при бесхарактерности и неспособности Александра II царствование этого государя будет постоянным колебанием политического маятника то вправо, то влево; что Александр II шагнет вперед и начнет пятиться, еще шагнет вперед и, испугавшись, бросится в сторону; она знала, что час Голицына еще пробьет — и час этот пробил. В 1860 году изобрели в Харькове какую-то мнимополитическую историю; по ложным доносам арестовывали студентов, и Голицын был послан туда для производства следствия*. Весной 1862 года в Петербурге произошел значительный пожар, оказавший столь огромную услугу партии стародуров, которая тотчас спешила выдумать, будто поджоги имели источник политический. Порядочные люди и с первого раза не поверили подобной нелепости, зная весьма хорошо, что пожары в России дело самое обыкновенное и даже самое понятное при обилии деревянных построек, при небрежности в обращении с огнем и при могуществе в России бедственного *авось*. Но что же сказать теперь о правительстве, которое, наклепав на честных людей клеветами в мнимом поджигательстве, воспользовалось этим случаем, чтобы избавиться от тех, которые ему почему-либо не нравились? Что сказать о правительстве, которое наполнило Петропавловскую крепость и тюрьмы людьми невинными; обвиняет их в небывалых преступлениях; держит по целым

месяцам без допросов; потом при допросах отвергает оправдания самые справедливые и умышленно старается раздражать несчастных узников, чтобы довести их до какой-нибудь неосторожности, до какого-нибудь резкого выражения, вызванного томлением и страданиями двухгодового заключения? Для приведения в исполнение этого гнусного предначертания нужен был инквизитор опытный, бессердечный, чуждый всякому человеческому чувству и проникнутый самым непреоборимым желанием угождать стародурам: председательство в инквизиционной комиссии поручено князю Александру Федоровичу Голицыну, и он в ней по-своему распоряжается, в рабскую угоду своим покровителям, назло справедливости, наперекор совести. Имя этого человека, весьма хитрого, вкрадчивого, но недальнего умом, злобного душой, совершенно безразборчивого в средствах к достижению честолюбивых целей своих, имя этого человека перейдет к потомству заклейменным проклятиями современников, проклятиями вполне заслуженными.

«Листок», № 18, 25 февраля 1864, стр. 142—144;
№ 19, 28 апреля, стр. 149—150.

X

Граф Дмитрий Николаевич Блудов.

Окончив неприятный рассказ об инквизиторе Голицыне, об одном из тех людей, о которых тяжело говорить, мы отдохнем душой, перейдя к рассказу об одной из самых светлых личностей нашего времени, за два месяца окончившей свое долголетнее поприще, к рассказу о графе Блудове. Совершенства в мире не существует; у всякого бывают свои слабости, и у графа Блудова была печальная страница 1826 года, страница слабости, но он ее искупил душевным раскаянием и массой добрых дел, им совершенных. Теперь, когда его нет в мире, мы властны рассказать многое, слышанное нами от этого добрейшего и честнейшего человека, которого нельзя было не любить душевно людям, его хорошо знавшим. Теперь мы можем рассказать то, чего при жизни его не имели права высказывать. Мы читали в русских газетах, что биографией его хочет заняться писатель умный и честный, также хорошо знавший графа Блудова, — Егор Петрович Ковалевский*. Мы уверены, что труд почтенного Егора Петровича будет настолько полон, насколько может быть полна книга, в России напечатанная, именно настолько! И потому пишем мы биографический рассказ о графе Блудове, чтобы исполнить наш долг писателя заграничного, писателя ни от кого не зависимого, писателя бесцензурного. Мы поместим здесь сведения о сношениях покойного с его товарищами по министерству и с влиятельными в России лицами, сведения, вероятно, известные Егору Петровичу, но которых в России напечатать не может даже человек столь честный и столь самостоятельный, каков

Егор Петрович Ковалевский, одна из самых лучших и самых почтенных личностей петербургского общества[1].

Дмитрий Николаевич Блудов родился 5 апреля 1785 года в селе Романове, родовом имении Блудовых в Суздальском уезде Владимирской губернии. Рожденному за шестнадцать дней до издания Екатериной II известной дворянской грамоты, этому ребенку судьба предназначала в старости маститой блестящую будущность контрассигнировать: ровно за два года до своей кончины — указ об освобождении крестьян из-под ига крепостной зависимости, а за семь недель до смерти — указ о земских учреждениях, то есть именно те два постановления, с которых начинается новая эра жизни русской[2].

Он воспитан был своей матерью, к памяти коей сохранил нежнейшую любовь до такой степени, что хотел, чтобы письма матери положены были в его гроб и с ним опущены в могилу. В службу записан был, по обычаю того времени, весьма рано: пятнадцати лет от роду юнкером в Московский архив коллегии иностранных дел.

Вступление Блудова в свет совпало с одной из самых лучших эпох для России, с началом царствования Александра I. Последние годы владычества Екатерины II были годами тяжелыми под влиянием страха, внушенного старой царице французской революцией. Недальновидность и трусливость всемогущего Платона Зубова предоставили полный разгул мрачной деятельности Шешковского, одно имя которого обрисовывает эпоху. Но при Павле, этом воплощенном трусе, строгость правительства приняла размеры, напоминавшие первую половину русского восемнадцатого века, и преобразилась в настоящий террор самодержавия. Восшествие на престол Александра I было для России избавлением от ига, и первые годы его царствования, далеко не походившие на последние, на аракчеевщину, были светлой эпохой для современников, в особенности для юношества, всегда более впечатлительного, всегда более

---

[1] Спешим высказать, что сведения о 14 декабря, помещенные нами в биографии Батенькова, в № 16 «Листка», были нам рассказаны графом Блудовым, еще в бытность нашу в Петербурге, и тогда же записаны нами в нашу памятную книжку. [Эту биографию см. ниже.]

[2] Повторяем здесь сказанное нами в № 18 «Листка»: «Земские учреждения при самодержавии ничего не значат, но при введении порядка конституционного явятся его краеугольным камнем».

чувствительного ко всему, что облагораживает и возвышает достоинство человеческое. Родственник Ивана Ивановича Дмитриева, двоюродный брат Владислава Александровича Озерова, знаменитого в свое время поэта, Блудов был поставлен самой судьбой в среду передовых людей той эпохи. Он вскоре подружился с Дашковым, с Жуковским, с Батюшковым, своими сверстниками по летам, и был представлен Карамзину, который, будучи двадцатью годами старше его, стал советником и руководителем его юности. Когда в управление иностранными делами вступил в 1807 году приятель Карамзина, любитель отечественной истории и покровитель наук и художеств, канцлер граф Николай Петрович Румянцев, Карамзин ему с жаром рекомендовал молодого Блудова точно так, как на своем смертном одре он рекомендовал его Николаю I; таким образом, Блудов обязан честному и благородному Карамзину, оказавшему по части русской истории услуги, в настоящее время слишком забываемые и попираемые в прах людьми, не оказавшими своему отечеству ровно никаких услуг, — обязан был Карамзину и началом своего служебного поприща, и впоследствии своим поступлением в разряд деятелей государственных.

В 1809 году главнокомандующим нашей армией против турок назначен был тридцатидвухлетний генерал от инфантерии граф Николай Михайлович Каменский, один из лучших полководцев своего времени, много содействовавший покорению Финляндии. Начальником дипломатической канцелярии его определен был Блудов, и назначение это было весьма приятным для двадцатичетырехлетнего юноши, потому что Каменский облечен был почти безграничным доверием Александра I по делам восточным; ему поручено бороться дипломатически и с англичанами, врагами явными, и с Наполеоном, врагом тайным, под личиной дружеского Союза. Наполеон, который на Эрфуртском съезде обещал России и присоединение Молдавии и Валахии, и независимость Сербии, но под рукой делал все возможное, чтобы склонить Оттоманскую Порту к продолжению войны и отговорить ее от всяких уступок. Должность, занимаемая Блудовым, была бы весьма лестной и для мужа лет зрелых; тем важнейшей была она для юноши. Блудов исполнял должность свою отлично, и доказательством, до какой степе-

ни он заслужил уважение своего начальника, служит свадьба его, дворянина весьма небогатого, с одной из самых ближайших родственниц могущественного Каменского, княжной Анной Андреевной Щербатовой, дочерью одного из бар того времени, екатерининского сенатора князя Андрея Николаевича Щербатова.

Однажды Блудов, говоря о той эпохе и вспоминая разные анекдоты, говорил: «После обеда пили мы кофий; граф Каменский сидел в креслах, а мы все вокруг него стояли...» «Как, — прервал я, — неужели перед Каменским не садились?» «Нет, — отвечал Блудов со своей добродушно-иронической улыбкой, — теперь это понять трудно, а в то время перед начальством не принято было садиться!» Сановники александровского времени считались еще людьми прогресса — употребляя новомодное выражение — потому что принимали подчиненных своих в сюртуке и сидя, а не в халате и лежа, как делали Потемкин и сановники его эпохи[1].

В 1811 году Каменский был отравлен. На вечере у французского консула в Бухаресте разносили кофе. Каменскому под видом особого почета подали кофе на особом подносе в золотой чашке, а в чашку был всыпан яд! Вслед за тем Каменский заболел; его, полуживого, принуждены были отвезти в Одессу, где он скончался 4 мая 1811 года. Место его заступил Кутузов, знаменитый Михаил Илларионович.

Блудов возвратился в Петербург и по прошествии некоторого времени назначен был советником посольства в Стокгольм, где посланником находился граф Григорий Александрович Строганов, человек замечательного

---

[1] До чего доходила спесь сановников еще в двадцатых годах, может служить следующий анекдот, рассказанный мне графом Блудовым. Князь Кочубей, слывший, однако, каким-то полулибералом, возвратясь домой, находит у себя карточку приезжавшего к нему с визитом молодого кавалергардского офицера Вадковского, этого умного и благородного декабриста. В тот же вечер Кочубей говорит одному из гостей: «Представьте себе, до чего доходит ныне дерзость молодежи: нахожу я сегодня у себя карточку Вадковского! Мальчишка, корнет, оставляет свою визитную карточку мне, человеку в моем чине? Мог бы, кажется, расписаться у швейцара, а не оставлять мне своей карточки!»

До коронации Николая I, когда приехало с иностранными посольствами большое число молодежи, привезшей с собой обычаи заграничные, до тех пор оставление визитной карточки считалось в России фамильярностью и допускалось лишь между людьми, равными по общественному положению.

ума, один из самых любезных и самых почтенных вельмож своей эпохи. По прошествии нескольких лет Строганов назначен был посланником в Царьград, где в 1821 году прославился своим мужеством и своей энергией в опасный для христиан час греческого восстания, а Блудов назначен советником посольства в Лондон.

Между тем Блудов часто возвращался в Россию, посещал Петербург и Москву, и эти частые посещения поддерживали и скрепляли дружеские связи его с этим кружком писателей и людей даровитых, которому столь много обязаны и русская словесность, и русская история. Блудов, умевший писать отлично, почти ничего не писал, сколько нам известно по крайней мере, но, одаренный умом быстрым, вкусом изящным и тонким, редкой начитанностью и памятью исполинской, он был литературным поверенным и советником своих друзей; он их часто побуждал писать, еще чаще выслушивал их произведения до напечатания, делал свои замечания, давал свои советы, всегда ознаменованные печатью ума, изящного вкуса и глубокого знания сердца человеческого. Его советы высоко были ценимы друзьями его. Однажды, в старости своей, говоря с нами об этом, остроумный старик сказал: «Я бывал иногда повивальною бабушкою литературных произведений друзей моих».

Еще до переезда Карамзина на житье из Москвы в Петербург, следственно, еще до 1816 года, учредилось в Петербурге литературное общество, составленное из самых даровитых и самых остроумных людей того времени и оказавшее большие услуги русской словесности. Общество это носило название «Арзамас», а члены его именовались «арзамасцами». В числе членов находились: Батюшков, Блудов, князь Петр Андреевич Вяземский, Дашков, граф Уваров, весь умственный цвет молодежи первых годов александровского царствования. В то время происходила ожесточенная литературная борьба между партией слога нового, во главе которой стоял Карамзин, и партией слога старого, предводимой Шишковым, благороднейшим и честнейшим, но бездарным человеком. Поступление в Арзамасское общество сопровождалось некоторыми обрядами: в обществе каждый член назывался особым именем, им избранным из баллад Жуковского; в день своего приема новый член обедал с прочими и произносил речь, в которой хвалил Карамзи-

на; за обедом подавали гуся, в честь города Арзамаса, славного своими гусями. Из числа членов этого остроумного общества находится в живых князь Петр Андреевич Вяземский: ему подобает обязанность напечатать сведения об обществе «Арзамас», которое под оболочкой шутливой веселости принесло много пользы русской словесности, сближая между собой людей даровитых и благотворно действуя на развитие вкуса в публике.

Продолжаем начатый нами № 19 «Листка» рассказ о графе Дмитрие Николаевиче Блудове.

Из советников посольства в Стокгольме он был переведен на место более значительное: советника посольства в Лондоне. Русским послом в Англии находился в то время граф (впоследствии князь) Христофор Андреевич Ливен, человек совершенно бездарный, обязанный своим возвышением отчасти сметливости и ловкости матери своей, статс-дамы Шарлотты Карловны Ливен, отчасти хитрости и интригам жены своей. Шарлотта Карловна, которой фамилия Ливенов обязана своим возвышением и которая в продолжение с лишком тридцати лет, в течение четырех царствований, имела огромное значение при дворе петербургском, Шарлотта Карловна Ливен и муж ее происходили оба из фамилий старинных, но бедных до такой степени, что у детей их в младенчестве иногда не бывало башмаков и они бегали в лаптях. Федор Иванович Глебов, генерал-аншеф и знатный барин того времени, начальник Ливена, часто благодетельствовал ему, чего Шарлотта Карловна никогда не забывала во дни своего придворного величия и в коронацию Николая Павловича выпросила или, лучше сказать, вытребовала у него звание статс-дамы для вдовы Федора Ивановича, старухи Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой. Когда дочерям Павла потребовалась гувернантка, Екатерина II* хотела определить на это место такую женщину, которая, не имея никакой поддержки, никаких связей, вполне бы от нее зависела. Екатерина, как известно, немедленно по рождении Марией Федоровной каждого ребенка, отнимала этого ребенка от родителей, брала к себе и у себя их воспитывала. Легко понять, до чего было затруднительно положение гувернантки между бабушкой властолюбивой, полновластной, ненавидевшей и презиравшей своего мнимого сына, в сущности бывшего

крестьянским чухонским мальчиком[1], и этим мнимым сыном, отцом великих князей и княжен, самолюбивым, надменным и в высшей степени раздражительным Павлом?* Тут необходимой была бездна сметливости и ловкости. Остзейский генерал-губернатор граф Броун, старец умный и опытный, рекомендовал Екатерине Шарлотту Карловну, которую и назначили гувернанткой Павловых детей. Она сумела распорядиться столь ловко, что приобрела благосклонность и Екатерины, и Павла, и дружбу Марии Федоровны; Екатерина пожаловала ее в статс-дамы, что разом выдвинуло ее на первые ступени петербургского общества; подарила ей хорошие поместья. Павел, немедленно по вступлении своем на престол, надел на Шарлотту Карловну екатерининскую ленту; три года спустя пожаловал ее в графини, а между тем подарил ей несколько поместий. Шарлотта Карловна имела предобрейшую душу, но главным пороком ее была непомерная страсть к взяточничеству; она принимала все, не брезгая ничем, до куска ситца включительно; огромное значение ее при дворе делало, что к ней беспрестанно обращались со всевозможными просьбами. Можно легко себе представить, какое огромное состояние скопила Ливенша, как ее называли в простонародье, живя во дворце, на всем готовом, имея придворный экипаж, стол, на сколько ей приборов угодно, и еще значительный денежный оклад, имея большие поместья да сверх того еще получая благостыни со всех сторон; но главнейшее значение ее при дворе началось с ночи убиения Павла. В эту достопамятную ночь все в Михайловском замке растерялись: Александр и Константин страшно струсили; Мария Федоровна растерялась до такой степени, что потребовала себе престола*; не растерялась лишь одна Ливенша. С невозмутимым хладнокровием разбудила она своих воспитанников и воспитанниц: Марию, Екатерину и Анну Павловен, пятилетнего Николая Павловича и трехлетнего Михаила Павловича; одела их, велела заложить каре-

---

[1] Екатерина разрешилась от бремени 20 сентября 1754 года мертвым ребенком; на место его немедленно был принесен во дворец родившийся в Петербурге в тот же день сын чухонца из деревни Котлы. Этот чухонский мальчик был впоследствии императором Павлом, родоначальником ныне благополучно царствующих августейших потомков Михаила Федоровича Романова, как выражаются официальные вралеписцы.

ту; потребовала военный конвой и под прикрытием конвоя отвезла их в Зимний дворец, куда в ту же ночь перенесено пребывание двора. С этой минуты Шарлотта Карловна вышла из разряда подданных и стала, можно сказать, членом царского семейства; великие княжны у нее целовали руку, и когда она целовала руку у Марии Федоровны, императрица подавала вид, будто хочет поднести к губам своим руку Шарлотты Карловны, которая, разумеется, спешила отдернуть свою десницу. С воспитанниками своими она нимало не церемонилась и говорила им резкие истины. Николай Павлович перед вступлением своим на престол командовал гвардейским корпусом и был ненавидим офицерами. Шарлотта Карловна однажды сказала ему: «Nicolas, vous ne faites que des bêtises! Tout le monde vous déteste».[1] Про Михаила Паловича она на своем крайне ломаном французском наречии говорила: «Oh! Michel! C'est un fatal!»[2] Одного из своих сыновей, Христофора Андреевича, она сделала двадцати пяти лет от роду генерал-адъютантом Павла, и в такое время, когда звание генерал-адъютантское еще не было опошлено, как ныне, и когда число их не превышало восьми или десяти. При Александре Христофор Ливен управлял военной канцелярией государя; в 1807 году назначен посланником к прусскому двору, а в 1812 году, по восстановлении союза с Англией, назначен послом в Лондон и занимал это важное звание в течение двадцати двух лет.

Новый начальник Блудова, Христофор Ливен, был, как мы сказали выше, человеком совершенно бездарным, не способным написать даже самой посредственной дипломатической депеши[3]. Им управляла жена его Дарья Христофоровна*, урожденная Бенкендорф, и управляла вполне безгранично. Ее мать, урожденная баронесса Шилинг фон Канштат, была с детства подругой императри-

---

[1] [«Николай, Вы делаете только глупости! Вас все ненавидят».]

[2] [«Михаил! Это человек роковой».]

[3] Преемник Блудова в звании советника посольства в Лондоне князь Горчаков, нынешний вице-канцлер, выведенный однажды из терпения неспособностью Ливена, сказал графу Павлу Медену: «Вы не можете себе представить такое положение: быть живым, привязанным к трупу». Хотя слова эти *сказаны были с глазу на глаз, но немедленно же дошли до Ливена,* который воспылал непримиримой ненавистью к князю Горчакову; последний принужден был оставить лондонское посольство и принять место первого секретаря в Риме, место менее значительное.

цы Марии Федоровны: вместе с Марией Федоровной прибыла в Росию и вышла замуж за бестолкового, глупого и вечно рассеянного генерала Бенкендорфа[1]. Дарья Христофоровна Ливен не была одарена умом ни обширным, ни замечательным, но снабжена была от природы хитростью непомерной; сметливая, ловкая, вкрадчивая, искательная, никто лучше ее не умел влезть в чью-либо душу; в искусстве интриговать она не уступала самому Талейрану, который, зная ее, боялся и весьма ее «менажировал», употребляя одно из выражений петербургского придворного круга. Вкрадчивость и искательность ее были изумительными и, должно признаться, не стеснялись ни предрассудками, ни даже простыми нравственными приличиями[2]. Эта вкрадчивость, эта искательность имели тем более успеха, что всегда и постоянно облекались какой-то особенной величавостью в приемах, в обхождении, в беседе; она имела какой-то особенный дар льстить, так сказать, свысока и извиваться величаво. Ум недальний, но весьма тонкий при помощи приобретенного навыка, учинил ее способной скоро разгадывать людей и находить в душе каждого те слабые, часто и порочные струны, ухватясь за которые легче всего водить людьми. Выросшая в Петербурге, на почве грязнейшего деспотизма, двадцать два года прожившая в Англии, в этой стране широкого развития свободы разумной, она ознакомилась со всеми видами и формами правлений; революции ее не устрашали; деспотизм не внушал ей ни

---

[1] Христофор Иванович Бенкендорф, отец графа-жандарма.

Рассеянность его была необыкновенной. Однажды Христофор Иванович приезжает в почтамт и спрашивает, нет ли писем на его имя? «Как фамилия Вашего превосходительства?» — спрашивает чиновник. Христофор Иванович позабыл свою фамилию, выходит в сени и спрашивает у своего лакея: «Как бишь моя фамилия? Я позабыл!» «Бенкендорф, Ваше превосходительство», — отвечает лакей. Христофор Иванович бежит опять в присутствие почтамта и с радостью кричит: «Меня зовут Бенкендорф!»

[2] Княгиня Дарья Христофоровна Ливен вовсе не церемонилась обнаруживать свою вкрадчивость и искательность. Однажды в Париже в 1843 году она рассказывала, что в бытность мужа ее послом в Англии король Георг IV имел любовницу мистрисс .... и рассказывала, что она эту госпожу часто видала, у себя принимала и к ней езжала, прибавляя весьма бесцеремонно: «Разумеется, при жизни Георга IV». «А по смерти короля?» — спросил один из собеседников. «После, само собою разумеется, я перестала с нею видеться. С какой стати мне было продолжать вести знакомство в нею?» — отвечала светлейшая княгиня, статс-дама петербургского двора.

малейшего отвращения; она была холодной и равнодушной ко всему, что не касалось ее личного значения и самолюбия личного. Важные должности, с юношеских лет занимаемые ее мужем, доставили ей возможность всегда и везде постоянно окружать себя государственными деятелями, в обществе коих, в беседе с которыми она приобрела тот огромный навык общественный, то знание людей, какими отличалась на старости лет своих. Высокими политическими делами она заниматься была неспособна; до них не хватало ее ума, впрочем столь тонкого, но зато весьма немногие из современников могли столь искусно вести интриги придворные, интриги политические, сближать своих друзей, ссорить врагов своих, и удачнее, всегда, впрочем, с видом наружного и даже величавого достоинства, сближаться с людьми, могущими быть полезными в настоящем или в будущем.

Мы вошли в эти подробности по той причине, что в рассказе нашем о графе Блудове мы намерены говорить о многих из тех лиц, с которыми он находился в политических и придворных отношениях или столкновениях. Полагаем, что читатели наши не будут за то пенять на нас.

Блудов по чрезвычайной мягкости характера своего находился в весьма хороших отношениях к своему начальнику и к жене начальника. Пребывание в Англии полезно для всякого, а тем более оно было в высшей степени полезным для такого умного человека, как Блудов. Многому можно научиться в Англии; большой запас знания людей и вещей может вынести из пребывания в этой стране ум пытливый и прозорливый, да и, признаться, любопытно изучать это гражданское устройство, имеющее, как и все в мире, свои несовершенства, даже свои пороки, но дарующее свободу весьма обширную и вместе с тем столь разумную. Полнейшая свобода лица, действий, собраний, слова изустного, слова печатного, безграничное равенство юридическое; неравенство политическое, правда; но где же политическое равенство может в действительности существовать иначе, как на бумаге? Зато каждому, без всякого исключения, открыта широкая дорога умом и трудом пролагать себе путь до самых высших ступеней общественной лестницы, и настоящий владыка в Англии есть, в сущности, мнение общественное, вполне выражаемое свободой слова печатного и правом митингов, то есть общественных сходок. Себялю-

бие существует везде; в других странах оно прикрывается личиной добродушия или старается отвести глаза потоками речей громких и сентиментальных. В англичанах тот недостаток, по понятиям одних, то качество, по словам других, что себялюбие проявляется у них в своем виде истинном, не прикрытом, не разукрашенном, подчас омерзительном, но по крайней мере в проявлении этом не существует лжи: истина все-таки берет верх. Добрая природа и горячая душа Блудова и здесь не облеклись в броню себялюбия; он в Англии научился уважать человечество, не разучившись любить его...

Но пребывание его в Англии не могло быть продолжительным. Жизнь в Лондоне дорога и при тогдашней цене жизни в Петербурге, не достигшей еще нынешней ужасающей дороговизны, жизнь лондонская была еще в то время гораздо дороже петербургской. Блудов имел очень небольшое состояние; у жены его состояние было порядочное, но не весьма значительное; между тем у них уже было четверо детей. Скромный и кроткий Блудов имел в сердце своем одну лишь струну непобедимой гордости, струну самую редкую в государствах самодержавных: он был слишком гордым, чтобы когда-либо что-нибудь просить у своего государя; он предпочел оставить роскошный Лондон и возвратился в Россию, где числился по коллегии иностранных дел.

Этой коллегией тогда управляли в одно и то же время двое статс-секретарей; странная мысль часто неразумного, иногда полусумасбродного Александра I, мысль тем более странная, что эти два лица, графы Нессельроде и Капо д'Истрия, были совершенно противоположны между собой и по личным свойствам своим, и по направлению политическому. Граф Иван Иванович Капо д'Истрия, грек происхождением, уроженец островов Ионических, имел все блистательные свойства греков и вместе с тем был совершенно чуждым всем тем порокам и недостаткам, горьким плодам четырехвекового страшного рабства, которые искажают и будут еще несколько времени искажать характер племени греческого, одного из наиболее счастливо одаренных племен в этом мире. Капо д'Истрия имел ум высокий и блистательный вместе; редкое благородство душевное в нем сочеталось с красноречием увлекательным; всякая благородная мысль была ему доступна, была ему любезна, встречала в нем

защитника и ратоборца; всякое возвышенное чувство находило отголосок в его сердце гуманном, человеколюбивом. Он был одной из самых симпатичнейших личностей в новейшей истории: обаянию его вполне поддавались юноши, служившие под его начальством и сохранившие о нем благоговейное воспоминание; и не только юноши гуманные, подобные нынешнему вице-канцлеру князю Горчакову, но даже юноши себялюбивые, холодные, черствые, заплесневелые, как, например, граф Виктор Никитич Панин. Нужно ли прибавлять, что Капо д'Истрия был либералом и поборником идей конституционных?

Совершенно противоположных свойств был граф Карл Васильевич Нессельроде; немец происхождением и по своим понятиям, немец старого покроя; человек ума необширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы, но совершенно чуждый потребностям современным, им принимаемым за прихоть игривого воображения. Искусный пройдоха, обревший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи, и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми. Поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нессельроде не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и, вероятно, полагал, что при сотворении мира Господь Бог, уже отдохнув на седьмой день, лишь на восьмой день, после отдыха и собравшись с силами, создал первого немца.

Таким образом, Нессельроде не любил Блудова за то, что он не только был русским по происхождению, но еще имел дерзость быть русским и в душе, а графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, эта достойнейшая дщерь всеворующего министра финансов графа Гурьева, не любила Блудова за то, что он ее ничем не дарил.

Капо д'Истрия имел намерение дать Блудову должность деятельную, но вскоре почтенный грек вышел в отставку.

Александр I* был человеком весьма хитрым и лукавым, но ума самого недальнего; твердых мнений, коренных убеждений он никогда не имел, но, впечатлительный от природы, он весьма легко увлекался то в одно, то в другое направление, и увлечения его носили на себе отпечаток какого-то жара, какого-то мнимого энтузиазма. Вообще, в характере его было много женского: и в его искусной вкрадчивости, и в его любезности, можно сказать, обаятельной, и в его удивительном непостоянстве. В летах первой юности своей, отчасти под влиянием рассказов о Швейцарии наставника своего Лагарпа, отчасти от омерзения, внушенного ему подлостями и низостью царедворцев русских, низостью тем более поразительной, что люди эти творили свои бухарские, азиатские подлости, будучи разодетыми, напудренными и нафабренными наподобие дюков и маркизов двора версальского, под этим двойным влиянием Александр I питал какие-то стремления полуреспубликанские, впрочем смутные и неясные, как и все его стремления в продолжение целой жизни. Имея страсть рисоваться, страсть, всегда им сохраненную, он в письмах к некоторым близким людям, например к Кочубею, поговаривал о желании своем отречься от престола и вести жизнь тихую в скромном уединении, поговаривал об этом тем охотнее, что хорошо знал, что фразы эти останутся фразами и что престол от него не уйдет. Когда же впоследствии он узнал через Палена в феврале 1801 года, что ему точно угрожают лишение престола и ссылка, то ни на единый миг не поколебался изъявить Палену согласие свое на то, чтобы отца его *принудили* отречься от престола, удовольствовавшись уклончивым ответом Палена насчет опасности, угрожающей отцу его. «Надеюсь, что государь не подвергнется личной опасности?» «Ваше высочество, — отвечал Пален, — мы надеемся, что все обойдется благополучно». Дикое самодержавие Павла внушило Александру стремление к правилам конституционным, стремление также смутное и неопределенное. По восшествии своем на престол он был жарким поклонником первого консула Бонапарта; потом под влиянием прусской королевы Луизы сделался его врагом. Принужденный в Тильзите сми-

риться перед грозным завоевателем, он стал льстить и угождать ему; под его крылом приобрел Финляндию и, обманутый им насчет Молдавии и Валахии, стал готовиться к неизбежной с ним борьбе. В то же время он занимался со Сперанским мечтами конституционными; мы говорим — мечтами, потому что Александру весьма желательно было прослыть либералом, а конституции давать не хотелось; он так мало понимал возможность свободного правления, что однажды в разговоре сказал Сперанскому: «Так в депутаты будут выбирать кого захотят?» — «Точно так, государь». — «Да этак они, пожалуй, пришлют мне и Панина?»* (Он питал особенную ненависть к графу Никите Петровичу Панину.) В 1814 году и на Венском конгрессе отчасти под влиянием Лагарпа и князя Адама Чарторыжского, но в особенности из желания приобрести хвалы и рукоплескания Европы, утомленной деспотизмом и алкавшей учреждений либеральных, Александр I явился либералом; он принудил Людовика XVIII дать конституцию Франции и сам даровал конституцию Царству Польскому. Тут, на Венском конгрессе, знаменитый Штейн рекомендовал ему Капо д'Истрия, и Александр, приблизив к себе умного и даровитого грека, вскоре стал оказывать ему особенное доверие. С 1812 по 1815 год при государе находился по делам дипломатическим статс-секретарь граф Нессельроде, определенный в эту должность сильным придворным влиянием искусных интриганов, своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых. Со времени Венского конгресса к Нессельроде присоединен был Капо д'Истрия, и не помощником, а равным сотрудником. Нессельроде тянул руку самодержавия и союза с Австрией; Капо д'Истрия желал падения Турции, восстановления Греции и повсеместного развития конституционного образа правления.

Но не дремал Меттерних, тогдашний полновластный руководитель политики австрийского двора. Он близко сошелся с Нессельроде, ослепил его своим умом, превратил его в своего клеврета и подручника, можно сказать, в своего слугу, а для ближайшего наблюдения за его действиями и для сильнейшего на него влияния назначил посланником в Петербург находившегося в этом звании короткое время перед разрывом 1812 года графа Лебцельтерна, человека умного, весьма ловкого, хитрейшего

и который, в сущности, был братом Нессельроде[1]. Лебцельтерн до такой степени умел войти в доверие к Александру, что один только из всех иностранных дипломатов в России пользовался правом, с 1807 по 1811 год предоставленным также французскому послу Коленкуру, видеться с государем когда пожелает. Чтобы не задевать самолюбия своих товарищей-дипломатов, умный Лебцельтерн скромно пользовался своим важным правом, и когда государь жил в Царском Селе (где проводил он бóльшую часть года), то Лебцельтерн для переговоров с ним отправлялся в сад в час государевой прогулки и там беседовал с царем, будто при случайной с ним встрече. Но чем скромнее он действовал с виду, тем более приобретал влияния, и всеми силами старался внушать Александру боязнь последствий развития либеральных идей[2]. В 1821 году вспыхнуло греческое восстание, самое священное из всех восстаний, когда-либо происходивших. Все: и долг христианина, и долг русского царя, и честь, и совесть — все строжайше предписывало Александру подать помощь грекам. В дворах французском и прусском он нашел бы в то время верную поддержку и мог бы освободить от мусульманского ига все христианские племена, томящиеся под этим бесчеловечным, страшным игом. На этот благородный и вместе с тем полезнейший для России путь Капо д'Истрия старался направить русскую политику, но Меттерних через посредство Лебцельтерна и Нессельроде успел внушить Александру систему политики гнуснейшей: несчастным грекам отказано было во всякой поддержке по той будто

---

[1] *Настоящим* отцом канцлера Нессельроде был отец графа Лебцельтерна, австрийский дипломат барон Лебцельтерн; дед его, крещеный еврей, был лейб-медиком Карла VI.

[2] Довольно любопытно, что усердный поборник самодержавия граф Лебцельтерн и один из главных декабристов князь Сергей Петрович Трубецкой женаты были на родных сестрах и, невзирая на противоположность политических мнений, были весьма дружны между собой. Трубецкой был даже арестован в то время, когда ночевал у Лебцельтерна. Австрийский посланник Лебцельтерн жил в то время у Аничкова моста, в доме графа Гурьева, выходящем на Фонтанку, а родной брат его, австрийский министр русских иностранных дел Нессельроде, жил в той части того же самого дома, которая выходит на Караванную улицу. Они могли переходить один к другому через внутренний коридор.

бы причине, что они нарушили обязанность подданных, восстав против своего законного (!!!) государя, султана турецкого!!! Христиане преданы были на жертву оттоманам, и русский царь поступил, как мог только поступить шах персидский или какой-нибудь другой поклонник Магомета. И это делал государь, проводивший целые часы в молитвах и в чтении священных книг! Русское правительство с 1821 по 1828 год являлось в делах восточных, смело можно сказать, помощником турецких палачей, потому что своим преступным, варварским бездействием допускало извергов терзать и истреблять христиан. Благородный Капо д'Истрия не мог оставаться равнодушным зрителем подобной политики, тем более что сам был членом Этерии*, этого знаменитого и почтенного тайного общества, приготовившего греческое восстание; он покинул русскую службу и удалился на житье в Женеву...

С удалением Капо д'Истрия Блудов лишился своего покровителя в коллегии иностранных дел. Дипломатическая служба ему была закрыта, да и в гражданскую вход был затруднительным. Внутренними делами в России заведовал в то время Аракчеев, и заведовал самовластно, так что без него и мимо него ничего сделаться не могло. Не было двух натур более противоположных, чем блудовская и аракчеевская. В одном — доброта душевная, мягкость характера, приветливость в обхождении, желание делать добро, отвращение от зла и образованность блистательная; в другом — бездушие, презрение к человечеству, часто жестокость, суровость всегда, отсутствие всякого лоска образованности, непреодолимая наклонность к тиранству и грубость в обхождении, достигавшая таких размеров, что когда по случайному стечению обстоятельств ему приходилось кому-нибудь сделать добро или оказать услугу, то весьма часто облекал он свой поступок благодеяния в такие формы, что охлаждал чувство благодарности.

Скончался Александр. Николай вступил на престол.

События 14 декабря известны. Несколько времени спустя при одном из последних свиданий Николая с Карамзиным, в то время быстро склонявшимся к могиле, царь говорит историографу: «Представьте себе, Николай Михайлович, мое положение: Вы принуждены здоровьем своим ехать в чужие края, а около меня, царя русского, нет ни одного человека, за исключением Сперанского,

который бы умел писать по-русски, то есть был бы в состоянии написать, например, манифест. А Сперанского, не сегодня, так завтра, может быть, придется отправить в Петропавловскую крепость»[1]. Карамзин рекомендовал Николаю по уму, способностям и честности двух друзей своих, действительно достойных его рекомендации: Блудова и Дмитрия Васильевича Дашкова, впоследствии бывшего министром юстиции. Дашков также служил по коллегии иностранных дел, также пользовался покровительством знаменитого и почтенного Капо д'Истрия, был секретарем посольства в Цареграде и после удалении Капо д'Истрия, нелюбимый, как и все русские, австрийским министром русских иностранных дел Нессельроде, стоял по коллегии иностранных дел без всяких занятий.

Блудов определен был правителем канцелярии при Верховном уголовном суде над декабристами*, суде, назначенном не судить, а лишь подписать жестокие приговоры, по воле бесчеловечного и сумасбродного Николая произнесенные над этим блистательным цветом русской молодежи двадцатых годов. Блудову же было поручено составить для следственной комиссии доклад на высочайшее имя о ходе заговора и действиях заговорщиков[2]. Комиссия поступала с заключенными самым гнусным образом: многих держали по неделям на хлебе и на воде, не давая им переменить белья; других пытали, секли; знаменитому Пестелю в самый тот день, что его привезли в Петропавловскую крепость, дали триста ударов розгами; потом этого же самого Пестеля видел на очной ставке Иван Иванович Пущин, с головой, окаймленной красным рубцом (рассказывают, что несчастному узнику сжимали голову железными обручами! Смело можно сказать, что железный обруч пытки был для Пестеля венцом доблести великого гражданина!). Иван Иванович Пущин

---

[1] Этот разговор был сообщен Карамзиным Блудову, а Блудовым мне передан. Об участии Сперанского в тайном обществе см. в Биографии Батенькова в № 16 «Листка». [Биография Батенькова помещена ниже.]

[2] Следственная комиссия составлена была из девяти человек: старого идиота военного министра графа Александра Ивановича Татищева, тупоумного великого князя Михайла Павловича, подлейшего князя Александра Николаевича Голицына и шести генерал-адъютантов по званию и по душе усердных николаевских холопов: графа Дибича, графа Павла Васильевича Голенищева-Кутузова, князя Чернышева, графа Бенкендорфа, графа Левашова и Алексея Николаевича Потапова.

на очной ставке с одним из своих товарищей на упрек последнего: «Как же ты мог, Пущин, выболтать такую вещь?» отвечал: «Ах! Не говори этого! Если бы ты знал, что со мною делали! Тут и отца родного выдашь!» Член следственной комиссии Чернышев немедленно, показывая кулак Пущину, заорал: «Молчать!»

После всего этого можно себе представить, что такое были показания несчастных узников и можно ли на них основываться для обвинения этих достойнейших сынов России?

Грустно, невыразимо грустно нам укорять и обвинять Блудова, которого мы так искренно любили, но что же делать?.. Истина выше всего: изменять ей не подобает!.. Всякий писатель обязан говорить правду, а тем более писатель-эмигрант, добровольный выходец из своего отечества, для приобретения свободы себе и своему перу добровольно покинувший погруженную в рабство родину свою...

Доклад следственной комиссии* приказано было Блудову составить в таком виде, чтобы стараться умалить значение заговора и стараться сделать заговорщиков смешными! Эта позорная мысль гнусного Николая была Блудовым рабски исполнена, но, разумеется, не достигла и не могла достигнуть предположенной ей цели. Людей, которые для блага своего отечества жертвовали состоянием, положением в свете, личной свободой, одним словом, всем тем, что людей пленяет и привлекает, и добровольно шли на каторгу, таких людей никакое перо в мире не может сделать смешными: перед подобными патриотами благоговеют честные современники; перед ними историк склоняется с уважением, и в будущем, когда политическое рабство уступит место свободе, тогда *свободная* Россия открыто почтит память этих великих мучеников. Доклад следственной комиссии нанес страшный нравственный удар и Николаю, и правительству, и Блудову, а в отношении к декабристам-страдальцам прибавил лишь новую яркую полосу к венцу подвигов высокого мученичества этих благороднейших людей!

Но император Николай не ограничился этой ложной и постыдной рукописью, которую, к несчастью, согласилось начертать перо слабохарактерного Блудова! Николай прибавил к рукописи еще разные свои затеи (в чем признавался мне сам Блудов), и Блудов имел непрости-

тельную слабость согласиться на эти дополнения, то есть принять их на свою нравственную ответственность!!! В числе этих гнусных прибавлений находится между прочим *подлейшая клевета* на князя Сергея Петровича Трубецкого; там сказано, что собранные для дел тайного общества пять тысяч рублей он издержал, но не на дела общества. Эта клевета, изобретенная самим Николаем, одно из яснейших доказательств нравственного уродства этого царя. Князь Сергей Петрович Трубецкой был человеком благороднейшего характера. По неисповедимой воле провидения он имел в жизни своей один день малодушия и трусости, и, к несчастью его, это был важнейший день его жизни — 14 декабря! Он тут прослыл трусом, между тем как он трусом никогда не был, о чем неоднократно свидетельствовали его старые товарищи по Семеновскому полку. Он делал все походы 1812, 1813 и 1814 годов в рядах гвардии, с храбростью истинно русского офицера; в особенности в сражении под Кульмом он отличился мужеством самым хладнокровным; впоследствии он переносил страшные бедствия свои с непоколебимым достоинством; он был весьма нищелюбив, делал много добра, находил наслаждение в том, чтобы оказывать помощь неимущим, и невзирая на свою слабость в день 14 декабря, до самого конца жизни своей пользовался любовью и уважением благородных товарищей своего благородного несчастья. И этого человека Николай хотел оклеветать!.. И Блудов согласился подписать эту клевету!..

Впоследствии он горько в том раскаивался...

С того времени минуло двадцать девять лет; наступил январь 1855 года. Зять Трубецкого, муж старшей дочери его Николай Романович Ребиндер (нынешний сенатор), прибыл из Кяхты, где был градоначальником, в Петербург[1]. Само собой разумеется, что Николай Романович Ребиндер душевно желал выхлопотать тестю своему право возвратиться из Сибири, и тем более, что за несколько месяцев перед тем

[1] Его вызвал из Кяхты министр финансов Брок с целью сделать директором департамента внешней торговли на место Михаила Васильевича Пашкова, неспособность которого превосходила всякое вероятие, но не хотевшего по причине расстройства своего состояния променять директорство внешней торговли, с которым сопряжен двенадцатитысячный оклад, на сенаторское звание с его окладом четырехтысячным. Но в феврале Александр II вступил на престол. Александр Адлерберг и Эдуард Баранов приобрели влияние огромное и поддержали Пашкова на его месте, а Николай Романович Ребиндер поступил в Министерство просвещения.

Трубецкой лишился своей жены, почтенной и добродетельной княгини Екатерины Ивановны[1], и сильно тосковал; дочерей своих выдал замуж; а юный сын его, князь Иван, не хотел покидать старика отца и потому не хотел без него оставлять Сибири. Я всегда благоговел перед декабристами и потому предложил Николаю Романовичу Ребиндеру познакомить его с Блудовым, который мог быть ему весьма полезным и по этому делу и вообще, тем более что за болезнью князя Чернышева Блудов тогда исправлял должности председателя Государственного совета и Комитета министров. «Но ведь вы знаете, — сказал мне Ребиндер, — сколько Блудов виноват перед моим тестем?» «Знаю, — отвечал я, — но Блудов в том весьма раскаивается, и могу вас уверить, что он всегда готов делать добро декабристам». «Для облегчения судьбы моего тестя и моего шурина, — сказал Ребиндер, — я готов ехать к Блудову!» Я отправился к графу и просил позволения представить ему Ребиндера, прибавив, что он зять князя Сергея Петровича Трубецкого. При этом имени сильное волнение изобразилось на лице старика, но он преодолел его и отвечал мне, что ему весьма приятно будет познакомиться с Ребиндером. Несколько дней спустя приехали мы к нему в предвечернее время еще довольно рано. Он еще не выходил в гостиную, и мы застали его еще в его кабинете. Он принял Ребиндера самым любезным образом, и когда вскоре составлен был комитет из него, старика Адлерберга, министра внутренних дел Дмитрия Гавриловича Бибикова, шефа жандармов князя Орлова и военного министра князя Василия Долгорукова для рассмотрения вопроса об амнистии и о размерах, которые можно ей дать, то Блудов действовал в этом комитете самым благороднейшим образом. Од-

[1] Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, одна из самых благороднейших русских женщин, обессмертившая себя великодушным самопожертвованием и блеск роскошной петербургской жизни добровольно променявшая на существование жены каторжника в рудниках Нерчинских, скончалась в Иркутске в 1854 году за два года до амнистии, и прах ее покоится в иркутском Девичьем монастыре. Ей не было суждено возвратиться из ссылки, подобно другой добровольной великой изгнаннице, жившей в Сибири в XVIII веке, столь же почтенной, как и она, Екатерине Ивановне, графине Головкиной, урожденной княжне Ромодановской, которая после смерти своего мужа возвратилась в Россию и с разрешения императрицы Елизаветы привезла с собой тело своего мужа, между тем как Николай и Александр II не дозволяют родным декабристов, в Сибири умерших, перевозить гробы их на семейные кладбища!

нажды вечером приезжаю я к нему; он только что возвратился с заседания этого комитета и на мой вопрос, есть ли надежда на возвращение политических ссыльных, он поднял руки к небу и воскликнул: «Господи Боже мой! Что за несчастье заседать и иметь дело с людьми, которые ровно ничего не понимают и всего боятся, всего решительно! Глупость у них рождает трусость, а от трусости они еще более глупеют!» — и прибавил: «Знаете ли, кто меня поддерживает в отношении к амнистии декабристам? Дмитрий Гаврилович Бибиков! Он один живой человек сидит со мной в этом комитете — он один, а прочих невыносимо слушать, когда они начнут нести свою чушь! Ни Орлову, ни Адлербергу не хочется видеть в Петербурге людей, которым они стали бы кланяться в пояс, если бы тем удались их замыслы тридцать лет тому назад!» «Как, — спросил я, — неужели Адлерберг и Орлов были в заговоре 1825 года?» «Нет, — отвечал Блудов, — в заговоре они, собственно, не были, но о многом они знали, точно так же, как и трое Перовских — Лев, Василий и Алексей[1], и если бы заговорщики одержали верх, то они были бы их покорнейшими слугами. У Орлова в конной гвардии даже лошади подкованы не были, чтобы в случае успеха заговорщиков доказать свое нежелание идти на помощь государю.[2] Он в тот день весьма колебался, вести ли конную гвардию на площадь или нет, но его убедил его любимец, полковой адъютант

---

[1] Алексей Алексеевич Перовский был весьма известен в русской словесности того времени под псевдонимом Антония Погорельского; Василий Алексеевич Перовский, когда увидел 14 декабря, что Николай одерживает верх, чтобы доказать свое верноподданническое усердие, бросился с солдатами обшаривать дом графини Лаваль, нынешний дом графини Борх, рядом с Сенатом. У графини Лаваль жили приезжие из Киева зять и дочь ее, князь Сергей Петрович и княгиня Екатерина Ивановна Трубецкие, и занимали комнаты в нижнем этаже, выходящие на Английскую набережную, войдя в сени на правую руку. Там Перовский стал ломать замки шкафов и письменных столов, и эта ванькокаиновская работа увенчалась успехом. В одном столе он нашел бумажник князя Трубецкого, а в бумажнике листок с намеченными пунктами прокламации предполагаемого нового правительства.

[2] Даже сам официальный писатель барон Модест Андреевич Корф в своей книжке о восшествии Николая на престол проболтался спроста, рассказав, каким образом Орлов, встретив графа Милорадовича, сказал ему, что на площади опасно быть, на что Милорадович отвечал, что место генерал-губернатора именно там, где есть опасность.

Цынский, которому он за это впоследствии доставил место обер-полицмейстера в Москве и поддерживал его там против воли князя Дмитрия Владимировича Голицына, который справедливо жаловался, что Цынский страшным образом ворует. Я спросил у Блудова, что делает в их комитете князь Василий Андреевич. Блудов отвечал: «Разве вы его не знаете? Он и глуп, и трус; ровно ничего не понимает, и всякий раз, когда кто-нибудь чихнет, ему слышится набат революции».

Да, 1826 год был единственной мрачной страницей в жизни Блудова, и он впоследствии горько раскаивался в своих поступках. Однажды он мне почти со слезами на глазах сказал: «Кто не имел слабостей? Кто мог всегда устоять против влияний людских? Иногда и честному человеку случится по слабости согласиться сделать то, о чем после горько будешь раскаиваться и что готов был бы искупить ценой нескольких годов своей жизни. Но в одном лишь могу отдать себе справедливость: руки мои остались чистыми; никогда чужое золото не замарало их!»

И он говорил истину[1].

В 1826 году он был пожалован в статс-секретари и назначен товарищем министра народного просвещения и духовных дел Шишкова. Это было странное сближение личностей, одна из тех бестактностей, коими столь обильно николаевское царствование. Друг Карамзина, которому Карамзин, умирая, завещал издание двенадцатого тома своей истории, друг и советник самых даровитых из новейших русских писателей той эпохи, Блудов становился ближайшим сотрудником защитника старинного русского слога, ближайшим сотрудником литературного и, можно прибавить, почти личного врага Карамзина и всех друзей его. Невзирая на всю мягкость характера Блудова, отношения между ним и Шишковым были весьма неприятными, но политическая звезда Шишкова уже совершенно склонялась к закату: Николай Павлович терпеть его не мог.

Александр Семенович Шишков был человеком благородного характера и замечательного бескорыстия. Добрый душой, но вспыльчивый, чрезвычайно упрямый в своих мнениях, тем более упрямый, что ум его был

---

[1] [Здесь Долгоруков повторяет уже сказанное выше.]

весьма ограниченный, он достиг уже сорокалетнего возраста в то время, когда Карамзин начал преобразование русского слога. Шишкову это весьма не понравилось: он бросился в противоположную сторону и со свойственной ему вспыльчивостью дошел в ней до крайности, а дойдя до этой крайности, упрямство его уже не позволило ему возвратиться. Он сделался главой староверов литературных и политических и отъявленным врагом всяких нововведений и всех нововводителей: число первых ежегодно уменьшалось; число нововведений и нововводителей ежегодно увеличивалось, и это еще более бесило раздражительного Шишкова. Трудолюбивый, но совершенно бездарный и вместе с тем крайне самолюбивый, он с досадой взирал на литературные успехи нового поколения. Аракчееву нравились в Шишкове бескорыстие, угловатость и резкость в обхождении, наконец, безотчетная и тупая ненависть его ко всему чужеземному; сверх того, чрезмерная ограниченность его ума и медвежья неуклюжесть в придворном обращении избавили Аракчеева от всякого опасения найти в нем соперника во власти. Когда в 1823 году Аракчеев через посредство архимандрита Фотия и митрополита Серафима удалил князя Александра Николаевича Голицына с Министерства народного просвещения и духовных дел, эта важная должность поручена была бездарному Шишкову, тогда уже старцу семидесятилетнему. После смерти Карамзина в мае 1826 года тупоумный старик советовал Николаю Павловичу запретить «Историю государства Российского», как будто «носящую в недрах своих зерна вредного либерализма» (собственное его выражение). Николай Павлович никогда не был прочь от того, чтобы преследовать что бы то ни было и кого бы то ни было во имя самодержавия, но за несколько дней до смерти Карамзина он вследствие письма умирающей императрицы Елизаветы Алексеевны послал Карамзину великолепный рескрипт, а семейству его пожаловал пенсию в пятьдесят тысяч рублей. Он не хотел переверщать сделанного им, и одно это обстоятельство спасло «Историю государства Российского» от запрещения, которому подверглись «Думы» и «Войнаровский» Рылеева и «Полярная звезда». Факт этот мне был рассказан Блудовым.

Ненависть Николая Павловича к Шишкову имела следующий источник. Когда скончался император Алек-

сандр, то друг его, князь Александр Николаевич Голицын, объявил Государственному совету, что есть пакеты, запечатанные государем в трех экземплярах, одинакового содержания, и пакеты эти хранятся: один в Синоде, другой в Государственном совете, третий в Москве, в кремлевском Успенском соборе. Он предлагал, прежде чем приносить присягу новому государю Константину, распечатать пакет и узнать его содержание. (В этом пакете находилось отречение Константина от престола: Голицын и Николай Павлович знали это.) Для вскрытия пакета и прочтения бумаг требовалось менее получаса; следовательно, не было никакой беды ознакомиться с содержанием пакета, но министр юстиции князь Дмитрий Иванович Лобанов и министр просвещения Шишков, оба люди тупоумные и крайне упрямые, объявили, что ни под каким видом не согласятся приступить к какому бы то ни было занятию прежде принесения присяги своему законному государю. К ним присоединился петербургский генерал-губернатор, благородный, но бестолковый граф Милорадович. Николай Павлович, может быть, и не обратил бы внимания на протесты Лобанова и Шишкова, но Милорадовичем пренебрегать было опасно; он был всеми любим, а войском обожаем. Последующие затем события известны, но император Николай возненавидел Лобанова и Шишкова... В 1827 году Лобанов был удален от министерства, а в 1828 году — и Шишков, и на ходатайство Шишкова о пожаловании ему Андреевской ленты Николай отвечал резким отказом. При увольнении Шишкова в 1828 году министром народного просвещения назначен был добрый, но совершенно бездарный попечитель Дерптского университета, князь Карл Андреевич Ливен, старший из сыновей знаменитой Шарлотты Карловны, а товарищем к нему определен Сергей Семенович Уваров, пять лет спустя заступивший его место. Министерство просвещения было раздроблено; Синод снова составил особое ведомство, и обер-прокурор его, князь Петр Сергеевич Мещерский, получил право доклада у государя, а департамент духовных дел иностранных исповеданий, особенно порученный управлению Блудова, перечислен был в Министерство внутренних дел, и Блудов назначен был товарищем министра внутренних дел Закревского. Об отношениях Блудова к своему новому юродивому министру мы будем говорить в следующем номере «Листка».

Продолжаем наш рассказ о графе Блудове.

Мы сказали, что в 1828 году он был назначен товарищем министра внутренних дел Закревского. Считаем нужным сказать здесь несколько слов об этой последней личности, которая в наши дни еще так недавно в течение целых одиннадцати лет угнетала Москву.

Отец Закревского, бедный и пьяный помещик Тверской губернии, имел трех сыновей, из которых один, Иван Андреевич, был городничим в Ржеве, и удален был со службы за взятки, а другому, Арсению Андреевичу, деяния его сошли с рук не совсем столь неудачно. Он провел отрочество свое в шкловском кадетском корпусе, который основан был одним из мимолетных любовников Екатерины, безграмотным графом Зоричем, и в отношении не только к наукам, но даже и к русскому правописанию — Арсений Андреевич достойный воспитанник безграмотного Зорича. Поступил он на службу в Архангелогородский пехотный полк, шефом которого был граф Николай Михайлович Каменский, и попал к нему в адъютанты, должность до 1815 года — то есть до возвращения русских войск из похода заграничного — носившую на себе какой-то отпечаток полукамердинерства. У Каменского Закревский заправлял всем домом и был настоящим дворецким. Ежедневно, лишь граф проснется, «Закрев», как называл его Каменский, обязан немедленно явиться в мундире и стоя ожидать приказаний. Когда умер Каменский в Одессе, там случайно находился проездом генерал-адъютант граф Сен-При (впоследствии смертельно раненный под Реймсом) и при отъезде в Петербург Закревского, которого он видал у Каменского, снабдил его рекомендательным письмом к военному министру Барклаю, который взял его к себе в адъютанты и сделал правителем своей канцелярии. Когда осенью 1812 года для Барклая стало невозможным оставаться в армии под начальством интриговавшего против него Кутузова и он уехал к себе в деревню, в Лифляндию, то Закревский счел выгоднее для своей карьеры сопутствовать своему начальнику в деревню, чем оставаться при армии, и расчет его оказался верным. С небольшим через полгода Кутузов умер, и начальство над войском перешло к Барклаю, который выхлопотал ему чин генеральский, звание генерал-адъютанта (в то время еще не опошленное, как ныне) и должность дежурного генерала, дол-

жность весьма важную, потому что все начальники войск, в каком бы высоком чине они ни находились, имеют большую выгоду состоять в ладу с дежурным генералом и заискивать его расположение. Начальником Главного штаба царского был князь Петр Михайлович Волконский, которому Закревский льстил самым униженным образом и извивался перед ним. В 1817 году двор прибыл в Москву на несколько месяцев. Между невестами московскими особенно отличалась своим богатством графиня Аграфена Федоровна Толстая, которая наследовала весьма значительное состояние после матери своей, Степаниды Алексеевны Дурасовой[1]. Император Александр по просьбе Закревского послал князя Петра Михайловича Волконского сватать его на Аграфене Федоровне. Отец ее, граф Федор Андреевич Толстой, сначала был весьма недовольным перспективой подобного родства, но в то время воля государя имела еще много веса, звание генерал-адъютантское и чины вообще имели еще большое значение, и свадьба состоялась[2]. Закревский женился на одной из богатейших невест в России, и что особенно

---

[1] Между Дурасовым и родственниками их Мельгуновыми было множество отставных бригадиров, доживавших в Москве свой бесполезный век. Графиня Мария Алексеевна Толстая, жена графа Петра Александровича, женщина весьма умная и острая, говаривала: «Дурасовы и Мельгуновы — это семьи бригадиров: настоящая дурасовщина!» Бригадиры эти не отличались образованностью; один из них, родной дядя графини Закревской, Николай Алексеевич Дурасов, большой хлебосол, однажды на похвалы обедавших у него гостей, которые восхищались поданной ухой, отвечал: «Эта уха еще ничего, а вот жаль, что вы не кушали той, что у меня подавали три дня тому назад: эта уха перед той настоящее г....!»

[2] При Александре чины были еще в большом почете: их, равно как и ордена, уронил, к счастью, Николай, рассыпая их без меры, а при Александре чины и ордена служили еще для правительства сильным орудием к развращению общества, к расслаблению людских характеров и, так сказать, к безденежному подкупу.

Начальник московского архива министерства иностранных дел Алексей Федорович Малиновский, друг Карамзина, человек весьма добродушный, но крайне самолюбивый, женился, будучи статским советником, на дочери известного сподвижника Суворова Петра Алексеевича Исленьева и писал к своему министру, канцлеру графу Румянцеву, что жена его, будучи девицей, пользовалась по генерал-поручичьему чину отца своего титулом превосходительства, а выйдя замуж, сделалась высокородием, и слезно молил своего министра-благодетеля исходатайствовать ему чин действительного статского советника для того, как он выражался в письме своем, чтобы возвратить супруге его утраченную ею через замужество честь.

восхищало брата его, городничего, на графине... Между тем в исполнении своей должности дежурного генерала он особенно старался угождать на всякий случай молодым великим князьям Николаю и Михаилу, которых Александр I трактовал весьма свысока, как мальчишек; и Николай и Михаил вспомнили впоследствии искательность Закревского перед ними и остались ему благодарными. Лишь с Аракчеевым Закревский не ужился; между Аракчеевым и Волконским была сильная вражда, и Закревскому приходилось стать на сторону или того или другого. Он знал, что все великие князья терпеть не могли Аракчеева; знал, что по смерти Александра Аракчеев сойдет с политической сцены, а Волконский устоит при каком бы то государе ни было, и решился рисковать настоящим для пользы своей будущности. Когда в 1823 году Аракчеев одержал победу над Волконским и заменил его пронырливым и искательным Дибичем, он удалил и Закревского от должности дежурного генерала и убедил государя назначить генерал-губернатором финляндским человека, не говорившего ни на одном языке, кроме русского. Он надеялся, что Закревский не примет новой должности, но ошибся: Закревский ее принял. Через полтора года по восшествии на престол Николая он назначен был министром внутренних дел.

Закревский человек совершенно бездарный и даже тупоумный, чуждый всякой образованности, но довольно хитрый. В наших записках* мы расскажем о средствах, к которым он прибегал, чтобы удержаться на своем московском пашалыке* в течение целых одиннадцати лет и при двух государях[1]. Он человек весьма искательный перед всяким, кто может быть ему полезным; чрезвычайно гордый и спесивый перед всеми теми, в ком нужды ему не предвидится. Он полный тип азиата; имеет в себе все азиатские холопские замашки: нет человека более смиренного, когда ему не везет; нет сатрапа более дерзкого, более нахального, лишь только попутный ветер подует в парус его! Власть для благородных сердец есть средство посильно служить отечеству; но для человека необразованного и пошлого, каков Закревский, все обаяние власти заключается в возможности злоупотреблять ею в пользу

[1] Записки наши мы начнем печатать в будущем 1865 году на французском языке.

своего мелкого самолюбьишка и своих личных выгод; эти нравственные уроды любят угнетать людей, чтобы сказать: вот-де что́ я могу делать!

Легко себе представить, что Блудов не мог ладить с подобной личностью. Но он избегал случаев столкновения отчасти по мягкости своего характера, отчасти по той причине, что ему было хорошо известно через князя Кочубея, что Николай Павлович предназначает его и Дашкова к занятию высших государственных должностей и что ему с Закревским не долго придется иметь дело. Закревский, со своей стороны, оказывал Блудову большое уважение под тем предлогом, что жена Блудова — родственница первому его благодетелю, графу Каменскому, но, в сущности, потому, что видел в нем будущего государственного деятеля и не хотел ссориться с человеком, могущим ему впоследствии быть полезным.

Между тем Блудов и Дашков, сохраняя свои звания товарищей министерских, назначены были производителями дел секретного комитета, известного под названием «Комитета 6 декабря 1826 года». Причины учреждения этого комитета были следующие. При допросах, произведенных арестованным декабристам, эти умные и благородные страдальцы ярко выказали в показаниях своих все бесправие, всю мерзость порядка вещей, в России существующих. В особенности подействовала на Николая Павловича умная, дельная, красноречивая, увлекательная речь Николая Александровича Бестужева, когда этот последний, один из самых замечательных людей своего времени, был привезен арестованным в Зимний дворец и в течение с лишком получаса беседовал с Николаем в его кабинете. Николай не хотел переменять образа правления в России, что было единственно возможным средством достигнуть порядка вещей честного и доброго; он не только вовсе не имел намерения расстаться с самодержавием, но хотел еще более затянуть узлы самодержавия. Между тем нельзя было не видеть, что необходимы важные улучшения по всем ветвям государственного управления. По совету князя Кочубея, графа Петра Александровича Толстого, Иллариона Васильевича Васильчикова и Сперанского Николай составил 6 декабря 1826 года комитет, поэтому названный «Комитетом 6 декабря», в который призваны были заседать, кроме четырех вышеозначенных лиц, еще Дибич и князь Александр

Николаевич Голицын, а правителями дел назначены были новые статс-секретари Блудов и Дмитрий Васильевич Дашков. Комитету этому поручено было изыскать, какие улучшения полезнее произвести. Великий князь Константин Павлович весьма был недоволен учреждением этого комитета, он находил, что в России все прекрасно, все совершенно, что лучшего желать нельзя, и в минуту гнева назвал даже Николая Павловича *якобинцем!!!* По словам Блудова, сообщившего нам все эти подробности, Николай Павлович при жизни Константина не считал себя настоящим государем, а лишь, как бы сказать, наместником законного царя Константина; во всем отдавал ему отчет; без совета с ним не предпринимал ничего важного; приказал сообщать ему копии даже с самых секретных дипломатических бумаг и на совет Кочубея утвердить составленные «Комитетом 6 декабря» проекты Николай отвечал: «Как же я могу сделать это без согласия брата Константина Павловича? Ведь настоящий-то, законный царь — он; а я только, по его воле, сижу на его месте!»

Мысль, руководившая учреждением «Комитета 6 декабря», была хороша; но, как мы сейчас сказали, неисполнима без введения в России порядка конституционного, а Николай слышать не хотел о перемене образа правления. По крайней мере, необходимы были четыре важнейшие реформы: уничтожение крепостного состояния, отмена телесных наказаний, введение гласного суда и отмена чинов. О введении гласного суда и отмене телесных наказаний Комитет даже и не позаботился; насчет чинов ограничились проектом учредить двенадцать классов вместо четырнадцати (!) и не давать чинов иначе, как с определением в соответственную должность, а лицам, служащим по выбору дворянства, чин их должности предоставлять после двенадцатилетнего исправления той должности. По вопросу самому важнейшему, о крепостном состоянии, Комитет сделал еще менее. Он ограничился запрещением умножать число дворовых людей переводом крестьян в это сословие, учреждением в ревизских сказках отдельной графы для дворовых людей и запрещением раздроблять дележом и продажей имения, населенные менее чем пятьюдесятью ревизскими душами. Наконец, Комитет предложил учреждение сословия

почетного гражданства, и то был единственный из проектов его, приведенный в исполнение[1].

Проекты «Комитета 6 декабря» рассмотрены были в Государственном совете, и государь, отправляясь весной 1830 года в Варшаву и в Берлин, повез эти проекты к цесаревичу Константину, без согласия которого, как мы сказали выше, он не решался их утвердить. Константин Павлович сильнейшим образом восстал против каких бы то ни было перемен, говоря, что «все это заморские затеи и в России менять нечего: все идет прекрасно» и «не мешало бы русские порядки ввести в чужих краях». Николай Павлович положил проекты в портфель, поехал в Берлин на маневры, потом возвратился в Петербург и тут испуган был известием о июльской революции во Франции. Вслед за тем получено известие о сентябрьской революции в Бельгии; потом о ноябрьском восстании в Польше. Окончательно ошеломленный Николай Павлович, при ограниченности ума своего не понимавший необходимости и пользы предупреждать революции разумными реформами, сделался врагом всяких нововведений, всяких улучшений, и в каждом свободном, честном голосе ему стал слышаться набат революции. Даже из палиативных проектов «Комитета 6 декабря» один только проект был приведен в исполнение: учреждение сословия почетных граждан, да и то лишь по смерти сумасбродного цесаревича Константина Павловича.

В ноябре 1831 года Блудов назначен был министром внутренних дел на место Закревского. Этому последнему придворное счастье вскружило голову; он решительно зазнался: нельзя сказать, чтобы у него зашел ум за разум, потому что в Закревском никогда ума не бывало, но у него решительно зашла спесь за глупость. Например, вдруг Закревский обижается, что жену его не позвали на придворный бал и подает в отставку! Государь объявляет, что виноват в этом обер-камер-фурьер Бабкин, и Бабкина сажают под арест. Потом в 1830 году обижается Закревский, что дают Андреевскую ленту Поццо ди Борго, младшему перед ним в чине; в утешение его жалуют финляндским графом. Появляется холера; Закревский скачет по губерниям, шумит, кричит, ругается, бушует и

---

[1] Мы имеем копию с проектов «Комитета 6 декабря», данную нам Блудовым, который нам и рассказывал печатаемые здесь подробности.

одному купцу, не захотевшему безмолвно выносить его ругательств, приказывает забрить лоб и отдать купца в солдаты! В Москве он хотел было оцепить каждый квартал, прервав сообщение между ними; хотел окурить хлором все запасы чая, хранящиеся в Гостином дворе, и протыкать булавками все товары, не исключая и шелковых материй. Начальник Москвы, почтенный и благороднейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, воспротивился подобным безумствам и не допустил совершить этих глупостей. Закревский жаловался на это государю, также и на то, что князь Дмитрий Владимирович при появлении холеры собрал наиболее уважаемых жителей Москвы, прося их быть ему советниками и помощниками, и представлял этот умный и честный поступок, как «призыв к общему мнению, несогласный с правилами нашего правительства» (собственное выражение Закревского!), говорил, что или Голицыну или ему следует оставить службу. Государь велел ему сказать через князя Кочубея, что он с князем Дмитрием Владимировичем не расстанется. В следующем 1831 году события в Петербурге во время холеры еще более доказали неспособность Закревского. Наступила половина ноября 1831 года; он вздумал просить себе Андреевской ленты ко дню именин государя 6 декабря. Получив отказ, он подал в отставку в надежде, что его из службы не отпустят, но ошибся: отставка его принята; он был уволен в том же ноябре месяце, и Блудов назначен министром внутренних дел.

«Листок», № 19, 1864, 28 апреля, стр. 150—151;
№ 20, 26 мая, стр. 157—159;
№ 21, 23 июня, стр. 163—167;
№ 22, 28 июля, стр. 169—171.

XI

Письмо из Петербурга[1] [*в «Колокол». 1867*].
[***Чиновный Петербург в 1867 году***].

В настоящую минуту в Петербурге идет ярая борьба между четырьмя партиями: а) ретроградами, б) константиновцами, в) конституционистами и г) олигархами. Взаимная ненависть между этими партиями достигла удивительных размеров...

В 1861 году бразды правления находились в руках ретроградов, и Россия была весьма близка к перевороту; ретрограды, неумелые, оторопелые, не знали за что взяться: власть у них ускользала уже из рук...

Константин Николаевич вызван был с острова Вайта; его подручники получили власть и с величайшей ловкостью воспользовались, во-первых, явлением в России, весьма обыкновенным во все времена, то есть пожарами; во-вторых, польским восстанием, вспыхнувшим необдуманно и весьма преждевременно...

Константиновцы, еще до завладения ими браздами правления принимавшие самое деятельное участие в уничтожении гнусного крепостного права и в освобождении крестьян с землею, во время своего пятилетнего владычества (1861—1866) сделали весьма многое: они уничтожили телесные наказания, сократили срок военной службы, ввели судопроизводство гласное и открытое, уничтожили предварительную цензуру, дозволили журна-

---

[1] Получив с величайшей благодарностью эту корреспонденцию, помещаем ее без всяких изменений с нашей стороны. — *Ред.* [*«Колокола»*].

лам рассуждать о политических вопросах внешних и внутренних; наконец, хотели ввести реальное воспитание рядом с классическим, чтобы ни одна из этих двух систем, равно необходимых, не заглушала другую. Если посмотреть на константиновское пятилетнее управление со стороны, то невольно подумаешь: что за великие государственные люди и как правы журналы, поющие им постоянные акажисты (журналы эти, увлеченные *златым* красноречием этих господ: «Голос» и «Indépendance Belge», про которую уже давно сказано: «qu'elle n'est ni belge ni indépendante»)[1].

Константиновцы издают в Брюсселе «Отголоски русской печати» под редакцией г-на Шедо-Ферроти (то есть барона Федора Ивановича Фиркса*), бывшего офицера путей сообщения и потому *опытного* в разных делах, но ничего не понимающего в делах государственных, в коих он столь наивно и забавно воображает себя докой... Он состоял агентом русского Министерства финансов в Бельгии, но вследствие неудовольствия на него Шувалова и ретроградов на днях вышел в отставку, уверенный, что Константин Николаевич не оставит его своим покровительством.

Но, если смотреть вблизи и внимательно, тотчас раскусишь суть дела. Константиновцы люди умные, понимают необходимость преобразовать Россию и ввести учреждения либеральные, но, будучи вместе с тем людьми крайне самолюбивыми и властолюбивыми, они хотят на всю жизнь свою сохранить самодержавие, то есть самодурствовать по произволу. Введение законного порядка вещей они отсылают на будущее, после себя. Таким образом, все, что касается политики, преследуется строже и суровее, чем при самом Николае. Воришка, укравший платок из кармана, судится гласно; злодей, из корысти убивший или увечивший человека, предается суду присяжных, а честный гражданин, добросовестно желавший улучшить быт своей родины и соотечественников своих, не судится, а подвергается тайному допросу, пытке, побоям и, наконец, приговору жестокому, беспощадному. После выстрела 4 апреля сосланы на каторгу юноши*, не

---

[1] [Что она ни бельгийская, ни независимая *(фр.)*. Игра слов заключается в том, что название газеты в переводе: «Бельгийская независимость».]

только ни в чем не виновные, но даже всегда восстававшие против всякой попытки убийства; *сосланы они на каторгу для того, чтобы задать страха другим.*

Константиновцы разрешили журналам печатать обо удержания власти или для отмщения врагам они способны на всякую мерзость: пример тому — ссылка Чернышевского, приговоренного к каторге на основании писем, очевидно фальшивых, поддельных. Дело Чернышевского ляжет темным пятном на царствование Александра II...

Константиновцы разрешили журналам печатать обо всем, но, если какой-нибудь журнал скажет слово об унизительном состоянии, в каком находится русское духовенство, он получает предостережение; если он упомянет, что полицейская служба не состоит в большом почете, его запрещают на несколько месяцев. Константиновцы дали России земские учреждения, но, если какое-нибудь губернское собрание начнет серьезно относиться к своему делу, серьезно изучать причины общего безденежья, общей неурядицы, его распускают. «Даруем вам право свободно действовать, писать и говорить, но с тем условием, чтобы вы действовали, писали и говорили, как нам угодно!» Вот современная система константиновцев.

После изгнания из министерства Головнина, столь блистательно не оправдавшего своей высокой умственной репутации, ныне между министрами шесть константиновцев: военный министр Дмитрий Милютин, человек замечательных способностей, отличнейший администратор, человек двуличный, под видом скромности исполненный тщеславия, под видом добродушия — эгоист, под видом простосердечия — ловкий придворный; князь Павел Павлович Гагарин, председатель Комитета министров, l'homme à toute sauce,[1] старик 80-летний, но еще довольно бодрый, очень умный, очень способный; язык его, язвительный и резкий, долго вредил его карьере, но он себя обуздал и сделался ловким придворным, тем более ловким, что важная представительность, навык светский и обхождение величаво-вежливое придают ему какой-то мишурный блеск характера мнимо независимого. Прочие четыре министра-константиновца — люди малодаровитые и пустые: министр финансов Рейтерн, государственный контролер Татаринов, министр польского отделения Собственной канцелярии государя Набо-

---

[1] [Человек на всякий вкус *(фр.)*.]

ков и морской министр Краббе, бывший адъютант Меншиков, который его употреблял с успехом... Бывший министр Царства Польского Николай Милютин ныне не что иное, как живой мертвец; это был человек замечательного ума, страшно властолюбивый, но одаренный блистательными способностями, он был главной пружиной освобождения крестьян с землей; это будет ему вечной славой в истории; он — сочинитель устава земских учреждений; человек энергичный, характера резкого, часто неприятного, он вовсе чужд наружной мягкости своего брата Дмитрия, но зато чужд и его двуличности.

Из прочих членов Комитета министров восемь ретроградов: начальник III Отделения граф Петр Андреевич Шувалов, в настоящее время главный коновод этой нелепой партии; наивный добряк принц Ольденбургский; старик Адлерберг, который уже несколько лет как умер, но его все забывают схоронить; бесконечный граф Панин, столь часто, но не блистательно являвшийся на страницах «Колокола»; министр почт граф Иван Матвеевич Толстой; министр государственных имуществ Зеленой, обязанный своей карьерой Муравьеву-вешателю, что делает излишней какую-либо характеристику, и председатели департаментов Государственного совета: законов — барон Корф, государственной экономии — Чевкин.

Четыре министра принадлежат к партии попутного ветра, то есть исполняют должность политических флюгеров и, куда подует ветер, туда они кланяются и шаркают: министры внутренних дел — Валуев, юстиции — Замятнин, просвещения (или, правильнее, народного затемнения) — граф Дмитрий Андреевич Толстой* и путей сообщения — Мельников. Вице-канцлер граф Горчаков стоит особняком, и о нем я буду говорить особо.

Партия ретроградов с горьким соболезнованием взирает на все реформы, более или менее неполно совершенные, но все-таки зачатые в последние десять лет. Идеал этой партии: блаженное (или, правильнее, блажное) николаевское время, время проделок Бенкендорфа, Дубельта, Алексея Орлова, время самодержавия тайной полиции, самоуправства губернаторов, обильных взяток, безгласного казнокрадства, цензуры и азиатского безмолвия.

Принужденные в 1857 году разделить власть с константиновцами, совершенно ими устраненные в конце 1861 года, ретрограды в течение нескольких лет с

яростью грызли надетые на них намордники и ждали удобного случая. Выстрел 4 апреля был этим случаем. Одиночный факт был выставлен политическим страшилищем, увлечение больного юноши превращено в какой-то огромный, всемирный заговор, и сделан верный расчет на легковерие государя, не одаренного от природы не только способностью вникать в предметы и читать в сердце человеческом, но даже и способностью рассуждать ясно и здраво о том, что делается вокруг него и что ему попадается на глаза. Александр Николаевич всегда верит всему, что ему говорят, и кто его чаще видит, тот имеет и более влияния. Сверх того, как все люди слабые, он чрезвычайно страшится, чтобы его не почли слабым, и весьма ревнив к своей самодержавной власти. Он не имеет довольно ума, чтобы понять, что один человек не может править империей и что самодержавие всегда и везде не что иное, как владычество нескольких лиц, более или менее лукавых, которые, преклоняясь перед государем, держат его в своей опеке, а часто и в железных тисках.

В течение десяти лет должность главного начальника III Отделения занимал князь Василий Андреевич Долгоруков, человек бездарный и тупоумный, но вовсе не злой, мягкий характером, весьма вежливый в обхождении, джентльмен в своем обращении со всеми. Ретроград по своим мнениям, послушный советам коновода ретроградов графа Панина, Долгоруков весьма не сочувствовал реформам, но не имел ни довольно ума, ни довольно характера, чтобы стать им поперек на пути. Он мечтал своим вежливым обхождением облагородить тайную полицию, то есть мечтал превратить грязь в бланманже — заблуждение довольно забавное! Ретрограды с большим лукавством воспользовались эпизодом 4 апреля; Долгоруков являлся им орудием плохим, недостаточным; одни хотели заменить его Муравьевым-вешателем, но этого боялись даже его единомышленники; он имел притом много врагов. Другие хотели назначить Чевкина, но рассчитали, что он в два месяца со всеми перессорится; третьи — Панина, переименовав его в генералы от кавалерии[1], но поняли, что это значило бы уже играть в

[1] Панин, в числе прочих полоумных свойств своих, воображает себя полководцем и во время Восточной (Крымской. — *Изд. «Новости».*) войны занимался для своего собственного удовольствия составлением проектов военных действий.

совершенно открытую игру, значило бы разом обнаружить свои истинные стремления, и потому решились назначить графа Петра Андреевича Шувалова, человека средних лет (он родился в 1827 году) и менее известного, чем Панин, этот полоумный Агамемнон ретроградов. Следствие по делу 4 апреля вверили Муравьеву в том убеждении, что он из мухи сделает слона, и в надежде по окончании следствия отбросить в сторону этого тигра, не довольно ручного.

Шувалов не одарен большим умом, но вовсе не глуп: он хитер, ловкий придворный, но не имеет не только способностей государственного мужа (какие он в себе воображает на основании своего баснословного самолюбия и необузданного властолюбия), но еще лишен настоящего политического такта; ловкий при дворе, подобно отцу своему обер-гофмаршалу, он в политике близорук: умственный кругозор его ограничен; он льстит себя несбыточной надеждой в возможности силой подавить требования века и дать отпор неотразимому духу времени. В нем под лоском навыка светского, под блеском мишуры салонной много свойств аракчеевских: бездушие, жестокость, алчная жажда к власти неограниченной, бесконтрольной; он спит и видит сделаться Аракчеевым Александра II и быстро стремится к своей цели... Ему много вредит жена его (урожденная Черткова, вдова графа Михаила Орлова-Денисова), женщина ума ограниченного, самонадеянности невероятной, чванная, мелкосамолюбивая, сварливая; она ему делает много врагов...

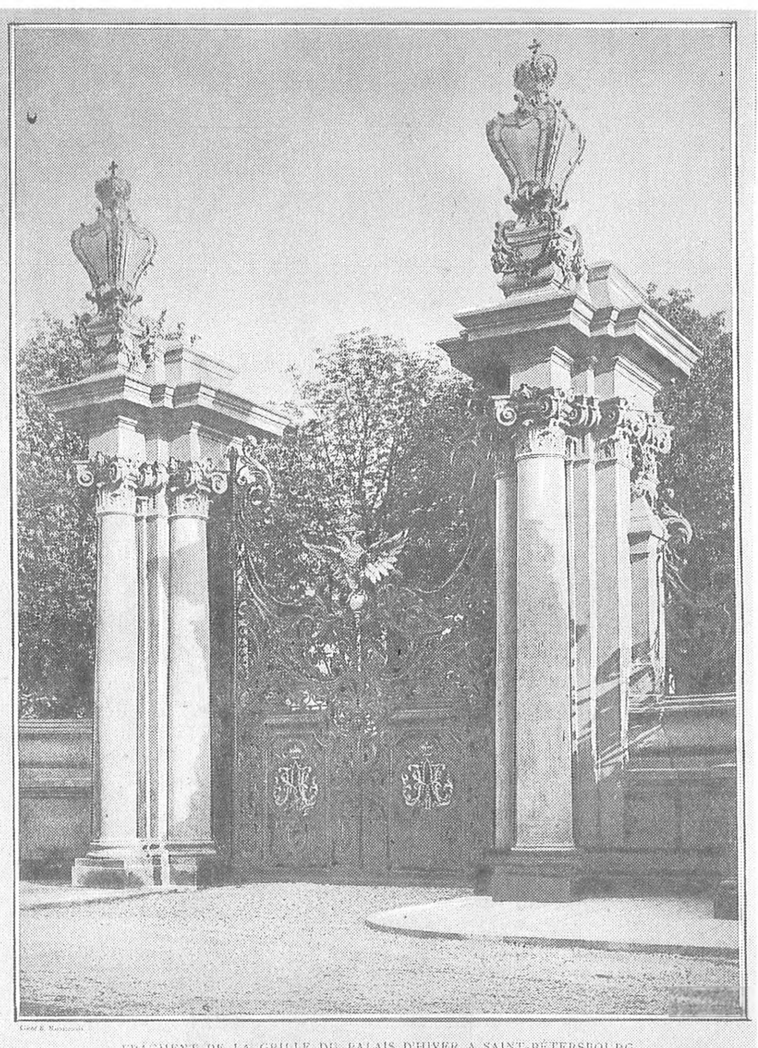
Шувалов в 1861 году был вторым начальником III Отделения, допрашивал и мучил Михайлова, но вскоре провалился политически во время волнений между петербургскими студентами: прискакав к университету с пожарными трубами, он сделался смешным и потерял место. Три года спустя старая приязнь отца его с Валуевым доставила ему должность остзейского генерал-губернатора, а эпизод 4 апреля, ловко эксплуатированный, открыл ему возможность стремиться в Аракчеевы. В первое время его разладица с Муравьевым-вешателем бросала на него весьма выгодную тень, но все это было не чем иным, как столкновением личных властолюбий: Шувалову было досадно, что не ему поручено следствие, а Муравьеву было горько, что начальником III Отделения сделали не его, а человека тридцатью годами моло-

же. Вскоре Муравьев умер, а между тем к Шувалову и предводимым им ретроградам приспела помощь неожиданная... Цесаревна Мария Федоровна, хотя не красавица в полном смысле слова, но женщина необыкновенно приятная лицом, взглядом, обхождением, разговором, женщина очень умная, но властолюбивая и совершенно преданная понятиям ретроградным. Отец ее, Датский король, преисполнен аристократической спеси, ненависти к либерализму и к современным идеям, а мать, родом из этого Гессен-Кассельского дома, который разбогател в XVIII веке, продавая своих подданных в английскую армию: за солдата, который возвращался увеченным, платилось столько-то процентов прибавки, а за солдата убитого или умершего платилась еще большая прибавка. Гофмаршалом двора цесаревны находится Владимир Скарятин, двоюродный дядя Шувалова, сын Якова Федоровича Скарятина*, одного из убийц Павла и шарфом которого Павел был задушен.

Зато Шувалов и разгулялся! Без его согласия Валуев не смеет назначить ни одного губернатора. В последнее время губернаторами все назначаются *люди богатые:* в Харьков — Дурново, чрезвычайно богатый по своей бабушке (из рода Демидовых); в Симбирск — старший сын Орлова-Давыдова; в Петербург — личный друг Шувалова, граф Николай Левашов, человек ума недальнего, совершенно бестактный, характера невыносимого, злой, раздражительный, вечно злобствующий, он хуже самого Чевкина, которого прозвали «еж в генеральских эполетах». Губернатором в Казань назначен один из Скарятиных, двоюродных дядей Шувалова (их не должно смешивать со Скарятиным — *вестовиком,* борзописцем олигархов).

После 4 апреля между двумя ретроградами происходил следующий разговор: «Надобно теперь государя вывести с ошибочного пути, по которому он шел столько лет: что за реформы, что за глупая гласность, к чему все эти сделки? Ведь прежде жили без них». «Вы правы, — отвечал другой, — но зато Шувалов примется за дело; он поворотит государя на хороший путь; теперь уже не будут нам жужжать в уши реформами». «Ну, а как государь будет упираться?» — «Не бойтесь: Шувалов сумеет его держать в руках; по струнке пойдет, голубчик».

И точно, голубчик идет по струнке: Шувалов царствует. Друга своего Грейга он назначил товарищем мини-



Фрагмент решетки Зимнего дворца в Петербурге.

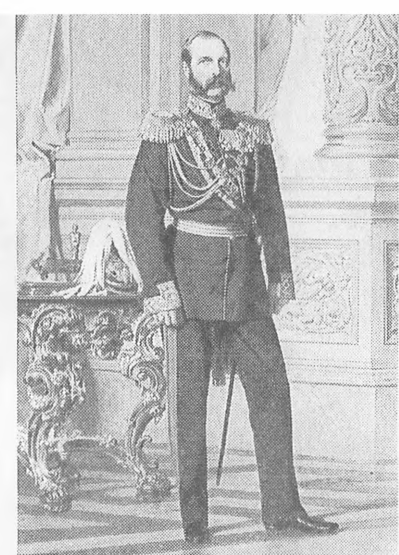


«Незабвенный» — так называли в семье Николая I после его смерти. П. В. Долгоруков по-своему перефразировал это прозвище: «одними прозванный Незабвенным, а другими — Неудобозабываемым».



Жена Николая I императрица Александра Федоровна. Портрет работы К. Брюллова.

Царь Александр II. Почтовая открытка, выпущенная в России в начале XX века.



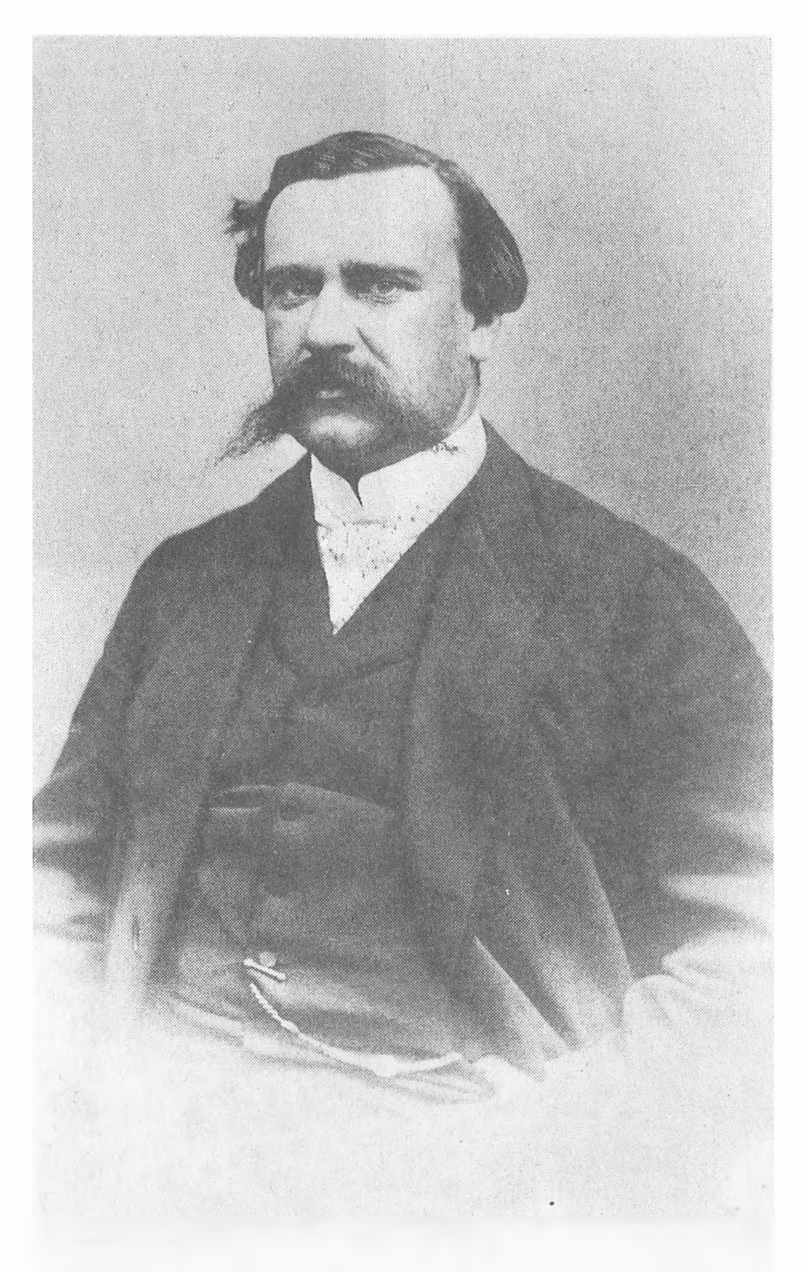
Портрет жены Александра II императрицы Марии Александровны. 1862 г. Художник А. П. Рокштуль.



Император Александр II с женой Марией Александровной и сыном, великим князем Александром Александровичем, будущим императором Александром III.



Великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая I.



Григорий Александрович Строганов — морганатический муж великой княгини Марии Николаевны.





Великие князья Михаил и Николай Николаевичи.

Дачный интерьер великого князя Михаила Николаевича.



Великий князь Константин Николаевич.



Жена великого князя Константина Николаевича великая княгиня Александра Иосифовна.

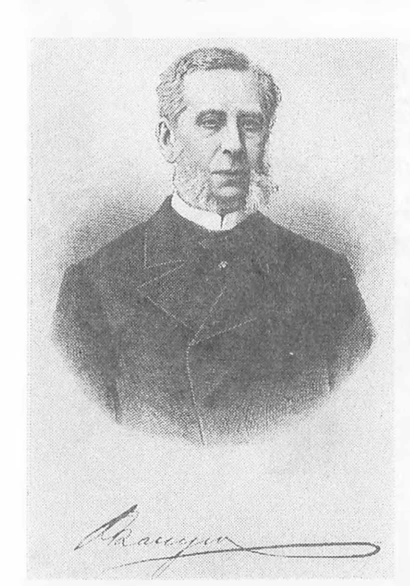
Великосветский бал.



Граф Карл Васильевич
Нессельроде.



Князь Александр Михайлович
Горчаков.



Граф Петр Александрович
Валуев.



Граф Виктор Никитич Панин.



Михаил Никитич Муравьев.



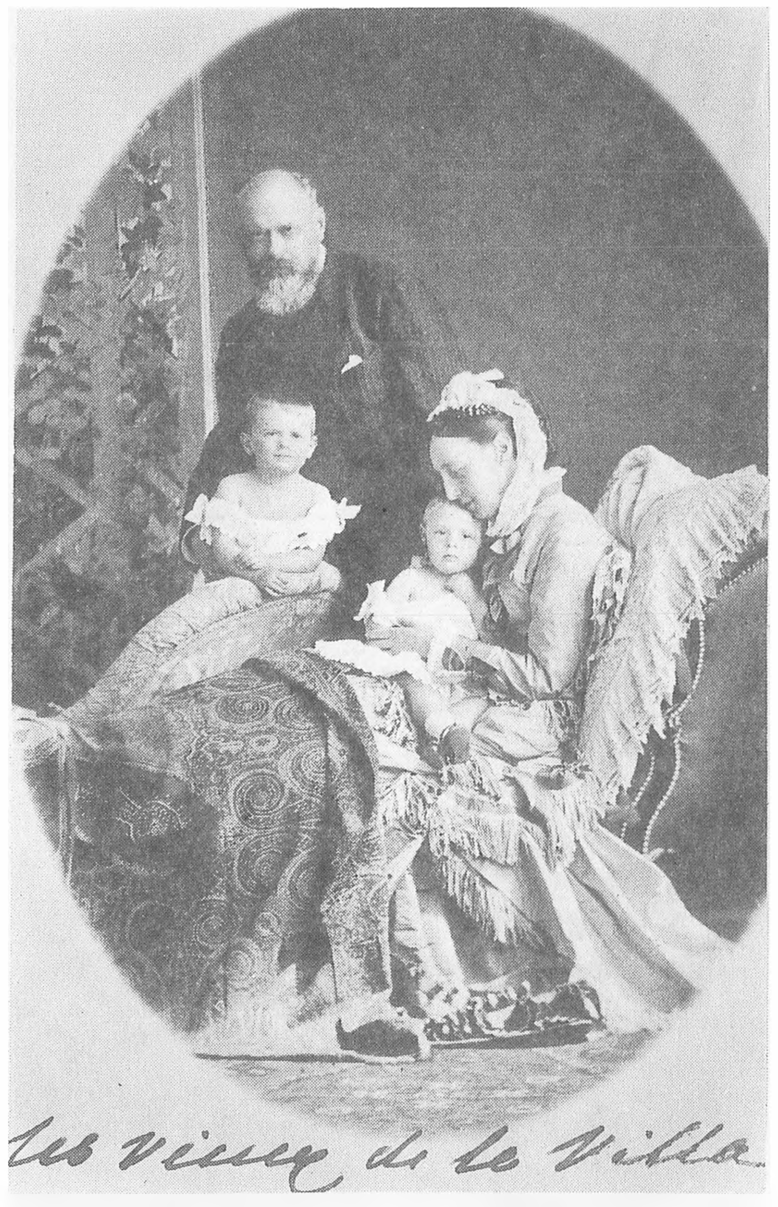
Генерал Михаил Николаевич Муравьев-Виленский по прозвищу «вешатель».



Генерал Николай Николаевич Муравьев-Карский.



Декабрист Никита Михайлович Муравьев.



Король Вюртембергский Карл I с женой, великой княгиней Ольгой Николаевной и детьми.



Великая княгиня Елена Павловна с дочерью.



Великие князья Сергей и Павел со своим воспитателем Константином Ивановичем Арсеньевым.



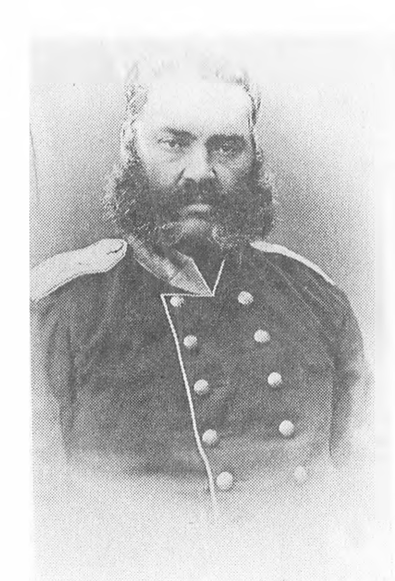
Великий князь Николай Александрович с невестой принцессой Дагмарой.



Великий князь Александр Александрович (Александр III) с невестой Дагмарой (будущей императрицей Марией Федоровной), доставшейся ему «по наследству» от умершего старшего брата Николая.



Граф Владимир Федорович Адлерберг с внуками.



Граф Александр Владимирович Адлерберг.

Петергоф.



Графиня Антонина Дмитриевна Блудова.



Графиня Дарья Федоровна Фикельмон.



Графиня Софья Станиславовна Киселева.



Графиня Мария Григорьевна Разумовская.



Графиня Надежда Львовна Соллогуб.



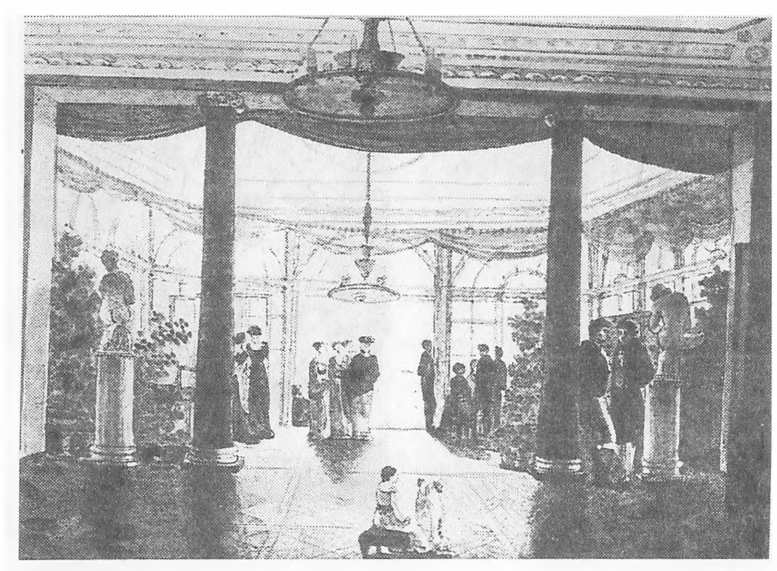
Прасковья Арсеньевна Бартенева.



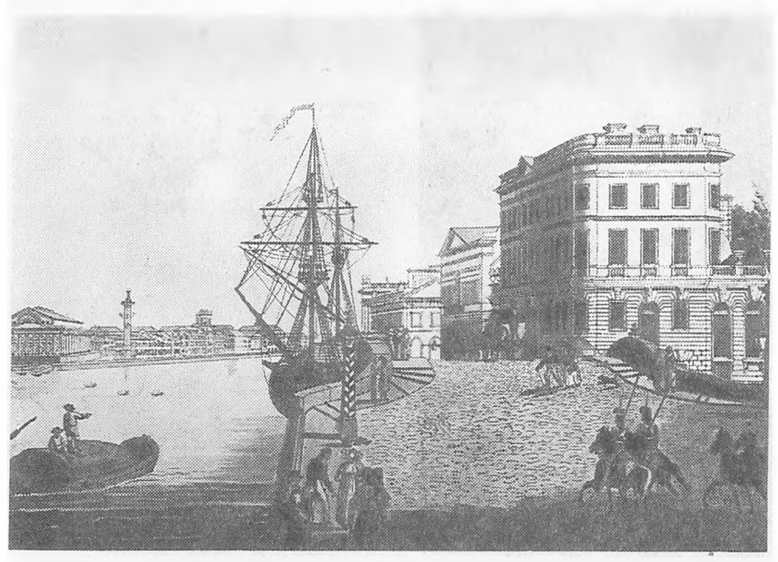
Графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен.



Светлейшая княгиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова.



Парадная зала в доме Строгановых.



Набережная Невы у Летнего сада.



Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов).



Граф Андрей Петрович Шувалов.



Граф Павел Андреевич Шувалов.



Граф Александр Алексеевич Бобринский.



Граф Владимир Алексеевич Бобринский.



Начальник III Отделения князь Василий Андреевич Долгоруков.



«Константиновец» Александр Васильевич Головнин.



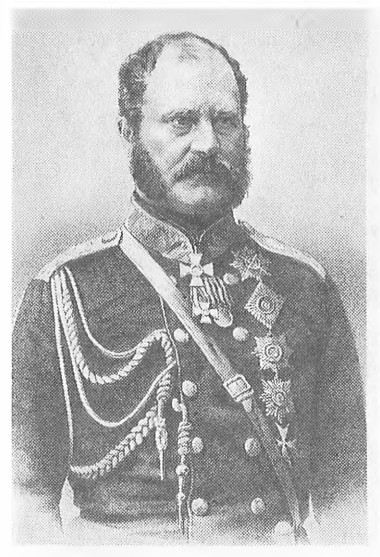
Генерал-адъютант Александр Егорович Тимашев.



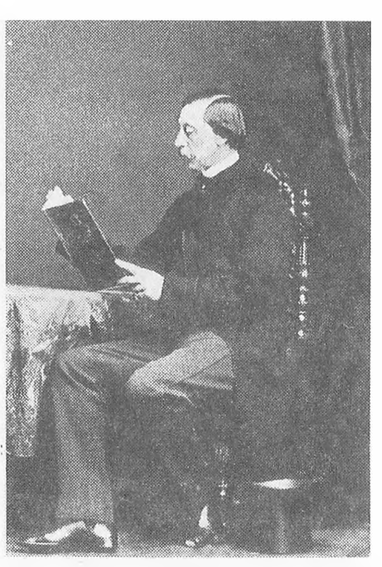
Граф Сергей Степанович Ланской.



Граф Алексей Константинович Толстой.



Князь Владимир Иванович Барятинский.



Князь Виктор Иванович Барятинский.



Князь Владимир Александрович Черкасский.



Николай Дмитриевич Киселев.



Поручик Кавалергардского полка Иван Александрович Анненков.



Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский.



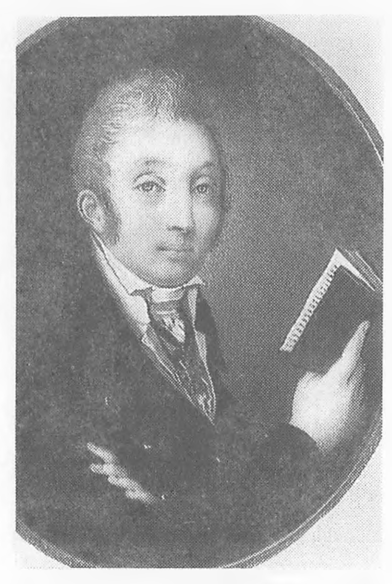
Светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский.



Барон Вильгельм Карлович Ливен.



Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов.



Граф Михаил Михайлович Сперанский.



Князь Петр Андреевич Вяземский.



Княгиня Вера Федоровна Вяземская.



Декабрист Сергей Григорьевич Волконский. 1845 г.



Князь Александр Сергеевич Меншиков.



Граф Павел Николаевич Игнатьев.



Адмирал Федор Петрович Литке.



Княгиня Екатерина Васильевна Салтыкова.

почтеннейший Павел Васильевич, вот хочу и
мово мнения. Сообщите эти наши [illegible]
в особенности Егору Петровичу Ковалевскому и
Ивану Сергеевичу Тургеневу. Скажите пожа-
=луйста Ивану Сергеевичу, что если Г. Панаев и
Г. Некрасов отвергнут честь хотя немно-
-[illegible], а мой вызов на дуэль, и тогда буду
просить Вас и Ивана Сергеевича сделать
мне честь быть моими секундантами.
Живу я на Владимирской, в доме Фредерикс
подъезд против церкви.

Ваш искренно-любящий и почитающий

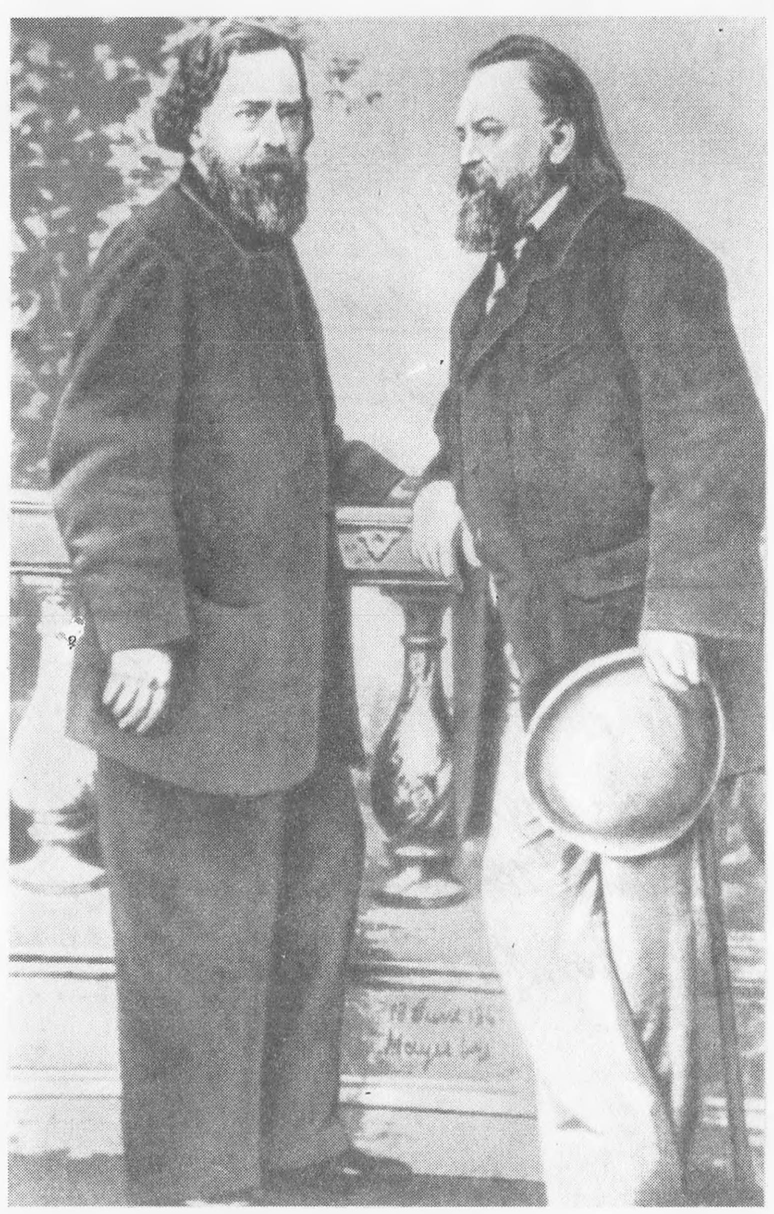
П. Долгоруков

P.S. При сем [illegible] проект.

Почерк князя Петра Владимировича Долгорукова (фрагмент его письма к П. В. Анненкову).

Son Altesse le Prince Worontzoff
a un moyen _sûr_ de faire
imprimer la généalogie dans la
Росс. Родосл. Книга telle qu'il
la veut, c'est de faire cadeau
au Pce Prince Dolgorouky
d'une somme de cinquante mille
roubles argent, alors _tout_ se fera
suivant ses désirs. — Mais il
n'y a point de temps à perdre. —

Шантажное письмо князю М. С. Воронцову, написанное П. В. Долгоруковым измененным почерком. Штрихами обозначены следы графологической экспертизы.



Русские революционеры Александр Иванович Герцен и Николай Платонович Огарев. С фотографии 1861 г.

стра финансов, но это лишь для виду. Грейга предназначает Шувалов в морские министры, когда сделает шах и мат Константину Николаевичу, а в министры финансов он прочит своего двоюродного брата, графа Петра Григорьевича Шувалова, женатого на Гагариной, который финансовыми статейками в разных журналах явно доказал и свою умственную неспособность и свое незнание финансового дела, того самого Петра Григорьевича Шувалова, который в последние годы жизни императрицы Александры Федоровны заведовал расходами двора ее. Теперь Шувалов (Аракчеев) прогнал товарища министра юстиции Стояновского; на место его он посадил своего приятеля, графа Константина Палена, и очень озабочен старанием удалить Дмитрия Милютина и заменить его киевским Безаком, в товарищи которому по Военному министерству он прочит своего друга, графа Владимира Бобринского (старший брат которого женат на сестре Шувалова). Папеньку своего он прочит в министры двора, когда схоронят давно умершего старика Адлерберга; родного брата своего, графа Павла, женатого на Белосельской, он прочит в московские генерал-губернаторы, а шурина своего, графа Александра Бобринского, в статс-секретари Комиссии принятия прошений. Таким образом он надеется «обшуваловить» всю Россию.

Нахальство этого временщика неслыханно: подобного не бывало со времени Аракчеева. В одном из заседаний Совета министров он, опираясь на слова «Рескрипта 13 мая», где сказано «об удалении чиновников неблагонадежных», объявил, что ему, как начальнику тайной полиции, лучше всего будто бы известны свойства и направление каждого лица и потому, дескать, «следует ему предоставить право увольнять по его благоусмотрению чиновников всех ведомств». Некоторые министры для сохранения своих мест подчинились бы этому нахальному требованию, но Константин Николаевич, как брат царский, Горчаков, как старик, и Дмитрий Милютин, как министр самостоятельный, восстали против, и дерзкая попытка временщика осеклась до поры до времени.

Ретрограды весьма неблагосклонно смотрят на земские учреждения. Их усилиями оттянуто во многих губерниях утверждение губернаторами уездных смет. Между тем они составили закон, утвержденный Государственным советом и подписанный государем 21 ноября, по

которому земским собраниям запрещалось налагать подати по части промышленности выше известной нормы. Нельзя отрицать, что невозможно предоставлять каждому уездному собранию право утверждать налоги, но, во-первых, право это следовало бы перенести в собрания губернские; во-вторых, несправедливо давать закону обратное действие; в-третьих, невозможно и нелегко было уничтожать 21 ноября раскладки, долженствующие войти в силу 1 января. Но ретрограды знали чего хотели. За невозможностью отменить закон о земских учреждениях они хотели по крайней мере сделать его неудобоисполнимым, поставить земские учреждения в положение неисходное, заварить всеобщую кашу, а потом свалить всю вину на земство, аки будто бы непокорное. Это все равно что, приковав человека к стене, упрекать его, зачем он отказывается от прогулки.

Там, где губернаторы — люди вежливые, характера мягкого, с тактом, обошлось без столкновений между ними и земством. Например, в Москве, где генерал-губернатор князь Владимир Долгоруков, хотя человек ума самого ограниченного, но мягкий и вежливый, земское собрание вежливо просило правительство об отменении закона 21 ноября. Не то было в Петербурге. Злой, вечно раздраженный, вечно злобствующий и бестактный граф Левашов в короткое время уже успел перессориться со всеми. При открытии собрания 2 января он произнес речь самую дерзкую, самую нахальную, в коей он тоном раздраженного школьного учителя читал наставления членам земства, как школьникам. Присылаемые к нему на утверждение сметы и прочее он возвращал с заметками дерзкими, почти грубыми, и тем сильно раздражил собрание. Председатель собрания, губернский предводитель граф Орлов-Давыдов, человек тупоумный, чванный, надутый, неповоротливый и не имеющий ни малейшего влияния; но председатель губернской управы, Николай Федорович Крузе, человек очень умный и вполне почтенный. Он был цензором лет десять тому назад и уволен за то, что не притеснял писателей и не давил мысль человеческую. Бескорыстие его всем известно. Родство его с Мухановым (он женат на Альфонской, родной племяннице Муханова, что на Висле бывшего) давало ему возможность получить выгодное место: он не хотел продавать своей совести, хотя болен и имеет детей. Несколько лет

тому назад правительство предлагало ему издавать журнал за границей, назначая большой оклад: он благородно отказался. Это человек замечательный и по уму своему, и по высоким свойствам души. Он старался смягчить сношения и предупредить столкновение, но собрание было по справедливости недовольно Валуевым, который по приказанию своего нынешнего барина Шувалова из 26 ходатайств земской управы перед высшим правительством имел дерзость возвратить 12 с невообразимым отзывом, что «не считаю нужным давать им дальнейший ход». Если принять в соображение: 1) что под словом «высшее правительство» здравый смысл заставляет разуметь государя, а не г-на Валуева; 2) что в самом рескрипте 13 мая, этом арсенале стародуров, предписано «обращать особенное внимание на ходатайства земства и вообще на местные потребности и нужды»; 3) что г-н Валуев не имел права поступать самодержавно — то его выходки являются прямым посягательством на власть царскую. Валуев, как известно, флюгер, направляемый ветром придворным, и в настоящее время он покорно повинуется Шувалову. Справедливое неудовольствие собрания было превращено в истинное и весьма понятное раздражение нахальством и грубостью санкт-петербургского губернатора графа Левашова. Губернская управа в своем докладе собранию предложила, должна была и не могла не предложить на основании 11 статьи положения о земских учреждениях, принести Сенату жалобу на министра внутренних дел. Меньшинство собрания, угодники правительства, своей оппозицией этому законному предложению и другому, столь же законному, — признать, что закон 21 ноября, как и все законы, обратного действия иметь не может, еще раздражили большинство собрания. В этом меньшинстве особенно смешон и жалок генерал-адъютант Философов, барин, принимающий свою салонную болтовню за ум, а пошлые шутки за остроумие; его бездарность уже доказана тем, что он был воспитателем великих князей Николая и Михаила Николаевичей...

Тогда в собрании сделано было предложение — просить правительство о пересмотре закона 21 ноября через выборных от земства всех губерний. Это был единственный логический исход из этого дела, и можно наверно сказать, что без созвания Земского собора Россия никог-

да не устроит своих финансовых дел и никогда не возвратит себе своего прежнего политического значения. Это предложение, разумное и дельное, было внесено графом Андреем Павловичем Шуваловым, двоюродным дядей Аракчеева II (или Петра IV, как прозвали Шувалова-жандарма)*. Граф Андрей Павлович, один из богатейших людей России, зять покойного фельдмаршала Воронцова, человек вполне честный, энергический и всегда себя державший в отношении ко двору самым независимым и благородным образом[1].

В положении о земских учреждениях именно сказано, что недоразумения между ними и министром разрешаются первым департаментом Сената, но Валуев сильно рассердился, узнав, что собрание приносит на него жалобу в Сенат, то есть исполняет закон. Что же касается до его графского величества Петра IV, то можно себе вообразить бешенство этого временщика при известии о предложении, сделанном собранию его дядей о созвании гласных из всех губерний. Он полетел к государю, наврал ему с три короба всякого вздора, напугал его (что весьма легко сделать: Александр Николаевич везде видит революцию и трепещет перед нею), одним словом, послушный и покорный ему, государь согласился на все. Велено: собрание распустить, Петербургскую губернию лишить земских учреждений, Крузе отставить от службы. Эти нелепые повеления объявил собранию граф Левашов с нахальным видом, нахальным тоном и в резких выражениях. Собрание земства, то есть выборных людей самого образованного и самого многолюдного из городов России, разогнали, словно толпу пьяных, буйствующую перед кабаком, а Санкт-петербургскую губернию лишили земских учреждений точно так, как сажают школьников на хлеб и на воду.

Негодование всеобщее... радуются лишь ретрограды, скорбящие о николаевском времени; особенно радуются чиновники и сановники о возвращении блаженного времени безгласности, взяток и казнокрадства.

---

[1] Младший брат его, также помещик богатейший, граф Петр, женатый на Нарышкиной, был санкт-петербургским губернским предводителем с 1857 по 1863 год. Он человек умный, честный, но совершенно бесхарактерный, и все очень забавлялись в 1860 году боязнью Панина, трепетавшего при мысли, что приезжие из губерний дворяне съезжаются для беседы у графа Петра Павловича.

Сверх того велено: графа Андрея Шувалова выслать на три года за границу; Крузе сослать на три года в Оренбург, чтобы удалить его от друзей... Сослать графа Андрея Шувалова в губернию не хотели: боялись, что его огромное богатство и энергия характера приобретут ему там большое влияние; за границей же он не опасен: ничего не напечатает... Крузе, человека очень умного, весьма способного и высокочестного, но бедного, ссылают в дальнюю губернию, потому что жизнь его там будет обставлена неудобствами, неприятностями и материальными лишениями для него и для его семейства. Нечего сказать, у Петра IV ума немного, но лукавства бездна! Однако согласились сослать Крузе вместо Оренбурга в деревню. Но что великолепнее всего, это повеление передать бумаги и суммы земства в те учреждения, где они находились прежде. Государь и опекун его Шувалов не размыслили, бедные, что из этих учреждений некоторые уже закрыты и не существуют более!!! Как же им передавать бумаги и деньги?..

Что за ерунда, что за ералаш!..

Новое доказательство, что Александр Николаевич сам не понимает, что подписывает и что приказывает с чужого голоса. Принятые правительством меры оправдывает лишь один журнал «Nord», журнал, похвалы которого в глазах порядочных людей хуже всякой брани.

Ретрограды нимало не заботятся скрывать своих целей: они громко говорят о необходимости пересмотра положения о земских учреждениях, чтобы обратить управы в прежние земские правления, а собрания сзывать лишь для выбора членов управы; они говорят о наложении на крестьян особых податей для *вторичного* вознаграждения прежних помещиков, о предоставлении судам, а в некоторых случаях губернаторам и даже исправникам права за некоторые проступки наказывать простолюдинов определенным *количеством розог*; наконец, и прежде всего, о восстановлении цензуры.

Петру IV хотелось иметь свой журнал, потому что «Северная Почта» не пользуется ни малейшим авторитетом и возбуждает общий смех. За продажными журналистами дело не стало бы, но всякий человек, не совсем лишенный здравого смысла, понимает, что подобный порядок вещей, если бы он был введен, не простоит

долго, а поведет к перевороту, и между писателями не совершенно бездарными не нашлось ни одного, который бы счел выгодным и неопасным для своей будущности продать перо свое на подобные затеи. Петр IV основал газету «Народный Голос», исполненную всякой бессмыслицы и галиматьи: говоря пошлым языком кабаков, она мнит вести речь народную. Эта газетка судит о народе из передней III Отделения и не понимает вовсе ни ума, ни могущества народа русского. Впрочем, эта газетка до такой степени опошлилась, что и Петр IV от нее отрекается: ей уже дано предостережение, и «Nord» уверяет, будто «Народный Голос» не служит никому официозным органом.

Этот «Nord» сам забавен своей пошлостью: он печатает все, что ему присылается из III Отделения. Дают земские учреждения — «Nord» восторгается и умиляется перед мудростью правительства; закрывают земское собрание — «Nord» опять кричит о мудрости правительства. Между своими сотрудниками «Nord» имеет г-на Скрипицына, старого охотника до особенных путей, и двух странствующих по Европе *наблюдателей:* г-на Юрия Маврина и г-на Моллера; последний под псевдонимом «Адека» печатает корреспонденции в «Русском Вестнике». В Петербурге один из корреспондентов «Nord», Катакази, официально служащий при вице-канцлере, сын того сенатора, который принужден был оставить должность попечителя Харьковского университета за то, что сходился во вкусах с г-ном Скрипицыным. Ныне он занимает старшее кресло в первом департаменте Сената, чем обязан Замятнину, шурин которого Неклюдов женат на его дочери. Сын Катакази — достойное чадо родителя своего.

О Валуеве много говорить нечего: внимательно угождая всегда тем, кто имеет перевес при дворе, он, временно посаженный в министерство, держится на нем вот уже шесть лет и просидит еще, потому что всякий временщик и всякая преобладающая партия будут иметь в нем своего подручника. Ума недальнего, но весьма начитанный, трудолюбивый, умеющий хорошо говорить по-русски, что для старых членов Государственного совета столь же поразительно, как если бы им ввели слона в заседание, Валуев, высокого роста, осанистый, сановитый, изысканно одетый, с головой высоко поднятой, с речью важной,

умеет самым величавым образом усердно во всем угождать временщикам и людям ему нужным.

Министр юстиции Замятнин — тот же Валуев, переложенный на пошлую прозу. Он вовсе не имеет сановитости и величавости Валуева, но такой же придворный угодник. Возведением своим в министры он обязан тому, что был товарищем министра, а это место получил он при Панине... Этот последний, деспот и причудник, знал, что Замятнин будет ему во всем послушен и, кланяясь, будет усердно исполнять всякие его повеления. Между тем начались реформы. Панин был удален за то, что противился уничтожению телесных наказаний. Замятнин заступил на его место и, видя власть в руках константиновцев, содействовал реформам; теперь власть в руках Петра IV и Замятнин сделался шуваловцем. Он взял было себе в товарищи настоящего юриста, Стояновского, но, когда Петр IV заметил ему, что магистратура составлена дурно, не холопствует, держит себя независимо, Замятнин с дивной наивностью отвечал: «Да ведь выбирал людей не я, а Стояновский»... Тотчас Стояновского сдали в кладовую (то есть в Сенат), а на место его назначен приятель Петра IV, граф Константин Пален, ретроград и остзеец.

Граф Панин, потеряв портфель юстиции, всюду совался для получения места и по смерти Блудова назначен начальником второго (то есть законодательного) Отделения Собственной [Е.И.В.] канцелярии. Можно себе вообразить, какие проекты законов способна породить колобродная голова графа Виктора Никитича?.. Он — ближайший и доверенный советник Петра IV, наущатель на все меры ретроградные, жестокие, нелепые и прочие... Впрочем, как часто бывает с людьми ума расстроенного, он иногда очень хитер: во время каракозовского дела, слушая речь защитника г-на Кобылина, он проливал слезы. У одного из членов Государственного совета спросили впоследствии, что это значит. Тот отвечал: «Теперь никто уже не вправе будет сказать государю, что граф Панин противится реформам, сделанным его величеством: эти реформы так пленили его, что извлекают из глаз его слезы умиления». Обеспечив себя таким образом, он будет писать проекты законов, какие ему вздумается.

Барон Модест Корф, во всю жизнь свою бегавший за министерским портфелем, каким бы то ни было, после

Одиссеи многолетней и неудачной, поймал наконец место вроде искомого им... Ныне три года, что он председательствует в департаменте законов Государственного совета. Человек довольно умный, хорошо воспитанный, хорошо образованный, до невероятности искательный, он неутомимо добивается наград, отличий и *прочего*. Покойный князь Илларион Васильевич Васильчиков говаривал: «Корф, когда благодарит за полученную награду, тут же, кланяясь, испрашивает другую». Способностей государственных он не имеет, но считает себя гением; всегда был ретроградом и ныне, на исходе седьмого десятка лет своих, еще пуще прежнего боится всяких реформ, в особенности двух: уничтожения чинов и преобразования Государственного совета.

Министр просвещения и обер-прокурор Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой, человек очень умный, с обширными познаниями, трудолюбивый, ловкий, искательный и, можно так выразиться, «иезуит православия». Воспитанник Лицея и товарищ Головнина, он в молодых летах был введен этим последним в круг близких людей великого князя Константина Николаевича и был директором канцелярии Морского министерства. Он не ужился с Головниным, который самодержавствовал при великокняжеском дворе. Имея привычку, если хотел удалить кого-нибудь, спускать его в гофмейстеры ко двору государя, Головнин то же сделал и с Толстым, когда константиновцы забрали себе в руки власть в конце 1861 года. Толстой, снедаемый честолюбием и жаждой деятельности, не мог, праздно сложа руки, разгуливать в гофмейстерском мундире. Не видя в то время возможности поймать министерский портфель, он вздумал сделаться обер-прокурором Синода. Это важное место занимал генерал-адъютант Ахматов*, николаевец, ничтожный и пустейший, в молодости своей обязанный флигель-адъютантством своей репутации благочестия, а репутацией благочестия обязанный *дружбе* своей с Андреем Муравьевым, как известно, охотником бродить *особенными путями*. Присутствие Ахматова в Синоде было скандалом. Товарищ Ахматова князь Сергей Николаевич Урусов, человек прямой, честнейший и благороднейший (о нем я буду говорить далее), не желал быть обер-прокурором Синода. Граф Дмитрий Толстой для получения этого места написал книгу, весьма замечательную и

чрезвычайно богатую фактами «Le Catholicisme Romain en Russie»*, и назначен был обер-прокурором. Политических убеждений он не имеет, а всегда идет по направлению ветра. Когда ретрограды воспользовались событием 4 апреля для завладения властью, за невозможностью прогнать разом всех константиновцев, они поспешили удалить из министерства одного из самых влиятельных из них, и если не всегда самого практичного, то по крайней мере самого предприимчивого и самонадеянного — Головнина. Ретрограды посадили на министерство Толстого, зная, что у него и с Головниным, и с великим князем есть старые счеты; сверх того, они уже видели, что он по Синоду усердно угождает ханжеству императрицы, которая, все более изолируясь от людей и от общества, через то все менее и менее может знать и потребности России, и направление общественного мнения. А между тем все-таки императрицу менажировать нужно: всегда может сказать свое слово.

Министр почт и телеграфов граф Иван Матвеевич Толстой, по уморительной надменности своей получивший прозвище «Павлин Матвеевич», являет в особе своей яркое сочетание полнейшей неспособности и политического тупоумия и самонадеянности презабавной. В 1838 году, за несколько месяцев до отъезда цесаревича (нынешнего государя) в путешествие по Европе, Иван Матвеевич был болен горячкой. Двоюродная сестра его, графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен, приятельница тогдашней императрицы, рассказывала везде, что он в бреду горячки все пел «Боже, царя храни». Вот, дескать, как юноша предан царю своему! Его назначили к цесаревичу секретарем по иностранной переписке, а по возвращении из путешествия — шталмейстером к цесаревичу. Александр II боится умных людей и терпеть их не может: общество их стесняет его, как настоящее бремя. Можно посудить, как он полюбил Ивана Матвеевича и сделал его своим ежедневным собеседником. По восшествии на престол он его навязал Горчакову в товарищи, но ловкий вице-канцлер через три года умел сбыть Толстого с рук, испросив ему пожалование в обер-гофмейстеры, а первые придворные чины по этикету несовместимы со званием министерского товарища. Толстой захотел сам сделаться министром и сделался министром почт: место чрезвычайно важное в правительстве самодержавном, потому что

тут перлюстрация писем, следовательно, полная возможность мирволить друзьям, вредить врагам и вообще обделывать всякие делишки. Неспособность его в управлении доходит до исполинских размеров: почтовая часть в России в совершенном расстройстве, в ней полная неурядица, и высокая неспособность Ивана Матвеевича недавно награждена графским титулом.

Министр путей сообщения Мельников слыл прежде, неизвестно почему, весьма хорошим администратором и врагом злоупотреблений, но со времени поступления его в министерство* ясно, что он продолжает старую, *весьма известную* систему ведомства путей сообщения. Все по-старому, то есть... В вашем «Колоколе» об этом напечатана была в прошлом году весьма любопытная статья.

Муравьев-вешатель, в бытность свою министром государственных имуществ, искал себе товарища и, боясь красных, взял на это место Зеленого, в сущности серовато-бесцветного. Зеленой наследовал после своего дикого патрона звание министра государственных имуществ и всеми силами старается продлить существование этого ведомства, которое после закона 19 февраля 1861 года — настоящий анахронизм. Но если существование этого ведомства для России вредно и убыточно, зато оно весьма выгодно для Зеленого и его чиновников.

Говоря о министрах, следует упомянуть о государственном секретаре князе Сергее Николаевиче Урусове*. Это — личность в высшей степени почтенная. Ум ясный, бескорыстие примерное, отчужденность от всяких интриг, прямизна неуклонная и в словах, и в поступках, совершенная независимость характера и воля твердая, скрытые под формами самыми мягкими и ультравежливыми. Юрист по страсти, он долго служил обер-секретарем в московском Сенате; общественное мнение требовало его в обер-прокуроры, но министр юстиции Панин, враг характеров независимых, слышать не хотел о том, а между тем Урусов поставил себя на такую ногу, что и обер-прокуроры и сенаторы в делах казусных прибегали к нему, и мнение скромного обер-секретаря иногда решало дела, имея более веса, чем целые департаменты сенаторов. Чуждый интригам, Урусов оставался вдали от Зимнего дворца; но за него стала хлопотать без его

ведома его сестра, умная, милая и ловкая Анастасия Николаевна Мальцева*, и выдвинула своего брата. Он мог быть обер-прокурором Синода, но не захотел иметь дело с духовным сословием, в среде коего еще более интриг и дрязг, чем между мирянами. Интриганы не любят Урусова, плуты его ненавидят, но все уважают человека, который при дворе остался прямым и независимым.

Теперь поговорю о конституционистах и об олигархах.

Конституционисты хотят конституции безсословной. Они убеждены, что нынешние дворяне много выиграют в уничтожении устарелых перегородок, разделяющих сословия. Дворянство в России столь многочисленно, что за малыми исключениями вся образованная интеллигенция к нему принадлежит; для самих дворян будет и почетнее, и в политическом отношении гораздо выгоднее быть обязанными своим участием в делах государственных не слепому случаю рождения, а сознательному выбору своих сограждан без различия сословий. Партия конституционистов имеет своим органом «Московские Ведомости»*, которые с большой осторожностью и никогда не произнося даже слова «конституция» стремятся к этой цели. Странно, по-видимому, что эта партия не может себе найти другого журналиста, как вечно беснующийся Катков, которому непременно нужно вечно лаять и всегда кого-нибудь кусать, который в своих наездах всегда идет далее самого даже правительства и всякого, кто не разделяет его мнения, объявляет государственным преступником и даже изменником отечеству. Но выбор конституционистами «Московских Ведомостей» объясняется местными обстоятельствами. Конституционисты равно ненавистны обеим партиям, перемежающимся у кормила правления: и ретроградам и константиновцам; ретрограды не хотят конституции вовсе, никогда и нигде; константиновцы перестраивают, правда, государственное здание на конституционный лад, но хотят на все время своей жизни сохранить самодержавие, не замечая, что намордник этот уже сгнил, а нового никак не сделаешь. Если бы конституционисты учредили свой журнал, его бы задушили ранее года, а «Московские Ведомости», эту столь доходную оброчную статью университета, уничтожить нельзя. Можно, пожалуй, переменить редактора и

вместо вечно беснующегося Каткова посадить какого-нибудь писачишку мармеладного, но что же выйдет? Через несколько месяцев мармеладный господин будет заменен человеком деятельным, да еще, пожалуй, и с большим тактом, чем Катков.

В прошлом году Катков прочитал слишком уже резкие нотации великому князю Константину Николаевичу и Валуеву; его от редакции отставили; преемник его отказался помещать политические статьи. Невозможно же, в самом деле, Москве с ее 350 000 жителей, Москве, нравственному, промышленному и политическому средоточению России, остаться без политического журнала? Негодование москвичей принудило правительство отступить на попятный двор: великий князь и Валуев остались, как говорится, с носом...

С тех пор обстоятельства переменились. Главные русские фабриканты, оппоненты принципов свободной торговли, захотели иметь свой орган. Они знали, что Иван Сергеевич Аксаков неподкупен, но знали также, что он разделяет их мнение в пользу тарифов, и убедили его издавать журнал «Москва». В Петербурге этому обрадовались по двум причинам: во-первых, ввиду близкого возникновения восточного вопроса многочисленные связи Аксакова с болгарами, сербами, галицийцами и даже чехами могут быть весьма полезными России; во-вторых, журнал «Москва» будет держать Каткова в постоянном страхе перед петербургскими властями; и точно, Катков стал гораздо умереннее; теперь вздумай-ка он совершить по-прежнему гайдамацкий наезд — тотчас его отстранят, а первопрестольная столица без журнала не останется, благо есть «Москва». Аксаков силен своими связями: жена его, бывшая фрейлина императрицы, бывшая воспитательница великой княжны Марии Александровны, и тесть его, Федор Иванович Тютчев, друг вице-канцлера, приятель многих влиятельных лиц, имеют сильную поддержку при дворе. Сверх того, Аксаков знает, что как бы великий князь, Валуев и прочие ни сердились на него, журнал его едва ли запретят, потому что это значило бы им наложить руки на самих себя, расчистив путь наездам своенравного и дерзкого Каткова. На днях Аксаков и его друзья заказали панихиду по кандиотам, столь геройски павшим при защите Аркадионского монастыря*. Вице-канцлер, на старости лет

уже начинавший выживать из ума и сделавшийся трусом, хотел было воспрепятствовать служению панихиды; Аксаков напечатал статью, за которую получил предостережение*, но Иван Сергеевич, хорошо зная силу и могущество свое, отвечал три дня спустя другой, превосходнейшей статьей, где он нелепую систему предостережений разобрал, как говорится, по косточкам.

Партия олигархов состоит из многих крупных землевладельцев, некоторых капиталистов и небольшого числа их клиентов и блюдолизов. Она хочет такой конституции, в которой вся власть была бы сосредоточена в руках людей богатых: дворянство стояло бы отдельным сословием с особыми правами перед прочими сословиями; крестьяне были бы совершенно устранены от всякого участия в выборах, выборные должности были бы безвозмездными и, следовательно, доступными лишь людям богатым; наконец, из двух палат или дум одна была бы составлена из членов потомственных. Само собой разумеется, что все эти стремления не высказываются явно, а тем менее печатно, но они под покровом известных принятых фраз составляют суть желаний олигархов, которые особенно возмущаются мыслью о равноправности с крестьянами, своими бывшими крепостными. Недавно на обеде в Симбирске, данном по случаю открытия гимназического пансиона, один из дворян, говоря о своем сословии и о крестьянах, воскликнул: «Гусь свинье не товарищ!» Идиот, произнесший эти слова, должен быть весьма симпатичным газетке «Весть».

Долгое время партия эта, обильная людьми богатыми, но крайне бедная людьми способными, добивалась иметь журнал и писателей. Наконец, она принуждена была взять писак вне своего круга и основала газетку «Весть», подлую и смешную. Нашелся Скарятин, человек занимавшийся делами в Сибири... Товарищем Скарятина в редакции был Юматов (третьего дня с ним расставшийся); Юматов, под псевдонимом «Китти», писал о светских балах и праздниках статейки, имевшие огромный успех в кругу горничных и буфетчиков...

Газета «Весть» была основана в 1862 году на деньги некоторых из олигархов: нынешних петербургских предводителей, губернского — графа Орлова-Давыдова и уездного — князя Петра Никитича Трубецкого; царско-

сельского предводителя Александра Платоновича Платонова (сына известного князя Зубова), Николая Александровича Безобразова и других. Безобразов*, человек весьма неглупый, с познаниями, но решительно помешанный на дворянстве; ему все мерещится какая-то небывалая русская аристократия, он пишет о «вековых» правах русского дворянства, которое еще сто пять лет тому назад секли публично, а с тех пор секут втихомолку в тайной полиции. Граф Орлов-Давыдов считает себя умным человеком, потому что учился в Эдинбургском университете и посещал Вальтера Скотта в замке Абботсфорд; тяжелый, умственно-неповоротливый, чванный, надутый, он обладает несчастной страстью произносить скучнейшие спичи. Князь Петр Никитич Трубецкой не имеет ни ума, ни дара слова, но «выйдя замуж» за богатую княжну, он состоит под ее опекой; она, крошечная ростом, но исполин честолюбием, непременно хочет играть роль, и цель ее — иметь в Петербурге влиятельный политический салон.

Впрочем, большая часть крупных землевладельцев и капиталистов находит олигархические стремления нелепыми и принадлежит к партии конституционной.

Олигархи и с ними на этот раз заодно и вся ретроградная партия общими дружными усилиями стараются замять дело о подделке кредитных билетов в обширном размере*, дело, в которое замешано несколько помещиков, в том числе богатый помещик Екатеринославской губернии Иван Абрамович Шахов и двое бывших уездных предводителей: изюмский — Сонцов, и бахмутский — Гаврилов. Судебный следователь Изюмского уезда Лещинский, прекрасно действовавший в этом следствии, боясь мщения, перешел на службу в другую губернию, но лишь только прибыл туда, *умер отравленным!* Дело это докладывал в харьковской уголовной палате товарищ председателя Цветков, человек честный, и он потом поспешил уехать из Харькова, где *ему угрожали смертью.* Харьковская уголовная палата не польстилась на подкуп, не убоялась угроз и всех подсудимых приговорила к каторге. Губернский прокурор Браилко также действовал прекрасно. Но теперь дело перешло в Сенат, и там его будут всеми силами стараться перевернуть или замять...

Надобно теперь сказать несколько слов о славянофилах*. Вы жили в Москве двадцать лет тому назад, вы

помните, что при всех своих увлечениях, странностях, подчас и юродствах славянофилы принесли огромную пользу России тщательной и честной разработкой многих вопросов. Когда в 1858 году эпоха действий и реформ заменила эпоху кабинетных работ и словесных прений, славянофилы пристали к константиновцам и честно помогли им совершить дело освобождения крестьян с землей, тогда как олигархи до сих пор еще не могут опомниться от отчаяния, что две трети их соотечественников не были осуждены на голодный пролетариат. В ряды константиновцев вступили: князь Владимир Александрович Черкасский, самый способный из славянофилов, но не самый разборчивый, потому что во время его управления в Варшаве департаментом внутренних дел «Дневник Варшавский» продолжал подлейшим образом клеветать и на польскую эмиграцию, и на русскую; Юрий Федорович Самарин, один из способнейших между славянофилами и, бесспорно, самый злой из них; Александр Иванович Кошелев, которого никак нельзя назвать «невинным», потому что он разбогател на откупах. Но Иван Сергеевич Аксаков остался в стороне: мнения его иногда достигают до пределов юродства, но непоколебимая независимость характера не допускает его ни до малейшей уступки.

Вице-канцлер князь Горчаков не принадлежит ни к какой партии: он стоит особняком. Старец семидесятилетний, здоровье его, никогда не бывшее очень крепким, приметно разрушается; в последние годы он удивительно переменился и упал духом. Кипучая деятельность зрелого возраста, так сказать, метавшаяся во все стороны и доходившая до того, что во время пребывания (1827—1832) поверенным в делах во Флоренции его прозвали «Le surchargé d'affaires de Russie»[1], уступила место полнейшему упадку духа. В настоящее время старик лишь о том заботится, чтобы мирно дожить век свой на министерстве злачном и покойном, избегая всяких забот, всякой войны, всякой конституции, но сохраняя и за собой и за правительством марево либеральности, и безмятежно беседовать с хорошенькими барынями, что весьма любит

---

[1] [Каламбур: „chargé d'affaires de Russie" — поверенный по делам России; „surchargé" — перегруженный делами России].

«князь Сердечкин», как называют старика вице-канцлера. Он особенно прославился своими резкими депешами к Англии и Франции в 1863 году по поводу польского восстания, но депеши эти им были пущены уже в то время: 1) когда Тотлебен заверил его, что Кронштадт достаточно укреплен и не может быть взят морским набегом; 2) когда он узнал положительно, что Франция не решится воевать без поддержки Англии и что Англия не хочет восстановления Польши из боязни создать новую союзницу для Франции; 3) что Австрия, в двуличной политике своей дотоле льстившая полякам надеждами, решилась, видя их беззащитность, преследовать их. Можно было похрабриться безопасно, и вице-канцлер ловко этим воспользовался. Но тут он начал вереницу ошибок. Из боязни Пруссии, которая рано или поздно не преминет предъявить притязания на Остзейские губернии, вице-канцлер допустил растерзать Данию, не предвидя, что два года спустя Дания даст России ее будущую императрицу; потом из боязни Франции он допустил, вопреки всем договорам и вопреки самым элементарным выгодам России, не только сплотить Молдавию и Валахию воедино, но еще обратить их в государство с потомственной династией, да еще под властью какого государя?.. Католика!.. И это в стране православной, в стране, где православие было в течение нескольких веков главным щитом туземцев против мусульман, и на границе России, для которой католичество есть главный враг, ее непримиримый враг! Плохой, весьма плохой политик был император Николай; канцлер его Нессельроде, немец родом и по душе, но никогда Николай и Нессельроде не допустили бы подобной оплеухи для России! Теперь и греки, и славяне под игом турецким кипят пламенным желанием освободиться; стремления их встречают живейшее сочувствие в России во всех слоях общественных, а вице-канцлер лишь думает, как бы, если нельзя замять дело, по крайней мере оттянуть его. Теперь со стороны западных держав делают России предложение: требовать у Турции разных льгот христианам, но за то поручиться в сохранении державы Оттоманской. Таким образом, Турция, по своему обычаю, все обещает и ничего не исполнит, а Россия вместе с прочими христианскими державами принуждена была бы воспротивляться освобождению христиан из-под ига мусульманского! Князь Горчаков, вместо того чтобы это предложение, в высшей степени

лукавое и гнусное, отвергнуть немедленно, отвергнуть с негодованием, его обсуживает и ведет на этом основании переговоры! Русский посланник в Вене, граф Стакельберг, человек честный, очень умный и весьма способный, невзирая на свое остзейское происхождение искренно преданный России, недавно выразил свое сочувствие кандиотам и за это получил замечание от вице-канцлера. Это тот самый граф Стакельберг, который в бытность свою посланником в Италии своей политикой, умной, истинно русской, значительно способствовал объединению Италии. Зато Константин Николаевич пылает желанием войны: во-первых, чтобы вырвать иностранные дела из рук князя Горчакова и на его место посадить кого-нибудь из своих подручных; а во-вторых, в надежде, что при войне авось где-нибудь выпадет ему на долю какая-нибудь корона. Он не может равнодушно вспомнить, что отец его дважды помешал ему сделаться королем: в 1849 году королем Венгрии, когда Гёргей и прочие генералы венгерские предлагали ему корону св. Стефана, в 1852 году королем греческим, когда в бытность его в Венеции туда являлась таинственно депутация греков, предлагавших короля Оттона свергнуть с престола и возвести его на оный. В то время Головнин уже брал уроки греческого языка, но Николай Павлович слышать не хотел ни о каком перевороте где бы то ни было.

Вице-канцлер желал было воспротивиться балу, данному в Петербурге в пользу кандиотов, балу, имевшему успех самый блистательный, но принужден был уступить перед влиянием Константина Николаевича и цесаревны, которая решительно стала на сторону христиан восточных отчасти из желания увеличить свою популярность, отчасти из дружбы к брату своему, королю эллинов. Общественное мнение сильно восстало в пользу христиан восточных: за них стоят и конституционисты, и даже часть ретроградов; одни лишь олигархи с их смехотворной газетой «Весть» не сочувствуют им: ведь у греков, у сербов, у болгар нет дворянства, нет каст, так может ли им сочувствовать орган г-на Скарятина, порождающий смех, когда трактует о предметах серьезных, и зевоту — когда хочет быть остроумным. Ни один разумный русский не желает для России расширения пределов ее и без того уже едва ли не слишком обширных, особенно ввиду завоеваний, сделанных в Средней Азии, и завоеваний, может быть,

еще там предстоящих вследствие неотразимых исторических судеб России, мировое призвание которой состоит в передаче просвещения из Европы в Азию. Но также ни один разумный русский не может хладнокровно допустить, чтобы Дарданеллы, ключ моря Черного, попали в руки одной из больших держав. Общественное мнение в России желает распадения Европейской Турции на несколько держав отдельных, независимых, по племенам. Пусть Греция присоединит к себе Эпир, Фессалию, Албанию и все острова Архипелажские с Кандией и Родосом; пусть Сербия присоединит к себе Боснию и Герцеговину; пусть Болгария станет отдельной державой и Румыния сохранит свою независимость, только не под властью государя-католика... Но Константинополь непременно должен сделаться городом независимым и вольным, а Дарданеллы должны быть навсегда открытыми и военным, и торговым судам всех стран мира.

Константин Николаевич желал бы заменить князя Горчакова или Головниным, или князем Орловым (брюссельским), или князем Алексеем Лобановым (бывшим посланником в Царьграде). Партия ретроградов желает заменить Горчакова Будбергом* (парижским), ярым ретроградом, энергическим, упрямым...

Горчаков до того боится слететь с места, что когда избранный им товарищ, личный друг его Николай Муханов, произведен был в первый придворный чин, что по этикету несовместимо со званием министерского товарища, то Горчаков из боязни, чтобы ему не подсунули человека, который мог бы сделаться министром, поспешил, к неописуемому изумлению всеобщему, взять себе в товарищи незначительного чиновника, начальника своей канцелярии Вестмана, бюрократа малоспособного и пустейшего, давно гонявшегося за местом посланника и никогда его не получившего, а тут его вдруг назначают товарищем министра! По министерству и по Петербургу раздался всеобщий хохот!

«Голос», журнал константиновцев, сильно ратует за войну, в прошлом ноябре он спрашивал правительство: неужели оно бессильно воевать? Горчаков требовал приостановления «Голоса» на два месяца, и Шувалов (Петр IV), всегда готовый придавить гласность, настаи-

вал на том же. Валуев не хотел, не желая ссориться с великим князем, и представлял, что приостановление «Голоса» послужит в пользу «Петербургским Ведомостям», прибавит им подписчиков. Надобно сказать, что «Петербургские Ведомости» — журнал либеральный, независимый, честный, именно по причине своей честности и независимости не только не имеет в официальных сферах поддержки, но еще там встречает вражду и потому принужден выражаться крайне осторожно, чтобы не наткнуться на запрещение. Честность и независимость его, которые в конституционном порядке вещей составляли бы его силу, при самодержавии являются причиной слабости; но всемогущий Шувалов заставил государя приказать приостановить «Голос» на два месяца, а чтобы не обнаружить истинной причины гнева, привязались к статейке, в которой сказано было, что полицейский мундир не пользуется в России уважением (что ясно как солнце). Константин Николаевич, узнав о приостановлении своего «Голоса», взбесился страшно и выхлопотал отмену этого распоряжения; чтобы скрыть от публики закулисную придворную борьбу, объявили в Новый год общую амнистию всем журналам. «Голос» тотчас опять начал проповедовать войну; Горчаков снова обратился к Шувалову; требовал, чтобы по крайней мере дали предостережение «Голосу», но Шувалов, проученный опытом и не желая новой ссоры с великим князем, не хотел слышать о том. Вице-канцлер настаивал, но Петр IV наклеил ему нос, и предостережения не было дано.

У нас в Петербурге обезьянничают с Парижа; оттуда взяли систему газетных предостережений*, и если бы французские министры вздумали, входя в залу своих совещаний, делать антраша, то несомненно, что все наши министры, собравшись в заседание, начали бы свои совещания исполнением антраша (не исключая и усопшего Адлерберга)...

Можно себе представить оцепенение наших псевдогосударственных людей, когда система предостережений, два года тому назад ими принятая за конечный вывод образования и ума человеческого, вдруг в Париже самим автором своим объявлена несостоятельной! Наш закон о печати составлен был Головниным, в то время министром просвещения, но теперь константиновцы отрекаются от этого несчастного детища своего, и верная слу-

жанка их «Indépendance Belge» два раза в неделю тычет в Валуева упреком, зачем он сочинил этот закон, что несправедливо: закон этот Валуеву был предписан, а он повиновался по своему обычаю.

Теперь в Петербурге и в Москве очень заняты вопросом о театрах. Тридцатилетнее управление Гедеонова — которому звание театрального директора доставило блестящую карьеру и познакомило его с тузами — ввергло театры в страшный дефицит. Гедеонов держался покровительством фельдмаршала Волконского и Дубельта, особенно внимательных к балетному училищу; лишь только Дубельт был удален от дел, приступили к ревизовке театральных счетов: оказался огромный дефицит. Гедеонова заменили Андреем Сабуровым (умершим в прошлом году), полагая, что человек, необъяснимыми доселе путями наживший миллионы, обогатит театры. Оказалось, что нет. В 1862 году Сабуров хотел соблазнить девицу из театрального училища; история наделала шума; Сабуров утушил дело, подарив 60 000 рублей серебром одному из самых влиятельных лиц при дворе, но императрица потребовала отрешения Сабурова от управления театром. На место его назначен был граф Борх, знатный барин, вельможа отлично воспитанный, вежливости самой утонченной, но администратор неспособнейший, один из тех баричей, которым судьба с рождения их на лбу написала: «Ты ни к чему неспособен; быть тебе обер-камергером!» Театры пришли в совершенный упадок, и поговаривают о назначении нового директора: одни хотят Степана Гедеонова, достойного сына бывшего директора, другие — графа Алексея Толстого. Толстой — человек умный, писатель не без дарования, он близок к государю, допускается в самый интимный кружок императрицы (что в Петербурге редкость), и его объявляют великим писателем, а когда он получит чин тайного советника, то будет произведен и в гении. У нас все так делается. Дмитрий Милютин, например, издал четырнадцать лет тому назад прекрасную книгу «История войны 1799 года», но он еще был в то время полковником: Академия наук и Московский университет приняли его в свои члены теперь, когда он сделался полным генералом и военным министром. Один мой знакомый говаривал: «В Китае есть пословица: чин чина почитай».

Для постановки драмы графа Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного» издержали 30 000 рублей серебром. Мало того: несколько времени тому назад какой-то господин написал пустейшую пьесу «Князь Серебряный»; граф Борх, вовсе незнакомый с литературой, а еще менее с русской, смешал пьесу с романом графа Алексея Толстого «Князь Серебряный», принял его, столь интимного при дворе, за автора пьесы, и на постановку ее допустил издержать 8000 рублей серебром, тогда как для пьес хороших, изящных, отказывают в издержках под предлогом скудости казны!!!

В Москве театр идет также очень плохо. Начальник его, Василий Сергеевич Неклюдов*, шурин министра юстиции...

Если вы у меня спросите: кто был бы лучшим директором театров — Степан Гедеонов или граф Алексей Толстой, — я бы вам отвечал: «Оба хуже!» Театральная администрация уже явно высказалась несостоятельной; необходимо перейти к системе свободных театров. В этом отношении, как и в прочих, одна лишь свобода плодотворна: она все живит и все развивает... Теперь хотят, и по справедливости, иметь театр народный; где же бюрократам или придворным баричам его устроить?..

В настоящее время заседает финляндский сейм, а у нас, русских, слюнки текут по губам. Правительство на прошлом сейме было недовольно председателем, бароном Грипенбергом, и на этот раз назначило генерала Норденстамма. До сих пор в Финляндии одни лютеране пользовались политическими правами — что нелепо; теперь хотят распространить эти права на всех христиан, но почему же только на христиан? Что религия имеет общего не только с гражданскими правами, но и с личными качествами? Мейербер и Мендельсон были евреи, а Видок и Леонтий Дубельт были христиане!

В Финляндии доселе существует разделение сейма на четыре сословия — шведская средневековая система, отжившая, вполне неудобная и с нынешнего года отмененная в Швеции, где ее заменили двумя палатами с выборами бессословными...

Как ни вертись петербургское правительство, какие штуки оно ни выкидывай, но неминуемо придет оно к банкротству, если не даст России конституции, а этой

последней ему все-таки не миновать после банкротства! Разница в том лишь, что теперь от правительства зависит начертать конституцию, а после банкротства — земство возьмет себе такую, какую захочет. Кто поживет — увидит...

«Колокол», 1867 год.
№ 235/236 от 1/III,
стр. 1917—1923.
№ 237 от 15/III,
стр. 1933—1936.

Биографии и статьи



Михаил Николаевич Муравьев.

Биографический очерк.

Три года тому назад в издаваемом мною в то время журнале «Будущность» я поместил биографический очерк М. Н. Муравьева*, тогда занимавшего должности министра государственных имуществ, директора Удельного департамента и управляющего Межевым корпусом. Ныне едва ли еще найдутся в продаже номера «Будущности», и потому, по изъявленному мне желанию многими из числа наших соотечественников, печатаю здесь вновь этот биографический очерк с дополнениями.

Муравьевых весьма много; некоторые из них — декабристы — вечно будут жить в признательной и благоговейной памяти россиян; другие, подобно нынешнему литовскому хану, приобрели себе репутацию совсем иного рода. Помещаем здесь сведения о взаимном родстве различных лиц фамилии Муравьевых.

Василий Алаповский находился сыном боярским в великом княжестве Рязанском в конце пятнадцатого века; у него было три сына: Осип по прозванию «Пуща», Иван по прозванию «Муравей» и Иов. Этот последний остался в Рязани, где от него пошел давно угасший род Алаповских. Иоанн III после уничтожения Новгородской республики выселил несколько тысяч семей новгородцев в разные области России; в то же время перевел из разных областей России в Новгород множество людей и роздал им земли, у новгородцев конфискованные. В числе детей боярских, в Новгород переведенных в 1500 году, находи-

лись Пуща и Муравей; от первого пошли *Пущины,* двое из коих вписали имена свои в благородную скрижаль декабристов; от второго пошли *Муравьевы.*

Иван Васильевич Муравей имел четырех сыновей: 1) от старшего, Григория, по прозвищу «*Мордвин*», пошла старшая ветвь Муравьевых; 2) от второго, Ивана, по прозвищу *«Сморчок»,* пошла вторая ветвь; 3) от третьего, Михаила, пошли третья, четвертая и пятая ветви; 4) от младшего, Елизария, по прозвищу «*Русин*», пошла шестая, младшая ветвь.

Второй сын Михаила Ивановича Муравьева, Максим, по прозвищу «*Зверь*», имел сына Федора и трех внуков: от старшего, Феоктиста, пошла третья ветвь, произведшая нынешнего литовского хана; от младшего, Пимена, пошли четвертая и пятая ветвь. Сын Пимена, Захар, имел трех сыновей: от старшего, Артамона, пошла четвертая ветвь, от младшего, Воина, пятая ветвь. Артамон Захарович имел четырех сыновей; старший, Никита, был отцом известного попечителя Московского университета Михаила Никитича, одного из самых образованных и самых благородных людей своего времени и сыновья коего, декабристы Никита и Александр Михайловичи, оба умерли в Сибири. Второй сын Артамона Захаровича, Матвей-старший, женат был на внучке малороссийского гетмана Апостола; рожденный от этого брака сын, Иван Матвеевич, принявший фамилию Апостола, писал книги и стихи, но в особенности известен был своею салонной любезностью; он был женат два раза и от первого брака имел трех сыновей-декабристов: Матвей Иванович ныне живет в Твери; Сергей Иванович повешен был Незабвенным 13 июля 1826 года; Ипполит Иванович убит был в деле под деревней Устиновкой 9 января того же года. Третий сын Артамона Захаровича, Матвей-младший, имел сына Захара, дочь коего была за знаменитым Канкриным, а старший сын Артамон Захарович, декабрист, умер в Сибири... Таким образом, декабристы Никита Михайлович, Сергей Иванович и Артамон Захарович приходились между собою внучатными братьями.

Третий сын Захара Пименовича (см. выше), Воин, имел внука Назара Степановича, сын коего, Николай Назарьевич, был статс-секретарем и в начале царствования Незабвенного, когда его правнучатных братьев ссылали в Сибирь и вешали, находился начальником I Отде-

ления Собственной канцелярии. Старший сын его — нынешний граф Амурский[1].

Родоначальник третьей ветви Муравьевых, Феоктист Федорович (см. выше), имел внука Ерофея Федоровича, сын коего, Николай Ерофеевич, человек умный и ученый, был из лучших инженеров своего времени; при выходе в отставку он пожалован был в царствование Екатерины II в генерал-аншефы, чин, в то время имевший большое значение (не то что ныне, когда в одном Петербурге несравненно более лиц второго класса, чем квартальных надзирателей, и когда всем известно стало, что искуснейший доктор в мире — русский царь, единым словом своим могущий превратить худого генерала в полного генерала). Сын его, генерал-майор Николай Николаевич, человек умный и замечательной учености, учредил в десятых годах нынешнего столетия школу колонновожатых*, рассадник офицеров генерального штаба. Школа эта, существовавшая несколько лет, пользовалась общим и заслуженным уважением; из нее вышло несколько людей весьма способных и достойных. Генерал Муравьев оставил пять сыновей: 1) старший, Александр Николаевич, человек характера благородного и возвышенного, был одним из первоначальных учредителей тайного общества, с разными преобразованиями существовавшего с 1815 по 1825 год; несколько лет находился на жительстве в Сибири; потом был губернатором архангельским, вятским, таврическим, нижегородским; ныне сенатор в Москве; везде оставил он по себе память любимую и уважаемую; 2) Николай Николаевич, ныне генерал от инфантерии, генерал-адъютант и Государственного совета член; в молодости своей известный отважной поездкой в Хиву*; принимавший блистательное участие в войнах Персидской, Турецкой 1828 и 1829 годов и Польской;

---

[1] Есть еще две фамилии Муравьевых: одна происходит от Игнатия Муравьева, преображенского солдата и лейб-кампанца, получившего дворянство от императрицы Елизаветы. Происхождение другой фамилии Муравьевых — самое оригинальное. Однажды император Павел приезжает в Первый кадетский корпус в сопровождении почтенного Михаила Никитича Муравьева и, обходя корпус, спросил у одного кадета: «Как твоя фамилия?» — «Приказный, ваше величество». Павел, обратясь к Михаилу Никитичу, сказал ему: «Терпеть не могу приказных; они мне вовсе не нужны; мне нужно поболее таких людей, как ваше превосходительство: быть этому мальчику Муравьевым», и на другой день подписал указ о переименовании кадета Приказного в Муравьева!!!

командир корпуса войск, посланного в 1833 году на помощь султану Махмуду против египтян; а с 1838 по 1848 год, вследствие происков известного интригана фельдмаршала Воронцова, находился в отставке; в последнюю войну был главнокомандующим на Кавказе и взял Карс; одарен блистательными воинскими способностями и характером благороднейшим. Необыкновенным бескорыстием и простотой жизни своей он напоминает героев Древнего Рима; это бескорыстие в соединении с нравом резким и с прямодушием неуклонным приобрели ему в царской дворне врагов многочисленных и рьяных. Его честность, прямота и бескорыстие служат живыми упреками царской дворне, принимающей эти качества за личную обиду; 3) Михаил Николаевич, о нем сейчас будет речь; 4) Андрей Николаевич*, известный сочинитель многих полезнейших книг, например: «Писем о богослужении православной церкви» и «Житий святых православной церкви», но вместе с тем известный интриган, предпочитает задние ходы пути прямому, обыкновенному; избравший благочестие не целью жизни, а орудием к достижению своих мирских видов; страстный охотник вмешиваться в чужие дела и потому получивший (в отличие от святого апостола Андрея Первозванного) прозвище Андрей Незванный; 5) Сергей Николаевич, о коем мы не имеем ровно никаких сведений.

Михаил Николаевич родился в 1796 году, а в 1813 году был уже офицером на войне. По возвращении в Россию он преподавал математику в школе колонновожатых, учрежденной его отцом; потом женился на Пелагее Васильевне Шереметевой, родная сестра которой была за декабристом Иваном Дмитриевичем Якушкиным. Тут вполне выразился ход дел в России, ход столь обыкновенный в странах самодержавных: умный, благородный, возвышенный душою Якушкин приговорен был к каторге и тридцать лет провел в Сибири, а Муравьев разгуливает в Андреевской ленте и посылает других на каторгу!

Муравьев по уму и по образованию человек истинно замечательный. Познания его обширны, многосторонни и основательны, деятельность изумительна; благодаря своему здоровью, столь же медвежьему, как и характер его, он может работать по четырнадцать часов в сутки, но сколь высоко стоит он по уму и по образованию,

столь низко стоит он по нравственным свойствам своим. Характер его составлен из двух стихий, двух стремлений алчных и ненасытимых: властолюбия и жадности к деньгам. Чувство личного достоинства, честь, совесть для него не существуют; все это для него слова, пустые звуки; власть и деньги — вот его религия. Во всю жизнь свою он никогда не шел по направлению убеждений, коих у него никогда и не бывало; он всегда шел по направлению политического попутного ветра, льстил, кланялся, извивался, унижался всевозможным образом, просиживал целые часы в приемных комнатах министров и временщиков и сам, уже будучи министром, ездил в ленте поздравлять со днем рождений и тезоименитств председателя Государственного совета и любимцев царских. Сколько на своем веку вынес он от своих начальников унижений и презрения! С него все — как с гуся вода! Совершенный тип петербургского сановника, он монгол в европейском платье: если вы ему нужны, он будет вам льстить и кланяться; не нужны вы ему, он на вас не взглянет, а поступите к нему под начальство, он вас согнет в бараний рог!

В последнюю половину царствования Александра I либеральные идеи были в большом ходу; по всему казалось, что им открыта была близкая будущность, и будущность эта состоялась бы непременно 14 декабря 1825 года, если бы тогдашние петербургские заговорщики действовали искуснее в этот достопамятный день; если бы они, вместо того чтобы избрать диктатором доброго душой, но слабого характером князя Трубецкого, избрали бы диктатором человека с энергией, например Якубовича; если бы они, вместо того чтобы выводить войска утром на площадь Сенатскую и терять там несколько часов в бездействии, вывели бы войска из казарм ночью, устремились бы на Зимний дворец, овладели бы императорской фамилией, Петропавловской крепостью и артиллерией; одним словом, если бы они следовали примеру заговорщиков, возведших на престол Елизавету Петровну в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, ночь достопамятную, удачному мятежу коей ныне царствующий дом Голштейн-Готторпский обязан престолом всероссийским!

В двадцатых годах волнение умов и политический ветер, отовсюду навевавший идеи либеральные, идеи кон-

ституционные, казалось, предрекали России перемену в образе правительства. Муравьев не хотел упустить случая воспользоваться обстоятельствами, по-видимому, столь благоприятными, в надежде, при успехе заговорщиков, принять участие в правлении. Ему это было нетрудно. В числе декабристов находились многие из фамилии Муравьевых, а свояк его по жене, умный и благородный Иван Дмитриевич Якушкин, был одним из главных заговорщиков. Поступая осторожно и хитро, Муравьев принял участие в замыслах, но не дал, подобно прочим, подписки в участии и потому избегнул ссылки. По арестовании заговорщиков, он был заключен в Петропавловскую крепость; страшно испугался; при допросах объяснял, что участвовал на разных съездах заговорщиков, но сам заговорщиком не был, а что слышал и сам произносил слова неосторожные, в том горько каялся и проливал о том обильные слезы. Рассказывают, что он не ограничился пролитием слез, но еще сильно обвинял многих товарищей, *пострадавших от его обвинений,* и слух этот подтверждается тем, что он не только был выпущен из крепости, но еще получил чин статского советника и вице-губернаторское место — конечно, не за участие в сходбищах заговорщиков, а за какие-нибудь услуги правительству, услуги, в формулярном списке его не помещенные*.

В России наступило тогда удушливое царство Николая, царство самовластия и тайной полиции; наступило гонение на либеральные идеи, гонение, которое с большей или меньшей жестокостью, большей или меньшей нелепостью, продолжалось тридцать лет. Муравьев явился рьяным защитником власти твердой, неограниченной, впрочем, гораздо более либерализма симпатичной его нраву злому и жестокому. Пожалованный в действительные статские советники, потом переименованный в генерал-майоры, он после взятия Варшавы назначен был военным губернатором в Гродно, и тут его природная свирепость, подстрекаемая желанием угодить Николаю, превратила его в лютого тирана несчастных поляков. Только что приехав в Гродно, он узнал, что один из тамошних жителей спросил у одного из чиновников: «Наш новый губернатор родня ли моему бывшему знакомому, Сергею Муравьеву-Апостолу, который был повешен в 1826 году?» Муравьев воскипел гневом (кажется,

было не из-за чего) и воскликнул: «Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, которые были повешены, а из тех, которые вешают!» Жестокость его в преследовании поляков не знала пределов; он являл в лице своем не губернатора, представителя могущественного государя в целой области, а дикого зверя. Благородного и почтенного князя Романа Евстафьевича Сангушко, за участие в событиях 1831 года приговоренного к лишению дворянства и ссылке на поселение, он велел привести к себе в дом и в зале губернаторского дома при себе велел сорвать с него мундир и плюнул ему в лицо!!!

В 1832 году он был назначен военным губернатором в Минскую губернию, в коей находятся значительные местности фамилии Радзивиллов. В литовском статуте, дотоле управлявшем тем краем, существовало так называемое «заставное право», по коему помещик, занимая деньги, отдает кредитору своему в пользование определенную часть своего имения, и в случае неуплаты в срок отданная в пользование часть имения становится законной собственностью ее дотоле временного владельца. Таким образом, князья Радзивиллы, Карл (умерший в 1790 году) и Доминик (умерший в 1813 году) роздали много имений окрестной шляхте. Имения эти уже раздробились: некоторые перешли продажей и во вторые и в третьи руки, и многие из них составляли единственную собственность своих владельцев. В январе 1833 года князь Леон Радзивилл (ныне генерал-адъютант) женился на фрейлине княжне Софье Александровне Урусовой и через то приобрел отменную милость Николая Павловича. Князю Радзивиллу захотелось отнять у вышеозначенных владельцев принадлежащие им имения. Процесс был начат, веден самым беззаконным образом и решен в пользу Радзивилла. Лишь только процесс начался, как Муравьев, подстрекаемый жаждой угождения любимцам царским, предписал губернаторской властью своей и в противность законам, чтобы все имения, на которые Радзивилл простирал притязания, были немедленно взяты в опеку; чтобы владельцы их были немедленно высланы из имений и чтобы им не было позволено ничего вывезти с собой. Таким образом, значительное число семейств, живших в довольстве, а некоторые и в изобилии, владевших своими имениями кто по тридцати, кто по сорока, а кто и по пятидесяти лет, в один миг росчерком пера Муравьева и в

противность закону лишились всего, выгнаны были из имений, в коих многие из них родились; лишились последнего куска хлеба; из зажиточных, домовитых помещиков превратились в голодных нищих, и все это потому, что Муравьев в своем придворном холопобесии всегда стремился угождать без разбора средств влиятельным царедворцам! Это была одна из самых гнусных мерзостей николаевского царствования, столь обильного мерзостями. Очевидец, сообщивший нам эти подробности, говорил, что нельзя было без умиления взирать на несчастных жертв Радзивилла и Муравьева, в один миг лишившихся всего. Это были «плач и скрежет зубами», говорил он.

Прибыв в Петербург, Муравьев был встречен весьма милостиво Николаем Павловичем, который поздравил его генерал-лейтенантом за этот удачный поход против закона и частной собственности. Муравьев с радости поспешил надеть генерал-лейтенантские эполеты. Военный министр Чернышев, который его терпеть не мог (неизвестно почему? Эти две личности достойны были оценить и любить друг друга), сказал ему, что он не имеет права надевать генерал-лейтенантских эполет прежде, чем о производстве его будет помещено в высочайшем приказе, и сообщил о том государю. Николай Павлович, помешанный на формалистике, ужасно рассердился на Муравьева и отменил его производство.

Муравьев был отправлен губернатором в Курскую губернию, где и за многочисленностью бедных однодворцев, и за недостатком сбыта для земных произведений накопились огромные недоимки в податях. Желая выслужиться, он с истинной жестокостью приступил к сбору недоимок; крестьянский скот, крестьянская рухлядь были описываемы и безжалостно продаваемы с публичного торга. Нашествие Муравьева на Курскую губернию не скоро забудется: он там разорил народ.

Через несколько времени министр финансов Канкрин (женатый на Муравьевой) взял его к себе в директоры департамента податей и сборов и несколько раз просил для него у государя чин генерал-лейтенанта, но Николай не забыл и не мог простить Муравьеву нарушения формальности. Наконец в 1842 году по убедительному настоянию Канкрина сделал его сенатором, но с гражданским чином тайного советника. Через несколько лет Муравьев

был назначен главным директором Межевого корпуса. В 1849 году он воспользовался страстью Николая к военной части, его мундиробесием, чтобы выпросить межевому ведомству право ношения эполет и военного мундира, и при этом случае переименован был в генерал-лейтенанты, получил наконец этот чин, за которым пятнадцать лет гонялся.Тут уже Муравьев стал добиваться поступления в Государственный совет. Для этой цели он более чем когда-либо явился искательным перед петербургскими временщиками и сановниками, ездил к ним на поклон, просиживал целые часы в их приемных; не пропускал ни их тезоименитств, ни дней их рождения; льстил им; жал руки их взрослым сыновьям, а малолетним возил конфекты и непрерывной системой угодливостей и искательств достиг давно желанной цели своей: 1 января 1850 года он был назначен членом Государственного совета.

Хамелеон Муравьев наконец дополз до цели, им всегда желанной, — он попал в Государственный совет. Являясь в юности либералом и заговорщиком, а ныне клевретом самодержавия самого тяжкого, свирепым исполнителем требований самых безумных, самых низких, самых бесчеловечных, то ревнителем просвещения по званию вице-председателя Русского географического общества, то неутомимым посетителем и долгим гостем передних всех временщиков, Муравьев дополз до Государственного совета. Но «l'appétit vient en mangeant»[1] — гласит французская пословица, и, едва поступив в Совет, Муравьеву захотелось быть министром, тем более что по Совету он был сотоварищем министра юстиции графа Панина, а по званию директора Межевого корпуса находился его подчиненным. Всем известно, что Панин с подчиненными и с низшими — горд, недоступен, тяжел, крут и дерзок; с равными — тяжел, неприятен и лукав, а перед временщиками — невзирая на свой трехаршинный рост — вертляв, как собачонка. Муравьеву вовсе не хотелось расстаться со званием директора Межевого корпуса, с которым сопряжены и значительный оклад, и право разъезжать по всей России на казенный счет для ревизии бесконечного межевания, и возможность оказывать разные услуги влиятельным лицам, следовательно, и возможность приобретать себе друзей и заступников. Ему хоте-

[1] Аппетит приходит с едой *(фр.)*.

лось, оставаясь директором Межевого корпуса, сделаться вместе с тем и министром, чтобы стать совершенно наравне с Паниным.

Но Муравьев умен, даже очень умен; следовательно, ему в Петербурге было весьма трудно сделаться министром. Петербург, наш многоболотный и всепресмыкающийся Петербург, в одно и то же время и отечество лягушек, и рай дураков. Как Муравьев ни старался скрывать своего ума, как он ни старался являться фанатиком самодержавия и мундиробесия, но при Николае он в министры не попал. Николай, столь же злопамятный, сколь и мелочный, не мог никогда простить Муравьеву двух вещей: соучастия, хотя и косвенного, с декабристами и нарушения формализма тем, что надел генерал-лейтенантские эполеты прежде объявления о производстве в высочайшем приказе.

По смерти Николая при виде положения, в какое упала Россия, при виде этого ужасного состояния, с разбойничьей администрацией, без денег, с торговлей в упадке, с генералами и сановниками глупыми и плутоватыми вместе, хотели иметь министрами людей способных, что весьма трудно при существовании четырнадцати классов, и ухватились за двух людей, которых Николай не любил, — Муравьева и Чевкина. Зная любовь Николая к глупцам, которых он имел особенный дар отыскивать и выводить, Муравьева и Чевкина приняли за гениев потому только, что они удостоены были неблаговолением дураколюбивого Николая: обоих сделали министрами, и оказалось, что, невзирая на их неоспоримый ум, из обоих вышли министры самые негодные и даже вредные.

Когда в 1856 году граф Киселев назначен был послом в Париж, звание министра государственных имуществ сделалось праздным, и Муравьеву весьма хотелось занять его, но не удалось. При назначении преемника графу Киселеву обе партии — идей старинных и новых идей — вошли в борьбу и, видя трудность этой борьбы, решились на сделку. В августе 1856 года министром назначен был Василий Александрович Шереметев, человек благородный и честнейшего характера, но вполне пропитанный преданностью к старому порядку вещей; товарищем же министра назначен был Дмитрий Петрович Хрущов, поборник идей новых, человек деятельный, характера неза-

висимого и одаренный энергией, достойной уважения и редкой в этой атмосфере петербургского двора, атмосфере тлетворной в нравственном отношении, атмосфере, которая часто портит лучших людей и расслабляет самые твердые характеры. Между Шереметевым и Хрущовым, людьми весьма честными, но направлений совершенно различных и даже противоположных, вскоре завязалась междоусобная борьба, как того и следовало ожидать. Но борьба эта была непродолжительной: провидение решило ее неожиданным образом. В последних числах ноября 1856 года Шереметев был поражен ударом паралича, столь сильным, что состояние здоровья его не дозволяло ему более никакой деятельности, и Хрущов вступил в исправление министерской должности.

В первых числах ноября скончался министр уделов граф Лев Перовский. Со званием министра уделов сопряжено, как известно, весьма значительное содержание, и это разлакомило Муравьева. Но для занятия места министра уделов недостаточно было согласия императора Александра II (то есть Александра Николаевича Голштейн-Готторпского, исправляющего в России должность Романова); необходимо было согласие государя гораздо более значительного, гораздо сильнейшего, а именно Александра III (то есть Александра Владимировича Адлерберга). Отец Александра III, всенеспособнейший и всепустейший граф Владимир Федорович Адлерберг, уже соединивший в своих жадных лапах жалованья министра двора, канцлера орденов, главноначальствующего над Почтовым департаментом[1], наконец, пожизненную пенсию в пятнадцать тысяч рублей серебром, завещанную ему другом его, Незабвенным, хотел непременно сделаться и министром уделов, чтобы захватить оклад

[1] 1 января 1858 года главноначальствующим над Почтовым департаментом назначен был Прянишников, но Адлербергу все-таки оставлено в виде пенсии все содержание по этому званию, простирающееся до семнадцати тысяч рублей серебром. Сумма всех окладов, получаемых стариком Адлербергом и столь великодушно делимых им с Миной Ивановной, простирается с лишком за восемьдесят тысяч рублей серебром; сверх того он имеет дом, освещение, отопление, экипаж, а в течение семимесячного пребывания государя в загородных дворцах имеет еще и казенный стол. Между тем он для России, конечно, бесполезнее всякого сторожа, получающего жалованья два рубля в месяц. Когда взглянешь на огромную сумму адлерберговского оклада и вспомнишь, сколь великое число русских воинов, израненных и изувеченных за отечество, иногда нуждаются в хлебе насущном!.. Бедная Россия!

этого звания. Бороться с их величествами графами Адлербергами Муравьеву было не под стать: он выдумал лучше. Он предложил Адлербергам сделать его председателем департамента уделов со значительным жалованием, а титул министра с министерским окладом оставить старику Адлербергу. Это предложение восхитило Адлербергов и тотчас было принято; покорный и послушный Александр II спешил исполнить волю Александра III. Муравьев этим придворно холопским маневром приобрел себе расположение Адлербергов и всемогущую поддержку его графского величества Александра III.

Только что этот торг состоялся, едва прошло несколько дней, как министр государственных имуществ Шереметев разбит был параличом и не мог более исполнять своей должности. Муравьев просиял надеждой получить его политическое наследство. Он стал внушать Адлербергам, что исправляющий должность министра государственных имуществ Хрущов — красный! В Петербурге, как известно, всякий человек, одаренный некоторой степенью ума, если он только не является защитником старых злоупотреблений, если он не подличает, не холопствует, то у стародуров он называется красным, точно так, как при Незабвенном всех людей умных и честных называли беспокойными людьми. С теми же самыми наветами на Хрущова подъехал Муравьев к князю Орлову*, который при Николае был самым сильным и самым влиятельным из любимцев царских, а со времени вступления на престол Александра II сделался самым усердным и самым низкопоклонным из царедворцев Александра III. Чтобы привлечь Орлова на свою сторону, Муравьев обещал ему, что дом его на Литейном будет куплен правительством для помещения министра государственных имуществ*. Огромный дом этот куплен был Орловым в сороковых годах у Ивана Васильевича Пашкова за четыреста тысяч рублей серебром. Хотя и Орлов, и жена его были очень богаты оба, проживали весьма мало, имели только одного сына, также женатого на женщине весьма богатой; невзирая на то и старик Орлов, и жена его пропитаны были ненасытимой жадностью к деньгам. Покупая дом Пашкова, Орлов вымолил у Николая Павловича, чтобы казна заплатила Пашкову, и таким образом получил этот дом в подарок от государя. Приобрев даром это огромное здание, Орлов отдавал бельэтаж под

наем Дворянского клуба за высокую цену, а нижний этаж нанимала богатая старушка, графиня Разумовская. Для министра и Министерства государственных имуществ еще при Незабвенном выстроены были два огромных здания у бывшего Синего моста. Муравьев отзывался, что в этих зданиях печки устроены дурно, но, конечно, гораздо дешевле было переделать печки, чем покупать дом Орлова, а со стороны Орлова, занимавшего самую высшую должность в государстве, конечно, весьма неприлично было продавать казне дом, от казны же в подарок полученный. Истинной причиной желания Орлова продать дом было то, что Орлов, убежденный, что Александр II ведет Россию к гибели, перевел за границу сколь можно более денег и для этого заложил все имения свои и жены своей на сумму с лишком в шестьсот тысяч рублей серебром, причем бывший еще в то время министром финансов Брок выдал Орлову на всю эту сумму для перевода за границу золота, в коем отказывали и публике, и купцам. Если бы Орлов был частным лицом, то имел бы полное право без малейшего упрека переводить свое состояние за границу, но со стороны председателя Государственного совета и Комитета министров, со стороны первого официального лица в империи подобный поступок Орлова будет одной из многочисленных причин, по коим история произнесет строгий, но заслуженный приговор над этим сановником.

Орлов хотел продать и дом свой для перевода этих денег за границу. Он обещал Муравьеву свою поддержку и действовал столь искусно, что, когда Хрущов, имевший всегда благосклонный прием у Орлова, услышав в городе о предстоящем назначении Муравьева, поехал к Орлову узнать, правда ли это, хитрый старик притворился удивленным и уверял, что этого быть не может.

В апреле 1857 года Муравьев назначен был министром государственных имуществ. Адлерберги и Орлов взяли с него обещание, что он не будет работать в пользу освобождения крестьян и, напротив, будет стараться всеми силами преобразовать управление крестьянами государственных имуществ, приблизив его к системе управления крестьянами удельными.

Исполнились высшие задушевные мечты Муравьева; он дополз до министерства и вместе с тем получает огромное тройное жалованье. В качестве директора Ме-

жевого корпуса он подчинен был министру юстиции графу Панину, своему личному врагу. Выражение это требует объяснения. По своим нравственным качествам Панин и Муравьев вполне достойны взаимно оценять и любить друг друга, но их приводит к тайной вражде желание, у каждого из них существующее, захватить всю власть к себе в руки; каждый из них проникнут надеждой сделаться в будущем Аракчеевым Александра II. Они знают, что в настоящее время Александр III (Адлерберг) всемогущ, но хорошо знают также всю неспособность Александра III, знают, что его можно удовольствовать деньгами (хотя это недешево обойдется), и потому каждый из них ласкает себя надеждой, что если ему удастся удалить князя Горчакова и перессорить государя с великим князем Константином Николаевичем, то Александр III ради обильной благостыни дозволит ему сделаться Аракчеевым Александра II.

В качестве председателя департамента уделов Муравьев состоял под начальством министра двора, коему, равно как и министру юстиции, он был сотоварищем по званию министра государственных имуществ. Эти несообразности и противоречия в своем официальном положении Муравьев выносил терпеливо для того, чтобы получать разом три оклада. Он дошел в бесстыдстве своем до такой степени, что, отправляясь в летнюю поездку по России в 1858 году, взял разом прогоны по трем ведомствам: имуществ, удельному и межевому, и через это оригинальное казнокрадство приобрел себе в публике прозвание министра «трехпрогонного», в отличие от Панина, по своему огромному росту и по безурядице головы своей прозванного министром «трехполенным».

После приобретения обильной денежной благостыни вся забота Муравьева, этого «курносого ярыги», как его прозвали в Петербурге, обращена на то, чтобы выдвинуть вперед своих детей и родственников. Старшего сына своего, Николая Михайловича, он сделал губернатором вятским и по трогательному стечению обстоятельств по лесному ведомству (под начальством Муравьева состоящему) оказалось в 1856 году, что справедливость (петербургская) требует от правительства награждения двух губернаторов: вятского и нижегородского за их содействие к охранению лесов. Из этих двух губернаторов один — сын Муравьева, а другой — его родной брат!

Граф Панин выпросил у государя аренду своему чернорабочему холопу, известному по всей России тайному советнику Михаилу Ивановичу Топильскому. Этот последний явился к Муравьеву с письмом от Панина насчет назначения аренды. Муравьев изъявил сожаление, что вакантных аренд нет и вместе с тем спросил у Топильского: «Когда же вы дадите сыну моему Леониду место в консультации?» «Ваше высокопревосходительство, — отвечал Топильский, изгибаясь в три погибели по своей привычке, — его сиятельство граф Виктор Никитич изволит собираться на днях определить Леонида Михайловича в консультацию». Через несколько дней Топильский явился к Муравьеву объявить, что сын его Леонид определен членом консультации, а как по необыкновенно счастливому стечению обстоятельств накануне открылась ваканция на аренду, то Муравьев объявил Топильскому эту приятную новость, и оба почтенных мужа расстались с сияющими лицами.

Леонид Михайлович Муравьев также находился в то время членов Общего присутствия Провиантского департамента в Военном министерстве. Папенька получал жалованье по трем, а сынок по двум ведомствам. Сытно!!! Но самая знаменитая проделка Муравьева последовала в апреле 1859 года. В Министерство государственных имуществ поступила просьба нескольких купцов о продаже им казенной земли на берегу реки Камы для устройства пристани. Муравьев выпросил пожалование сыну своему земли, и вместо того чтобы отвести эту землю за Волгой, в губерниях Саратовской или Астраханской, или на севере, в губерниях Вологодской или Олонецкой, как это обыкновенно делается для прочих чиновников, он отвел сыну своему именно ту землю, которую купцы желали приобрести от казны и за которую они заплатили триста тысяч рублей серебром! Может ли быть казнокрадство более наглое?..

Дочь свою, Софью Михайловну, Муравьев выдал за родственника жены своей, Сергея Сергеевича Шереметева, коему промыслил звание церемониймейстера при дворе и место сверхштатного члена Строительной конторы Министерства императорского двора. Контора эта, учреждение коей есть одна из самых ловких проделок петербургской бюрократии, имеет председателем тайного советника Дмитрия Михайловича Прокоповича-Антонско-

го, супруга коего задушевная приятельница Мины Ивановны Бурковой, а в числе штатных членов конторы находятся: Антонин Дмитриевич Княжевич, человек самый короткий в доме Прокоповича-Антонского, и Иван Павлович Арапетов, друг и наперсник Николая Алексеевича Милютина[1]. До какой степени полезна эта контора, можно судить по результатам ее действий. Все постройки по Министерству двора производятся сквернейшим образом: летом 1860 года в недостроенном еще дворце великого князя Михаила Николаевича балки обвалились!..

На Муравьева были сделаны две хорошие карикатуры. Одна представляет господина, который бьет человека, приговаривая: «Я не из тех, которых бьют, а из тех, которые сами бьют других» (пародия на известные слова Муравьева в Гродно, см. выше); а в другой является к Муравьеву господин с прошением. «В чем состоит ваше прошение?» — говорит Муравьев; проситель отвечает: «Я желаю получить место, а так как Ваше высокопревосходительство изволите определять к местам только своих родственников, то я и подаю прошение о сопричислении к Вам в родство!»

Мы говорили выше, что Муравьев поступил в министры в апреле 1857 года после данного им Адлербергам и Орлову обещания не содействовать уничтожению крепостного состояния. Император Александр Николаевич, будучи великим князем, не желал эмансипации и даже беспрестанно ссорился с министром внутренних дел Дмитрием Гавриловичем Бибиковым за то, что Д. Г. Бибиков хотел введением инвентарей положить конец помещичьему произволу и приготовить переход крестьян к полному освобождению. Через полгода по восшествии своем на престол государь сменил Бибикова, и сменил круто, по проискам царской дворни, Бибикова ненавидящей, и на

---

[1] Г. Арапетов, подобно другу своему Н. А. Милютину, разыгрывал роль либерала, доколе не дополз до чина действительного статского советника и не получил официальную тафту через плечо. На Арапетова в Петербурге еще лет десять тому назад сочинены были стихи:

Друг идей современных;
Чуть-чуть не коммунист;
Боа — для подчиненных,
Перед министром — лист!

Вот уже седьмой год, что досуги г-на Арапетова по Строительной конторе награждаются окладом ежегодного жалованья в пять тысяч рублей серебром!

его место назначил глупца Ланского, по рекомендации Орлова, которому Ланской дал слово противиться освобождению крестьян.

После коронации государя по всей России стали ходить слухи о близком уничтожении крепостного состояния. В конце 1856 года донесения всех губернаторов предостерегали правительство, что умы в большом брожении и что необходимо или скорее приступить к делу, или объявить торжественно, что крепостное состояние отменено не будет. 28 декабря поступило в продажу в сенатской книжной лавке новое постановление о порядке совершения записей на увольнение помещиками крестьян своих, отдельно и с землей, для поступления в государственные крестьяне. Разнесся слух, что поступил в продажу указ о вольности: толпы народа осадили книжную лавку; каждый хотел получить экземпляр указа.

Правительство перепугалось (известно, что русское правительство одно из самых трусливых в мире), и 3 января 1857 года одиннадцать лиц приглашены были в кабинет государя, объявившего им, что надобно немедленно приступить к принятию мер для уничтожения крепостного состояния. Эти лица были: князь Орлов, о коем мы упоминали выше; граф Блудов, человек умный, отлично образованный, добрый душой, высокого бескорыстия, искренно желавший уничтожения крепостного состояния; старый граф Адлерберг, князь Василий Андреевич Долгоруков, оба пустейшие и бездарнейшие из числа наших государственных балбесов, оба закоренелые стародуры; князь Павел Павлович Гагарин, человек умный и отменно способный, но злой и мстительный; Ланской, человек тупоумный, бездарный, беспутный, который подписывал бумаги, не читая их, придворный холоп, на все готовый, чтобы угодить двору, алкавший министерского звания, чтобы только избавиться от докук своих заимодавцев, призванный в министерство вследствие данного им Орлову обещания не освобождать крестьян, но когда увидал перемену мыслей в государе, то и сам, к счастью, переменил свое направление и содействовал освобождению крестьян, но точно так же, как при Иоанне Грозном стал бы кипятить воду в котлах для мучений на Красной площади: ему все было равно, лишь бы только самому вести жизнь роскошную; барон Модест Андреевич Корф, человек образованный, но защитник всех старых злоупо-

треблений и старого порядка вещей, под сенью коего он совершил свою карьеру, человек, даже в искательном и низкопоклонном петербургском придворном мире умевший удивлять всех своей искательностью и низкопоклонством своим; Муравьев, герой нашего рассказа; Чевкин, человек, обладающий обширными познаниями, одаренный умом замечательным, способностями несомненными, трудолюбием редким, но вместе с тем и характером самым несчастным: вечно в ссоре со всеми, с начальниками, с товарищами, с подчиненными, с лицами, имеющими к нему отношение по делам, — одним словом, самый умный еж во всей всероссийской империи; Брок, по своим способностям, своей любви к прогрессу и своему бескорыстию достойный быть Адлербергом; в апреле 1858 года место его в министерстве и в Главном комитете заступил Княжевич, старый и опытный чиновник, превосходно знавший рутину управления, человек не государственный, но весьма хитрый; в течение сорокалетней службы нажив себе значительное состояние, он видел, что времена изменились, что возникла эта гласность «проклятая» (как выражаются в канцеляриях), вступил в министерство с намерением вести себя образованным образом, но старая привычка взяла свое: не устоял сам против искушений, не успел обуздать и племянников своих и пал в конце 1861 года; наконец, Ростовцев*, человек весьма хитрый и весьма ловкий, добрый душой, но без всяких убеждений, без всяких политических понятий, стремящийся к власти, усердно старавшийся угождать всем и каждому направо и налево. Правителем дел этого комитета, названного Главным комитетом по крестьянскому делу, назначен был, к сожалению, по вредному совету князя Орлова, государственный секретарь Бутков, чиновник весьма деятельный в своей чиновничьей сфере, ума хитрого и весьма пронырливого, но ограниченного; пустой, мелочный, но рьяный стародур, Алкивиад бюрократии и Ловелас непотребных мест.

Комитет назначил из среды своей комиссию для составления общего проекта; членами комиссии были: князь Гагарин, барон Корф и Ростовцев. Каждый из них подал отдельное мнение: князь Гагарин полагал полезным отложить освобождение крестьян на 25 лет (ему самому тогда было уже 70 лет от роду), барон Корф советовал предоставить вопрос этот дворянству, как то

было в Остзейских губерниях, а Ростовцев находил в то время, что ничего не может быть лучше закона 1803 года о свободных хлебопашцах и закона 1842 года об обязанных крестьянах, то есть косвенным путем сходился *в то время* с мнением князя Гагарина. Комитет постановил, что упразднение крепостного состояния должно быть разделено на три периода: приготовительный, переходный и понудительный, не определив, впрочем, сроков каждому периоду. На мнении Комитета государь уже подписал: «Быть по сему», и Бутков, шатаясь по непотребным местам, потирал себе руки от восторга, шепча на ухо: «Мы снова схоронили крепостной вопрос!» Барон Корф в конце 1857 года по собственному желанию вышел из Комитета, а царская дворня ввела в Комитет своего советника и руководителя графа Панина, величайшего стародура, одаренного даром слова и умением красноречиво защищать мнения бессмысленные и вредные. Стародуры, однако, не разочли одного обстоятельства, а именно: что в Панине до такой степени преобладает чувство придворного холопства, что он всегда будет стараться угождать государю и властвующим любимцам. Поэтому стародуры и оказались весьма недовольными действиями Панина, когда по смерти Ростовцева в феврале 1860 года ему поручено было председательствовать в другом комитете, также учрежденном по вопросу об уничтожении крепостного состояния и составленном из людей образованных и просвещенных, избранных правительством между чиновниками и между помещиками.

Между тем возвратился из-за границы в конце 1857 года великий князь Константин Николаевич и убедил государя решительно приступить к упразднению крепостного состояния. Государь в этот год два раза ездил за границу; разговаривал с разными лицами, и почти все убедительно советовали ему отменить крепостное состояние. Между тем Комитет продолжал переливать из пустого в порожнее, и на одном из докладов его, посланных к государю за границу, император собственноручно написал: «Я вижу, как дело это сложно и трудно, но требую от вашего комитета решительного заключения и не хочу, чтобы он *под разными предлогами* откладывал его в долгий ящик. Гакстгаузен угадал мое настоящее мнение; надобно, чтобы дело это началось сверху, иначе оно начнется снизу». Слова «под разными предлогами» были

три раза подчеркнуты рукой самого государя, который в августе назначил членом Комитета великого князя Константина Николаевича и тем значительно подвинул вопрос.

Муравьев, вступив в управление государственными имуществами, употребил лето и начало осени на поездку по России, уверял дворянство, что правительство не думает об отмене крепостного состояния. По возвращении своем в Петербург в октябре месяце 1857 года он представил записку, в коей утверждал, что, вследствие будто бы сделанных им на местах наблюдений будто бы практических, дело это, хотя в сущности полезное, преждевременно и что настоящее положение следует продлить еще на многие годы. Два месяца спустя, в декабре, когда уже последовали рескрипты дворянству петербургскому, высокопревосходительный хамелеон в полном заседании Главного комитета с этим видом глубокого убеждения, который он так искусно умеет на себя принимать, воскликнул: «Господа, через десять лет мы будем краснеть при мысли, что имели крепостных людей!»

Когда вышли рескрипты многим губерниям на учреждение губернских комитетов, стародуры были в отчаянии, и тут Муравьев придумал средство, которым надеялся затормозить вопрос отменения крепостного права. Он составил понудительную программу для губернских комитетов*, предписывающую им действовать не иначе как на основании принципа работы обязанной. Программа эта издана была 21 апреля 1858 года. В своем странном ослеплении Муравьев, подобно всем прочим стародурам, не понял, что работа обязанная была вернейшим средством пересорить помещиков с крестьянами.

Во все время, в которое разрабатывали крепостной вопрос, Муравьев всеми силами старался тормозить ход его; например, сильно восставал против гласности и против обсуждения его в журналах, а гласность, во всех странах полезная и необходимая, потому что без нее даже всякая конституция остается мертвой буквой, еще необходимее в России, чем где-либо, по отсутствию у нас конституции и парламента, а следовательно, и отсутствию парламентских прений, этих путеводных звезд стран образованных. Муравьев, по наружности льстя государю и его желанию уничтожить крепостное состояние, втайне действовал в угождение стародурам, изощряя в этой

вредной деятельности все усилия своего лукавейшего ума и своей необыкновенной энергии. Он поступал таким образом в угождение Адлербергам из боязни, чтобы они у него не отняли управления удельным ведомством, которое приносило ему двенадцать тысяч рублей серебром жалованья, разные, законом установленные сборы, доходившие до нескольких тысяч рублей серебром в год, разъездные деньги по России и сверх того *еще служило ему настоящим золотым прииском*. Подобный образ действий Муравьева и причины, его к тому побуждавшие, не могли ускользнуть от великого князя Константина Николаевича, с которым он прежде состоял в отношениях хороших, когда находился вице-президентом Русского географического общества, коего великий князь был покровителем. Константин Николаевич стал сильно гневаться на Муравьева, и между ними произошла размолвка, которая вскоре превратилась в страшную вражду. Мы далеко не принадлежим к числу поклонников великого князя Константина Николаевича — это довольно всем известно, — но долг справедливости и беспристрастия, долг чести обязывает нас сказать, что, какие бы промахи ни совершал Константин Николаевич, какие бы ни были его личные недостатки и даже пороки, Россия никогда не должна забывать, а, напротив, с вечной благодарностью должна вспоминать, что ему обязаны мы уничтожением крепостного состояния. Да, он поднял этот вопрос в начале нынешнего царствования, с увольнением Дмитрия Гавриловича Бибикова совершенно было упавший в воду; он внушил своему брату мысль эту; он в нем ее развил; он в нем ее поддержал вопреки всем ухищрениям дворни царской, удостоивающей Константина Николаевича высокой чести своей ненависти; он вынес этот вопрос на плечах своих и вынес его вопреки препятствиям, невообразимым для жителей стран образованных, вопреки угрозам самым подлым. Мы очень хорошо знаем, что великий князь действовал под влиянием людей умных и энергичных. Но вечная хвала ему за то, что он умел найти советников, умел внимать их советам и доказал ум свой тем, что явился совершенно чуждым главнейшему и самому отличительному свойству дураков, которые боятся умных людей, считают для себя обидным получать советы и унизительным испрашивать советов. Без Константина Николаевича не совершилось бы уничтожение крепостного состояния! Если бы он, человек бесспорно

умный и способный, был государственным мужем, если бы жажда ненасытного властолюбия и непомерная самонадеянность не обуревали его ума блистательного и пылкого, но чуждого дальновидности и глубокомыслия, то он стал бы убеждать государя даровать России конституцию; но он этого не делает из властолюбия, из чванства и из политической недальновидности.

Таким образом, между великим князем и Муравьевым загорелась сильная вражда, и одно особенное событие еще более распалило эту вражду, со стороны великого князя смешанную с презрением, Муравьевым вполне заслуженным.

В марте 1859 года Константин Николаевич представил в Совет министров проект преобразования Морского министерства и при этом случае поднял в заседании вопрос об отмене или, по крайней мере, о коренном преобразовании гражданских чинов. Мнение великого князя поддерживал министр иностранных дел, умный и благородный князь Александр Михайлович Горчаков, этот истинно русский вельможа. Чины гражданские, как всем известно, настоящий парник дураков; условие проходить их постепенно составляет одну из главнейших причин, почему на высших ступенях управления в России виднеются, за немногочисленными исключениями, лишь бездарность, подлость и мошенничество... Мнения великого князя и князя Горчакова нашли отчаянный отпор в Муравьеве и в Чевкине, и начало зла, воровства и всяких мерзостей восторжествовало над началом чести, просвещения и государственной пользы...

Чевкин искупал свое поведение в этом случае усердным и искренним служением делу уничтожения крепостного состояния, а Муравьев продолжал усердно служить Адлербергам и царской дворне.

В конце зимы 1861 года произошла при дворе и в Совете министров решительная борьба между стародурами и константиновцами. Государь уже принял крепостной вопрос к душе и, к счастью, совершенно освоил его себе. Стародуры и царская дворня между тем пугали Александра II той нелепостью, что будто уничтожение крепостного состояния произведет в России революцию!!! Борьба, о которой мы здесь упоминаем, была одной из самых сильнейших и самых решительных, когда-либо

происходивших при петербургском дворе. Без уничтожения крепостного состояния никакие реформы не могли быть приведены в действие, а при упразднении крепостного состояния никакая сила в мире не могла удержать Россию на отвратительной и мертвящей колее, по которой влачил ее Николай; преобразования могут совершаться более или менее быстро, с большими или меньшими препятствиями, с большим или меньшим успехом; стародуры могут тормозить и тормозят шествие России по пути прогресса, заставляют ее иногда творить попятные скачки, но уже никакая сила в мире не может остановить этого прогрессивного хода. Это понимали стародуры и рвались из сил, чтобы воспрепятствовать исполинскому шагу, совершенному Манифестом 19 февраля 1861 года. Главными советниками и руководителями стародуров в ту минуту являлись канцлер граф Нессельроде и обер-гофмейстер барон Петр Мейендорф, а главным орудием действий являлся Тимашев, который по своему званию начальника III Отделения мог удобно вредить кому хотел и представлять государю в докладах дела в том виде, какой находил выгоднейшим для своей партии. Нессельроде и Мейендорф не заседали ни в Совете министров, ни в Главном комитете по крестьянскому делу, и потому главным представителем стародуров в этих двух высших учреждениях являлся Муравьев: тут у него шла борьба отчаянная с великим князем.

Приближался апрель месяц 1861 года. Стародуры хотели канцлером Нессельроде заменить графа Блудова, за три месяца перед тем поступившего на председательские кресла в Государственном совете и в Комитете министров после умершего князя Орлова. Они хотели заменить князя Горчакова или бароном Петром Мейендорфом, или бароном Будбергом, или даже тупоумнейшим Иваном Матвеевичем Толстым, но они хотели во что бы то ни стало выжить князя Горчакова из министерства. Ланского они хотели заменить или Бутковым, или тогдашним петербургским генерал-губернатором Игнатьевым; Сухозанета они хотели заменить графом Эдуардом Барановым, а Ковалевского — или бароном Модестом Корфом, или Алексеем Ираклиевичем Левшиным.

Великий князь со своей стороны хотел заменить Ланского — Николаем Алексеевичем Милютиным; Сухозанета — генералом Милютиным (что вскоре и сбылось,

когда умер князь Михаил Дмитриевич Горчаков и Сухозанет заступил его место); Княжевича — Рейтерном; Ковалевского — Головниным; Панина — или генерал-аудитором Морского министерства Павлом Николаевичем Глебовым, или статс-секретарем князем Оболенским; наконец, князя Горчакова — князем Алексеем Борисовичем Лобановым, а Министерство государственных имуществ хотел упразднить и через то вытеснить Муравьева из Совета министров и из Комитета министров. Он хотел также согнать с места князя Василия Андреевича Долгорукова, но я не мог узнать, кем он хотел его заменить.

Ни та ни другая сторона не одержала в апреле 1861 года полной победы. За исключением Ланского, бездарность и тупоумие коего казались уж чересчур невыносимыми, и Ковалевского, который сам чувствовал свою несостоятельность и просился на покой, прочие министры еще все остались на местах. Место Ланского стародуры не допустили занять Милютину, коего удостаивали особенной своей ненависти за энергичное участие, принятое им в упразднении крепостного состояния, а Головнина не допустили до Министерства просвещения потому, что боялись его ума и энергии и ненавидели в нем ближайшего и главного советника великого князя. Но и великий князь со своей стороны не допустил до министерства ни Буткова, ни Игнатьева, ни Корфа, ни Левшина. Сошлись на половинных мерах и на взаимных уступках: министром внутренних дел назначен был Валуев, а министром просвещения — граф Путятин. Тимашев до такой степени рассердился на неполный свой успех, что оставил свое место, зная, что не много времени пройдет, как он опять стародурам понадобится, — и не ошибся. Его место заступил хитрый, но бездарный и пустой граф Петр Андреевич Шувалов.

Ненавистный великому князю, Муравьев усидел на министерстве, и стародуры успели под рукою внушить великой княгине Александре Иосифовне, что будто жизни великого князя угрожает мщение озлобленных крепостников. Великая княгиня, нежно любящая своего мужа, уверила великого князя, через посредство их лейб-медика Ивана Самуиловича Гауровица, будто здоровье его сильно расстроено, и под этим предлогом увезла мужа в Германию и на остров Вайт. Возрадовались стародуры и Муравьев с ними: великий князь уехал!

Радость их была непродолжительной. Граф Путятин в короткое время с благословения и по советам митрополита Филарета столь много успел накуролесить, что в университетах петербургском и московском вспыхнуло весьма понятное неудовольствие. В Москве скверные действия обер-полицмейстера графа Крейца и полицмейстера Сечинского, которым потакала бабья слабость генерал-губернатора Тучкова, а в Петербурге глупые и безрассудные действия генерал-губернатора Игнатьева и начальника шпионов графа Шувалова дали событиям вид гораздо более серьезный, чем они были в сущности. Государь, возвратясь из Крыма в Петербург, пригласил Константина Николаевича, жившего на острове Вайт, возвратиться в Россию; тут бразды правления внутренними делами совершенно перешли к великому князю и оставались в его руках до отъезда его в Варшаву в июне 1862 года. Первыми действиями великого князя были: заменение графа Путятина — Головниным; Княжевича — Рейтерном; Игнатьева — князем Суворовым; графа Шувалова — Потаповым и изгнание Муравьева из министерства. Само собой разумеется, что ему настрочили великолепнейший рескрипт, как всем увольняемым министрам, где благодарили его за услуги, им не оказанные, и сожалели о расстройстве его здоровья, по-медвежьему дебелого. Подобные рескрипты никого не обманывают, но лишь только делают государя смешным!

Увольнение Муравьева с министерства и с управления уделами и Межевым корпусом последовало при одобрении и общей радости всех порядочных людей в России, зато царская дворня поникла носами. Считаем не лишним привести здесь несколько фактов о действиях Муравьева.

Когда разбой откупщиков понудил значительное число сел и деревень учреждать общества трезвости — эти явные признаки нравственной зрелости народа русского, — тогда Муравьев, верный своей системе, был в числе лиц, объявивших наижесточайшую войну обществам трезвости. Вместо того чтобы радоваться проявлению этого благородного чувства у казенных крестьян, участь коих была вверена ему правительством, он явился ярым защитником откупщиков, содействовал им в грабеже, запрещал и гнал общества трезвости...

Мало этого: в 1859 году Муравьев решился на меру,

которая доселе употребляема была лишь в Турции и в одной из областей, Австрии принадлежащих, а именно в Венеции. Он решился забирать со вверенных ему государственных крестьян часть податей за следующий год. Не довольствуясь этим правительственным грабежом, он не поколебался опозорить имя царское, испросив у государя позволение объявить высочайшее благоволение своим сотрудникам в деле грабежа, то есть председателям палат государственных имуществ...

При поднесении к подписи государя в сентябре 1858 года нового устава о Лесном ведомстве Муравьев включил в оный следующее распоряжение: *офицеры Лесного ведомства в случае неисправности по службе или неблагонадежности переименовываются в гражданские чины!* Муравьев, невзирая на весь ум свой, никогда не отличался тонкостью нравственного чувства, а тут еще присоединилось тлетворное влияние высшего административного круга петербургского, влияние царской дворни, и оба влияния эти подвинули Муравьева совершить эту исполинскую нелепость, удивившую даже русскую чиновную орду, которая привыкла ничему не удивляться!

До 1860 года при открытии золотых приисков для упрочения за собой права отвода местности дóлжно было обращаться исключительно в Министерство финансов, но Муравьев нашел средство запустить свою жадную лапу в эту доходную статью, и с 1860 года места приисков отводятся *не иначе как с разрешения министра государственных имуществ...*

До какой степени Муравьев потворствовал своим чиновникам в грабеже крестьян, можно видеть из статей о притеснениях, в Архангельской губернии совершаемых, статей, помещенных в «Колоколе» 1860 года*.

Из «Самарских губернских ведомостей» видно было, что Муравьев не позволил некоторым казенным крестьянам Самарской губернии переселиться в Сибирь для поступления в Амурские казаки. Где же тут улучшение быта?.. Просто татарское бесправие и более ничего!..

Из этого краткого жизнеописательного очерка можно видеть свойства Муравьева: ум замечательный, трудолюбие, имеющее подспорьем железное здоровье, энергия, предприимчивость, но вместе с тем лукавство, себялюбие непомерное, жестокость, способная дойти до свирепости, корыстолюбие алчное, ненасытное, полная и безгранич-

ная безразборчивость в достижении своих целей, как властолюбивых, так и денежных.

Если бы Муравьев жил в государстве, имеющем устройство разумное, на законах основанное, в государстве, где существовали бы полная гласность и Дума выборных людей для поверки действий чиновников и для наблюдения за исполнением законов, там его пороки не имели бы возможности разыграться, а его качества, его высокие умственные способности, трудолюбие, предприимчивость и энергия имели бы широкий простор для своего развития и для принесения отечеству благотворных плодов. Но рожденный в стране, где высшие должности достигаются не по указанию общественного мнения, а по прихоти гнусной дворни царской, Муравьев, одаренный от природы всем необходимым для государственного мужа в стране закона и свободы, явился в стране своеволия и бесправия палачом и придворным холопом...

Кого же винить в этом?..

Виноваты не люди, а образ правления, тяготеющий над Россией... Введите в любой стране самодержавие: тотчас появятся нераздельные с ним бюрократическая тайна, взяточничество, казнокрадство и всевозможные злоупотребления; нынешняя Франция служит тому разительным примером. Неминуемо, не далее как через два-три поколения после введения гнусного образа правления, именуемого самодержавием, вы увидите полное нравственное растление в стране, в которой ввели оное... И наоборот, в стране своеволия отмените самодержавие, введите законный порядок, предоставьте власть общественному мнению, и не пройдет полувека, как нравы переменятся и большая часть злоупотреблений сделается невозможной: мы говорим большая часть, потому что совершенства в роде человеческом нет и быть не может. Образ государственного правления имеет на общественную нравственность влияние самое могущественное и ничем не отразимое: сколько в России людей, подобных Муравьеву, при конституционном образе правления могли бы принести пользу отечеству, могли бы заслужить известность почетную, а при существовании тлетворного самодержавия становятся положительно вредными, и презрение к ним современников подтвердится приговором потомства...

Невольный исход Муравьева из министерства в конце

1861 года, исход, совершенный под влиянием великого князя Константина Николаевича при радости и восторге всех честных людей, положил, казалось, окончательный предел политическому поприщу этого сановника, коему следовало бы называться не Муравьевым, а Саранчевым; тщетно напрашивался он в то время на получение Андреевской ленты: происки его не удались и в то время были всеми осмеяны. Всеобщая ненависть сопровождала Муравьева; только все предлагали вопрос: отчего же прогнали его одного, а не вытурили из министерства вместе с ним Панина и Чевкина? Это общее желание было удовлетворено правительством десять месяцев спустя, в октябре 1862 года.

Но возникло польское восстание. Безрассудные притязания поляков на Западный край, притязания, совершенно противные истории, справедливости и здравому смыслу, произвели во всей России неудовольствие сильное и вполне справедливое. Неудовольствие это превращено было в раздражение и даже в ярость вмешательством иностранных держав и в особенности дерзкими и нахальными требованиями паяца-мазурика*, в настоящее время самодержавно управляющего Францией, который в своей дипломатической депеше, в августе месяце присланной, имел наглость назвать западные губернии польскими, за что, впрочем, и получил от русского вице-канцлера такой ответ, что английский журнал «Times» назвал ответ сей оплеухой! Восстание начало сильно разыгрываться в Литве, а литовский генерал-губернатор Владимир Иванович Назимов всегда известен был своей полной неспособностью и обязан своим возвышением лишь только личному расположению государя, при особе которого состоял со времени его отрочества, преподавая ему шагистику, ружистику и так далее, одним словом, полный курс глупистики. Владимир Иванович Назимов, впрочем, сам чувствовал всю неспособность свою в минуту кризиса и просился прочь из Литвы. Порядочные люди весьма желали видеть на этом месте, столь важном в настоящее время, или Павла Христофоровича Граббе, или, по крайней мере, князя Александра Аркадьевича Суворова. Генерал Граббе, муж замечательных способностей, умен, честен и в высшей степени благороден: он истый витязь без страха и без упрека, но это самое благородство чувств и поведения делает его ненавистным царской дворне. Князь

Суворов хотя не имеет блистательных дарований генерала Граббе, но в четырнадцатилетнее управление свое Остзейским краем выказал хорошие административные способности; хитер, но вместе с тем весьма честен; подобно генералу Граббе, он одарен натурой симпатичной и замечательной отвагой; мы не говорим здесь о храбрости военной — кто не храбр из русских воинов, от фельдмаршалов до рядовых? — нет, мы говорим о качестве, весьма редком в странах самодержавия: мы говорим о мужестве гражданском и придворном! Князь Суворов также имеет высокую честь быть ненавидимым царской дворней, но его гораздо труднее оттереть от государя, потому что по своему громкому имени, по своим связям общественным и семейным он всегда принадлежал к придворному кругу.

Дворня царская и стародуры работали усердно: не допустили назначения ни Граббе, ни Суворова и уверили государя, что необходимо назначить главным и полномочным начальником Литвы и Белоруссии бывшего трехпрогонного министра, чтобы вновь открыть его свирепости благородное поприще вешателя. В этом краю столько богатых помещиков...

Мы не будем здесь описывать действий Муравьева по управлению Литвой и Белоруссией и скажем лишь несколько слов о способе разрешения польского вопроса. Петербургское правительство имеет в руках верное средство разрешить его; средство это — немедленное дарование конституции России, совершенное и безусловное освобождение и отделение Царства Польского и предоставление в западном краю каждому уезду решить *свободно, всеобщей подачей голосов*, с кем уезд хочет быть: с Россией или с Польшей? Может быть, тогда губерния Ковенская и несколько уездов губерний Виленской и Гродненской отошли бы от России; но что за беда? Если из семисот уездов империи Всероссийской убавится дюжина или полторы дюжины уездов, сила России не уменьшится, а зато честь русская высоко вознесется тем, что никого не будут принуждать быть русским, принуждать мерами насильственными и кровавыми, мерами гнусными, позорными для тех, которые их употребляют, и что каждый из граждан России будет гордиться тем, что он русский! Но петербургское правительство безумно стоит за самодержавие, при существовании коего невозможно разрешение польского вопроса, потому что в виду Рос-

сии, погруженной в навоз рабства, невозможно отделение Царства Польского, первым последствием которого было бы созвание сейма в Варшаве. Правда, что баранье простофильство русских выносит существование сейма в Финляндии, но всем известно, что финляндцам дарован сейм, во-первых, в виде оборонительного оружия против Швеции, во-вторых, в наказание полякам, а если бы возник сейм в «мятежной» Польше в то самое время, когда «верноподданная» Россия наслаждается восседанием в помойной яме самодержавия, это было бы уже чересчур обидным, было бы истинной пощечиной, и этого, может быть, в настоящее время не вынесли бы даже и русские, доселе привыкшие получать от своего правительства оплеухи и подставлять деснице его другую щеку свою...

Муравьев очень умен и не может не понимать всего этого, но он принял на себя роль тирана и палача из властолюбия и из жадности к наживе. Мы очень хорошо знаем, что возгласы, крики, вопли, адресы в честь Муравьева доказывают мнение лишь части публики, а не всей русской публики, потому что петербургское правительство, верное своей старинной системе обмана и лжи, действует наподобие отвратительного правительства бонапартовского, то есть разрешает *и поощряет* проявление тех мнений, которые ему нравятся, а за прочие мнения преследует, чему ясным, самым неоспоримым примером служит запрещение журнала «Время» и газеты «Современное слово»; мы знаем, что при таком систематическом давлении гласные и публичные заявления не составляют еще настоящего проявления общественного мнения, а выражают лишь направление, правительству приятное, потому что иначе эти заявления были бы тотчас подавленными. Но тем не менее множество адресов, присланных Муравьеву, составляет явление в высшей степени грустное и печальное, явление, которое щемит русскую душу...

Пройдет несколько времени, события обрисуются яснее, пыл утихнет, волны негодования — вполне справедливого — улягутся, умы отрезвятся, и тогда русская нация с чувством горького сожаления вспомянет о своем увлечении, побудившем ее в минуту разъярения преклоняться, словно перед каким-нибудь Мининым или Пожарским, перед человеком, который поочередно являл из

себя чиновника искательного и алчного, губернатора-вешателя, холопа-придворного, министра-грабителя, и, выгнанный из министерства к радости и утешению всех честных людей, ныне оканчивает свое отвратительное поприще исполнением, да еще con amore[1], ремесла палача, но всегда, во всю жизнь свою, был постоянно и вполне чуждым всем чувствам истинного гражданина, истинного русского...

«Листок», № 15, 24 ноября 1863, стр. 113—117.

---

[1] С любовью *(ит.)*.

Великий князь Константин Николаевич.

В настоящее время великий князь Константин Николаевич обращает на себя всеобщее внимание. Это внимание весьма понятно: и потому, что великий князь брат царский, и потому, что он человек умный, и, наконец, по особым причинам, известным всякому русскому, хорошо знакомому со внутренним положением России.

Многие считают великого князя Константина Николаевича человеком гениальным и видят в нем преобразователя и возродителя России. Мы с этим мнением никак не можем согласиться...

Что Константин Николаевич умен — это бесспорно; что он умом несравненно выше брата своего Михаила Николаевича — это также бесспорно; что он человек ума выспреннего в сравнении с братьями своими Александром Николаевичем и Николаем Николаевичем — и это бесспорно. Но гением считать его могут лишь люди, не размышляющие, что значение каждого лица определяется не одними его личными свойствами, но еще и окружающей его средой. В Петербургско-Голштейн-Готторпской династии Константин Николаевич является каким-то исполином ума, но, если бы он родился и вырос в семье людей истинно умных, он был бы лишь в уровень с ними и, сверх того, вероятно, был бы чужд некоторых из нынешних своих недостатков...

Недостатки Константина Николаевича двоякого рода:

некоторые из них природные, а другие, более многочисленные, привитые воспитанием и средой, с детства его окружавшей; средой, в коей он вырос и образовался.

Воспитание его по причине глупости Николая Павловича было самое плачевное. В семье, которая хвалилась своим высоким ростом, толстыми мускулами и правильностью черт лица; в семье, предпочитавшей сходство с пребраженскими гренадерами сходству с государями образованными, — Константин Николаевич был ребенок слабый и тщедушный. В семье, в коей никто не любит занятий умственных, а некоторые (например, Николай Павлович и Александр Николаевич) всегда отличались отвращением и к умственным занятиям, и к людям умным, в этой семье тупоумной и необразованной (лаковые сапоги и красивые мундиры еще не составляют образованности), в этой семье Константин Николаевич явился ребенком умным и любознательным. Вместо того чтобы развивать эти качества, на него сыпались одни упреки. Костя все с книжками, Костя скучен, Костя педант — вот слова, которые беспрестанно поражали его слух. Тут есть, конечно, чему раздражить ребенка и навсегда испортить его характер... Деспотизм Николая Павловича простирался на все: он не допускал, чтобы в России могла быть воля, не вполне согласная с его волей; тем менее допускал он это в своем семействе. Он любил своих детей, но в минуты гнева обходился с ними самым оскорбительным образом. Однажды за то, что цесаревна Мария Александровна опоздала явиться в назначенный час, он при свидетелях разругал Александра Николаевича и назвал его коровой! Перед таким отцом, и к тому же еще облеченным властью неограниченной, дети его дрожали и, как все люди трепещущие, привыкли скрывать свои чувства, а от скрытности до лукавства, от принужденной тайны до обмана лишь один шаг. Таким образом, дикое николаевское воспитание развило в Константине Николаевиче большую скрытность и, до порядочной степени, лукавство... Трепет, внушаемый Николаем Павловичем, производил действие различное, смотря по характеру и по свойствам его детей. Александр Николаевич — натура слабая, робкая (вспышки неприличного гнева, часто проявляющиеся у него со времени его восшествия на престол, вовсе не опровергают этого мнения: слабость и гнев часто сподручны друг другу). Трепет, внушаемый Нико-

лаем, еще более расслабил и без того уже робкий характер Александра Николаевича и внушил ему ту скрытность и ту некоторую степень тупоумного лукавства, коими он отличался, а на резкий и крутой характер Константина Николаевича произвел иное действие: не только развил в нем скрытность и большое лукавство, но еще его раздражил и успел озлобить...

Николай во все продолжение своего царствования был окружен какими-то боготворениями. Приближенные его в течение тридцати лет воздавали ему почести полубожеские и до такой степени повторяли всем и везде, что Николай величайший гений в мире, что из царедворцев, которые были еще ограниченнее прочих, многие дошли до того, что сами стали верить беспрестанно повторяемой ими ерунде... Зрелище постоянное, ежедневное зрелище этого нравственного унижения и ползания царедворцев производило на великих князей впечатление различное, смотря по характеру каждого из них. Александр Николаевич, отличительные умственные свойства коего: малоумие, маломыслие, отсутствие всякой наглядности и совершенное непонимание вещей, — Александр Николаевич поверил, что отец его был гений, и доселе верит всему, что рассказывают ему царедворцы. Константин Николаевич вынес иное впечатление: полубожеские почести, воздаваемые отцу его подлыми царедворцами, внушили ему глубокое презрение к людям.

Итак, окончательными выводами николаевского воспитания для Константина Николаевича были: оскорбления, раздражение, развитие чувств скрытности, лукавства, озлобления и глубокого презрения к людям. Воспитание самое противогуманное, какое только можно было изобрести. В этом воспитании находится ключ ко многим из действий и поступков великого князя.

Большинство дворянства русского ненавидит великого князя и считает его врагом своим. Правда, что и великий князь во многих случаях неосторожно и неуместно выражал нелюбовь свою к дворянству. Но вникнем хорошенько в коренные причины этого взаимного нерасположения.

В России есть дворянство, но нет аристократии по причинам, о коих мы уже неоднократно говорили и потому здесь повторять не будем. Здравая, честная часть дворянства состоит из лиц, большая часть коих получила

воспитание в университетах, — лиц, которые не занимают значительных мест на службе или вовсе находятся в отставке, большей частью небогатых, с состоянием средней руки, а некоторые и с весьма малым состоянием. Эта здравая часть дворянства понимает, какого рода перерождение необходимо России; она ясно сознает, что сословные привилегии не что иное, как звенья цепи нашего общего рабства; что привилегии эти, установляя равноправие между сословиями, разъединяют их, делают их бесправными и предают их на жертву правительственному самодержавию. Но в Петербурге живет и ползает часть дворянства, считающая себя «аристократией» по той причине, что окружает двор, что занимает высшие должности и что многие из членов ее обладают значительным состоянием. В этой гнилой части русского дворянства есть также несколько людей весьма честных и благородных, но они составляют незначительное меньшинство ее. Большая часть этой мнимой аристократии, которую справедливее было бы называть петербургской холопией, не что иное, как добровольные холопы, превосходительные, сиятельные, светлейшие, но все-таки холопы, которые усердно пресмыкаются и перед Голштейн-Готторпской фамилией, и перед всяким временщиком, кто бы он ни был и какими бы позорными делами себя ни осрамил... Они не знают России, не понимают ее нужд и потребностей, и, как всегда бывает в подобном случае, само собой разумеется, что и Россия их знать не хочет: когда последует переворот, они исчезнут и разбегутся как тараканы. Эта «холопия» выносит всевозможные притеснения, выносит всевозможные оскорбления и от правительства и от временщиков с одним лишь условием: *чтобы Европа о том не знала*. Условия этого она жаждет, потому что любит разъезжать по Европе, и благодаря кошельку, туго набитому мерзостями дедов и прадедов, может во время пребывания своего за границей разыгрывать роль вельмож, забывая, что по возвращении в Россию может быть высечена в III Отделении. Она не имеет ни довольно ума, ни энергии, ни нравственного чувства, чтобы свергнуть с себя это позорное иго и чтобы силой вырвать у Голштейн-Готторпской семьи те права, отсутствия коих не допустил бы для себя ни под каким видом последний поденщик в стране конституционной. Кто видел вблизи эту петербургскую холопию, тот не

может не питать к ней чувства глубочайшего презрения. Константин Николаевич, выросший среди этой холопии, разумеется, глубоко презирает ее, а не имев случая жить в Москве и во внутренних губерниях, не имев случая знать коротко здравую часть русского дворянства, он смешивает их в своем понятии и несправедливо судит о русском дворянстве по петербургской холопии...

Виной тому воспитание, данное ему отцом его, и потом то совершенное отчуждение, в каком члены императорской фамилии в России живут от подданных своих, живут в кругу царедворцев, большей частью ограниченных умом и подлых душой...

Со времени восшествия брата его на престол перед великим князем Константином Николаевичем открылось новое и гораздо более широкое поприще. Он всегда стоял за освобождение крестьян, между тем как Александр Николаевич, будучи великим князем, был поборником крепостного состояния. Николай на смертном одре сказал своему преемнику: «У меня всегда были две мысли, два желания, и я ни одного из них не мог исполнить. Первое: освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война, и война тяжелая; об освобождении восточных христиан думать нечего, но, по крайней мере, обещай мне освободить русских крепостных людей». Александр II обещал и сначала позабыл о своем обещании. Шесть месяцев спустя после кончины отцовской он уволил от званья министра внутренних дел Дмитрия Гавриловича Бибикова, усердно желавшего освобождения крестьян, и назначил министром внутренних дел разрумяненного простофилю Ланского, которого рекомендовал ему глава стародуров князь Орлов, потому что Ланской обещал Орлову не содействовать освобождению крестьян и по другим причинам. Великий князь Константин Николаевич усердно принялся за дело эмансипации; убедил брата начать это дело и во все время был его советником, вдохновителем и руководителем. В некоторых случаях, при важнейших фазисах этого дела, он умел внушать Александру II минутную энергию, совершенно чуждую характеру Александра II. Без всякого сомнения, русские крестьяне обязаны Константину Николаевичу и своей свободой, и своим земляным наделом. Это великая, бессмертная заслуга его перед Россией и перед человечеством...

У себя, в Морском министерстве, великий князь произвел много реформ дельных и прекрасных: он совершенно преобразовал это министерство. Нет ни одной ветви управления в России, в коей произведено было бы в последние годы столь много реформ. Морское министерство являет в русской администрации зрелище европейского оазиса в азиатской степи...

Отчего же человек во цвете лет и сил, преобразовавший Морское министерство, убедивший государя освободить крестьян, освободить их с землей, и в течение нескольких лет руководивший государя к этой благородной цели, отчего же этот человек не только не пользуется ни общей любовью, ни общим сочувствием, но еще сделался предметом ненависти одних, предметом опасения со стороны других и предметом общего недоверия?..

Причины тому лежат в характере великого князя и в его политическом направлении.

Деспот в душе, рожденный с наклонностями самыми деспотическими, не имеющий ни малейшего сочувствия к человечеству, презирающий людей поодиночке и не всегда скрывающий этого презрения, Константин Николаевич, если бы он родился старшим сыном царским, если бы он вступил на престол по праву рождения и с властью самодержавной, — вероятно, был бы тираном в полном смысле этого слова и мог бы навлечь на себя конец, подобный концу деда его Павла. Эта наклонность к самовластию делает его врагом правления конституционного в России, а в наш век в России самодержавие сделалось невозможным: оно отжило свой век и переживает самого себя.

Если бы Константин Николаевич был человеком ума истинно выспреннего, как некоторые ошибочно его полагают, то он был бы убежден в той истине, которую ныне понимают в России и люди ума простого, но здравого: он был бы убежден в невозможности продолжения самодержавного правления и всеми силами старался бы убедить Александра Николаевича даровать конституцию России. Но он хочет действовать реформами административными; он враг конституции и поборник самодержавия: вот почему мы никак не можем признать в нем ни высокого ума, ни ясного понимания положения дел...

Константин Николаевич хочет установить в России *«просвещенный деспотизм»*. Увлекаемый отчасти своим

природным, врожденным стремлением к самовластию, отчасти неясным, смутным взглядом на эпоху и непониманием современных потребностей во всей их обширности, он упускает из виду, что времена Иосифа II и Фридриха II* миновали и что в наш век, при железных дорогах, при электрических телеграфах, при ежедневной, многоглаголивой и шумной гласности, при этом ускорении сообщений физических и сообщений умственных, уничтожающих и время и пространство, — невозможен более никакой деспотизм, хотя бы и просвещенный...

Петербург всегда являл любопытное зрелище для такого человека, который не состоит в службе и, следовательно, не находясь ни на чьем пути, не может внушать никому ни зависти, ни опасения. Такому наблюдателю легко было бы изучить в Петербурге сердце человеческое, и сердце это, должно признаться, являлось не в красивом виде...

В Петербурге довольно людей, начавших поприще свое под наитием мнений более или менее либеральных. По мере того как эти люди поступают в действительные статские советники, либерализм их охлаждается; а при производстве в тайные советники люди эти становятся ярыми поборниками самодержавия. Если им придется лишиться места или вообще испытать неудачу по службе, они возвращаются к либеральным мнениям своей юности и остаются им верными до тех пор, пока не получат желанного места или значения при дворе, достигнув чего, они опять становятся самодержавцами.

В Петербурге есть целый кружок людей, большая часть коих умны, образованны, способны и честны на деньгу. Члены этого кружка более или менее группируются около великого князя Константина Николаевича. Они в правлении конституционном могли бы принести России величайшую пользу, но самолюбие, честолюбие, тщеславие и ненасытимая жажда власти делают их врагами конституции и поборниками самодержавия, поборниками просвещенного деспотизма; по их словам, Россия не созрела до конституционного правления; ее надобно приготовить; в ней нет людей способных и прочие тому подобные софизмы. На эту галиматью мы уже возражали в № 16 «Будущности»* и не будем повторять здесь уже высказанных нами возражений, но скажем только, что всякий раз, как нам случалось спорить с этими лицами о

необходимости ввести конституцию в России, они оканчивали беседу сознанием, что без конституции дело не обойдется, но всегда прибавляя: для конституции нужно воспитать новое поколение. В переводе на русский язык эта оговорка значит буквально: конституция прекрасна и необходима, но мы хотим сохранить власть самодержавную в своих руках на всю нашу жизнь, а там, после нашей смерти, пускай себе будет конституция...

Люди эти поддерживают в великом князе его природное отвращение ко всему, что полагает пределы самовластию.

Каждый из этих людей воображает себя гением и внутренне мыслит так: в России все идет дурно, потому что власть не у меня в руках, а дайте мне власть, все пойдет прекрасно. И к чему тут конституция? Она будет только мешать моей мудрости. Чего хотят эти крикуны? Пусть дадут мне власть в руки: я буду для России самой лучшей из всех возможных конституций.

Нет, господа, ошибаетесь! России самодержавие стало уж невтерпеж: мы не хотим более самовластия ни под каким видом, ни в какой форме и ни в чьих руках! Мы не хотим самодержавия в руках доброго и слабого Александра Николаевича, который, при всей чистоте своих намерений, наварил в России страшную кашу и стал игралищем своей дворни. Мы не хотим самодержавия и в руках Константина Николаевича, который далеко превосходит брата своего умом и энергией, но вместе с тем страшнейший деспот! Мы не хотим самодержавия ни в чьих руках: мы не дети и не малоумные; опека нам уже не под лета; мы не хотим оставаться под опекой; нам нужны воля, свобода, самоуправление. Если бы Александр Николаевич осчастливил Россию дарованием конституции, если бы Александр Николаевич имел довольно ума, чтобы понять необходимость конституции, и довольно энергии, чтобы низринуть препятствия, поставляемые его дворней, Россия пошла бы по новому пути мирно и величественно... Но Александр Николаевич не даст конституции, и русским придется взять ее себе насильно. Тогда Александру Николаевичу со всем семейством его одна дорога: в родную его Германию или в прекрасную Италию... Константин Николаевич купил уже себе палаццо в Венеции: там он может дать приют и братьям своим.

Если бы Константин Николаевич был человеком вы-

сокого ума, если бы он хорошо и глубоко понимал современные потребности, то он бы убедил Александра Николаевича даровать России конституцию. Но он этого не делает доселе, время проходит, и при падении дома Голштейн-Готторпского Константину Николаевичу придется разделить судьбу своего семейства... придется жить в своем венецианском палаццо.

А, право, жаль; ведь если бы он захотел, Константин Николаевич мог бы в будущем быть весьма полезным России!..

«Будущность», № 23, 4 декабря 1861, стр. 177—180.

Министр Ланской.

Сергей Степанович Ланской родился в 1786 году. Фамилия его происходит от старинной польской фамилии Ланцких, один из коих, шляхтич Ланцкий, переселился в Россию в начале XVI века, и потомки его писались Ланскими. Отец министра, Степан Сергеевич, был гофмаршалом при дворе Александра I, и жена его, Мария Васильевна, урожденная Шатилова, пользовалась особенной благосклонностью императрицы Марии Федоровны. У них кроме сына были еще две дочери, одна вышла за Бориса Алексеевича Враского, имевшего несчастье служить в государственной помойной яме, то есть в III Отделении Собственной канцелярии, другая, Ольга Степановна, вышла за князя Владимира Федоровича Одоевского[1]. Сергей Степанович, еще не достигнув 20-летнего

---

[1] Князь Одоевский*, ныне единственный и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода князей Одоевских, личность довольно забавная. В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию, кропал плохие стихи, производил неудачные химические опыты и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух всем своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской*, старшей его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой. Она перевезла мужа своего в Петербург и до такой степени приохотила его к петербургским слабостям и мелким проискам, что при пожаловании своем в камер-юнкера Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его, тогдашний министр юстиции Дашков, человек весьма умный, сказал: «Вот, однако, к чему приводит немецкая философия!» Одоевский бросался на все занятия: давал музыкальные вечера, писал скучные повести, и чего уж ни делал! По выходе его «Пестрых Сказок» знаменитый Пушкин спросил у него: «Когда выйдет вторая книжка твоих сказок?» «Не скоро, — отвечал

возраста, пожалован был по обычаю того времени в камер-юнкера, что давало тогда чин статского советника. При уме самом ограниченном, при характере слабом и трусливом, он имел одно дарование, довольно полезное при дворе, — хорошо танцевал. Семейство его состояло в родстве и в дружеских связях с семейством князей Одоевских, между коими находилась богатая невеста, княжна Варвара Ивановна. На ней женили Ланского. По прошествии нескольких лет единственный брат Варвары Ивановны, князь Иван Иванович, убит был в сражении под Бриенном в 1814 году, и Варвара Ивановна наследовала все имение родителей своих, состоящее из прекрасных и богатых поместий, населенных восемью тысячами душ крестьян. Варвара Ивановна умерла лет пятнадцать тому назад; она была женщина умная и почтенная, весьма любимая и уважаемая всеми своими знакомыми.

Богатство Ланского обратило на него внимание масонов, к числу коих он принадлежал по моде тогдашнего времени. Масонские ложи, при Екатерине II имевшие цель политическую и цель благотворительную вместе и с большим успехом подвизавшиеся на обоих поприщах, были закрыты. При Павле I о них не могло быть и речи. При Александре они возобновились, но вскоре по кончине лучших и чистейших своих деятелей — Николая Ивановича Новикова, Ивана Петровича Тургенева, Ивана Владимировича Лопухина — масонские ложи обмельчали и, наконец, по запрещении их в последние годы царствования Александра I и в особенности по воцарении Незабвенного, продолжали существование скрытное, уже

Одоевский, — ведь писать нелегко!» «А коли трудно, зачем же ты пишешь?» — возразил Пушкин. Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука, жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная, и, постоянно извиваясь то направо, то налево, он дополз до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенной неспособностью ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если, при существовании нынешнего порядка (или правильнее: беспорядка) вещей в России еще лет десяток, не увидим Одоевского обер-гофмейстером и членом Государственного совета.

Одоевский — двоюродный брат декабриста князя Александра Ивановича Одоевского, одной из благороднейших и чистейших жертв императора Николая. После одиннадцатилетней ссылки в Сибирь тиран не хотел освободить князя Александра Ивановича, а только позволил ему перейти рядовым на Кавказ, где князь Александр Иванович и кончил жизнь, не достигнув сорокалетнего возраста.

не вмешиваясь в политику и даже избегая ее. Масонство в России преобразилось в общество взаимного вспомоществования и поддержки взаимной; богатые масоны щедро помогали бедным; люди влиятельные, сильные, имеющие связи, усердно покровительствовали своим собратьям: хотел ли масон получить какое-либо место, искал ли выиграть процесс, все масоны помогали ему своим влиянием, и эта поддержка, тем более сильная, что оставалась тайной и невидимой, много способствовала карьере Ланского. Он, доселе председатель тайной петербургской масонской ложи, точно так, как недавно умерший Сергей Павлович Фонвизин, был до самого конца жизни своей председателем тайной московской масонской ложи. Ланской, от природы ленивый, беспечный и бестолковый, промотал почти все имение жены и детей своих.

Поселясь после своей свадьбы в Москве, он, влиянием масонов, избран был в совестные судьи и оказался совершенно непонимающим дело. Его назначили губернатором во Владимир: вскоре по губернии пошел хаос. Куда девать бестолкового губернатора? Разумеется, в кладовую, куда сваливают все бесполезное, — в Сенат. И Ланского сделали сенатором. Оказалось, что он вовсе не понимает дел. Его сажают в почетные опекуны Петербургского воспитательного дома. Казалось, делать почетным опекуном человека, промотавшего имение жены и детей, — противно всем понятиям здравого рассудка, но разве русское правительство действует по наитию здравого рассудка? У нового почетного опекуна пошел ералаш во вверенных ему делах. Тогда, отчасти поддержкой масонов, отчасти покровительством своего родственника князя Чернышева (мать коего была Ланская), Сергей Степанович был назначен 1 января 1850 года членом Государственного совета. Тут он был, конечно, на своем месте среди всех стариков, бездарных и бесполезных, наполняющих эту государственную богадельню. Неспособность Ланского не могла в Петербурге остаться без награды. 1 января 1851 года он получил чин действительного тайного советника, высшую гражданскую степень в парнике дураков, именуемом табелью о рангах. Кроме того, судьба готовила Ланскому будущность, им вовсе неожиданную.

С 1852 по 1855 годы министром внутренних дел нахо-

дился Дмитрий Гаврилович Бибиков, имевший целью ввести во всей России сельские инвентари*, чтобы по прошествии немногих лет перейти к полному освобождению крестьян с землей и вознаграждению помещиков финансовыми мерами. Император Александр, будучи великим князем, сильно противился освобождению крестьян и при всяком случае изъявлял особое нерасположение к Бибикову. Сей последний навлек также на себя ненависть пронырливого князя Орлова и лукавого Дубельта, под именем ленивого и беспечного Орлова самовластно управлявшего тайной полицией. Предшественники Бибикова в Министерстве внутренних дел имели слабость дозволить Дубельту не только вмешиваться во многие дела этой важной ветви управления, но еще иногда и решать эти дела самовольно. Бибиков, что называется, осадил Орлова и Дубельта, и они, воскипев гневом, всеми силами старались раздувать неудовольствие на него нового государя, и без того его не любившего. Орлову хотелось иметь министра внутренних дел, который и по неспособности умственной, и по слабости характера трусливого, безропотного допускал бы вмешательство тайной полиции во все дела, куда ей вздумается запустить свою руку, грязную и жадную; сверх того, Орлов, оканчивающий уже в то время седьмой десяток лет своих, полагал, что все люди, не достигшие 60-летнего возраста, — мальчишки неопытные (мнение, в течение последних тридцати лет весьма распространенное при С.-Петербургском дворе). В 1851 году, во время летней поездки на воды графа Льва Перовского, Ланской четыре месяца управляя Министерством внутренних дел, оказал свою неспособность, но вместе с тем и угодливость III Отделению. Орлов знал, что Ланскому 69 лет от роду; знал, что Ланской не способен ни к чему, что Ланской трус, что Ланской промотался и что ему нечем жить: лучше Ланского ему найти было нельзя. Это была пародия басни лягушек, просящих чурбана в цари: тут мы увидели министров, которые стали просить себе у царя в товарищи чурбана — и получили. Ланской назначен был министром внутренних дел 20 августа 1855 года, через полгода по воцарении Александра II, через полгода после того памятного в русских летописях дня, как Россия имела счастье лишиться Незабвенного.

Но с Орловым случилось, что часто бывает с людьми

хитрыми и пронырливыми, но имеющими ум ограниченный: эти люди отлично устраивают мелкие делишки, но вовсе не умеют сообразить дел важных, а тем более государственных. Он упустил из виду, что намерения государя могут перемениться и что тогда Ланской, при Николае бывший приверженцем крепостного состояния, явится эмансипатором точно так, как при Иоанне Грозном он отправился бы на Красную площадь варить людей в котлах и своей рукой подгребал бы уголья под котлы не из жестокости — он вовсе не жесток, — а единственно руководимый теми чувствами, которые со времени татарского ига и до наших дней увлекали большую часть русских сановников творить всякие мерзости. Чувства эти: глупость, трусость и желание сохранить свое место[1].

Через два года по восшествии своем на престол Александр II увидел, что без реформы Россия стремится к своей гибели, а что без освобождения крестьян никакие реформы невозможны. Он принялся за дело освобождения, и Ланской открыто стал на стороне эмансипаторов. Эта черта была бы прекрасной и могла бы заслужить Ланскому почетное место в русской истории, если бы он действовал по убеждению или, по крайней мере, шел одной, прямой дорогой. Но он постоянно подчиняет свои действия влияниям, преобладающим в ту минуту в Зимнем дворце. А кому неизвестно, что в нынешнее царствование в Зимнем дворце не семь пятниц в неделе, а семь пятниц в каждом дне? Откуда ни подует ветер, в ту сторону тотчас поворачивается старый флюгер Сергей Степанович. Сегодня он подписывает циркуляры об улучшении быта крестьян; завтра циркуляр о содействии винному откупу, хотя бы оружием опаивать, развращать и грабить крестьян, и благородное русское войско заставляют служить орудием для откупщиков и для чиновной орды в достижении их мерзких целей. Сегодня Ланской предписывает комитетам губернским изыскивать средства к улучшению быта крестьян, а завтра предписывает им сохранение обязанной работы, вернейшего пути к резне и к пугачевщине; послезавтра запрещает дворянским собраниям вопреки всем законам рассуждать о ближайшем

---

[1] Стародуры, ныне недовольные Ланским, выдумали плохой каламбур. Так как Ланской румянится, они его прозвали «красным министром».

и важнейшем из их интересов; наконец, в феврале нынешнего года изъявляет согласие на одно из подлейших действий тайной полиции: на ссылку Алексея Михайловича Унковского в Вятку и Александра Ивановича Европеуса в Пермь!

Ланской не министр: он чернильница, куда всякий обмакает свое перо, чтобы писать всякую чушь.

Отчего все это происходит?

Оттого, что Ланской ленив, беспечен, глуп и трус. Сверх того, не будь он на службе, ему бы не хватило денег даже на покупку румян, кои он ежедневно употребляет. Теперь он живет в великолепном министерском доме, имеет огромное содержание, сытно ест, множество людей ему кланяется, а заимодавцы не смеют его беспокоить. Как же после этого ему не угождать царской дворне, казнокрадам и бюрократам?

А Россия для наших сановников что такое... Дойная корова!

Эй! Господа! Берегитесь и одумайтесь! Смотрите, чтобы дойная корова вскоре не превратилась для вас в разъяренного быка!

Мы видели, что Ланской по неспособности быть совестным судьей назначен был губернатором; по неспособности к должности губернаторской назначен сенатором; по неспособности быть сенатором назначен почетным опекуном; по неспособности к должности почетного опекуна назначен членом Государственного совета и в награду за то, что даже в этой государственной богадельне оказался одним из пустейших людей, — сделан министром. При такой высокой и совершенной неспособности мы надеемся вскоре увидеть его Государственным канцлером и светлейшим князем...

Еще сорок лет тому назад Грибоедов сказал про одного из подобных людей:

Он дойдет до степеней известных:
У нас ведь любят бессловесных!

«Будущность», № 1, 15 сентября 1860, стр. 6—8.

О том, что происходит в Министерстве финансов.

Петербург, 31 января 1861.

...Александр Максимович Княжевич* — человек добрый, опытный, весьма неглупый, тонкий и хитрый, но в настоящее переходное и важное для России время всего этого еще весьма недостаточно, чтоб быть министром финансов. Тут надобны талант, энергия, настойчивость характера, чего в Княжевиче совершенно не видно. Чтоб выйти из теперешнего хаоса, едва ли бы достало и талантливого Канкрина, а Александру Максимовичу далеко до Егора Францевича*. Канкрин не бывал нем как рыба, когда в Государственном совете рассматривали его представления и проекты. Известен его ответ графу Александру Григорьевичу Строганову, который на замеченную Канкриным числовую ошибку в его речи сказал: «Ведь я бухгалтером никогда не бывал!» Канкрин отвечал: «А я, батюшка, был бухгалтером, был и конторщиком, но дураком никогда не был и не буду!» Александр Максимович и в Государственном совете, и в Комитете министров отделывается всегда молчанием да потом и подписывает всякую нелепость, какую только состряпают в этих двух государственных кухнях. А почему? Или он уже слишком стар стал или, подобно другим царедворцам, боится возбудить против себя своих сотоварищей. Конечно, уживчивость качество не дурное, но нельзя же в пользу ее жертвовать государственными интересами или соглашаться на всякую нелепость, или покрывать

уживчивостью разбой трехпрогонного Муравьева, грабеж Адлербергов, подлость Ланского, глупость и трусость князя Василия Долгорукова и так далее.

В оправдание Княжевича говорят, что многократные государственные займы последних двух лет были сначала предложены им на иных основаниях, но что финансовый комитет, в котором в числе прочих мудрецов восседает предшественник и враг Княжевича Брок, изменил предложенные проекты, и потому займы вышли неудачны. Это вовсе не оправдание. Если бы оно было и так, то почему же Княжевич согласился с этим? Зачем он тогда же не подал в отставку? От такого министра нечего и ожидать, чтобы у него достало смелости настоять перед царем о необходимости для упрочения нашего бюджета сделать его гласным. В таком случае, чтобы язык не прилип к гортани, надобно, чтобы в кармане министра всегда была про запас просьба об увольнении и чтобы она непременно была представлена, если бы его величеству неугодно было согласиться на разумные, единственные меры, могущие спасти Россию от революции, в числе коих одно из первых мест занимает гласность бюджета. Если бы бюджет сделан был гласным, царские нахлебники перестали бы обкрадывать казну, не могли бы уже опустошать ее и получать ни за что ни про что тысячи десятин земли. Если бы бюджет был гласным, то и займы бы удавались хорошо, между тем как теперь они идут плохо[1].

Система Княжевича — полумеры, действия ощупью, нерешительные и робкие. Нельзя не похвалить удаления из Министерства финансов Федора Лукина, сына Переверзева, сочинителя известной записки в защиту крепостного права. Переверзев сдан наконец в архив, то есть в

---

[1] Европейские банкиры весьма коротко и ясно объясняют неуспех последних наших займов. «Пожалуйста, — говорят они, — как можно давать деньги взаймы русскому правительству? Мы не знаем, в каком именно положении финансы России. Бюджет ваш не публикуется, а содержится в тайне: отчеты по кредитным установлениям весьма темны, и журналистика русская не имеет права их обсуждать и подвергать критическому разбору; внутренние займы ваши неуспешны, заграничный курс рубля низок; притом нам заподлинно известно, что кредитных билетов находится в обращении гораздо более числа, официально показываемого. Сверх того, при безгласности и отсутствии всякого дельного контроля нам никто не может поручиться, что деньги займа будут употреблены на объявленную цель, а по доходящим до нас слухам деньги эти идут на временное пополнение дефицита, ежегодно возрастающего.

правительствующий (неизвестно чем?) Сенат. Туда ему и дорога. На место его директором департамента податей и сборов назначен деятель умный и благонамеренный: самарский губернатор Грот. Пора, пора было очистить Министерство финансов от этого старого волка Переверзева, по холодку опущенного из Министерства внутренних дел и обокравшего не только овец, но и своих братьев волков, то есть председателей казенных палат и откупщиков[1].

При Броке в Министерстве финансов была уже такая система — принимать всякую падаль: таким образом Василий Алексеев, сын Лонгинов, выгнанный из Министерства внутренних дел, посажен был Броком в вице-директоры Департамента горных и соляных дел, а Княжевич по непростительной слабости своей доставил ему Станиславскую бляху на грудь.

Нельзя не похвалить увольнения от должности начальника штаба горных инженеров Василия Евграфовича Самарского-Быховца, записного чиновника, но нельзя одобрить никак назначения генерала Гернгросса* председателем горного аудиториата. Этого взяточника и плутягу следовало бы вовсе уволить от службы. Или, может быть, Княжевич хотел, чтобы судящиеся в горном аудиториате мошенники судимы были своим подобным, своим равным? Удивляемся!.. Как не стыдно Княжевичу терпеть таких отъявленных мошенников, как Гернгросс, Лонгинов и их фактор Пащенко? Рассказывают, что Евграф Петрович Ковалевский, у коего Гернгросс был в старину адъютантом, удивляется, как это он, не имев никакого состояния, так вдруг разбогател? Гернгросс распускает слух, что он участвует во многих промышленных компаниях. Но в каких же именно? И откуда взял он капиталы, без коих участвовать в компаниях невозможно? Нет, он разбогател совершением кампаний в пределы горных заводов, которые не раз объезжал с целью поживы, не говоря уже об искусном ведении им дел в департаменте через посредство своего фактора Пащенко. Шила в мешке не утаить, так и взяточничества скрыть нельзя: в России на этот счет общее мнение не ошибается. Ведь не называют же взяточниками ни Федора Тимофее-

---

[1] Переверзев — родственник графине Клейнмихель (урожденной Переверзевой) и обязан своей карьерой протекции графа Клейнмихеля. С той же яблони яблоко.

вича фон дер Флита, ни Юлия Андреевича Гагемейстера, ни Михаила Васильевича Пашкова, ни Александра Ивановича Бутовского? А предшественника фон дер Флита, барона Гревеница, все называли «барон Гривенничек». Его баронство не довольствовалось ни вытягиванием из казны денег при всяком удобном случае и при совершении в Сенате откупов, ни получением десяти тысяч рублей серебром по поводу императорской коронации, ни выпрашиванием денег по случаю отправления семейства своего наслаждаться красотами природы в Италии: оно еще обирало и председателей казенных палат и откупщиков. На деле выходило, что все это окончательно выносили на плечах своих православные русские мужички.

Русское Министерство финансов весьма походит на тот крыловский воз, который везом лебедем, щукой и раком. Да и как мог Княжевич выбрать себе в товарищи тупоумного Шигаева? В канцелярии Государственного совета рады были избавиться от подобного мужа, а тут нашлось доброе министерство, чтоб принять его, да еще посадить в товарищи министру.

«Будущность» 1861 г. № 9,
18 марта, стр. 71—72.

Сообщая в «Будущность» известия из России, хотя грустно, но приходится начать фразой: здесь, в административной сфере, обстоит все та же неурядица, то же отсутствие всякого здравого смысла, в канцеляриях и министерствах продолжается та же бесполезная деятельность. Со стороны посмотреть, все идет гладко, везде порядок: ни одна бумага, самая вздорная, не залеживается, не остается без движения, и народ русский должен бы, казалось, благоденствовать при таком ходе дел; а как заглянешь в сущность этих дел, так и видишь всю бездну зол, в которую вовлекло Россию монголо-голштинское правление.

Ложь и беззаконие водворились повсюду, пустили так глубоко корни во всех слоях бюрократии, что искоренить их можно только переменой формы правления. Директор департамента лжет своему министру, министр лжет царю, царь лжет народу — круговая порука: и всю тягость этого бесправия выносит на плечах своих русский народ. Бедный народ! Когда же проснется в тебе чувство

сознания прав твоих, когда смоешь ты с себя позорное пятно голштинского ига, деспотического, необузданного своеволия!

Но горе тем, которые думают, что минута этого пробуждения еще далека, и в раззолоченных палатах Зимнего дворца спокойно дремлют под сладкие песни Адлерберга, Буткова и других. Роковая для них минута настанет, и тогда уже не спасут никакие меры, никакие вынужденные уступки, как не спасли трон Бурбонов Неаполитанских никакие уступки Франциска II*.

А как легко, казалось бы, воспользоваться великими историческими уроками. Они еще так свежи в памяти, так ярко освещают два пути, по которым может следовать правительство всероссийское: или продолжать ту же систему пагубного произвола, дикого насилия, ненавистного покровительства людей бездарных, неимущих духом и умом, и окончить царственное поприще, как Франциск II, — или стать во главе прогрессивного движения, дав народу русскому конституцию, приобресть народную любовь и уважение целого мира и оставить по себе блестящую страницу в истории царей русских. Выбор между этими путями, кажется, не труден, да и результат его для будущности России не может быть сомнителен. Ведь не будет же хуже того, что есть: в судах нет правосудия, в казначействах нет денег, в толпе царедворцев нет человека с чистой совестью. Вся эта административная тога, сшитая из гнилой материи, ползет и рвется, как старая ветошь, обнажая глубокие язвы на государственном теле.

Нельзя при этом удержаться, чтобы не сказать несколько слов о Министерстве финансов — одной из главнейших артерий государственного организма.

Во главе министерства — Александр Максимович Княжевич, человек слабый, устаревший... Когда речь коснется о нем в обществе, говорят обыкновенно: он добрый человек — как будто этого достаточно для министра.

Конечно, за неимением в человеке других качеств доброта похвальна, но одной ее недостаточно: разве только, может быть, для архиерея.

За Княжевичем следует товарищ его — Шигаев, отвратительный, грязный чиновник, умеющий только выпрашивать себе денежные пособия и добавочное содержание. Тайный советник. Да явным он и быть не может, потому

что для этого нужен хоть обыкновенный здравый смысл, а тупоумный Шигаев во всех комиссиях, в которых только председательствовал, кроме нелепостей ничего не говорил.

За Княжевичем и Шигаевым по чину и порядку следуют директора департаментов и канцелярий.

Директор Горного департамента Гернгросс — честный человек и работает добросовестно. Состояния он не приобрел себе местом, а получил его частью за женой, а большей частью по наследству от отца.

Горный департамент — самый обширный в министерстве: в нем беспрерывно сталкиваются между собой частные интересы золотопромышленников, заводчиков и солепромышленников, а в подобных случаях из двух тяжущихся сторон одна непременно бывает недовольна решением дела и неудовольствие вымещает, разумеется, на директоре.

Нельзя не отдать справедливости Гернгроссу и в том, что он организовал департамент с большим смыслом, выбирая в службу к себе людей молодых, с достоинствами и с твердым направлением. Хорошая почва не вырастит плевел и не принесет дурных плодов.

От директора Департамента внутренней торговли Бутовского много ожидали, но ожидания не сбылись. Считали его способным, а вышел весьма обыкновенный действительный статский советник, да еще деспот в отношении к своим подчиненным, что никак не свойственно ни просвещенному уму, ни истинным способностям. Взяток он, правда, не берет, но зато распорядился гораздо смышленее и вернее, взимая постоянную подать с казны, по крайней мере, в 6 тысяч рублей серебром в год, квартирой с отоплением и освещением в здании Технологического института.

На каком основании получил он эту квартиру, когда правительство в нынешнем же году для увеличения положения этого заведения вынуждено было строить новый флигель, — объяснить трудно.

Директор Кредитной канцелярии Гагемейстер пользуется репутацией, во-первых, честного человека, во-вторых, *ворочающего* министерством: первое делает ему честь, но второе не делает чести его способностям. Тут уже факты налицо: мы видим, как все предпринятые операции были неудачны и привели государство почти к банкротству.

От Грота, назначенного директором Департамента податей на место известного плута и мошенника Переверзева, ожидают много хорошего.

Директор канцелярии министерства фон дер Флит, как и подобает близкому сподвижнику Александра Максимовича Княжевича, добрый и бесхарактерный человек. О нем сказать больше нечего, так же как и о директоре Департамента внешней торговли Пашкове, который ровно ничего не делает. Можно смело предполагать, что в тиши своего кабинета, один, когда двери заперты, он не раз задавал себе вопрос: почему он директор департамента? И, может быть, даже удивлялся, как легко занимать такое место — стоит только подписывать бумаги.

Бывший министр Брок, сколь он ни был глуп, но решился сменить Пашкова, и в преемники ему уже вызвал из Кяхты тамошнего губернатора Ребиндера (ныне сенатора). Пашкову назначалось сенаторство, но он о нем слышать не хотел, потому что сенатор получает четыре тысячи рублей жалованья, а директор внешней торговли имеет двенадцать тысяч рублей оклада: у Пашкова же хотя и заводы на Урале, но состояние совершенно расстроенное и семейство многочисленное. В феврале 1855 года Ребиндер прибыл из Кяхты в Петербург, несколько дней спустя Александр II вступил на престол, и началось царствование Адлербергов и Барановых. Пашков через Эдуарда Баранова, брата своей жены, и через Сашку Адлерберга, ее двоюродного брата, удержался и сидит на директорстве доселе: министр не может его сменить!

Затем остается сообщить еще о двух личностях, племянниках министра, Максе и Антонине Княжевичах, создавших себе совершенно исключительное и небывалое положение.

Не занимая в Министерстве финансов никаких должностей, они пользуются большим влиянием и творят чудеса беззакония. Положение, как видите, весьма выгодное в материальном отношении и вместе с тем безответственное, потому что они действуют на директоров именем дяди, сами оставаясь совершенно в стороне. Нет дела в министерстве, более или менее *интересного,* в котором бы они не приняли живого участия, — особенно Макс, с иностранной какой-то бляхой на груди.

Впрочем, что ж удивляться этой новой отрасли про-

мышленности? Ведь появились же в Париже с приличной наружностью господа, которых ремесло состоит в том, что они взимают подати с воров и мошенников, заставляя их делиться с собой добычей, — в противном случае угрожая выдать их полиции, — почему же не быть таким господам и у нас в Петербурге. В Париже называют их les enfileurs, а у нас нельзя иначе назвать их как мазуриками. Извините за это народное выражение, но другого, более приличного для них эпитета, мы не нашли под рукою.

Парижские enfileurs попались уже в руки правосудия, а Макс и Антонин Княжевичи, под прикрытием своего дяди-министра и еще более адлерберговой Мины, могут спокойно продолжать свое ремесло, не боясь поплатиться за это ни личной свободой, ни даже положением в свете. В России все это сходит с рук.

«Будущность», 1861 г., № 24,
14 декабря, стр. 188—189.

Генерал-губернатор Анненков.

Санкт-Петербургское правительство явило новое доказательство своего совершенного неумения избирать людей и своего желания производить реформы лишь на словах, а в сущности сохранять прежнее направление монгольского произвола.

На вакантное место генерал-губернатора Киевского, Волынского и Подольского и командующего войсками в этих трех губерниях, одно из важнейших мест в империи, особенно в нынешних обстоятельствах, назначен генерал-адъютант Анненков. Те, которые не знают этой личности, не в состоянии вообразить себе, что он за индивидуум...

Николай Николаевич Анненков родился в 1800 году и поступил офицером в 1819 году в Семеновский полк. Когда произошло в 1821 году известное восстание солдат Семеновского полка против их полкового командира и тирана Шварца, все офицеры полка, ни в чем не виновные, были по настоянию Аракчеева переведены в армию теми же чинами с запрещением выпускать их в отставку и даже давать им отпуска: для одного лишь сделано было *непочетное* исключение, а именно для Н. Н. Анненкова, *за какие-то неизвестные заслуги*. В течение нескольких недель весь Семеновский полк состоял из одного Анненкова! Вслед за тем он был назначен адъютантом к великому князю Михаилу Павловичу и провел лет пятнадцать в этой дикой школе. В 1826 году его двоюродный брат, кавалергардский поручик и богатый помещик Иван Александрович Анненков за участие в 14 декабря был сослан в каторгу. Родственники Ивана Александровича, и

в том числе Н. Н. Анненков, ни на минуту не усомнились завладеть имением родственника, впавшего в несчастье. По русским законам они имели на то полное право, но ведь русские законы — тройной экстракт всякой мерзости, и, сверх того, никакой закон в мире не может сделать бесчестного честным, не может узаконить мошенничества и воровства! Ведь у людоедов законы позволяют и даже предписывают кушать своего ближнего, а какой маломальски порядочный человек не считает людоедство за преступление отвратительное? Точно так же и с конфискациями. Всякое правительство, которое предписывает конфискации, есть правительство мошенническое, и потому в глазах всего образованного мира правительство петербургское есть правительство мошенническое, всякий человек, который, пользуясь законами о конфискациях, овладевает чужим добром, есть грабитель и вор, и потому в глазах всех людей честных и благородных Николай Николаевич сын Анненков не что иное, как вор!

В 1831 году, во время польской войны, Анненкову поручен был отряд против польских патриотов: *он вешал офицеров, взятых им в плен!* Вор сделался и палачом: тут нечему удивляться.

Потом он командовал Измайловским полком; вслед за тем был начальником штаба 6-го корпуса в Москве.

В 1842 году тогдашний военный министр Чернышев, известный мерзавец из мерзавцев, оценил Анненкова по достоинству, то есть полюбил его, взял к себе в директоры канцелярии, сделал генерал-адъютантом и готовил себе в товарищи и в преемники, но князь Василий Андреевич Долгоруков умел разбить эти замыслы и занять предназначаемое Анненкову место. Однако бездарность, жестокость и холопские свойства Анненкова не могли остаться без награды у неудобозабываемого Николая, этого постоянного покровителя людей глупых и низких: он назначил его в 1848 году членом Государственного совета.

В 1855 году по смерти графа Кушелева-Безбородко Анненков, едва знакомый с четырьмя правилами арифметики, был назначен государственным контролером — звание, облеченное всеми правами министерскими, и тем более важное, что все министры заискивают расположения государственного контролера, имеющего обязанностью поверять их счета. До какой степени простирают-

ся и человекоугодничество Анненкова, и ералаш в России, доказывается тем, что фельдмаршал Барятинский в шестилетнее султанство свое на Кавказе не присылал с Кавказа счетов: не хочу, дескать, и не присылаю: вот и все! И это Барятинскому сходило с рук. Анненков молчал и кланялся!

Когда в 1857 году серьезно возник вопрос об уничтожении крепостного состояния, Анненков принадлежал к числу тех лиц в министерстве, которые всеми силами старались препятствовать ходу дела и всегда, во всех случаях становились на защиту старого порядка вещей. Хотя он ненавидит князя Василия Андреевича Долгорукова, отбившего у него в прежние годы звание военного министра, но в этих обстоятельствах он сблизился с прежним врагом, и оба непочтенных стародура действовали заодно. Зато, когда правительство, вследствие умных и благородных действий тверского дворянства*, пришло в неописанную ярость, князь Василий Андреевич упросил послать в Тверь Анненкова, который, прибыв на место, распорядился со всей свойственной ему глупостью, со всей свойственной ему крутостью и со всем свойственным ему отвращением ко всему просвещенному и честному. Последствия известны.

И этому стародуру, тупоумному николаевцу, этому палачу, который вешал пленных поляков, этому вору, который ограбил своего двоюродного брата, вверяют в полное управление три губернии, населенные пятью с половиной миллионами существ человеческих?..

Бедные губернии!..

Долго ли в России будет продолжаться этот позор?

«Листок», № 4, январь 1863, стр. 27.

Законодатель Войт, с прибавлением рассказа о появлении и преуспеянии семейства Войтов под сенью полуавгустейших семейств Адлербергов и Барановых.

С нелегких рук архангела Михаила Муравьева и не поступившего еще в архангелы графа Берга, издающих различные законы и всякие законодательные постановления, охота законодательствовать развилась и во второстепенных чиновниках. На престоле управляющего Вержболовским таможенным округом восседает некий статский советник Владимир Карлович Войт, недавно издавший следующие законы:

1) Запрещается на кордонах, где живет русский солдат, говорить по-польски, а также в таможенных местах (??!!!), канцеляриях, пакгаузах, на дебаркадерах во время отправления служебных обязанностей.

2) *Не дозволять нижним чинам вступать в брак с теми польками, которые не говорят свободно по-русски.*

Оба закона, изданные его величеством начальником Вержболовского таможенного округа Владимиром I, из династии Войтов, напечатаны в «Русском Инвалиде» и в № 323 «Голоса», но «Московские Ведомости» поместили у себя только первый из двух законов его контрабандно-

го величества, не упомянув о втором, брачном законе, вероятно, чтобы читатели их не позавидовали счастью вержболовцев под мудрым правительством Владимира I.

По известиям, полученным из Вержболова, г-н Войт доселе прогуливается на свободе и в сумасшедший дом еще не посажен.

Нам известно происхождение фамилии Войтов, и мы считаем не лишним сообщить эти сведения нашим читателям в новое доказательство тому, что̀ могут себе позволять в России люди, имеющие сильную поддержку при дворе.

С полвека тому назад жил в Москве некто Карл Войт, происхождением еврей-перекрещенец, ремеслом бандажный мастер. Из сыновей его известны нам судьбы двух: Николая и Владимира. Николай Карлович Войт пожелал быть медиком и, довольно плохо выучившись медицине, за неимением практики поступил в домашние деревенские доктора к богатой тамбовской помещице Дарье Алексеевне Полтавцевой, урожденной Пашковой. В исходе тридцатых годов семейство Полтавцевых переселилось в Петербург на ловлю женихов, и ловля оказалась необыкновенно удачной. Одна из дочерей Дарьи Алексеевны, Елизавета Николаевна, вышла за Николая Трофимовича Баранова, старшего брата ныне могущественного Эдуарда Трофимовича; а одна из прочих дочерей Дарьи Алексеевны, Екатерина Николаевна, вышла за Александра Владимировича Адлерберга. Между тем Николай Карлович Войт через покровительство Полтавцевых определен был на службу в театральное ведомство, состоявшее в то время под начальством Александра Михайловича Гедеонова, человека, всем известно, весьма ловкого. Г-н Гедеонов, вероятно, обладая чувствительным сердцем, всегда сочувствовал желанию начальников своих сблизиться с той или другой хорошенькой женщиной, и *деятельное* его сочувствие доставило ему благорасположение своих начальников, сперва старого князя Юсупова в Москве, а по смерти Юсупова в 1831 году князя Петра Михайловича Волконского в Петербурге. Сверх того, г-н Гедеонов любит играть в карты, что привело его даже *познакомиться с тузами* и сблизило его с Дубельтом, страстным охотником до карт и до женщин. Николай Карлович Войт плохо знал медицину, но был *мастер* в карточной игре. Он поступил в этот почтенный кружок Гедеонова и

Дубельта, кружок, в среде коего известный Политковский проиграл столь много денег. Пользуясь покровительством Полтавцевых, Дубельта и Гедеонова, Николай Карлович возымел желание разбогатеть через дешевую покупку имения и распорядился следующим образом.

По смерти богатого помещика князя Николая Александровича Касаткина-Ростовского, по наследству его имения возникла тяжба, решение коей, равно и распределение имений между наследниками, учинены были седьмым департаментом Сената, отдавшим прекрасное тульское имение Касаткина в уездах Чернском и Новосильском родственникам его, двум братьям Пожогиным-Отрошкевичам*. Был еще искатель, пьяный полуидиот Дуров, не получивший никакой части из наследства, на которое изъявлял притязания. Войт отыскал Дурова, перевез его к себе в дом, взял от него полную доверенность на ведение процесса и на расходы по делу и обратился в Вотчинный департамент за справками из писцовых книг. В огромных залах Вотчинного департамента расставлены по стенам на полках тысячи аккуратно переплетенных книг с заглавиями: уезд такой-то, уезд такой-то, но все это обман и надувательство: в сущности, все дела и все бумаги по вотчинной части в страшном хаосе; возьмите любую книгу, например, положим, уезд Ливенский; вы там найдете бумаги по уездам и Нижегородскому, и Великоустюжинскому, и так далее. В тридцатых годах справки из писцовых книг составлял чиновник Грибоедов, который начал службу в протоптанных сапогах, а оставил по себе шестьсот тысяч рублей серебром капитала. По смерти Грибоедова справки составлял чиновник Николай Сергеевич Налетов, который точно так же, по влечению воли своей, жаловал и отнимал имения. Войт переговорил с Налетовым, получил справку в пользу Дурова и обратился, именем Дурова, в Комиссию прошений, где царствует известный агент III Отделения, целым двум поколениям русских людей памятный инквизитор, статс-секретарь князь Александр Федорович Голицын. Через покровительство Дубельта, Полтавцевых, Адлербергов и Барановых Голицын смастерил вещи таким образом, что дело, решенное седьмым департаментом Сената, велено было пересмотреть в восьмом департаменте! А в этом восьмом департаменте заседали в то время Николай Петрович Мартынов и Данило Петрович

Мороз. Мартынов был другом Дубельта и Гедеонова и один из самых главных коноводов московских счастливых игроков того времени, а для того, чтобы оценить личность и свойства Мороза, стоит рассказать один анекдот! В московском Английском клубе, как известно, платят только за обед, но закуска и водка перед обедом даровые; Мороз придет, бывало, перед обедом, опустошит выставленную на столе прекрасную и обильную закуску, выпьет три-четыре рюмки водки, и когда все пойдут обедать, то он отправится спать в газетную комнату, насытившись безденежно таким образом. Явился Войт к Мартынову и к Морозу с письмами от Дубельта; *переговорил* с обоими сенаторами, и дело закипело. В декабре 1847 года восьмой департамент Сената решил: чернские и новосильские имения покойного князя Касаткина отдать Дурову. В это время Войт представил Дурову *такой счет расходов,* что новый помещик не мог заплатить, хотя имение состояло с лишком из восьми тысяч десятин земли, населенных с лишком десятью тысячами ревизских душ. Принужден был Дуров продать это значительное имение в июне 1848 года Войту, и при расчете, за вычетом сделанных Войтом расходов, пришлось Дурову получить всего чистыми деньгами лишь около тридцати тысяч рублей серебром. Хотя имение было заложено в московском ломбарде, но Мартынов, со званием сенатора сочетавший звание почетного опекуна Московского воспитательного дома, выхлопотал Войту разрешение продать лес, и таким образом Николай Карлович приобрел *даром* восемь тысяч десятин черноземной земли в прекраснейших уездах, где удобный сбыт всяких произведений облегчен близостью Мценска, хотя находящегося в соседней губернии, но лишь верстах в двадцати пяти от вышеозначенного имения. Вот что значит даже для маленького человека, подобного Войту, в государстве самодержавном иметь сильных покровителей при дворе!

Войт не удовольствовался даровым приобретением большого имения: он опять обратился к благодетелю своему Налетову и, переговорив с ним, получил из Вотчинного департамента новые справки из писцовых книг, на основании которых завел тяжбы с соседями. Чтобы оценить вполне всю мерзость действий Вотчинного департамента и тогдашнего министра юстиции графа Па-

нина, надобно сказать, что справки, выданные Войту в первый раз на дачу села и деревни Теплых в Чернском уезде Тульской губернии, различествовали в числе четвертей земли по писцовым книгам от справок на ту же самую дачу, выданных ему во второй раз. Этого мало: и та и другая справки совершенно различествовали со справкой, выданной из того же департамента в 1815 году предшественнику Войта по владению князю Касаткину, а все три справки, и касаткинская, и обе войтовские, различествовали от двух других справок, из того же самого департамента выданных двум соседним помещикам на ту же самую дачу, в общем владении состоящую. Об этих проделках Налетова я в то время рассказывал графу Панину в частном разговоре в его салоне, но Панин замял разговор и не дал никакого ходу этому сообщению по двум причинам: во-первых, в качестве поборника старого порядка вещей он всегда защищал злоупотребления, оспаривая их действительность, а во-вторых, боялся навлечь на себя неблаговоление сильных покровителей Войта.

Крестьянами своими Войт управлял по системе, которую однажды, в минуту непривычной ему откровенности, выразил следующими словами: «Крестьянина нужно держать в бедности: если он разбогатеет, тотчас начнет умничать», и систему свою приводил в действие с таким усердием, что ему сожгли на гумне хлеба тысяч на двенадцать рублей серебром. Тогда он перенес гумна свои в средину селений крестьянских с той целью, чтобы поджог был невозможен без страшной опасности для крестьянских усадеб! Когда возник вопрос об эмансипации, Николай Карлович явился рьяным защитником крепостного состояния, и, как человек, поступивший в дворянское сословие лишь только лет за пятнадцать перед тем, он с жаром разглагольствовал о правах и значении всероссийского дворянства, опоры престола (дворянства, которое до 1762 года* секли публично, а с 1762 года секут тайно!). Войту смертельно хотелось быть превосходительством, и, благодаря соединенному покровительству Дубельта, Адлербергов и Барановых, он дополз до чина действительного статского советника. За то, разумеется, он принимал на исполнение от покровителей своих поручения всякого рода. У графинь Адлерберговой и Барановой кроме нескольких сестер были еще два брата; старший

умер; младший, Сергей, взят в опеку по причине слабоумия, и опекуном его назначен Николай Войт, который вопреки законам, допустил раздел имения поровну между братом и сестрами. Он говорит, что сам Сергей Николаевич Полтавцев желал равного раздела со своими сестрами, но на это следует ответить, что Полтавцев, если бы не состоял под опекой, мог распоряжаться своим имуществом, как ему только угодно, но что его, по причине слабоумия, для того именно и взяли в опеку, чтобы лишить возможности действовать самопроизвольно, и что опекун не имеет права нарушать законов, а тем менее нарушать их в пользу лиц, сильных при дворе.

Этим фактом мы окончим рассказ о Николае Войте, рассказ, извлеченный из наших записок, издание коих на французском языке начнется в нынешнем, 1864 году. Что же касается до Вержболовского законодателя Владимира Войта, то брат его Николай Войт, воспользовавшись тем, что директором департамента внешней торговли находился Михаил Васильевич Пашков (умерший в прошлом, 1863 году), женатый на родной сестре Барановых, выхлопотал своему брату в 1861 году место начальника Вержболовского таможенного округа и через то доставил ему случай публично самодурить.

Вот что значит в России иметь сильных покровителей!

«Листок», №17, 28 января 1864, стр. 132—134.

Граф Киселев.

Мы обещали[1] дать биографический очерк графа Киселева. Некоторые журналы опубликовали об этом государственном деятеле статьи, которые начинаются вместо предисловия настоящей мифологией. По этому вопросу, так же как и по другим, мы скажем правду.

Семья Киселевых восходит к XV столетию. Первый их предок был в 1452 году воеводой в Устюге Великом у князя Дмитрия Шемяки, соперника великого князя Василия III. Его сын Михаил и внук Федор служили в царствование великого князя Ивана III, сына Василия; Михаил был воеводой в Нижнем в 1469 году, а Федору была дана дипломатическая миссия к крымскому хану в 1502 году. В знаменательный день взятия Казани русскими, 2 октября 1552 года, семь Киселевых было убито на приступе этого города.

Павел Дмитриевич Киселев родился в Москве 29 июня 1788 года и поступил семнадцати лет в Кавалергардский полк. В день капитуляции Парижа 30 марта 1814 года капитан Киселев, которому тогда шел 27-й год, был назначен на высотах Монмартра во флигель-адъютанты к императору Александру I. У него тогда, наверно, и в мыслях не было, что в этом самом городе, куда он должен был вступить на следующий день, ему суждено будет завершить свою политическую карьеру и, по всей вероятности, дожить там до старости. Произведенный к 1817 году, 29-ти лет, в генералы, Киселев получил на

---

[1] [В том же № 3 «Le Véridique», в котором напечатан данный «Биографический очерк».]

следующий год весьма важное назначение на пост начальника главного штаба 2-й армии, главная квартира которой находилась в Тульчине.

В это время существовало несколько тайных обществ, целью которых было изменить государственный строй. Самое главное и активное из этих обществ было Южное; центр его находился во 2-й армии, и главарем его был полковник Пестель, командир Вятского полка, человек высокого ума и редкой энергии. Генералу Киселеву были известны замыслы заговорщиков*, и в его же доме Пестель впервые прочитал составленный им проект федеративной конституционной республики.

Начало восстания было назначено на 1 января 1826 года. В этот день Вятский полк должен был из деревни Линцы, где он квартировал, пойти в Тульчино, чтобы нести караул. Было решено в тот день захватить командира армии графа Витгенштейна, не причинив ему никакого зла: все обожали доброго, ласкового, прекрасного Витгенштейна. Было также решено захватить в тот же день и тем же образом Киселева, чтобы снять с него подозрение в том, что этот заговор был ему известен. Но проворовавшийся на поставках капитан Вятского полка Майборода, которому Пестель грозил судом, послал правительству донос, и генералу (потом графу и военному министру) Чернышеву было поручено расстроить этот заговор. Прибыв в Тульчино 13 декабря и условившись с Витгенштейном относительно принятия необходимых мер, Чернышев пригласил Киселева сопровождать его. Они отправились на следующий день, 14 декабря, в замок графа Ярослава Потоцкого, брата г-жи Киселевой, а в то же время граф Витгенштейн послал курьера к Пестелю, приглашая его спешно явиться к нему по делу. Пестель немедленно прибыл в Тульчино и тут же был арестован. Чернышев и Киселев отправились 15-го из замка графа Потоцкого в Линцы, где они захватили бумаги Пестеля и арестовали несколько офицеров.

В то время как Киселев занимался этими делами, полковник барон фон дер Ховен по приказу своего товарища по путешествию Чернышева захватил у него на дому его личные бумаги и принес их Витгенштейну. После осмотра и выборки этих бумаг добрый старый Витгенштейн воскликнул: «Он погиб, наш бедный Киселев! Он пойдет в Сибирь». «Можно его спасти», — сказал

фон дер Ховен. «Но каким образом?» «А вот как», — ответил Ховен и, схватив связку компрометирующих бумаг, бросил их в огонь. Киселев никогда не забывал этого благодеяния фон дер Ховена; он всегда оставался прочной опорой и горячим покровителем этого последнего в борьбе, которую фон дер Ховену пришлось вести потом, будучи губернатором, против министров и против своих же подчиненных.

Пожалованный в начале войны с Турцией, в 1828 году, в генерал-лейтенанты, Киселев после взятия Адрианополя был назначен на весьма важный пост правителя Молдавии и Валахии. Это, несомненно, был лучший период его жизни. Под его началом были две провинции, с которых только что было сброшено мусульманское иго и которые вследствие этого были очень довольны сравнительно либеральным правлением Киселева. В этих провинциях до тех пор господствовали произвол и вымогательство, не было никаких учреждений, все нужно было создать, и все могло быть создано без препятствий, которые иногда создаются предшествовавшим режимом и в других странах часто тормозят проведение полезных реформ. Генерал Киселев имел возможность дать широкий размах своим либеральным принципам, и «органический статут», выработанный при нем, был настолько хорош, насколько было возможно по соседству с империей Николая I и исходило от его же адъютанта. Это был, мы повторяем, лучший период жизни Киселева, благодаря которому он займет подобающее место в истории.

Окончив организацию Молдавии и Валахии, Киселев поселился в Санкт-Петербурге. 17 апреля 1834 года, в день совершеннолетия наследника (нынешнего императора), он был произведен в чин генерала от инфантерии и 6 декабря того же года назначен членом Государственного совета. Здесь он ярко выделялся своими заслугами среди большинства ничтожных людей, которыми было переполнено это учреждение, самое высшее в России и ставшее настоящим приютом для неизлечимо больных.

Император Николай всегда думал об освобождении крестьян. За подробностями по этому вопросу мы отсылаем к 2-му изданию «Правды о России» глава VII, I том [этой главы нет ни в первом издании, ни в поддельном, выпущенном в Берлине издателем Шнейдером]. 1 января 1838 года было основано Министерство государственных

имуществ, которому было суждено положить основу освобождения крестьян, и генерал Киселев (возведенный в следующем году в графское достоинство) стал во главе этого министерства.

Здесь открылось для графа Киселева новое поприще, очень утомительное, полное борьбы и неудач: в течение 18-ти лет ему пришлось бороться со всевозможными препятствиями. Это были уже не Молдавия и Валахия, довольные избавлением от турецкого ига и представлявшие для администратора широкое поле деятельности; это была обширная страна, где, правда, не было почти никаких общественных организаций, но где неискоренимым злом были казнокрадство и официальная ложь. Очень трудно управлять страной, где во всех официальных сферах сверху и донизу идут кражи, а ложь процветает снизу доверху, в которой правосудие, когда оно не служит орудием гнета в руках правительства, продается тому, кто дороже платит. Бюрократия составляет в России целую могущественную касту; бюрократы поддерживают друг друга, начиная с министерских дворцов в Санкт-Петербурге и кончая самыми маленькими канцеляриями в самых глухих провинциальных городах; они считают воровство своим неотъемлемым правом, своей священной собственностью, защищают эту собственность с ожесточением и считают государственными преступниками всех тех, которые требуют нового порядка вещей. Подобная борьба, борьба ожесточенная, ежедневная, представляла громадные трудности даже для одаренного самой большой энергией человека; но у графа Киселева этой энергии нет; она заменяется у него очень ясным и тонким умом. Император же Николай, несмотря на то что желал освобождения крестьян, не хотел иметь около себя либеральных людей; целью его было сделать всех своих подданных без исключения своими рабами; он ненавидел всякое проявление свободы, хотел единообразного рабства и своим тупым и узким умом не понимал, что, достигнув этой цели, он объединит все общественные классы в общей ненависти против насилия и приведет к свержению самодержавного ига. Бюрократия, которая гораздо хитрее Николая, поняла, куда приведут реформы, угрожавшие ее влиянию, источнику ее силы и богатств, и всячески препятствовала освобождению крестьян; а для того чтобы тормозить проведение проектов

графа Киселева, она избрала самый верный путь: она проникла в его министерство, наводнила его, учредила массу совершенно ненужных государству должностей, дававших возможность тем, которые их занимали, жиреть за счет трудового народа. И вот в продолжение 18-ти лет можно было наблюдать странную и любопытную картину: честный министр стоял во главе воровского министерства.

В 1856 году Киселев, усталый, измученный, уступил наконец течению событий и не настаивал больше на борьбе, которую он считал уже невозможной; на самом же деле теперь как раз приближался момент, когда его тенденции могли взять верх во внутренней политике России. Только что был подписан Парижский мир, и нужно было назначить русского представителя в Париж. В последние годы в Петербурге, который нельзя назвать городом мудрых обычаев, сверх обыкновения придумали довольно остроумную меру: назначить вместо дорого стоящих посланников полномочных министров, которые неплохо справлялись с делами. Дворы Австрии и Англии, где царствовали старинные и серьезные династии, ничего не возражали против этой меры и даже поспешили последовать этому умному примеру, перестав посылать посланников в Санкт-Петербург. Но новорожденное французское правительство очень щекотливо относилось к этому вопросу; его представителем в России был посланник, и оно требовало посланника от России. Согласно русскому этикету посланник мог быть назначен только из числа генералов и тайных советников, а император Николай, большой любитель и покровитель идиотов, заполнил список генералов и тайных советников такими людьми, что трудно было встретить среди них способного человека, не говоря уже о том, что большинству из них было больше 55-ти лет. Князь Долгоруков, проявивший за последние четыре года в качестве военного министра исключительную бездарность, за что у него отняли министерский портфель, решил просить назначить его послом во Францию, чтобы *отдохнуть,* как выражался этот почтенный человек. Так он себе представлял функции посла в Париже. Но министр иностранных дел наложил свое veto и был прав. Выбор посла представлял большие трудности для князя Горчакова, пока наконец одна остроумная женщина не вывела его из затруднения.

Во втором номере «Véridique» мы говорили о графине Софии Ивановне Борх[1]. Однажды в разговоре с князем она ему заметила: «Почему Вы не предлагаете на этот пост Киселева? Это был бы прекрасный выбор». «Вы правы, — отвечал князь, — но согласится ли он?» «А почему бы нет?» — «Он состоял уже министром, и очень влиятельным министром, в то время когда я был еще далек от политики, и, несмотря на узы родства, которые нас соединяют[2], я не посмел бы обидеть его предложением даже такого важного поста, как пост посла в моем министерстве: я стал бы его начальником, я, который гораздо моложе его на дипломатическом поприще». «Я думаю, графа Киселева не остановят такие соображения, — ответила г-жа Борх. — Если Вы хотите, я могу позондировать почву по этому вопросу, мои слова Вас ни к чему не обяжут». «Вы мне этим сделаете большое одолжение».

Г-жа Борх передала этот разговор графу Киселеву, который поспешил ответить, что никогда бы не поколебался для блага службы стать под начальство человека моложе его, но что другие причины мешают ему принять дипломатический пост: он всегда был военным и администратором, дипломатом же никогда не был, и поздно на 68-м году начинать службу на новом поприще. Г-жа Борх повторила эти слова Горчакову, и князь поспешил предложить французское посольство Киселеву, который очень дружески, но категорически отклонил это предложение, не желая, говорил он, играть роль новичка в семьдесят лет. Горчаков тогда переговорил с императором, который сам предложил этот пост Киселеву, и, когда этот последний весьма почтительно отклонил предложение Его Величества по вышеупомянутым причинам, импера-

---

[1] [Во втором номере «Véridique» (в примечании к стр. 282) П. В. Долгоруков пишет: «Она — одна из самых выдающихся русских женщин, одаренных высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своем поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, когда она последовала в Сибирь за мужем, которого император Николай продержал там в ссылке в течение 18-ти лет. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры, ее мужа и детей».]

[2] Мать графа Киселева была урожденной княжной Урусовой, двоюродной теткой жены князя Горчакова, тоже урожденной княжны Урусовой.

тор объявил ему, что он обращается к его преданности и требует от него, чтобы он принял пост посланника. Граф Киселев подчинился.

Выражение «подчинился» не преувеличено. Этот посол, который впоследствии не захотел больше покинуть Парижа и остался там до конца своих дней, чувствовал тогда настоящее отвращение к своему новому посту. Настоящие причины его нерешительности коренились в совершенно правильном убеждении, что война обнаружила всему миру скрывавшуюся за кажущимся могуществом России действительную ее слабость; кроме того, ему было тяжело, занимая в продолжение многих лет самые высокие и важные посты в стране, принадлежавшей к великим державам, стать ее представителем, в то время как она, вследствие своей политической слабости и несмотря на свою обширную территорию, снизошла на положение второстепенной державы, и где именно! При дворе победителя России, при дворе зачинщика этой войны, которая отняла у России ее престиж и кажущееся могущество. Естественно, что то было очень горькое чувство, и оно усугублялось у графа Киселева еще личными воспоминаниями. В 1814 году на высотах Монмартра он был назначен флигель-адъютантом Александра I в тот самый момент, когда этот государь собирался свергнуть с престола Наполеона I, этого колосса, державшего всю Европу под своей пятой, чтобы возвести на французский трон Бурбонов и заставить Людовика XVIII даровать Франции конституцию[1]. И вот после 42-х лет этот, тогда еще молодой генерал-адъютант, теперь уже старый государственный муж, должен был представлять перед победоносным племянником Наполеона I побежденную Россию, униженную и нисшедшую, повторяем, благодаря ошибкам своего правительства на степень второстепенной державы. Это была тяжелая задача.

---

[1] В настоящее время вполне доказано: это Людовик XVIII под предлогом серьезных недочетов состряпанной Сенатом конституции и не думал давать хартию и хотел вступить в Париж самодержцем. Он уже прибыл в Сен-Уэн. Уже был назначен день королевского въезда в Париж, как вдруг накануне этого дня император Александр прислал в Сен-Уэн своего адъютанта, генерала Чернышева, заявить господину де Блака, что если он не примет на себя положительного обязательства опубликовать хартию, то королю не позволят вступить в Париж. Тогда аббат де Монтескье и г-н де Витролль наспех средактировали знаменитую Сэн-Уэнскую декларацию. Ее напечатали ночью и расклеили ранним утром, и въезд короля состоялся в назначенный день.

Чтобы хорошо себе выяснить причины, почему Киселеву так понравилось в Париже, нужно принять во внимание характер этого государственного деятеля. По природе царедворец, несмотря на свои либеральные убеждения, он обожал двор; характера он был слабого, несмотря на частые энергичные поступки, и эта слабость увеличивалась у него с годами. В высшей степени тщеславный, весьма чувствительный к лести и похвалам, граф Киселев вскоре подчинился обаянию императора Наполеона III. Обращение лично с ним было в высшей степени изысканным; он был окружен исключительным вниманием, он был обласкан, и с ним всячески носились; все это служило утешением для графа Киселева, так как доставшаяся ему ничтожная роль посла России была унизительна вообще, а особенно во Франции; уважение и внимание, которыми он лично пользовался, утешали его и в том, что он должен был во всем тянуться за Францией, — единственная в то время возможная для России политика вследствие ее внутренних неурядиц и тяжелого финансового положения; он не смел реагировать на постоянные и капризные изменения французской политики, и ему оставалось прикрывать свою слабость и вынужденную бездеятельность России высокопарными фразами о невмешательстве и соблюдении договоров. Его роль русского посла низводилась к унизительному положению царедворца при французском дворе, и опять-таки, что его утешало — это личное внимание, которым он был окружен в Тюильри. Все это объясняется тем, что его умственные способности притуплялись с годами; память ему изменяла, что ставило его в зависимость от окружающих; его секретари приобрели большое влияние над ним, особенно один из них, наименее достойный. Этим секретарем посольства был некий Алексей Толстой*, назначенный на эту должность, потому что он был весьма достойным племянником весьма смешного Ивана Матвеевича Толстого. Этот маленький Алексей Толстой был очень вульгарный человек, очень злой и преисполненный самой чванной самоуверенности и совершенно лишенный такта. Киселев был пешкой в его руках, и он довел его до действительно неприличных поступков.

Наконец, граф Киселев ходатайствовал об отставке, и, получив ее, он поселился окончательно в Париже, намереваясь прожить там остаток своих дней в роли простого смертного.

Граф Киселев, как мы уже говорили, отличался замечательным умом, заменявшим ему знания, которых он не успел приобрести, так как начал службу очень рано и не снимал погон в продолжение 60-ти лет. Один из его современников рассказывал нам однажды, что в те времена, когда г-жа Свечина* жила в Петербурге и знаменитый Жозеф де Мэстр часто посещал салон этой исключительной и почтенной женщины, русская молодежь была обижена ролью, которую иностранцы играли в петербургском обществе благодаря их изысканности и знаниям, и наш рассказчик прибавил: «Киселев умел вести беседу; поэтому мы, его друзья, часто посылали его по вечерам к г-же Свечиной, чтобы поговорить с Жозефом де Мэстром, но перед этим мы всегда заставляли его прочитать несколько глав из Кондильяка».

Наш знаменитый поэт Пушкин дал прекрасную оценку графа Киселева в стихотворном отрывке:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд:
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

Да, граф Киселев, несмотря на его либеральные принципы, всегда оставался царедворцем и, как таковой, всю жизнь умел приноравливаться ко всем партиям, ко всем убеждениям. В России он был ласков и любезен с теми, которые могли быть ему полезны; но в то же время, как человек острого ума, он был также любезен и ласков с теми, которые были выразителями общественного мнения. В обращении с другими европейская вежливость исчезала, и этот министр, такой обаятельный в обществе, постоянно говорил «ты» подчиненным чиновникам и офицерам. Прибыв в Париж, он поспешил присвоить европейские обычаи и был вежлив и предупредителен со всеми, оставляя за собой право быть любезным с теми, которые могли быть ему полезны. В России он представлял собой странную смесь либерала и царедворца, европейца и паши; с виду крутой, на самом же деле гибкий и ловкий, он сделался в Париже настоящим вельможей двора Людовика XIV.

Как министр граф Киселев представляет собой яркий пример всемогущества бюрократии в России и невозможности пресечь в корне все злоупотребления иначе как с введением конституционного порядка. Он пробовал во время своего управления Министерством государственных имуществ ввести справедливые и честные порядки; он не только потерпел полное крушение, но бюрократия наводнила его министерство и превратила его, как мы уже сказали выше, в настоящий разбойничий притон. Без конституционного управления и свободы печати могут быть честные министры, но честное министерство быть не может: Киселев и его министерство служат ясным и неоспоримым доказательством этого.

Резюмируя, мы скажем, что этот человек, который, несмотря на свое звание генерал-адъютанта Николая I, хотел и сумел дать конституцию дунайским провинциям, сохранит почетное имя в истории этих провинций, а также в истории своей собственной страны.

Le Véridique, revue, publiée par le prince P. Dolgoroukow. T. I, № 3, стр. 432—453. С франц.

Гавриил Степанович Батеньков*.

Некрологический очерк.

В первых числах прошлого ноября месяца скончался в Калуге один из самых умных и самых почтенных людей между самыми почтенными лицами в России — между декабристами — Гавриил Степанович Батеньков, на семьдесят втором году своей многострадальной жизни, ознаменованной двадцатилетним заточением в каземате и потом десятилетней ссылкой в Сибирь.

В №№ 13, 14 и 15 «Листка» мы поместили биографический очерк жизни Михаила Николаевича Муравьева, где ясно видно, до какой степени ум, способности, сила воли, энергия — эти блистательные дары провидения, которые в стране свободы, законности и гласности непременно приносят обществу пользу, столь обильную и столь благотворную, — в стране самодержавия, безмолвия и бесправия, при отсутствии в человеке нравственной основы, приносят лишь вред обществу, личные материальные выгоды тому, кто снабжен этими качествами, и гибель другим. Пример Гавриила Степановича Батенькова столь же ясно доказывает, что когда ум, способности, сила воли и энергия находятся в сочетании с благонамеренностью, со стремлениями к добру и пользе, когда эти блистательные качества имеют точку опоры на широкой и твердой основе нравственной, то человек, ими одаренный, человек, коему в стране свободы несомненно предстояло бы поприще столь блистательное и столь полез-

ное для родины его, человек этот в стране самодержавия гибнет; редкие способности его угасают втуне, не принеся пользы обществу, а жизнь его обрекается на бедствия и являет лишь страшную цепь страданий.

Гавриил Степанович Батеньков, сын сибирского купца*, родился в 1792 году в Томской губернии. Одаренный от природы блистательным умом и редкими способностями, он учился быстро и успешно и, прекрасно выучившись математике, поступил в артиллерию. В походе 1814 года, во Франции, находясь уже офицером, он получил несколько ран и оставлен был на поле сражения замертво. Французы стали подбирать раненых: и своих и наших; Батеньков сделал движение, по коему можно было судить, что он еще не умер; французы его взяли, свезли в госпиталь и вылечили. Судьба не дала ему погибнуть на двадцать третьем году от рождения; она сулила ему еще полвека жизни, исполненной страданиями. Вероятно, впоследствии, в страшном уединении сырого каземата, без книг, без сообщения с миром Батенькову пришлось неоднократно сожалеть о сделанном им движении, когда он лежал израненным на поле битвы, движении, сохранившем ему многострадальную жизнь его.

По возвращении в Россию тогдашние начальники Корпуса путей сообщения, умные и способные генералы Деволан и Бетанкур[1], которые со вниманием искали мо-

---

[1] Франц Павлович Деволан, de Voland, из французской фамилии, в Голландии поселившейся, служил в Голландии инженерным офицером и 30 октября 1787 года поступил в русскую службу. Он находился в чине подполковника начальником инженеров в войсках Суворова. При Павле отставлен от службы, но вскоре опять принят в службу членом Департамента водяных коммуникаций. По этой части он оказал России огромные услуги. В 1809 году учреждено было Управление путей сообщения под номинальным начальством доброго и ученого, но совершенно неспособного принца Георгия Ольденбургского, мужа умной великой княгини Екатерины Павловны, и Деволан, в чине инженер-генерала, был настоящим начальником этого ведомства, а по кончине принца, в декабре 1812 года, назначен главноуправляющим путями сообщения. Он умер 30 ноября 1818 года, и место его заступил Бетанкур.

Augustin de Bethancour y Molina, в России Августин Францович Бетанкур, из нормандской фамилии, поселившейся в Испании в пятнадцатом веке, родился на острове Тенерифе 2 февраля 1758 года и был в

лодых людей, одаренных хорошими способностями, предложили ему вступить в Корпус путей сообщения. Гавриил Степанович в несколько месяцев умел приготовиться столь отличным образом, что выдержал экзамен в инженеры с успехом самым блистательным.

В 1819 году, 27-ми лет от роду, Батеньков в скромном чине штабс-капитана управлял всем Сибирским округом путей сообщения. Сибирь уже пятнадцать лет стонала под тяжким деспотизмом генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля и поставленных от него губернаторов, между коими особенно отличался иркутский — Николай Иванович Трескин, свирепствовавший, как турецкий паша на своем пашалыке. Между тем Александр I хотел дать значительное место бывшему своему любимцу Сперанскому, а враги этого умного и хитрого человека весьма желали его удаления, и потому Сперанского послали в 1819 году генерал-губернатором в Сибирь с поручением преобразовать этот обширный край, ввести в нем порядок и благоустройство, что решительно невозможно в стране самодержавия и, следовательно, бесправия. Сперанский уменьшил число страдальцев, сделал много добра частным лицам, но государственная деятельность его в Сибири ограничилась написанием уставов, превосходных на бумаге, в теории, и, как почти все хорошие уставы в странах самодержавия, на практике неисполняемых и даже почти неисполнимых. В Тобольске Сперанский встретил молодого офицера путей сообщения, умная и честная личность коего резко и светло выделялась из массы всяких темных индивидуумов, составляющих сибирскую администрацию. Узнав, что Батеньков природный сибиряк и, следовательно, превосходно знаком с краем, еще столь малоизвестным, Сперанский пригласил

Испании генерал-инспектором Корпуса дорог и каналов; когда французы вторглись в Испанию в 1808 году, Бетанкур не захотел присягать Иосифу Бонапарту и по совету русского посланника в Мадриде, графа Григория Александровича Строганова, отправился в Россию, где принят был генерал-майором в Корпус путей сообщения и получил значительный оклад. Он оказал большие услуги по этой части и был первым начальником Института путей сообщения, по его советам учрежденного. Он умер 24 июля 1824 года, и место его заступил один из добрейших, но самых пустейших людей того времени, брат императрицы Марии Федоровны, герцог Александр Вюртембергский, прозванный «шишка», по причине красовавшейся у него на лбу огромнейшей шишки, что по-французски называется une loupe и почему безмозглый великий князь Михаил Павлович называл герцога: «дядюшка Лупандин».

Гавриила Степановича сопровождать его, и с тех пор они не разлучались в течение слишком шести лет, до самого рокового дня ужасной грозы, разгромившей жизнь Батенькова, жизнь, казавшуюся столь богатой надеждами и счастьем в будущем!

Три года провел Сперанский в Сибири. Батеньков был, можно сказать, его правой рукой; он сделался его ближайшим советником и искренним другом. В 1822 году Сперанский возвратился в этот самый Петербург, откуда за десять лет перед тем, быв одним из самых влиятельнейших лиц в империи, он был выслан в Нижний Новгород с полицейским офицером. Он привез с собой Батенькова. Сперанский назначен был тогда членом Государственного совета, по его проекту учрежденного за двенадцать лет перед тем, а для рассмотрения составленного им устава для управления Сибирью и вообще для заведования делами этого края учрежден по его совету Сибирский комитет, составленный из министров внутренних дел, финансов, просвещения и его самого, Сперанского, под председательством всемогущего в то время Аракчеева. Правителем дел Сибирского комитета назначен по рекомендации Сперанского неразлучный его друг и сопутник Батеньков, живший у него в доме. Сперанский нанимал в то время этаж в доме Лазарева, где Армянская церковь, на Невском проспекте.

Александр I по возвращении своем в Россию с Венского конгресса в 1816 году занимался исключительно делами политики внешней, беспрестанно повторяя слова: «notre prépondérance politique»[1], а управление делами внутренними, без исключения, предоставил Аракчееву. Трудно себе вообразить всемогущество влияния этого властолюбивого, злобного и мстительного временщика. Министры, за исключением военного и управлявших иностранными делами статс-секретарей графов Нессельроде и Капо д'Истрия, перестали иметь личные доклады у государя; все докладные записки министерские, также журналы Комитета министров и Государственного совета доставлялись в Собственную канцелярию государя[2] и

---

[1] [Наше политическое преобладание *(фр.)*.]

[2] При Александре I существовало лишь одно, нынешнее I, Отделение Собственной канцелярии. Изобретательная бездарность Николая создала II Отделение для занятий ерундой, т. е. русскими законами, III Отделение, эту знаменитую помойную яму, и IV, дельное и разумное, для благотворительных заведений.

возвращались оттуда с надписью: «Государь император соизволил повелеть то и то. Генерал граф Аракчеев». У этого полуимператора находились бланки с императорской подписью, что доставляло ему возможность распоряжаться по воле своей прихоти по всем ветвям государственного управления. Лица самые заслуженные, самые почтенные трепетали косого взгляда Аракчеева, а те, коих природа оскорбила низкой душой, прибегали ко всем возможным подлостям, чтобы доползти до снискания его благоволения. Председатель Государственного совета и Комитета министров, 70-летний старец князь Лопухин, председатель Департамента экономий в Государственном совете, 65-летний старец князь Алексей Куракин, министр внутренних дел граф Кочубей езжали по вечерам пить чай к любовнице Аракчеева, необразованной и злой Наське*. Когда Аракчеев удостаивал Кочубея принять от него приглашение на обед, то Кочубей, столь гордый и надменный с другими, надевал мундир и ленту, чтобы встретить Аракчеева...[1]

Всемогущий временщик, коему уже начали противеть поклонения придворных и их непроходимая низость, полюбил умного, честного и прямодушного Батенькова. Он его назначил членом совета о военных поселениях и членом комиссии, составлявшей устав для управления военными поселениями. Дерзкий и грубый на службе, не терпевший противоречий, Аракчеев всегда обходился с Батеньковым вежливо и ласково, выслушивал его возражения, не сердился на его противоречия, имел большую доверенность к его уму и способностям, доверенность безграничную к его честности и, гнуся по своей привычке, говаривал иногда: «Это мой (!!!) будущий министр».

Таково было в 1825 году, на тридцать четвертом году его жизни, положение Гавриила Степановича, положение блистательное, влиятельное, почетное. Казалось, судьба открывала перед ним поприще широкое и блестящее, на коем способности и отчизнолюбие его могли быть столь полезными отечеству, а между тем неисповедимая воля провидения обрекала его не только на бездействие поли-

---

[1] Князь Илья Андреевич Долгоруков, несколько времени бывший адъютантом Аракчеева, рассказывал мне, что он сам видел Лопухина, Куракина и Кочубея, распивающих чай у Наськи. Он же сообщил мне сведения о мундире и ленте, надеваемых Кочубеем для встречи Аракчеева у себя на дому.

тическое и гражданское, но еще на страдания ужасные и многолетние!..

Состояние, в коем находилась и еще теперь находится Россия, состояние, преисполненное злоупотреблений и нравственной грязи, побудило многих людей с душой благородной и с чувствами возвышенными составить тайные общества для введения в России иного, честного образа правления. Составились три тайных общества: Северное в Петербурге, с отделом в Москве; Южное в Тульчине, главной квартире 2-й армии, и Общество соединенных славян, также во 2-й армии. Последние два общества желали ввести правление республиканское, а Северное общество стремилось к монархии конституционной. В это Северное общество вступил Батеньков и вскоре стал одним из самых деятельных и самых главных членов его. Он состоял в короткой дружбе с умным, благородным и необыкновенно способным Николаем Александровичем Бестужевым, одним из самых любимых гостей Сперанского; Бестужев познакомил Батенькова со знаменитым Рылеевым, а Рылеев и Бестужев ввели Батенькова в Северное общество, которое, кроме членов друг другу известных, давших подписки на содействие и принимавших участие в собраниях, имело еще членов тайных des affiliés[1], которые подписок не давали, в собрания никогда не являлись и коих имена были в то время неизвестными самой большей части членов. Эти тайные сообщники сносились с обществом через посредство одного или нескольких членов, передавая через этих последних свои советы, передавая сведения и предостережения. Между тайными сообщниками находились: адмирал Николай Семенович Мордвинов, председатель Департамента дел гражданских и духовных в Государственном совете; Алексей Петрович Ермолов, в то время управлявший Кавказом; Сперанский и московский архиепископ Филарет (нынешний митрополит)*. Сперанский сносился с обществом через посредство Батенькова, Мордвинов через посредство Рылеева, Ермолов через Грибоедова, Михаила Фонвизина и еще через одного полковника, имени которого мы здесь не выскажем, потому что в настоящее время он занимает важную должность и мы не хотим ссорить этого почтенного старца с безмозглым петербургским правительством.

---

[1] Этого общества (*фр.*).

было произвести на следующее утро вооруженное восстание через гвардейские полки, то положили, в случае успеха восстания, немедленно учредить временное правительство, которое предписало бы по всем губерниям произвести выборы депутатов, назначенных составить конституцию для России. Этому временному правительству предположено было состоять из трех членов: архиепископа Филарета, адмирала Мордвинова и князя Сергея Петровича Трубецкого; правителем дел этого верховного правительства назначался Батеньков. Государственный совет предполагалось распустить и на место его назначить новый, из тридцати шести членов. Восемнадцать вакансий оставлены были для главных заговорщиков; на другие восемнадцать мест составлен был список, заключивший в себе имена некоторых тайных сообщников, например Ермолова, Сперанского, Павла Дмитриевича Киселева, и даже несколько имен лиц, к числу заговорщиков не принадлежавших[1].

Известна плачевная развязка восстания 14 декабря, предпринятого необдуманно и произведенного самым бестолковым образом. Если бы оно имело успех, то Россия быстро двинулась бы по стезе свободы и благополучия и скрижали русской истории не были бы опозорены николаевщиной, этой тридцатилетней войной против просвещения и против здравого смысла.

Через несколько дней после 14 декабря Батеньков был арестован; бумаги его взяты, а легко вообразить себе страх, его арестом и захватом его бумаг наведенный на трусливого друга его, Сперанского, в доме которого он жил. Рассказывают, что, когда пришли арестовать Батенькова, со Сперанским произошел обморок!

Заключенный в каземат Петропавловской крепости, подвергнутый нравственной пытке, худшей всякой пытки

Когда в воскресенье, 13 декабря 1825 года, решено

---

[1] Например, графа Кочубея, человека умного и весьма способного, и про коего заговорщики безошибочно полагали, что он готов служить всякому правительству. В этом же списке стояло имя сенатора Дмитрия Осиповича Баранова, человека малоспособного, но весьма честного и правдивого, хотя и очень трусливого, что он и доказал в этом случае. Император Николай послал за ним и показал ему список Государственного совета заговорщиков, в коем помещено было имя его. Баранов перепугался, стал божиться, что он в заговоре не участвовал — что и правда, — но испуг произвел на него *действие такого рода*, что государь принужден был зажать себе нос и приказать ему убираться поскорее из комнаты.

физической, он устоял твердо и, невзирая на всевозможные ухищрения инквизиторов[1], не проговорился и не выдал Сперанского. Одно неосторожное слово Батенькова могло выдать этого сановника и с кресел Государственного совета низринуть его в глубь рудников сибирских: это слово не было вымолвлено осторожным и энергическим узником. На Сперанского возникали улики столь значительные, что однажды комиссия отправила одного из своих членов, Левашова, к государю просить у него разрешения арестовать Сперанского. Николай Павлович, выслушав Левашова, походил по комнате и потом сказал: «Нет! Член Государственного совета! Это выйдет скандал! Да и против него нет достаточных улик!» Таким образом Сперанский был спасен...

Батеньков приговорен был к пятнадцатилетней каторге, и так как у него родственников не было, то состояние его, заключающееся в трехстах тысячах рублей, наследованных им после отца, было конфисковано, то есть, попросту сказать, *Николай Павлович ограбил и обокрал его*. С ним поступили жестоко, варварски, не хотели его, природного сибиряка, отправлять в Сибирь, а засадили в крепость Роченсальмскую* в Финляндии. Там, в сыром каземате, лишенный всякого сношения с миром, разобщенный со всеми без исключения, он был лишен всякого умственного занятия; ему не давали никаких книг, кроме Евангелия, Библии и Книги деяний апостольских; ему не давали ни пера, ни бумаги, не позволяли ни писать, ни получать писем. Варварское обращение с ним старались усилить голодом: держали его на хлебе и на воде, не давая никакой другой пищи, кроме чашки кофе по воскресеньям. Эта роковая чашка дрянного кофе служила несчастному узнику календарем для счисления дней и недель!!!

---

[1] Следственная комиссия по делу 14 декабря состояла: из военного министра графа Ал. Ив. Татищева, бездарного старика, вечно спавшего на заседаниях; из безмозглого великого князя Михаила Павловича (каков такт был у Незабвенного! Каково чувство приличия — назначить своего брата инквизитором!); из князя Александра Николаевича Голицына, князя Чернышева и графа Бенкендорфа, трех подлейших придворных холопов-интриганов; из графа Левашова, не уступавшего им в искусстве интриги, и из дежурного генерала Военного министерства Потапова, человека бездарного и злого, родственника нынешнего инквизитора*. Дибич по возвращении своем из Таганрога в Петербург назначен был также членом этой инквизиции. В заседания ее имел вход полковник Адлерберг, нынешний министр двора, в качестве соглядатая царского.

Невозможно без глубокого содрогания душевного представить себе весь ужас положения этого человека, преисполненного сил жизненных, преисполненного ума, энергии, жажды деятельности и ввергнутого в мрачную и сырую тюрьму, разобщенного с миром, обреченного на полное бездействие, приговоренного судьбой, можно сказать, к живой смерти... Нельзя не удивляться, видя, что его ум, его высокие способности устояли против такой нравственной муки, четверти которой не вынес бы человек обыкновенный... Там, в каземате Роченсальмском, он написал стихотворение «Одичалый», впоследствии напечатанное в третьей книжке «Русской Беседы» за 1859 год...

В этом ужасном положении провел он десяток лет, и лишь в середине тридцатых годов боязливое ходатайство трусливого Сперанского — человека замечательного умом, доброго сердцем, но трусливого до гнуснейшей подлости — доставило не освобождение, а лишь некоторое облегчение ужасной участи тому верному другу, мужеству, энергии и добродетелям коего Сперанский обязан был тем, что не променял звание государственного сановника на кандалы работника в рудниках сибирских... Что могло происходить в душе этого подлого, но доброго человека, когда, заседая в Государственном совете или составляя проекты законов для шестидесятимиллионного населения империи или докладывая государю в его кабинете, в памяти его возникал облик верного друга, который жил с ним шесть лет душа в душу, спас его от Сибири и томился в каземате, в живом гробу?.. Что в эти минуты мог чувствовать Сперанский, то известно лишь Богу-сердцеведцу!..

И тут оказалось губительное влияние правления самодержавного. Умный и добрый, но трусливый и подлый, граф Сперанский расхаживал в Андреевской ленте и писал законы; умный и добрый, но благородный и энергический, Батеньков был заживо схоронен в каземате...

Россия! Милое отечество! Когда же наконец ты свергнешь с себя иго этого гнусного самодержавия?

В средине тридцатых годов Батеньков переведен был из каземата крепости Роченсальмской в Петербург, в каземат той самой Петропавловской крепости, где положено было начало его страданиям. Ему разрешено было получать книги и журналы: его перестали держать на

сухоедении; стали давать ему щи, кашу, картофель, квас и чай, но не позволяли ни с кем видеться, ни с кем переписываться, не давали ни перьев, ни чернил, ни бумаги. В этом тяжком заключении провел он еще десяток лет; и лишь в 1846 году тогдашний комендант Петропавловской крепости Иван Никитич Скобелев выпросил у Николая разрешение Батенькову отправиться на свою родину и жить в Томске. Там он провел еще десять лет и лишь в 1856 году получил разрешение избрать себе пребывание в России, где пожелает, кроме обеих столиц. Он поселился в Калуге, где имеют пребывание двое умных, почтенных и всеми уважаемых декабристов: князь Евгений Петрович Оболенский и Петр Николаевич Свистунов. По временам ему разрешаемы были приезды в Москву.

Состояние его, как мы рассказывали выше, было у него *украдено* Николаем. *Благодушный и либеральный царь-освободитель* Александр II учинил себя наследником воровства отцовского, не возвратив Батенькову его денег; пользуясь наворованными, давал несчастной жертве подленькую милостыню по несколько сот рублей в год, словно прежде, в Италии, при существовании там правительств самодержавных и достойных чад их разбойников, эти последние дочиста ограбят, бывало, путешественника, но оставят ему несколько медных монет, чтобы он мог достигнуть ближайшего города, не умирая с голода...

Гавриил Степанович скончался в Калуге в первых числах ноября 1863 года, на семьдесят втором году от рождения. Журнал «День» в № 45 посвятил несколько честных и благородных слов в достойное описание об этом святом страдальце. Из числа прочих газет и журналов весьма немногие перепечатали слова «Дня», другие промолчали о кончине великого опального. Куда им думать об опальных? Они исключительно заняты насущной мерзостью, а мерзости насущной в России целые помойные ямы; журналисты пресмыкаются перед Муравьевым, хлебают грязь, да еще приходят в восторг от радости, что грязь хлебают...

Правительство петербургское трубит во все подкупленные ими органы, что оно, дескать, и мудро, и сильно, и просвещенно, и могущественно!.. А вот новый образчик его тупоумия и трусости его. В № 45 «Дня» редактор напечатал, что в следующем номере помещен будет хоть

отрывок из стихотворения Батенькова «Одичалый», напечатанного в третьей книжке «Русской Беседы» за 1859 год. 46-й номер «Дня» вышел, а стихотворения нет: значит, цензура не позволила перепечатать!!! Поэтому мы и помещаем здесь стихотворение «Одичалый». Да и в самых строках, посвященных «Днем» памяти Батенькова, упомянуто глухо о претерпенных им страданиях, и ни слова не позволила цензура вымолвить ни о его двадцатилетнем заключении в каземате, ни о его десятилетней ссылке в Сибирь, ни о конфискации его состояния. Читатель, коему были бы неизвестными подробности участия Батенькова, мог бы легко вообразить, что несчастия его произошли от паралича или от проигрыша состояния в карты или в биржевой игре!.. Вот до какого малодушия, вот до какой трусости самодержавие может довести правительство обширной империи! Бояться перепечатания нескольких стихов!.. Трепетать перед истиной!.. Какая подлость!..

Итак, благодаря самодержавию, губящему лучших людей и выводящему наверх всяких гадин, благодаря этому отвратительному образу правления, блистательные умственные способности и высокие душевные качества Батенькова угасли втуне, не принеся России никакой пользы и лишь удручив самыми тяжкими страданиями благородное существо, столь обильно снабженное лучшими дарами провидения... Мир праху твоему, великий мученик русской свободы, священная жертва безобразного, подлого и гнусного самодержавия. Судьба не допустила тебя пройти блистательного поприща, тебя ожидавшего, и не дозволила отечеству воспользоваться твоими способностями, твоим умом, твоей энергией и высоким благородством душевным, но пример твой будет назидательным для грядущих поколений! Великий пример твой ясно покажет, с какой непоколебимой твердостью энергия и сила воли научают исполнять долг свой и переносить страдания самые тяжкие и до какой степени покорности воле провидения может довести добродетель! Мир праху твоему. Память твоя не умрет в летописях России и человечества, и твое имя, имя Гавриила Степановича Батенькова, будет навеки дорого и мило друзьям свободы; имя это произносимо будет всегда с чувством священного благоговения.

ОДИЧАЛЫЙ*

Я прежде говорил: «Прости!»
В надежде радостных свиданий,
Мечты явились на пути
И с ними ряд воздушных зданий.
Там друг приветливый манил,
Туда звала семья родная;
Из полной чаши радость пил,
Надежды светлые питая...
Теперь «прости» всему навек!
Зачем дышу без наслаждений?
Ужель еще я человек?
Нет!.. Да!.. Для чувства лишь мучений!
Во мне ли оттиск Божества?
Я ль создан мира господином?
Создатель благ! Ужель их два?
Могу ль его назваться сыном?..
Шмели покоятся в дупле;
Червяк в пыли по воле гнется,
И им не тесно на земле.
Им солнце светит, воздух льется.
Им все! А мне — едва во сне
Живая кажется природа...
Ищу в бесчувственной стене
Отзыв подобного мне рода!
Вон там туман густой вдали,
И буря тучами играет,
Вода одна и нет земли,
Жизнь томно факел погашает.
Вон там на воздухе висит,
Как странный остов, камень голый,
И дик и пуст, шумит, трещит
Вокруг, трущобой, лес сосновый.
Там серый свет,
Пространства нет —
И время медленно ступает,
Борьбы стихий везде там след,
Пустыня-сирота рыдает.
И там уму
В тюрьме тюрьму
Еще придумалось устроить!
Легко ему
Во мраке — тьму,
В теснинах — тесноту удвоить!
Там пушек ряд,
Там их снаряд...
На каждом входе часовые.
Кругом крутят,
Кругом шумят
Морские волны лишь седые.
Куда пойти?
Кому прийти —
Сюда, без ведома смотрящих!..

И как найти к родным пути?
Тут даже нет и проходящих!..
Все это там, друзья, для вас,
И редко вам на ум приходит, —
Все это здесь, друзья, для нас...
Здесь взор потухший лишь находит
Пространство в нескольких шагах,
С железом ржавым на дверях,
Соломы сгнившей пук обшитый,
И на увлажненных стенах
Следы страданий позабытых.
Живой в гробу,
Кляну судьбу
И день несчастного рожденья!
Страстей борьбу
И жизнь рабу
Зачем вдохнула из презренья?
Скажите, светит ли луна?
И есть ли птички хоть на воле?
И дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна?
Ужель и люди веселятся?
Ужель не их — их не страшит?
Друг — другу смеет доверяться,
И думает, и говорит?
Не верю. Все переменилось:
Земля вращается, стеня,
И солнце красное сокрылось...
Но, может быть, лишь для меня.

Вон там весной
Земли пустой
Кусок вода струей отмыла*,
Там глушь: полынь и мох густой —
И будет там моя могила.
Ничьей слезой
Прах бедный мой
В гробу гнилом не оросится,
И на покой
Чужой рукой
Ресниц чета соединится!
Не урна скажет, где лежит
Души бессмертной бренна рама,
Не пышный памятник стоит,

Не холм цветущий — влажна яма!..
Кто любит, не придет туда...
Родной и друг искать не будет
Ко мне погибшего следа:
Его могильщик позабудет.
Здесь имя — в гробовую тьму!..
Добра о нем уже не скажут,
И с удовольствием к нему
Враги одно лишь зло привяжут.
Погибли чувства и дела.
Все доброе мое забыто.

И не осмелится хвала
Мне приписать его открыто!..
Кукушка стонет, змей шипит,
Сова качается на ели,
И кожей нетопырь шумит —
Вот жизнь кругом сырой постели.
Песок несется, ил трясется,
Выходит пар из мокроты,
И ржавый мох в болоте ткется —
Вот мне приметные цветы.
Придет холодный финн порой —
И в сердце страх один имея,
Смутится самой тишиной
И скажет: «Здесь приют злодея,
Уйдем скорей, уж скоро ночь —
Он чудится и в гробе смутой...»
С колом в руках, в боязни лютой,
Крестясь, пойдет оттоле прочь.

О люди, знаете ль вы сами,
Кто вас любил, кто презирал,
И для чего под небесами
Один стоял, другой упал!
Пора придет. Не лживый свет
Блеснет: всем будет обличенье...
Нет! Не напрасно дан завет,
Дано святое наставленье,
Что Бог — любовь; и вам любить
Единый к благу путь указан, —
И тот, кто вас учил так жить,
Сам был гоним, сам был наказан...
Но чем сердце будет здесь,
Которое любить умело
И с юных лет уже презрело
Своекорыстие и спесь?
Что будет око прозорливо,
Которое земли покров
Так обнимало горделиво
И беги мерило миров?

Что будет череп головной,
Разнообразных дум обитель?
Земля смешается с землей,
Истлит все время-истребитель.
Но скоро ли? Как для меня
Желателен конец дыханья!
Тлен благотворного огня
Сулит покой, конец страданья!
Но, други! В этот самый час,
Как кончу я мой путь печальный,
Быть может, трепет погребальный
Раздастся в сердце и у вас...
Или душами нет сношений,
И чувство чувства не поймет?
Ненужный вам для наслаждений
Давно живет иль не живет?

Ужель себя
Одних любя,
Во мне лишь средство веселиться
Искали вы и, не скорбя,
Могли навек со мной проститься?
И крови глас
Ужели вас
Ко мне порой не призывает?
И дружбы жар в «прости» погас —
И стону хохот отвечает?..
Пусть так. Забытый и гонимый,
Я сохраню в груди своей
Любви запас неистощимый
Для жизни новой после сей!
Бессмертие! В тебе одном
Одна несчастному отрада —
Покой в забвеньи гробовом,
Во уповании — награда!
Здесь все, как сон, пройдет. Пождем —
Призывный голос навевает —
Мы терпим, бремя мук несем,
Жизнь тихо теплится, но тает...

Гавриил Батеньков.

В крепости Роченсальм.

«Листок», № 16, 22 декабря 1863, стр. 122—126.

Князь Сергей Григорьевич Волконский.

[*Вступительное слово А. И. Герцена.*]

Сходят в могилу великие страдальцы николаевского времени, наши отцы в духе и свободе, герои первого пробуждения России, участники великой войны 1812 и великого протеста 1825-го...

Пусто... Мелко становится без них...

Князь Сергей Григорьевич Волконский скончался 28 ноября.

С гордостью, с умилением вспоминаем мы нашу встречу со старцем в 1861 году. Говоря о ней в «Колоколе» (л. 186, 1864), мы боялись назвать старца.

«...Старик, величавый старик лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой и белыми волосами, падавшими до плеч, рассказывал мне о тех временах, о «своих», о Пестеле, о казематах, о каторге, куда он пошел молодым, блестящим и откуда только что воротился седой, старый, еще более блестящий, но уже иным светом.

«Я слушал, слушал его — и, когда он кончил, хотел у него просить напутственного благословения в жизнь, забывая, что она уже прошла... И не одна она... Между виселицами на Кронверкской куртине и виселицами в Польше и Литве, этими верстовыми столбами императорского тракта, — прошли, сменяя друг друга в холодных, темных сумерках, *три шеренги*... Скоро стушуются их очерки и пропадут в дальней синеве. Пограничные

споры двух поколений, поддерживающие их память, надоедят, и из-за них всплывут тени старцев-хранителей и через кладбище сыновей своих призовут внуков на дело и укажут им путь».

Удивительный кряж людей... Откуда XVIII век брал творческую силу на создание гигантов везде, во всем, от Ниагары и Амазонской реки до Волги и Дона... Что за бойцы, что за характеры, что за *люди*!

Спешим передать нашим читателям некролог князя С. Г. Волконского, присланный нам князем П. В. Долгоруковым.

*Некролог**.

Князь Сергей Григорьевич Волконский был человек замечательный по твердости своих убеждений и по самоотверженности своего характера. Он родился в 1787 году, и все улыбалось ему при рождении его: богатство, знатность, связи — все было дано ему судьбой. Он был сыном Андреевского кавалера и статс-дамы, внуком фельдмаршала Репнина, в доме которого воспитывался до 14-летнего возраста, т.е. до кончины деда; 24-х лет от роду он был полковником и флигель-адъютантом, 26-ти лет произведен в генерал-майоры и несколько недель спустя получил за Лейпцигскую битву Анненскую ленту... Все это принес он в жертву своим убеждениям, своему пламенному желанию видеть отечество свое свободным и тридцати девяти лет от роду пошел на каторгу в Нерчинские рудники... Волконский хотел уже совсем оставить службу и ехать путешествовать, когда принят был в тайное общество Михаилом Александровичем Фонвизиным, в дому у графа Киселева, где Пестель читал отрывки из своей «Русской Правды». Пестель и другие члены общества требовали, чтобы Волконский непременно служил, потому что, имея возможность по своему чину получить бригаду и даже дивизию, он мог быть полезным обществу в случае восстания.

Император Александр знал, что Волконский принимает участие в замыслах лучшей части тогдашней молодежи; он командовал 1-й бригадой 19-й пехотной дивизии, и, когда главнокомандующий князь Витгенштейн просил государя в 1823 году о назначении его дивизионным командиром, говоря, что Волконский отлично знает

службу, Александр отвечал: «Если бы он занимался только одной службой, он бы давно командовал дивизией». Однажды на маневрах Александр, подозвав Волконского, поздравил его с отличным состоянием, в котором находятся вверенные ему полки, Азовский и Днепровский, и сказал: «Советую Вам, князь, заниматься только Вашей бригадой, а не государственными делами; это будет полезнее и для службы и для Вас»[1]*.

Когда умер Александр и в бумагах его найден был донос Майбороды, Чернышев послан был из Таганрога в Тульчино, где находилась главная квартира Витгенштейна, для арестования Пестеля и других. Проездом через Умань, где находился Волконский, Чернышев виделся с ним, и Волконский из его слов и некоторых вопросов догадался, что дело неловко... Он сам поехал в Тульчино и нашел Пестеля уже арестованным и привезенным из полковой квартиры своей в Тульчино. Добрый Витгенштейн, знавший Волконского с детства, предупредил его об ожидавшей участи. «Смотри, — сказал Витгенштейн, — не попадись. Пестель уже сидит под арестом, и завтра мы его отправляем в Петербург, смотри, чтоб и с тобой беды не случилось». Графиня Киселева, урожденная Потоцкая, советовала Волконскому бежать за границу, предлагала ему в проводники еврея, весьма преданного семейству Потоцких, который брался проводить князя в Турцию, откуда ему легко было искать убежища в Англии. Волконский отказался бежать, говоря, что он не хочет покинуть своих товарищей в минуту опасности. Отобедав у Витгенштейна, он поехал к дежурному генералу 2-й армии, Ивану Ивановичу Байкову, у коего содержался Пестель, и застал Байкова и Пестеля за чаем. Пользуясь минутой, когда Байков должен был отойти к окну, чтобы переговорить с прибывшим из Таганрога курьером, Пестель поспешил сказать Волконскому: «Хоть будут с меня жилки тянуть — ничего не узнают; одно может нас

---

[1] Все помещенные здесь факты сообщены мне Волконским вместе со многими подробностями о декабристах, которые будут напечатаны в моих записках. Он просил меня не обнародовать их при его жизни и только согласился напечатать продиктованную им мне статью «Три предателя: Бошняк, Майборода, Шервуд», но поставил условием, чтобы означено было, будто статья извлечена из записок *умершего* декабриста. Эта статья помещена в № 9 моего журнала «Листок».

погубить — это моя «Русская Правда». Юшневский знает, где она: спасите ее, ради Бога»[1]*.

Возвратясь в Умань, Волконский отвез жену свою, на сносе, беременную, в деревню к отцу, знаменитому Николаю Николаевичу Раевскому, где она родила 2 января 1826 года сына Николая. 7 января он оставил жену у Раевских, сказав ей, что имеет поручение объехать разные полки, не послушался совета старика Раевского, который уговаривал его бежать за границу, и поехал в Умань. На дороге встретил он спешившего к нему верного слугу с уведомлением, что прибыл фельдъегерь из Петербурга, что кабинет князя опечатан и у дома приставлен караул. Волконский продолжал путь, поздно вечером прибыл в Умань на свою квартиру и на следующее утро был арестован своим дивизионным начальником Корниловым[2], тем самым, который за три недели перед тем, возвратясь из Петербурга, говорил ему: «Ах, Сергей Григорьевич, видел я там министров и прочих людей, управляющих Россией: что за народ! Осел на осле сидит и ослом погоняет».

Привезенный фельдъегерем в Петербург прямо в Зимний дворец, введенный в кабинет Николая Павловича со связанными руками, Волконский из августейших уст был осыпан бранью и ругательствами *самыми площадными*. Его потом отвезли в Петропавловскую крепость и посадили в Алексеевский равелин. При входе в этот равелин, налево были комнаты эконома Лилиенлекера, страшного взяточника, прескверно кормившего заключенных, направо от входа начинались казематы, числом семнадцать, и огибали весь равелин, посреди которого — маленький двор с чахлой зеленью, и на этом дворе похоронена мнимая Тараканова (она умерла после родов в декабре 1775 года, и о ней выдумали, будто она утонула в наводнении, бывшем 2 года после ее смерти). В первом направо от входа каземате сидел Рылеев, рядом с ним

---

[1] Юшневский дал прочесть «Русскую Правду» Александру Александровичу Крюкову и Заикину, жившим в Тульчине на одной квартире. Узнав об аресте Пестеля, они зарыли рукопись в землю в семи верстах от Тульчина, у деревни Хлебани. За время следствия в Петербурге у Заикина пыткой вынудили признание, и он отправлен был под караулом чернышевского адъютанта Слепцова из Петербурга в Тульчино и Хлебань за рукописью, которая ныне должна находиться в бумагах следственного дела по 14 декабря.

[2] Отцом нынешнего статс-секретаря Корнилова.

князь Евгений Оболенский; в третьем, угловом каземате заключен был какой-то грек Севенис, укравший богатую жемчужину у грека Зоя Павловича; в четвертом каземате помещен был Волконский, рядом с ним Иван Пущин; далее помещены были — но Волконский не мог запомнить, в каком порядке, — князь Трубецкой, Пестель, Сергей и Матвей Ивановичи Муравьевы, князь Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер, Лунин, князь Щепин, Николай и Михаил Александровичи Бестужевы, Панов и Арбузов.

На допросах Волконский вел себя с большим достоинством. Дибич, по своему пылкому характеру прозванный «самовар-пашой», на одном допросе имел неприличие назвать его изменником; князь ему отвечал: «Я никогда не был изменником моему отечеству, которому желал добра, которому служил не из-за денег, не из-за чинов, а по долгу гражданина». Волконский, как мы сказали, командовал бригадой, состоявшей из полков Азовского и Днепровского; из девяти офицеров Азовского полка и восьми офицеров Днепровского, введенных князем в заговор, арестован и сослан был, и то по своей собственной неосторожности, лишь один штабс-капитан Азовского полка Иван Федорович Фохт; прочие же шестнадцать совершенно ускользнули от преследования правительства благодаря твердой сдержанности Волконского на допросах.

Однажды на очной ставке Волконского с Пестелем Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, в молодости своей бывший в числе убийц Павла, сказал им: «Удивляюсь, господа, как вы могли решиться на такое ужасное дело, как цареубийство?» Пестель ответил: «Удивляюсь удивлению именно Вашего превосходительства, Вы должны знать лучше нас, что это был бы не первый случай». Кутузов не только побледнел, но и позеленел, а Пестель, обращаясь к прочим членам комиссии, сказал с улыбкой: «Случалось, что у нас в России за это жаловали Андреевские ленты!»

Из многочисленных членов верховного уголовного суда только четверо говорили против смертной казни: адмирал Мордвинов, генерал от инфантерии граф Толстой, генерал-лейтенант Эммануэль и сенатор Кушников. Что же касается до Сперанского, принимавшего участие в заговоре, он соглашался на все и не противоречил смертной казни.

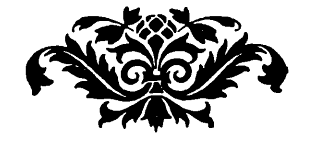
Волконский сослан был в Нерчинские рудники, и о пребывании в этом ужасном месте можно прочесть в «Записках» князя Евгения Оболенского. Можно вообразить себе, что он там вынес, на этой каторге, где начальник, Тимофей Степанович Бурнашев, однажды угрожал ему и Трубецкому высечь их плетьми*. Туда к нему приехала жена его, княгиня Мария Николаевна, на которой он женился в начале 1825 года. 17-летней красавице весьма не хотелось выходить за 38-летнего человека; она уступила лишь советам и просьбе родителей; но выйдя замуж, во всю жизнь свою вела себя как истинная героиня, заслужила благоговение современников и потомства. Родители ее не хотели отпускать ее в Сибирь; она уехала, обманув их бдительность и оставив им своего младенца-сына (вскоре умершего). Прибыв в Иркутск, она была настигнута курьером, привезшим ей письмо Бенкендорфа, который именем государя убеждал ее возвратиться; она отказалась это сделать. Иркутское начальство предъявило ей положение о женах ссыльнокаторжных, где сказано, что заводское начальство может их употреблять на свои частные работы, может, например, заставлять мыть полы. Она объявила, что готова на все, поехала к мужу и больше с ним не разлучалась. В августе 1827 года Волконский и его товарищи переведены были из Нерчинских рудников в острог, нарочно для них выстроенный при впадении речки Читы в речку Ингоду (где ныне город Чита), и где они нашли уже привезенных туда из петербургской крепости многих декабристов. Всего в Чите было 75 человек. Они вели между собой общее хозяйство: положено, чтобы каждый давал на стол по 500 рублей асс. в год; но для избавления бедных товарищей от обязанностей уплаты Волконский, Трубецкой, Фонвизин и Никита Муравьев давали каждый по три тысячи рублей ассигнациями в год. Вадковский, Ивашев, Лунин, Свистунов и некоторые другие давали также больше назначенной суммы; зажиточные складывались для получения книг и журналов в общее пользование. В августе 1830 года они были переведены все на Петровский завод, в 400 верстах от Читы, а потом мало-помалу расселены по Сибири. В декабре 1834 года умерла мать Волконского и на смертном одре просила государя облегчить участь сына; ему позволено состоять на Петровском заводе в качестве поселенца, а не каторжанина, то есть жить не в

остроге, а в доме у жены его. В 1836 году он переведен в селение Уриковское, в 19-ти верстах от Иркутска. Уже несколько лет спустя позволено было ему жить в Иркутске, считаясь поселенцем уриковским, и он оставался в этом положении до 1856 года. Русское правительство, которое умеет казнить, ссылать, наказывать свирепо и бестолково, не умеет прощать; оно не позволило Волконскому жить в Петербурге, да и самое пребывание в Москве разрешило ему лишь вследствие тяжкого недуга, постигшего зятя его Молчанова. Лета брали свое: состарился князь Сергей Григорьевич, страдал подагрой, но, все еще бодрый духом, принимал живое участие во всем, что происходило вокруг него: все благородное находило отголосок в его душе, и многолетние страдания нисколько не умалили беспредельной доброты сердечной, отличительного свойства этого симпатического человека — в старости маститой сохранившего всю теплоту возвышенных чувств юношеских. В августе 1863 года он лишился жены своей, и этот удар поразил его несказанно. С тех пор здоровье его стало слабеть; он лишился ног и 28 ноября 1865 года, 78-ми лет от роду, тихо угас на руках дочери своей, в селе Воронках, в Козелецком уезде Черниговской губернии.

Каждый истинный русский, чуждый холопства зимнедворцового, с умилением помянет имя этого человека, который своим убеждениям, своему желанию видеть родину свою свободной принес в жертву все блага земные: богатство, общественное положение, даже свою личную свободу. Мир праху твоему, благородная, почтенная жертва гнусного самодержавия, из любви к отечеству променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника...

Князь Петр Долгоруков.
«Колокол», 1866 г., л. 212 от 15/I, стр. 1733—1735.

Примечания



Стр. 114.

«Незабвенный» Николай I. Долгоруков нигде не дал цельной характеристики Николая, хотя неоднократно возвращался к темным сторонам его царствования. Приведем из «Правды о России» строки, в которых он рисует состояние при нем России.

«Тридцатилетнее царствование [Николая I]... — настоящая тридцатилетняя война против просвещения и против здравого смысла — было постоянно основано на трех началах: на глубоком презрении к человечеству, на боязни, неосновательной и смешной, всех идей либеральных и благородных и на безумном, постоянно возраставшем боготворении своей личности»[1].

«Надобно было прожить эту эпоху, чтобы понять, что́ мы перечувствовали, что́ мы перестрадали. На книгопечатание, на свободу беседы, на свободу совести наложены были тяжкие цепи; все благороднейшие чувства и желания, какие только могут возникнуть в груди человеческой, были попраны, часто свирепым образом, и обращены в государственное преступление. Тайная полиция властвовала во всей России, одних держала на постоянном откупе, других теснила и прижимала; крепостное состояние, невзирая на желание Николая Павловича уничтожить его, было поддерживаемо на основании того гнусного политического правила, что русский царь не иначе может угнетать дворянство как предоставив дворянству право угнетать низшие сословия; финансы уже были в расстройстве; война с Францией и Англией была глупо начата, глупо ведена; генералитет составлен большей частью из дураков; наши храбрые солдаты, столь достойные уважения и почтения не только за свое беззаветное мужество, но и за свое высокое самоотвержение, часто лишены были необходимого, между тем как началь-

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 30.

ники их жили роскошно, приобретая эту роскошь грабежом на счет бедных солдат; союз с Австрией ставил Россию в затруднительное и неприличное положение: во-первых, потому что основой его служила система политики отсталой и вредной, а во-вторых, потому что Австрия в течение целых полутора веков обманывала постоянно Россию и при всяком случае изменяла ей. Наконец, во всей Европе общественное мнение восстало против России, раздраженное дерзостью и глупостью Николая Павловича, который, обратив себя в европейского обер-полицмейстера самодержавия, вздумал предписывать всем императорам и королям, каким образом они должны действовать и поступать, и, как мы сказали выше, считал все благородные чувства государственными преступлениями. Вот положение России при восшествии на престол Александра II»[1].

«Незабвенный» — прозвище, которое в царской семье было присвоено Николаю I после его смерти и давало повод для многих сарказмов[2]. Долгоруков перефразирует это прозвище: «Одними прозванный Незабвенным, а другими Неудобозабываемым»[3].

О студенческих беспорядках в Московском университете в 1861 году см. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина[4]. Долгоруков подробно говорит о них в «Le Véridique»[5]. Много места уделяет «Истории гонений на студентов при Александре II», особенно московским событиям, «Колокол» в 1862 году.

Стр. 115.

Совет министров. Долгоруков в своем журнале «Le Véridique» дает такую характеристику русского Совета министров: «Надо признать, что только Россия в наши дни может представить картину Совета министров, составленного из элементов, не только столь разнородных, но даже совершенно враждебных между собой; поэтому не приходится удивляться, что русские министры, вместо того чтобы управлять страной, теряют время на споры, ссоры и взаимные подвохи. А в это время государственные дела тянутся как попало, то есть очень плохо, и народное недовольство, всеобщая неудовлетворенность быстро растут.

Вот как обычно разделялись голоса в Совете министров в

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 94—96.

[2] Л. М. Жемчужников, «Мои воспоминания из прошлого». Вып. II, стр. 109 и след.

[3] «Правда о России», т. I, стр. 94.

[4] В «Записках прошлого». Изд. Московского университета, М., 1927.

[5] «Le Véridique», Bruxelles, 1862, t. I, № 1, p. 35—40.

первую половину года, то есть до отъезда великого князя в Варшаву.

Графа Панина, главу реакционной партии, противника всякой реформы, врага просвещения и преданного сторонника абсолютизма и темных его сторон, окружали те, кто разделял его взгляды и голосовали вместе с ним: князь В. А. Долгоруков, граф Адлерберг, барон Корф, генерал Анненков и г-н Прянишников. Самое горячее желание этой партии состояло в удалении великого князя за пределы России. Великий князь, граф Блудов, генерал Милютин и Рейтерн образовали партию либерально-бюрократическую. Валуев... лавировал между обеими партиями, старался ладить со всеми и всегда становился на сторону сильных. Генералы Чевкин и Зеленой по склонности к абсолютной власти и по всем традициям их административной карьеры склонялись к партии стародуров: желание у первого — не потерять милости великого князя, а у другого — ее приобрести заставляло их лавировать между идеями реакционными и преобразовательными. Кн. Горчаков, постаревший, видя, как человек умный, невозможность поддержания современного порядка вещей, и слишком старый, чтобы броситься на путь столь серьезных реформ, реформ радикальных, вызываемых властно к жизни требованиями момента и пожеланиями людей просвещенных, — кн. Горчаков имеет только одну заботу: поддержать status quo [существующее положение] всякой ценой до конца своей жизни; он создает себе непонятную со стороны человека умного иллюзию, будто можно пред глазами иностранцев скрыть красивыми фразами, остроумными словечками и красивым стилем дипломатических депеш, всегда диктуемых им самим, внутренние затруднения, все возрастающую анархию и внешнюю слабость России. Какая иллюзия!»[1]

Ср. «Листок» № 13 от 20 октября 1863 года, где читаем следующую характеристику Совета министров: «В Совете министров партию константиновцев составляют: великий князь Константин Николаевич, министр народного просвещения А. В. Головнин (глава и руководитель партии), военный министр Д. А. Милютин, министр внутренних дел П. А. Валуев, министр финансов М. Х. Рейтерн, морской министр Н. К. Краббе, генерал-контролер В. А. Татаринов, главноуправляющий путями сообщений П. П. Мельников. Не принадлежат к партии константиновцев, держат себя независимо от нее, но чаще всего действуют с нею в настоящее время заодно: министр иностранных дел кн. А. М. Горчаков, председатель Государственного

---

[1] «Le Véridique», Bruxelles, 1962, t. I, № 1, p. 77—80.

совета и Комитета министров Д. Н. Блудов, товарищ его по этим двум званиям кн. П. П. Гагарин. Партию стародуров в Совете министров составляют: министр двора и уделов граф В. Ф. Адлерберг, начальник II Отделения Собственной канцелярии барон М. А. Корф, начальник III Отделения Собственной канцелярии князь В. А. Долгоруков, главноуправляющий Почтовым департаментом И. М. Толстой, министр юстиции Д. Н. Замятин, министр государственных имуществ А. А. Зеленой. Первые четыре — стародуры закоренелые, упорные, но Д. Н. Замятин и А. А. Зеленой не столь упрямы; они не только не вступают в борьбу с константиновцами, но еще при всех возможных случаях стараются угодить им и заслужить их расположение, хотя в душе остаются стародурами. Граф Панин со времени увольнения своего с Министерства юстиции, то есть с октября 1862 г., перестал заходить в Совет министров, но злой дух его еще парит над этим Советом... Из числа коренных стародуров, там заседающих, один лишь барон Корф не лишен дара слова: он говорит плавно... и умеет довольно складно проповедовать ерунду, хотя он мыслит вкривь и вкось, но по крайней мере мыслит, между тем как Адлерберг и Толстой не умеют ни сказать двух порядочных слов, ни сообразить полупонятия: у них мозг заменен какой-то губкой, и на долю графа Панина выпала обязанность промачивать и напитывать эти губки своим стародурным составом. Всякий раз, как возникает в Совете вопрос серьезный, для этих господ непонятный, они спешат прибегнуть к графу Панину за наставлениями, а так как они ровно ничего ни в чем не смыслят, то и беспрестанно обращаются к графу Панину.

Что касается до кн. А. М. Горчакова, гр. Блудова и кн. Павла Павловича Гагарина, эти три человека умные и честные, хотя, подобно константиновцам, желают реформ, но всегда были противниками конституции. С кн. Горчаковым и гр. Блудовым я находился в сношениях самых коротких, самых дружеских и самых интимных; мне вполне известны их честность, бескорыстие, пламенная любовь к России и личная бескорыстная преданность государю. Но сердце человеческое имеет столько изгибов сокровенных, что разуму человеческому недоступно полное исследование этих изгибов. Достигнув до Андреевских лент, пользуясь заслуженным влиянием и почетом, столь же заслуженным, князьям Горчакову и Гагарину и гр. Блудову показались бы весьма неприятными обязанности ладить с представителями земства, из провинции прибывшими, гораздо младшими их по летам, и всходить на кафедру, чтобы защищать свои действия и свою политику перед палатами».

Стр. 116.

Князь Дмитрий Александрович Оболенский. О нем Долгоруков пишет[1] по случаю его возможной кандидатуры в министры юстиции: «В настоящее время идет очень ожесточенная борьба за пост министра юстиции. Одна особа, которая благодаря своей суетливости добилась известной доли влияния и очень старается всех уверить, что она ужасно влиятельна [великая княгиня Елена Павловна], всячески хлопочет о назначении статс-секретаря князя Дмитрия Оболенского, юриста по образованию, но человека ничтожного, усердного царедворца, обладающего особого рода ловкостью, которая часто соединяется, как это и имеет место в настоящем случае, с узостью ума и заключается в умении прокрадываться в милость нужных ему людей. Хотя и Рюрикович по происхождению, он одарен смешным свойством, которое обычно бывает уделом плохо воспитанных выскочек, — быть очень раболепным в отношении людей, которые могут ему быть полезны, и невежей в отношении всех других».

Стр. 117.

Н. А. Огарев. Характеристику его Долгоруков дает в № 2 «Le Véridique»[2]: «Генерал-адъютант Николай Александрович Огарев, родившийся в 1810 году, племянник по матери графа Клейнмихеля, прославившегося своим роковым могуществом и печальной известностью при Николае... Протекции дяди он был обязан назначению адъютантом при великом князе Михаиле Павловиче, в доверие которого он быстро и ловко проник, и после его смерти был назначен генерал-адъютантом императора Николая. Граф Клейнмихель управлял в то время Министерством путей сообщения; ему были подчинены все дороги, постройки и прочие строения; он был строителем железной дороги от Петербурга в Москву, которая стоила баснословных денег. Всем известно, *каково было управление Клейнмихеля,* а его племянник Огарев пользовался у него большим доверием, которое было *полезно* очень многим и в первую очередь ему самому. Все знают господствующую в высших сферах России манию мундиров и военной формы. Огарев воспользовался этим, чтоб добиться должности великого реформатора военных форм и мундиров. В комнате перед его кабинетом в течение всего года можно видеть унтер-офицеров и солдат, обладающих некоторыми способностями к рисованию, прилагающих эти свои спо-

---

[1] «Le Véridique», № 3, 1862, p. 369—370.
[2] Там же, № 2, 1862, p. 259—262.

собности под мудрым руководством самого генерала, к рисованию новых костюмов и к набрасыванию эскизов перемен в существующих. Это мудрое и полезное времяпрепровождение заслужило ему эпитет «государственного обер-закройщика». При вступлении на престол Александра II граф Клейнмихель потерял свой министерский портфель и свой кредит при дворе, но Огарев приобрел нового покровителя в лице всемогущего графа А. В. Адлерберга, и он извлекает из этого покровительства все возможные выгоды. Ныне он имеет доступ к его величеству в качестве постоянного участника его охот и пирушек. Огарев неглуп; в нем много хитрости, никаких способностей, кроме одной — много и красно говорить, он гибок, подобострастен, ласков; у него всегда в запасе смешное словечко; он мастер рассказывать шутовские анекдоты, и единственный талант, которым он владеет, и владеет, надо сказать, в совершенстве, — это талант мимики, необходимой для такого рода анекдотов. Он — постоянный участник охотничьих поездок и ужинов его величества».

Стр. 120.

Императрица Мария Александровна. Любопытно сравнить характеристику Марии Александровны, данную Долгоруковым, с характеристикой ее в записках А. Ф. Тютчевой[1]. Несмотря на разницу положения обоих авторов, их отзывы в существенном совпадают. Дневники А. Ф. Тютчевой подтверждают и то, что Долгоруков пишет об интригах, имевших целью обезвредить влияние императрицы в 1856 году. «Много говорят о молодой императрице, об ее уме и о той роли, которую она призвана сыграть. Мне рассказывали, что есть усердные люди, которые заботятся о том, чтобы эти разговоры дошли до императора, дабы предостеречь его от влияния, которое могла бы получить императрица»[2]. Об Анне Федоровне Тютчевой см. вступительную статью С. В. Бахрушина к ее «Воспоминаниям и дневникам», напечатанным в 1928—1929 гг. в «Записях прошлого» под заголовком «При дворе двух императоров»[3].

Стр. 123.

В. П. Бажанов. О нем Долгоруков говорит в «Le Véridi-

---

[1] А. Ф. Тютчева. «При дворе двух императоров», ч. I, М., 1928, стр. 76—81.

[2] Там же, ч. II, М, 1929, стр. 11.

[3] Книга А. Ф. Тютчевой «При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник» вышла в 1991 году в серии «Голоса истории». — *Изд. «Новости».*

que»[1]: «Ловкий, хитрый, предприимчивый и смелый, отец Бажанов пользуется доверием императора и большим влиянием при дворе. У него все внешние ухватки генерала, и, когда он благословляет, кажется, что видишь перед собою офицера, отдающего приказ открыть огонь. Его честолюбие не знает границ, он мечтает о политической роли; надо надеяться, что его мечты останутся мечтами».

О **митрополите Филарете** Долгоруков пишет[2]: «Митрополит Московский Филарет — человек самый замечательный в наше время по уму и далеко не замечательный по нравственным свойствам. Сын дьякона из города Коломны, родившийся в 1785 году, он еще в молодых годах сделался ректором Петербургской духовной академии и искательством перед временщиками достиг быстро архиерейского сана: он был епископом в возрасте 30-ти лет и митрополитом в 41 год. Во время восстания 1825 года (мы говорим «восстание», потому что движение окончилось неудачей; если бы оно удалось, его бы назвали революцией) петербургские заговорщики проектировали создание Временного правительства в составе митрополита Филарета, адмирала графа Мордвинова и князя С. П. Трубецкого, не потому чтобы митрополит Филарет участвовал в заговоре, но они его хорошо знали: они знали, что если успех будет на их стороне, то с этого момента он будет самым преданным их сотрудником. Они потерпели неудачу, и хитрый прелат стал выражать самую горячую преданность Николаю, который, однако, никогда не простил ему того, что заговорщики наметили его в числе лиц, имевших возглавить будущее правительство. В течение всего царствования Николая Филарет не пользовался расположением государя, несмотря на все усилия, часто *невероятные*, которые он делал, чтобы восстановить свой кредит при дворе. Так в 1834 году, в юбилейный год царствования Николая (русское правительство страдает болезнью юбилеомании), митрополит Филарет пожертвовал в московский Успенский собор серебряного голубя (символ, под которым наши иконы изображают Святого духа), который должен был быть повешен над главным алтарем. Филарет, человек, казалось бы, умный, не нашел ничего лучшего, как увенчать голубя императорской короной (!!!), иначе говоря, он отпраздновал юбилей коронованием Святого духа (!!!). Эта пошлость не имела никакого успеха, в течение всего царствования Николая он оставался в

---

1 «Le Véridique», № 3, p. 376.
2 Там же, p. 376—378.

немилости. Последние 15 лет этого царствования ему был даже воспрещен въезд в Петербург».

Стр. 125.

«Константиновцы». «Константиновцам» Долгоруков посвятил специальную статью под заглавием «Чего хотят константиновцы?»[1].

«Около великого князя и около А. В. Головнина группировались доселе, — пишет он, — люди, почти все способные, почти все бескорыстные, все властолюбивые и желающие, подобно А. В. Головнину, сохранения самодержавия под тем непреложным условием, чтобы власть была у них в руках. Теперь, когда великий князь Константин Николаевич сделался самым могущественным из министров государя, когда власть находится в руках великого князя, в стан константиновцев начали уже перебегать люди, движимые не одним честолюбием, но уже и сребролюбием. Поэтому мы объявляем здесь раз *навсегда,* что просим прежних, старинных, так сказать, константиновцев не принимать для себя и не обижаться выражениями жесткими, в коих мы принуждены будем иногда отзываться о новых деятелях этой партии. Где только оказываются власть и возможность иметь деньги, туда непременно является множество всякого сброда, а мы уже сказали, что глава константиновцев, А. В. Головнин, умный и тонкий знаток сердца человеческого, — мастер переманивать людей в свой стан: ему очень хорошо известно, что в политике многочисленность партии имеет огромное значение.

Великий князь и А. В. Головнин понимают, что прежний порядок вещей устоять не может; что во второй половине XIX века нельзя распоряжаться, как распоряжались в начале первой половины его, и еще менее можно распоряжаться подобно Павлу или по-николаевски. Сверх того, они имеют честолюбие сделаться в русской истории родоначальниками нового порядка вещей. Таким образом, они разрушили крепостное состояние, которое не только позорило Россию, но еще служило помехой ко всякому улучшению дельному и серьезному; уничтожая крепостное состояние, они твердо настояли на том, чтобы крестьянам дана была земля, и этой умной, истинно государственной мерой предотвратили на будущее время много волнений и кровопролития. Им же Россия обязана гласностью росписи государственных доходов и расходов. Они приготовляют мно-

---

[1] «Правдивый», № 4, 31 мая 1862 г.

гие весьма полезные меры, которые собираются ввести в скором времени, а именно: а) уничтожение телесных наказаний; б) гласность и публичность судопроизводства; в) улучшение цензурного устройства и облегчение цепей, цензуру сковывающих; г) свободу вероисповедания для старообрядцев; д) преобразование губернских и уездных дворянских собраний в собрания земские, доступные землевладельцам без различия происхождения, что равняется уничтожению сословий в России; е) предоставление губернским собраниям большего участия в губернском управлении, то есть децентрализация; ж) распространение на города Положения городового, существующего в Петербурге, с тем улучшением, чтобы не было разделения на сословия, которое они предполагают уничтожить и в Петербургском городовом обществе; з) наконец, для губернских земских собраний — право представлять государю известное количество кандидатов для выбора между ними членов Государственного совета, который, таким образом, состоял бы не из одних генералов и чиновников первых трех классов.

Все эти меры прекрасны, *но при сохранении самодержавия, без введения конституции, они не принесут желаемой пользы...* Какие бы учреждения для губерний и какие бы преобразования для Государственного совета ни выдумывали и ни изобретали великий князь Константин Николаевич и Александр Васильевич Головнин, но в России не будет правительства истинно образованного и вполне достойного уважения, русские не будут людьми свободными, русские останутся холопами, доколе их свобода, их имущества будут зависеть от произвола правительства; доколе правительство будет произвольно распоряжаться бюджетом и не предоставит книгопечатанию полной свободы.

Что же касается до константиновцев, этих псевдолиберальных бюрократов, то они хотят производить реформы не по совету с земством всероссийским, а по своему собственному благоусмотрению, считают русских за детей и хотят держать их в опеке. Они стоят за сохранение самодержавия по той причине, что находят гораздо более спокойным и приятным для себя угождать лишь двум лицам, то есть великому князю и А. В. Головнину, и уживаться с этими двумя лицами, чем следить за общественным мнением и за общественными потребностями и повиноваться их указаниям. Они понимают, что для России конституция необходима, но желают отдалить сколь возможно срок введения конституции, чтобы сохранить в своих руках власть самодержавную и распоряжаться по своему произволу. В оправдание себе они говорят, что произвол их основан

на идеях просвещенных и либеральных. Русским этого недостаточно; мы не хотим *никакого произвола,* ни даже просвещенного; мы хотим *законной свободы.*

Конечно, владычество константиновцев составляет прогресс после эпохи николаевщины и ее представителей: Адлербергов, графа Панина, кн. В. А. Долгорукова, М. Н. Муравьева и прочих николаевцев. Константиновцы принесут России большую и двоякую пользу: во-первых, ломкою старого порядка вещей, а на ломку они мастера; во-вторых, возведением большей части зданий нового порядка вещей. Правда, при константиновцах в зданиях этих нельзя будет жить и двигаться, но пробьет час, и в эти здания войдет жизнь новая, доселе константиновцами отвергаемая. Они могли бы, если бы захотели, быть полезными и в свободном порядке вещей, могли бы они быть руководителями всероссийского свободного земства, но по своему властолюбивому упрямству значение константиновцев в русской истории, вероятно, ограничится двумя, впрочем, весьма важными, заслугами: ломкою здания старого и возведением большей части зданий новых. Когда эти новые здания будут ими почти окончены, тогда константиновцы будут изгнаны всероссийским земством, которое окончит недостроенные, отделает здания и введет новый порядок вещей, основанный на гражданской свободе».

«Но почему же не хотят конституции, — спрашивает Долгоруков в другой статье[1], — трепещут перед одною мыслию о введении ее константиновцы, люди прогресса, всегда горячо ратовавшие за реформы, люди, которые, можно сказать, вынесли на своих плечах уничтожение крепостного состояния, исполнили эту великую и благодатную реформу наперекор волнам и буре, наперекор обвинениям, клеветам, устрашениям и всяким мерзостям? Еще ныне эти люди честно занимаются реформами финансовыми, реформой судебной, реформой административной; в рядах константиновцев мы знаем весьма мало взяточников и мерзавцев, а между константиновцев, в Совете министров заседающих, нет ни одного подобного, они все — люди на деньгу чистые: отчего же им, деятелям полезных реформ, ниспровергающим старинное, безобразное устройство русской администрации, отчего же им страшиться конституции?.. Однако же константиновцы хотят во что бы то ни было продлить существование самодержавия. Причина тому заклю-

---

[1] «Листок», № 13, 20 октября 1863 г. («Финляндский сейм и русское простофильство».)

чается в их непомерном властолюбии и самоуверенности... Пока они были молодыми людьми, стояли не на высоких ступенях служебной иерархии, они хотели конституции, объясняя, что за неспособностью государственных сановников России необходима конституция, но задушевной тайной мыслью их было убеждение, что при конституционном правлении они могут сделаться министрами: убеждение вполне справедливое. Но шли годы, шли события; несостоятельность прежнего порядка вещей, вся дурь и вся мерзость николаевщины высказались вполне; необходимость принудила переменить направление политического хода; великий князь Константин Николаевич забрал власть в свои руки и благодаря своим окружающим, в особенности умному, деятельному и энергическому А. В. Головнину, повел Россию по дороге реформ, хотя он никогда не хотел, а головнины и константиновцы, воссев на министерские кресла и забрав себе власть в руки, находят, что блаженство России достигло своего апогея по той причине, что имеет их министрами; находят, что желать большего составляет истинное сумасбродство и что Россия не ощущает ни малейшей нужды в конституции, потому что такие велемудрые министры, как Головнин и Милютин с компанией, лучше и стократ полезнее всяких конституций. Одержимые непомерной самонадеянностью, константиновцы дошли до того, что считают ныне конституцию *положительно вредной,* потому, говорят они, что она будет лишь препятствовать таким великим министрам распоряжаться по наитию их неизреченной мудрости...

Одна из главных причин отвращения константиновцев к конституции заключается в их тщеславии: эти люди, ныне играющие первые роли в России и грудь коих испещрена всевозможными бляхами, тафтами самых разнообразных цветов, краснеют от ложного стыда при одной мысли, что им пришлось бы входить в приязненные сношения с представителями земскими, прибывшими из захолустьев, людьми небогатыми, неизвестными, не имеющими связей в Петербурге...

Очень сожалею, что слова мои будут неприятны константиновцам, в среде коих находятся несколько старых друзей моих, но — истина выше всего. А моих слов константиновцы опровергнуть не могут по той причине, что мне известны в подробности биографии почти всех русских деятелей».

О «константиновцах» как о партии Долгоруков говорит также в «Le Véridique»[1], в «Письме из Петербурга», помещенном в «Колоколе»[2], и в других местах своих сочинений.

---

[1] «Le Véridique», t. I, № 1, p. 23—24.

[2] «Колокол». №№ 235-237, 1, 15 марта 1867 г.

Александра Иосифовна. Великая княгиня Елена Павловна жаловалась в 1859 году княгине Е. А. Черкасской, что Константин Николаевич «совсем подчинился своей безумной супруге». Последняя «называет членов редакционных комиссий канальями и бранит нашу великую княгиню [Елену Павловну] самым неприличным образом, говорит обо всем кому попало»[1].

По словам Е. М. Феоктистова, «помимо своей замечательной красоты, производила она впечатление порядочной дуры»[2].

А. В. Головнин. Личность Головнина привлекала Долгорукова. Он неоднократно упоминает, что был с ним в приятельских отношениях и что Головнин в разговорах на политические темы был с ним откровенен. Тем не менее в его отзывах о нем чувствуется какая-то затаенная обида, как будто он считал себя недостаточно оцененным им в эпоху его могущества. Долгоруков в своих писаниях неоднократно возвращается к Головнину. В журнале «Le Véridique» № 1 он дает следующую его характеристику:.

«Головнин, родившийся в 1821 году, происходит от очень древней фамилии. Из фамилии этой вышел ряд бояр Новгородской республики, но затем она впала в полную неизвестность, из которой ее вывел отец министра, вице-адмирал Василий Михайлович Головнин, выдающийся моряк, приобретший почетную известность своими талантами, путешествиями и пленом в Японии. (Им опубликован рассказ об этом плене, во время которого он проявил замечательное мужество.) Его единственный сын Александр Васильевич Головнин блестяще окончил Царскосельский лицей; это человек редкого ума, он очень начитан и продолжает с усердием читать; он очень искусный администратор, в высшей степени трудолюбивый и деятельный, отлично знающий цену времени и потому успевающий все делать, к тому же обладающий уменьем заниматься сразу несколькими делами. Он отличается высочайшей честностью. Тонкий и хитрый, он скрывает при дворе свою тонкость под маской благодушия и полнейшей простоты; глубокий знаток человеческого сердца, никто, как он, не знает, к каким сердеч-

---

[1] Неизданный отрывок из записной книжки княгини Е. А. Черкасской, хранящийся в Румянцевском отделении Публичной библиотеки им. Ленина.

[2] Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы. 1848—1896», под ред. Ю. Г. Оксмана, Ленинград, 1929 г., стр. 147.

Эта книга вышла в серии «Голоса истории» в 1991 г. — *Изд. «Новости».*

ным струнам следует обращаться, какие пружины надо нажать; он поразительно умеет влиять на людей, руководить ими, направлять их. Его честолюбие не знает границ и поддерживается энергией, которая при известных условиях ни перед чем не отступит; он хочет власти во всей ее полноте. Это — глава либеральной партии бюрократии... глава «константиновцев». Проведя несколько лет в Морском министерстве под начальством князя Меньшикова, который не сумел оценить этого действительно замечательного человека, он в 1847 году был назначен им секретарем к великому князю Константину, генерал-адмиралу русского флота. Он приобрел неограниченное доверие его высочества и стал его доверенным человеком, его самым интимным советником, его «alter ego» [второе я]. Но в высших сферах России господствует вредная атмосфера, которая парализует ум, искажает стремления и ослепляет самые ясные умы. Эта атмосфера — естественный и неизбежный результат отсутствия политической свободы, отсутствия свободы печати, результат длительного господства азиатской власти, неограниченной до карикатуры, эта атмосфера подействовала даже на такого выдающегося человека, как Головнин. С тех пор как петербургские пожары толкнули правительство, к восторгу реакционеров, на путь реакции, Головнин в качестве министра народного просвещения, человек сильный и энергичный, имел поразительную слабость — и прискорбное несчастие для человека его ума — связать свое имя с реакционными действиями, о которых мы будем говорить ниже. История не может для такого умного человека, как Головнин, как для некоторых из его коллег, принять в виде извинения глупость; она тем строже отнесется к нему»[1].

В дополнение можно привести другой отзыв Долгорукова о Головнине в статье «Чего хотят константиновцы?»[2]: «Самый ближний, самый доверенный из советников великого князя — Александр Васильевич Головнин, нынешний министр народного просвещения, истинный глава и предводитель константиновцев. Александр Васильевич — человек ума необыкновенного, большой начитанности, отличный администратор, трудолюбив и деятелен в высшей степени; обладает вполне даром в России редким — уметь распоряжаться своим временем, а потому за всем успевает следить, ничто от него не ускользает. Сверх того, он обладает еще способностью, редкой везде, заниматься в

---

[1] «Le Véridique» № 1, p. 43—46.
[2] «Правдивый» № 4, 31 мая 1862 г.

одно и то же время разными предметами — и заниматься успешно. Высокочестный и бескорыстный в отношении к деньгам и вообще к материальной обстановке жизни, он на поприще придворном чрезвычайно хитер; под видом простоты и бесцеремонности отменно ловок, превосходно знает сердце человеческое и все изгибы его: умеет искуснейшим образом запустить руку в самые сокровенные из этих изгибов; а потому мастер управлять людьми и доводить их до своих целей. Властолюбие его не знает пределов; он хочет непременно повелевать всеми и везде, и, как часто случается с людьми умными, самолюбие обольщает его, тайным голосом нашептывая: «Ты столь умен; к чему же русским конституция, когда власть находится у тебя в руках? Ведь ты для них — лучшая из конституций».

В № 2 «Le Véridique»[1] Долгоруков так характеризует деятельность Головнина как министра: «Назначение А. В. Головнина на место министра народного просвещения было принято разнообразными течениями либерального мнения с восторгом. «Вот, наконец, говорили люди, министр просвещенный, либеральный, энергичный, который всегда заявлял о своем намерении идти по пути прогресса». «Константиновцы» говорили «конституционистам»: «Оставьте ваши конституционные идеи; посмотрите Головнина и его друзей за делом; они вам блестяще докажут, что хорошие министры лучше всякой конституции». Партия стародуров была в бешенстве, она была вне себя. Ни она, ни по совести говоря, никто не мог предугадать, что псевдолиберальные министры, чтоб сохранить свои портфели, дойдут до действий, которых не позволяли себе реакционные министры в течение последних лет. Никто не мог предвидеть приостановку газет и журналов, высылку профессора [П. С. Павлова, высланного в Ветлугу за речь о тысячелетии России], закрытие воскресных школ и народных библиотек, запрещение издавать газету или журнал без разрешения тайной полиции, наконец, инструкций по цензуре, составленных в таком духе, что сам Николай подписался бы под ними обеими руками... Мы не знаем в русской истории XIX века министров, которые бы вступили на свою должность при таких горячих приветствиях общественного мнения, как князь Горчаков в Министерство иностранных дел в 1856 году, генерал Милютин в Военное министерство весною 1861 года и Головнин в Министерство народного просвещения в декабре (того же года). Князю Горчакову потребовалось 4—5 лет, чтобы пасть в об-

---

[1] «Le Véridique» № 2, 1862 г., стр. 186 и след.

щественном мнении страны; Милютин с плачевной быстротой спускается сейчас по тому же спуску. В петербургской атмосфере есть действительно что-то фатальное, что-то пагубное, зловредное, что парализует ум, отнимает прозорливость, ослепляет людей и влечет людей по пути, в конце которого — анархия и развал империи.

Первые действия нового министра народного просвещения понравились всем. Головнин отказался жить в роскошном большом дворце, предназначенном для министра народного просвещения; он удовольствовался скромной квартирой и настоял у государя на открытии новой гимназии в Министерском дворце. Он сделал визиты всем видным петербургским журналистам и просил их поддержать его словом и советом. Специальная комиссия была создана для выработки нового цензурного устава. Само собой разумеется, эту новость распубликовали во всех европейских газетах с комментариями, в которых говорилось, что новая комиссия должна действовать в самом либеральном направлении (мы увидим, что из этого вышло). Был создан официальный орган печати. Министерство внутренних дел издавало ежемесячный журнал, в котором помещались сведения по статистике и этнографии, часто любопытные, но лишенные политического интереса. Этот журнал был реорганизован в ежедневную газету, названную «Северная Почта», и сделался официальным политическим органом петербургского правительства.

Головнин захотел увеличить число университетов (идея сама по себе прекрасная). В этих целях он задумал открыть новый университет не в Одессе, большом и многолюдном городе, а в Николаеве, городе, населенном преимущественно моряками и служащем доками для русского военного флота на Черном море. Головнин в свое время посетил Оксфорд и Кембридж и вернулся, преисполненный идеей, что университеты должны находиться не в больших и людных центрах, а в городах средних размеров, чтобы занятия молодежи шли в обстановке тихой и спокойной. Эта идея, в принципе справедливая для стран старинной цивилизации, как Англия, Бельгия, Голландия, Германия, неприменима в России по двум причинам. Во-первых, университет является очагом просвещения в городе, в чем русские города еще очень нуждаются; а во-вторых, помещение университета в маленьком городке, плохо построенном и лишенном всяких удобств, каковыми являются почти все небольшие русские города, потребовало бы слишком больших расходов на строительство и на другие цели, несовместимых с

бедностью русской казны. Идея Головнина была отвергнута, и с основанием: выбор пал на Одессу, как и следовало, и Ришельевский лицей в Одессе был назначен к превращению в Новороссийский университет...

Головнин в своих путешествиях был поражен тем влиянием, которое печать приобрела в наши дни, особенно печать ежедневная. Он видел во Франции и в Германии журналы, субсидируемые различными правительствами; он захотел применить ту же систему в России. Он начал с того, что предоставил субсидии нескольким немецким журналам... В России, к чести наших писателей, очень немногие из них согласились продать свое перо, и только один журналист, впрочем, хорошо известный своим нахальством, продал себя почти публично... Другая русская газета, гораздо более известная в Европе, вынуждена денежными обстоятельствами плавать в грязных водах администрации и лишь изредка и случайно может позволить себе клочки чистоты. Не довольствуясь тем, что он сам держится в отношении прессы системы Филиппа Македонского в отношении крепостей, Головнин уговорил своего коллегу, министра внутренних дел Валуева, распространять в Европе телеграммы, чтобы втирать очки иностранной публике насчет политических ошибок русского правительства... Некоторые иностранные газеты имеют в России корреспондентов, имена которых известны правительству. Пустили в отношении их угрозу высылки в случае, если они будут писать правду, и скрепя сердце они согласились следовать примеру, который вот уже несколько лет подают петербургские и варшавские корреспонденты одной известной иностранной газеты, издающейся на французском языке».

Дальше указывается, что новые министры «пошли по пути уступок партии самодуров», и перечисляются факты: высылка профессора Павлова, новый цензурный устав, секретный циркуляр о недопущении литературных чтений среди солдат. После петербургских пожаров «правительство бросилось с закрытыми глазами в крайнюю реакцию»: последовало закрытие воскресных школ, народных читален, петербургского шахматного клуба, «по той причине, что вследствие запрещения карточной игры в нем слишком много толковали», приостановление «Современника», «Русского Слова» и «Дня», новый порядок издания новых газет и журналов с согласия министра народного просвещения, министра внутренних дел и III Отделения и т. д.

Отзывы прежнего «приятеля» не могли не раздражать честолюбивого и самонадеянного Головнина, и он этого не скрыл

при встрече с Долгоруковым в Интерлакене в 1865 году. «Вы, вероятно, слышали о моей встрече с Головниным в Интерлакене, — писал Долгоруков М. П. Погодину 2 октября 1865 года. — Я ему говорю: «Здравствуйте, Александр Васильевич», — а он мне в ответ: «Мы с вами более незнакомы». Я ему крикнул: «Ах ты подлец!» А он преспокойно продолжал свой путь... В моих «Записках» я выведу на свежую воду этого деспота, прикрывающего себя личиною свободы: «Из Головнина можно выкроить двух Робеспьеров, да еще обрезки останутся»[1]. Об этом эпизоде упоминает А. И. Герцен в статье «Болтовня с дороги»[2]. Сам Головнин возвращается к нему в своих «Mémoires»[3].

О Головнине см. сочинения Е. М. Феоктистова, Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина[4].

Стр. 126.

Знаменитые **мемуары герцога Сен-Симона**, охватывающие период от 1694 до 1723-го, впервые изданные в 1829 году, были переизданы в 1842 году под заглавием: «Mémoires complets et authentiques du duc St, Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, par le marquis de St, Simon. Nouvelle édition. Paris».

Г. А. Строганов и великая княгиня Мария Николаевна. О тайном браке великой княгини Марии Николаевны с графом Г. А. Строгановым, имевшем место с ведома наследника, будущего Александра II, и его жены, см. в дневниках А. Ф. Тютчевой[5]. После вступления на престол Александра II естественно возникло предположение об официальном признании этого брака, санкционированного им в бытность наследником. Уже 1 апреля 1855 года Тютчева записала в своем дневнике: «Уверяют — и это не кажется невероятным — что император и императрица охотно бы объявили официально этот брак, но что императрица-мать и сама великая княгиня Мария Николаевна этому противятся... Однако я не могу поверить, чтобы импера-

---

[1] М. И. Барсуков. «П. В. Долгоруков о царской России...» в сб. «Звенья». I, 1932, стр. 81.

[2] «Колокол», № 203, 1 сентября 1865 г.

[3] «Mémoires», Genève, 1867, t. I.

[4] Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы. 1848—1896», под ред. Ю. Г. Оксмана, Ленинград, 1929, стр. 128—129, 131—138, 155—156.

Б. Н. Чичерин. «Воспоминания» в «Записках прошлого». Изд. Московского университета, М., 1929, стр. 55—56, 192.

Статья К. Д. Кавелина в «Вестнике Европы», кн. III, 1917, стр. 178—179.

[5] А. Ф. Тютчева. «При дворе двух императоров», т. I, стр. 84—85, т. II, стр. 19—20.

тор и императрица так мало сознавали свое положение и свою ответственность, чтобы, оповещая об этом, решиться скомпрометировать достоинство и престиж императорской фамилии».

Стр. 128.

Анна Павловна, вдовствующая королева Нидерландская, дочь Павла I, приезжала в Россию в ноябре 1855 года. О ее пребывании в Петербурге в этот ее приезд не без остроумия пишет в своем дневнике А. Ф. Тютчева[1].

Стр. 129.

Брак на «любовнице царской». Здесь Долгоруков намекает на брак князя Семена Михайловича Воронцова, сына фельдмаршала князя Михаила Семеновича, с Марией Васильевной Столыпиной, от брака с которой уклонился князь Александр Иванович Барятинский. (Об этом см. подробнее ниже.) Долгоруков утверждал, что в связи с этой свадьбой Воронцов-отец получил титул «светлости» и приводит вульгарные стихи по этому поводу, которые мы опускаем.

Великая княгиня Елена Павловна. О ней существует целая литература. Ее биография в сентиментальном, панегирическом тоне составлена А. Ф. Кони[2]; попытка характеристики сделана С. В. Бахрушиным[3] и В. Ф. Садовником[4]. С тех пор обнародован ряд новых мемуарных материалов, имеющих отношение к великой княгине. Личность ее вызывала очень противоположные суждения; лица, к ней приближенные, отзывались о ней восторженно[5]. В придворных кругах ее упрекали в честолюбии и в стремлении к рекламе[6]. Резко отрицательный отзыв А. О. Россет[7] о «Виртембергском сокровище», вывезенном великим князем Михаилом Павловичем, вызван, по-видимому, отчасти причинами личного свойства: «Она только и знает, что путешествует, хотя совершенно здорова, хочет показать за границей свой так называемый ум и свои познания. Ею руководит только самое мелкое тщеславие». Нельзя, однако, не заметить, что с

[1] А. Ф. Тютчева, «При дворе двух императоров», т. I, стр 84—85, т. II, стр. 19—20.

[2] А. Ф. Кони. Издание «Главные деятели освобождения крестьян», под ред. С. А. Венгерова, СПБ.

[3] С. В. Бахрушин. В сб. «Освобождение крестьян». Изд-во «Научное слово», М., 1911 г.

[4] В. Ф. Садовник. Комментарии к дневнику А. С. Пушкина. Труды Государственного Румянцевского Музея, т. I, М.-Л., 1924 г.

[5] Б. Н. Чичерин. «Путешествие за границу», М., 1932, стр. 29 и след.

[6] А. Ф. Тютчева. «При дворе двух императоров», т. I. стр. 17, т. II, стр. 79.

[7] А. О. Россет. Автобиография, М., 1931, стр. 83, 168.

этими словами вполне совпадает характеристика, данная великой княгине Долгоруковым в «Письме из Баден-Бадена»[1]: «Великая княгиня Елена Павловна здесь, и, Боже мой, как суетится и как копошится: старается уверить, что она всем в России заправляет! Она исподтишка дает понимать, а клевреты ее рассказывают почти громко, что она управляет Александром Николаевичем, что она вертит им, как ей угодно, и что во всей России все делается под ее влиянием. Елене Павловне необходимо везде суетиться, всюду напакостить, всегда интриговать и выказывать себя во что бы то ни стало. Интриги, сплетни и уженье в мутной воде — ее стихия: вредная женщина!»

Стр. 133.

С. Г. Строганов. Ср. характеристику графа С. Г. Строганова в «Воспоминаниях» Б. Н. Чичерина[2]. Студенческие беспорядки 1861 года были вызваны, между прочим, тем, что с целью «остановить наплыв в университет демократических элементов» отменено было освобождение несостоятельных студентов от платы за слушание лекций. Даже «по единогласному мнению всех, весьма умеренных, профессоров» Московского университета «обязательная плата студентов» (в размере 50 руб.) была мера «неловкая»[3].

Стр. 134.

Граф С. С. Уваров. «С 1833 по 1849 год министром народного просвещения находился граф Сергей Семенович Уваров, муж замечательного ума, ученый и писатель. Тонкий и ловкий царедворец, он очень дорожил своим значением при дворе, но вместе с тем, в качестве человека истинно просвещенного, находился под наитием благородного честолюбия приобрести имени своему блистательную страницу в истории своего отечества. Страницу эту он умел приобрести преобразованием университета, куда умел привлечь юношество, и улучшениями, введенными в гимназиях и в уездных училищах. Наибольшее число людей, ныне приобретших себе почетную известность, а некоторые и заслуженную знаменитость на поприще науки и на поприще словесности, слушали курсы в университетах со времени преобразования их графом Уваровым. В дикое царствование Николая он умел с редким искусством ввести прогресс в воспи-

---

[1] «Будущность», № 19, 18 августа 1861 г.

[2] Б. Н. Чичерин. «Москва сороковых годов», М., 1929, стр. 28—30 и «Московский университет», М., 1928 г.

[3] Суждения Б. Н. Чичерина в «Воспоминаниях», «Московский университет», стр. 32—34.

тание, расширить курс обучения юношества и, даже невзирая на суровое направление Николаевское, посеять зерна просвещенных идей, ныне приносящие обильные плоды. Честолюбие царедворца, сильно развитое у графа Уварова, никогда, однако, не подавляло в нем зародыша тех либеральных чувств, коими юность его была ознаменована и украшена. Мы коротко знавали в нашей молодости графа Сергея Семеновича; нам известно, что совершенства в мире не существует: у него были свои пороки и даже пороки весьма видные, но заслуги, оказанные им отечеству, увековечивают память его в русской истории. Невозможно вообразить, сколько хитрости ему было необходимо, чтобы министерством, ему вверенным, управлять *просвещенным образом* в царствование государя, столь враждебного всем идеям истинно просвещенным, каким был Николай Павлович»[1].

Стр. 136.

О. Д. Рихтер. О нем см. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина[2].

Стр. 138.

И. В. Енохин. О нем и его возвышении см. в «Записках д-ра Ильинского»[3]. В «Колоколе»[4] напечатана анонимная заметка в защиту Енохина «от нападок на его характер и деятельность, сделанных в № 2 «Правдивого». «В ней отмечаются доброта Енохина и защита им интересов русских врачей против немецкого засилья; впрочем, автор сам далеко не объективен в отношении врачей-немцев и повторяет сплетни по поводу Блументроста, «не воспрепятствовавшего умереть Петру I» и Мандта, «помогшего умереть Николаю I». Фактические сведения о карьере Енохина у Долгорукова в основном верны, как видно из воспоминаний д-ра Ильинского.

Стр. 140.

Голштейн-Готторпы. В качестве специалиста по генеалогии и представителя княжеской фамилии, производившей свой род от Рюрика, Долгоруков любил язвительно напоминать царствующей в России династии скромное ее происхождение. Он считал ее претензии на принадлежность к дому бояр Романовых совершенно необоснованными («наши принцы Голштейн-Готторпские, — говорит он, — исправляющие должности Романовых»).

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 157—158.

[2] Б. Н. Чичерин. «Воспоминания», «Московский университет», стр. 122—124.

[3] «Русская старина», 1894 г.

[4] «Колокол», № 134, 1862 г.

Дом Романовых пресекся в мужской линии в 1730 году со смертью внука Петра — Петра II, по женской линии в 1761 году — со смертью Елизаветы. Впрочем, ни Елизавета Петровна, ни ее сестра Анна, как «рожденные до брака, следовательно, незаконнорожденные» и даже «прелюбодейные», поскольку родились от второй (невенчанной) жены Петра при жизни первой, в сущности, не имели юридического права на престол[1].

«25 декабря 1761 года, — пишет он, — Елизавета, истомленная распутством и пьянством, скончалась на 53-м году от рождения, и дом Голштейн-Готторпский вступил на престол всероссийский, на коем он восседает ныне»[2]. Под именем Петра III воцарился «герцог Голштейн-Готторпский», который и положил начало новой династии. Он пишет с иронией о последней: «Начало владычества дома Голштейн-Готторпского над Россиею вовсе не теряется во мраке древности: владычество это не основано ни на вековом праве передачи престола из поколения в поколение в одном и том же роду царском, ни на праве всенародного избрания»[3]. Только «даруя России конституцию, Александр Николаевич преобразил бы свою чужеземную немецкую фамилию принцев Голштейн-Готторпских в династию национальную, в династию истинно-русскую»[4].

Стр. 144.

О взяточничестве «знаменитой» **Мины Ивановны** говорится и в «Колоколе»[5].

Стр. 148.

Эгерия. Нимфа Эгерия, сказочная подруга легендарного римского царя Нумы Помпилия, согласно римской традиции, руководила его государственной деятельностью и вдохновляла его.

Стр. 149.

Ералаш. Русский карикатурный альбом М. Л. Неваховича. Журнал этот выходил в Петербурге в 1846—1848 гг. по 4 тетради в год.

Н. А. Муханов. Его характеристику можно найти в «Le

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 261.
[2] Там же, т. I, стр. 34, т. II, стр. 262.
[3] Там же, т. II, стр. 259.
[4] Там же, стр. 263.
[5] «Колокол», № 1, 1860 г., («Смесь»).
[6] «Колокол», № 137, 1862 г.
[7] Н. И. Куликов. «Петербургское театральное училище» в «Русской старине», № 12, 1886 г., стр. 628—630.

Véridique»[1]: «Николаю Алексеевичу Муханову — 60 лет; он начал карьеру в кавалергардах; был адъютантом петербургского генерал-губернатора графа Кутузова, потом покинул военную службу, путешествовал, жил в Москве и в провинции и наконец поступил на службу в Министерство юстиции. Во время своих заграничных путешествий он подружился с князем Горчаковым, и эта дружба способствовала его теперешнему возвышению... Через несколько месяцев после назначения князя министром Муханову в день коронования царствующего государя было в качестве камергера поручено, говорят, резать мясо во время парадного обеда, и он будто бы справился с этой ответственной обязанностью с исключительной ловкостью и искусством. Общественное мнение провозгласило его наиболее способным резать окорока и куропаток; князь Горчаков, в восторге, что открыл в своем друге хотя один талант, воспользовался этим случаем, чтобы поднять его на иерархической лестнице придворных чинов, создав для него специальную должность обер-форшнейдера, до сих пор неизвестную в России и, по-видимому, входящую в число прогрессивных реформ последнего времени. Вместе с тем Горчаков ввел его в интимный придворный круг. Два года спустя Муханов был призван на пост товарища министра народного просвещения, а в сентябре 1861 года перешел на ту же должность в Министерство иностранных дел. Это человек весьма ограниченного ума, но очень хитрый, внешне очень учтивый, скрывающий под наружным тупоумием большую ловкость и одаренный способностью прокрадываться в благоволение тех, кто может ему быть полезен. Он много видел, хорошо знает свет; читал он мало, но при нем находится брат, Владимир Алексеевич, человек болезненный, устранившийся от большого света, олицетворение доброты и благородства, очень начитанный и нежно преданный брату, которому он служит живой библиотекой и энциклопедическим словарем».

Стр. 150.

О гадкой истории Сабурово-Адлербергской, напечатанной уже в «Правдивом» 12 мая; упоминается в заметке «Старая история»[6]. Она подтверждается и мемуарной литературой.[7]

Стр. 152.

Высылка А. М. Унковского. В ноябре 1859 года Министерство внутренних дел разослало циркуляр начальникам губерний о недозволении дворянству на выборах обсуждать предметы, ка-

---

[1] «Le Véridique», № 3, p. 401—403.

сающиеся до крестьянского быта. Тверское губернское дворянское собрание, собравшееся 8 декабря под председательством губернского предводителя А. М. Унковского, по предложению петрашевца А. И. Европеуса постановило телеграфно заявить министру протест против этого постановления, нарушавшего «права» дворянства. Ввиду отказа губернатора привести в исполнение это постановление, дворянское собрание постановило обратиться непосредственно к императору с ходатайством об отмене циркуляра. В ответ Унковский, допустивший постановление дворянства о подаче такого прошения и первым подписавший его, был отрешен от должности, а прошение оставлено без последствий. В виде протеста в большинстве уездов дворянство не стало выбирать ни предводителей, ни депутатов; лица, согласившиеся баллотироваться в губернские предводители, были забаллотированы; в честь Унковского были демонстративно учреждены 12 стипендий в Московском университете. Тогда правительство своей властью назначило губернским предводителем дворянства малопопулярного в губернии Клокачева, по проискам которого Унковский был сослан в Вятку, а Европеус в Пермь. Подробности см. у Долгорукова[1].

Стр. 153.

Пашковы. Ср. рассказ о Пашковых в «Мемуарах» князя П. В. Долгорукова[2].

Московская Публичная библиотека, ныне Государственная Публичная библиотека имени В. И. Ленина (бывший Румянцевский музей).

М. П. Гагарин. Рассказ о сибирском генерал-губернаторе князе М. П. Гагарине очень неточен и носит характер сплетни. Пашков участвовал в следствии над Гагариным в качестве одного из членов учрежденной в 1717 году комиссии, в которую кроме него входили Дмитриев-Мамонов, Лихарев и Бахметев. Дела, компрометировавшие Гагарина, в двух ящиках были запечатаны и представлены в Сенат доносчиком фискалом Нестеровым. Гагарин повинился в том, что «многие подносы и подарки в почесть и от дел принимал» и «чинил все по приказному обыкновению». «Припадая к ногам» Петра, он писал: «Прошу милосердия и помилования ко мне, погибающему... которое надо мною многобедным милосердие для того, чтобы я отпущен был в монастырь». Чистосердечное признание не

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 116—126.
[2] «Mémoires», Genève, 1861, p. 226—232

спасло его от виселицы. В рассказе Долгорукова любопытно проследить легенду, возникшую, несомненно, в кругах высокородовитой знати, задетой расправою Петра с одним из ее сочленов.

Стр. 159.

П. В. Бутков — «тип настоящего бюрократа, ничтожный интриган, чванливый, в некоторых не особенно изысканных кругах слывет за Алкивиада по той причине, что его здоровье позволяет ему соединять работу в канцеляриях с вкусами самыми распущенными, весьма естественными в молодом человеке, но совершенно неуместными и смешными в особе, близкой к 50-ти годам, имеющей к тому же претензию считать себя государственным деятелем. Бутков принадлежал к самому темному оттенку реакции; занимая столь важную должность статс-секретаря, он сделал все от него зависящее, чтоб противодействовать освободительным намерениям императора и великого князя; уже давно он заслужил отставку, но покровительство партии стародуров продолжает поддерживать его в тех ответственных должностях, которые он занимает к позору России»[1].

«Статс-секретарь Бутков, — сказано в другом месте, — разделяет мнения и направления графа Панина, не обладая ни его образованием, ни его воспитанием, ни его умением себя держать, и является главою стародуров и бюрократии в полусвете, как Панин является в великосветских салонах»[2].

Стр. 165.

Н. В. Исаков. О действиях попечителя Московского университета Н. В. Исакова во время студенческих беспорядков 1861 года Долгоруков пишет в № 23 «Будущности»: «Студенты собрались в числе до 500 и пошли к Н. В. Исакову, попечителю Московского университета. Исаков, генерал-майор свиты государевой, один из тех господчиков, которые покровительством разных придворных барынь достигают известного вензеля на эполетах... и, получив желаемый вензель, считаются уже способными к исправлению всех должностей и к занятию самых высоких мест. Генерал свиты его императорского величества испугался, струсил и *заперся у себя на ключ.* Студенты вломились и в эту комнату, разругали Исакова дураком и подлецом и

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 88.
[2] Там же, № 3, p. 370.

отправились к Тучкову». Совершенно иначе рисует роль Исакова в этом эпизоде Б. Н. Чичерин, отмечающий, что он держал себя «сдержанно и твердо». И о самом Исакове Чичерин отзывается[1] с положительной стороны и говорит о нем как о «военном генерале, вовсе не сведущем в деле народного образования, но человеке хладнокровном, твердом, разумном и порядочном» и одобряет его поведение во время беспорядков[2]. Впрочем, надо иметь в виду совершенно противоположные точки зрения обоих авторов на самые беспорядки: Долгоруков сочувствовал студенческому движению, Чичерин, наоборот, осуждал молодежь.

П. К. Мейендорф. О нем Долгоруков пишет[3]:

«Барон Петр Казимирович Мейендорф, родившийся в 1796 году, происходит из древней германской фамилии, осевшей в Ливонии в начале XIII века; он последовательно занимал посты русского посла при дворах Стутгартском, Берлинском и Венском. Один русский сановник прекрасно определил барона Петра Казимировича, сказав о нем: «Барон Мейендорф — человек умный и ученый: он знает все в мире, за исключением России, о которой не имеет никакого понятия». Это очень ловкий дипломат, с его собственной точки зрения, но дипломат старой, и даже очень старой школы, ученик и подражатель тех, кто на Венском конгрессе резали на части нации, чтобы дать столько-то и столько-то тысяч душ тому или иному государю. Для этой школы дипломатов правительство — все, а народы — географическое понятие. Большой поклонник Меттерниха, с которым он встречался в Вене в интимном кругу (баронесса Мейендорф, сестра графа Буоля, была другом детства княгини Меттерних), барон Петр Казимирович считал Австрию державой, поддержание которой в ее настоящих границах необходимо для Европы и по этой причине является врагом славянских народностей. Эти две причины сделали его, несмотря на его замечательный ум, чрезвычайно вредным для России во время исполнения им обязанностей посла в Вене; вместо того чтобы создавать нам симпатии среди славян, он боролся против них с ожесточенной убежденностью, с тем большей энергией, что убежденность его была искренна и что нелепость его поведения в Вене не имела никакого бесчестного и безнравственного основания. Он особенно проявляет глубочайшую ненависть к одной из славянских

---

[1] Б. Н. Чичерин. «Воспоминания», Московский университет, стр. 41.
[2] Там же.
[3] «Le Véridique», № 1, p. 83—86.

народностей, которая имеет перед собой самую прекрасную будущность, — против сербов; и эта ненависть имеет источником кастовое чувство барона Петра Казимировича. У славян нет знати, и они слишком разумны, чтобы иметь глупость создать себе таковую в тот момент, как всюду она исчезает. Барон Петр Казимирович — враг идей либеральных: особенно ему противно равенство перед законом. Он один из тех, кто думает, что одни дворяне — люди, и он недалеко ушел от маршала князя Виндишгретца, который говорил: «Человек начинается с барона». В тот момент, когда канцлер Нессельроде был принужден общественным мнением отказаться от портфеля иностранных дел, партия стародуров очень хотела вручить его барону Мейендорфу, но ее усилия оказались тщетны. Ему был предложен пост посла в Лондоне; он отказался под предлогом здоровья, но мы думаем, что не ошибемся, если скажем, что настоящая причина его отказа заключалась в его несогласии с русской и антиавстрийской политикой князя Горчакова и что он приберегал себя для поста министра; последнее, к счастью для России, так и осталось мечтой. Впрочем, впоследствии почтенный возраст и усилившиеся болезни барона Петра Казимировича, страдавшего частыми, чрезвычайно сильными мигренями, заставили его, как слышно, отказаться от мысли лично руководить Министерством иностранных дел. Его желание, как и желание всей партии стародуров, одним из наиболее влиятельных вождей которой он является, состоит в том, чтобы вручить этот портфель барону Будбергу, что было бы настоящим несчастием для России».

Стр. 166.

Спасение Австрии. Долгоруков имеет в виду события 1849 года, когда только при помощи русской интервенции австрийскому правительству удалось подавить восстание Венгрии и тем избегнуть грозившего ей расчленения.

Стр. 169.

Князь А. М. Горчаков. В дополнение к характеристике А. М. Горчакова даем открытое письмо к нему Долгорукова[1]:

«Почтеннейший князь Александр Михайлович, в ответах Ваших на депеши трех держав по делам польским Вы приписываете польские события «влиянию химерических страстей и действию революционной пропаганды». Скажите, ради Бога, каким образом Вы, князь, человек умный, могли прибегнуть к

[1] «Листок», № 7, 19 мая 1863 г.

доводу столь неосновательному и — извините откровенность старого друга — столь пошлому? Ведь иностранные журналы уже подняли Вас на смех за этот ответ — энергичный выпад князя Горчакова против космополитической революции, которой он приписывает все современные несчастия, составляет обязательную часть всех дипломатических депеш русского кабинета... Это общее место русского кабинета, которое по очереди заимствовали друг у друга, по мере надобности, все европейские правительства и так далее... Ведь Вы, почтенный князь, слишком умны, чтобы верить в такую нелепость, будто польские события произведены пропагандой: ведь Вы знаете, что поляков Николай давил и душил, Александр II постоянно надувал. Ведь Вы понимаете, что никакая пропаганда не может довести нацию безоружную до возможности борьбы с войском вооруженным, если нация эта не доведена до крайности исступления...

Двадцать лет (1839—1860) находился я с Вами в отношениях самых дружеских, и нет, может быть, предмета, о котором мы бы с Вами не говорили. Неоднократно слышал я от Вас мудрое изречение: «Без ошибок правительств — революции невозможны; в революции всегда кроется вина правительства...»

Вспомните, князь, Ваше прошедшее: весьма немногие из русских сановников могут похвалиться подобными воспоминаниями. Когда весь служащий мир кланялся Нессельроде и ползал перед Бенкендорфом, Вы держали себя благородно в отношениях и к тому и к другому. Вступив в министерство, Вы выхлопотали уничтожение высокой таксы заграничных пашпортов и право заграничного путешествия для всех; вы много способствовали учреждению Совета министров; два раза в Совете министров Вы спасли от запрещения «Русский Вестник» (в то время не обещавший того, что в нем видим ныне); в 1858 году Вы спасли от ссылки в Вятку Ивана Сергеевича Аксакова, когда правительство сделало глупость запретить его «Парус». Вы несколько раз объявляли, что выйдете в отставку, если сделаны будут на поприще дипломатическом такие-то или такие-то назначения, и назначения эти не состоялись... Вы, князь, можете приобрести себе великое имя в истории. Убедите Александра Николаевича даровать России конституцию, а Польше предоставить отдельное существование: это единственно возможная мирная развязка запутанного русско-польского вопроса; оставаться министром под условием хвалить чужие глупости и повторять чужие пошлости — весьма не лестно; вспомните слова, мне Вами сказанные при вступлении Вашем в

министерство: «Хорошим и полезным отечеству министром может быть лишь человек, всегда следующий своим убеждениям и, следовательно, всегда готовый подать в отставку».

Долгоруков был в хороших отношениях с Горчаковым и был о нем первое время очень высокого мнения. «Князя Горчакова надобно беречь, — писал он 23 ноября 1857 года Погодину. — Он может быть много полезным, а его и без того при дворе хамы в звездах и в лентах стараются подкопать и заменить хитрым Киселевым, старым другом Нессельроде. Князя Горчакова при дворе многие ненавидят, что он не кланяется и не старается угождать разным сиятельным хамам»[1]. Впоследствии, как видим, Долгоруков разочаровался в канцлере.

Стр. 173.

Дворня графов Шереметевых... Грандиозные размеры крепостной дворни графов Шереметевых вошли в XVIII веке в поговорку. Действительно, в одном подмосковном имении Кускове с селом Вешняковом «штат» состоял в 1786 году из 215 человек, *не считая* театра и оркестра и сезонных рабочих[2].

Стр. 174.

Командировка князя В. А. Долгорукова в Сербию в 1837 году. 3 февраля 1835 года князь Милош Обренович под давлением сербских землевладельцев издал новый государственный устав (статут), ограничивавший власть князя в пользу «державного совета», ответственного перед народной скупщиной. Устав вызвал недовольство Турции, Австрии и России. Бестактное поведение вновь назначенного в Сербию русского консула, барона П. И. Рикмана, способствовало еще большему охлаждению между Россией и Сербией. Рикман покинул Сербию в июле 1835 года. В начале 1836 года он частным образом сообщил Милошу к руководству составленный в русском Министерстве иностранных дел «базис для устава Сербии», который, однако, Милошем был отклонен, благодаря чему отношения между Россией и Сербией еще более ухудшились. Создавшимся положением воспользовались Англия и Австрия, у которых с 1836 года в Сербии находились постоянные агенты. Особенное беспокойство вызывало в России возрастающее влияние в Сербии Англии. Чтобы противодействовать сближению Сербии с Англией, в октябре 1837 года из Петербурга был послан князь В. А. Долгоруков с особым поручением от императора. Долго-

---

[1] Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», СПБ, 1901, стр. 104.

[2] К. В. Сивков. «Штат села Кускова 1786 года», М., 1927 г.

руков добился согласия Милоша на изменение устава на началах базиса и учреждения «совета старейшин» (соответствующий указ был издан 16 октября 1837 года), после чего последовало восстановление дружеских отношений между обоими государствами и в Сербии было учреждено русское консульство. В 1839 году устав в русской редакции, несмотря на противодействие Англии в Константинополе, был утвержден особым гаттишерифом султана. Таким образом, рассказ П. В. Долгорукова о бесплодности миссии князя Василия Алексеевича не соответствует действительности.

Стр. 185.

Л. В. Дубельт. В «Правде о России» Долгоруков дает яркую характеристику III Отделения при Дубельте[1]:

«Николай Павлович, вступив на престол, восстановил тайную полицию под именем III Отделения Собственной канцелярии, подчинил ей корпус жандармов и вверил это гнусное управление Александру Христофоровичу Бенкендорфу, человеку способностей самых ограниченных, ветреному, легкомысленному, пустому, но вместе с тем злопамятному и мстительному. Бенкендорф, мот и весьма неразборчивый на средства наживать деньги, был всеми презираем и на старости лет являл смешное зрелище седовласого Сердечкина. В первые годы существования III Отделения всеми его делами управлял бывший тогда статс-секретарем Александр Николаевич Мордвинов, человек крутой и суровый, но умный и бескорыстный. Честность Мордвинова нажила ему (как всегда бывает в Петербурге) кучу врагов, и они стали под него подкапываться, искали всех средств, чтобы ему повредить... Мордвинов был удален от службы. На место его назначен был Леонтий Васильевич Дубельт, столь гнусно памятный в летописях Николаевского царствования, сын лифляндского латыша-крестьянина, поступившего в военную службу и с офицерским чином приобретшего дворянское достоинство, Дубельт — человек ума необыкновенного, но в высшей степени жадный, корыстный и безразборчивый. Честь, совесть, душа, все это для него одни слова, пустые звуки. Лучшим средством к обогащению в России служат административные злоупотребления и отсутствие гласности, и потому Дубельт в 17-летнее свое пребывание на пашалыке III Отделения всегда являлся яростным защитником всех злоупотреблений и всех мерзостей среды чиновной. Заклятый

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 127—133.

враг улучшений, всякой благородной мысли, заклятый враг гласности и книгопечатания, он в полном заседании главного правления цензуры говорил: «Всякий писатель — медведь, которого следует держать на цепи». Следуя этому политическому направлению, он доходил до трех выгодных для себя результатов: преследованием благородных и просвещенных людей угождал Николаю Павловичу; вместе с тем постоянно запугивал его, а Николай Павлович, человек ума ограниченного, во всю жизнь свою находился в трепете и боязни перед мнимыми заговорами и перед мнимыми тайными обществами; и таким образом Дубельт держал его в своих руках. Наконец, он пользовался злоупотреблениями для своего обогащения, а отсутствием гласности — для прикрытия злоупотреблений и своих плутней. Он владеет, между прочим, одним талантом, принесшим ему много выгод: талантом удивительным образом подделываться под чужой почерк.

В 1844 году Бенкендорф, изнуренный развратной жизнью, должен был оставить свое место и вскоре умер. Преемником ему был князь Алексей Федорович Орлов, который благодаря своей мелкой, но замечательной хитрости и ловкому искательству пользовался отличной репутацией, доколе не занимал государственных должностей, а раз поступив на государственное поприще, обнаружился, каков есть на деле, и впал во всеобщее презрение. Ловкий царедворец, черствый себялюбец, жадный к обогащению и неспособный к делам; негодность его превзойдена лишь его необыкновенной, баснословной ленью. Враг улучшений и гласности, он однажды в полном Совете министров осмелился высказать гнусную клевету, что «всякий писатель — прирожденный заговорщик». Клевета тем более непонятная, что сын его, князь Николай Алексеевич Орлов, человек честный и просвещенный, издал весьма хорошую книгу и, конечно, заговорщиком никогда не будет, между тем как отец его (хотя и незаконный) Федор Григорьевич и в особенности дяди его, Григорий и Алексей Григорьевичи Орловы, едва знавшие грамоту, были не только заговорщиками, но и цареубийцами!

Орлов передал всю власть в руки Дубельта, и тогда началась для России мрачная эпоха, 11 лет продолжавшаяся до самой кончины Николая; эпоха, о коей мы не можем вспомнить без отвращения и ужаса, мы, современники, проведшие лучшие годы нашей жизни под давлением этого правления, нелепого, жестокого и сумасбродного; правления, постоянно унижавшего и попиравшего достоинство человеческое; правления, считавше-

го все просвещенные мысли, все благородные порывы сердца за государственные преступления. Вся Россия подвергалась притеснениям и поборам тайной полиции; за деньги можно было совершать всякое преступление, и не было такого скверного и гнусного дела, от коего нельзя было откупиться через тайную полицию. В докладах своих государю она клеветала на людей честных и благородных и, напротив, всеми силами выгораживала воров и мошенников. Дубельт, страшный картежник и развратный старик, проводил все часы досугов своих в кругу мошенников и шулеров, и эти опозоренные люди неоднократно решали по произволу своего корыстолюбия дела, от коих зависели состояние и честь семейств. Окружные жандармские генералы, губернские жандармские штаб-офицеры обложены были в пользу Дубельта ежегодным оброком, количество коего различествовало смотря по губернии. Западные губернии, возвращенные от Польши в 1772 и 1793 годах, приносили более всех, и тайная полиция обрела в них настоящие золотые прииски. Там почти все помещики польского происхождения обложены были ежегодною податью, и горе тому, кто бы отказался платить. Таких «строптивых» хватали ночью, сажали в тюрьму, обвиняли в тайных сношениях с польскими заграничными эмигрантами, и арестованному лицу представлялось на выбор или откупиться значительной суммой денег, или подвергнуться ссылке в Сибирь и, следовательно, по существовавшему еще в западных губерниях закону, конфискации всего своего имения. Это напоминает нам, что когда мы были арестованы в 1843 году, то камердинер Дубельта, Марко, пришел нам предложить подарить Дубельту 25 000 руб., говоря, что в таком случае мы будем немедленно освобождены. Мы отказались и через несколько дней сосланы были в Вятку».

Стр. 187.

Подкуп А. В. Головниным печати. К вопросу о подкупе иностранной и отечественной прессы русским правительством Долгоруков возвращался неоднократно. В № 4 «Листка» он пишет, что «по представлению министра народного просвещения в распоряжение его предоставляется ежегодно сумма в 300 000 руб. серебра *для вознаграждения благонамеренных журналистов и писателей»*. «Увлекательному *златому* красноречию» своего «бывшего приятеля» А. В. Головнина он постоянно приписывает свои недоразумения с издателями[1].

---

[1] «Листок» № 19, стр. 148.

Агентом русского правительства он называет В. Катакази, секретаря русского посольства, напечатавшего в Лиссабоне статью, направленную против него, Долгорукова, в журнале «Nord» под псевдонимом Правдина[1]; он дает понять, что такой же агент, скрывшийся под псевдонимом Мишенского, автор критики на его книгу «La vérité sur la Russie», появившейся в «Courrier du Dimanche», — А. Сомов. «Что представляет собой этот господин Мишенский? — спрашивает его адвокат Мари на воронцовском процессе. — Откуда он взялся? Кто его вдохновил?.. Я кое-что о том знаю, у меня есть информация совершенно частного характера... Вы сможете узнать, откуда он пришел, кем он был, каковы были его поступки, с кем он был в сношениях, кто вложил ему оружие в руки и как он дошел до написания этой статьи, статьи, которая является лишь делом стороннего внушения и отвратительной политической мести»[2].

Русское правительство в указанные годы, действительно, усердно обрабатывало иностранное общественное мнение посредством печати. В 1862—1864 гг., например, на деньги русского правительства В. Вольфсоном издавалось «Russische Revue», имевшее целью содействовать «к рассеянию заблуждений, кои поныне существуют на Западе относительно всего, что у нас происходит». Долгоруков обвиняет в том же издателей парижского «журнальчика» «Gazette du Nord» — Рюмина и Сазонова, мюнхенских издателей Э. Иорга и Ф. Виндера и подкупу же приписывал неблагоприятные отзывы о его книге «La vérité sur la Russie» в берлинской прессе[3].

Стр. 188.

Орлов предавался кейфу. Ср. отзыв Е. М. Феоктистова[4]: «По словам Альбединского, это был человек непомерно ленивый и индифферент ко всему».

Стр. 189.

Трехпрогонный Муравьев. Объяснение этого прозвища см. на стр.

Князь В. А. Долгоруков. Дополнением к его характеристике может служить следующий отзыв Долгорукова: «Князь Василий Андреевич, при некоторой хитрости и довольно большом

---

[1] «Листок», № 5, стр. 40.

[2] «Le prince Dolgoroukow contre le prince Worontzow», Cour Impériale de Paris. Paris, 1862.

[3] «Правда о России», т. II, стр. 183—185.

[4] Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы», стр. 296.

лукавстве, отличается совершенным отсутствием всяких способностей, но решительно всяких. Взгляните на него: он постоянно улыбается, и эта улыбка, вечная, стереотипная, пошлая, ко всем одинаково обращаемая, служит ему в глазах людей, его не знающих, ширмами, за коими скрывается полное отсутствие мысли и совершенное отсутствие всяких умственных понятий. Дел государственных для него не существует; он и понять их не может; отечество для него слово без всякого значения, пустой звук; все заботы его сосредоточены исключительно на двух предметах: быть как можно чаще приглашаему ко двору и всегда знать в точности степень придворной силы и влияния каждого царедворца. Князь Василий Андреевич счастлив, когда может не заниматься серьезными делами; дел этих он вовсе не понимает: теряется в мелочах, в пустяках; высшие соображения для него недоступны, а слова «реформа» и «прогресс» бросают его в лихорадку»[1].

Там же[2] Долгоруков пишет о Владимире Андреевиче Долгорукове, что он «столь же неспособен, как и брат его, такой же придворный пройдоха, но бескорыстием его не отличается». Характеристика Владимира Андреевича у Долгорукова совпадает с той, которую дает ему Б. Н. Чичерин[3]. Впрочем, следует отметить, что последний имел в руках «Очерки» Долгорукова и они оказали влияние на его мнение.

Стр. 194.

А. Е. Тимашев. Для дополнения можно привести характеристику его в «Правде о России»[4]:

«На место Дубельта назначен Александром А. Е. Тимашев, дотоле известный лишь замечательным дарованием рисовать карикатуры. Тимашев — человек умный и на деньгу не жадный, два качества, весьма редкие в царской дворне; обхождение его прилично и вежливо, но он чрезвычайно склонен к самовластию, к деспотизму; одним словом, он в полном смысле слова то, что в России называют «николаевский человек», поклонник системы Николая Павловича, коего он готов даже превзойти в суровости и в жестокости, если б ему только дали волю. В прошлом, 1859 году, он ездил за границу, был в Париже и на водах в Виши и во время своего заграничного путешествия

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 69—70.

[2] Там же, стр. 77.

[3] Б. Н. Чичерин. «Земство и Московская дума» в «Записках прошлого».

[4] «Правда о России», т. II, стр. 148—149.

рассуждал, как человек образованный (потому что в уме у него недостатка нет); иногда случалось ему даже отпускать фразы с некоторым оттенком либерализма (нельзя же, хотя бы и жандармскому генералу, в Париже говорить, как в Чухломе!). Но посмотрите на Тимашева в России и полюбуйтесь им! Взгляните на него в России, коею он управляет, потому что у нас тайная полиция всевластна и всемогуща, а неспособность и бесхарактерность князя Василия Андреевича [Долгорукова] оставляют полный простор разгулу железной энергии Тимашева (из коего, при слабости государя, мог бы при других политических обстоятельствах и при ином неотразимом духе века выйти новый Аракчеев). Тимашев — настоящий татарин, переодетый в европейское платье; его политические правила — тройной экстракт деспотизма, и он из числа людей, провидением посылаемых на землю для гибели тех царских династий, на службе коих они состоят»[1]. Разговор в январе 1858 года имел место на балу у княгини Марии Александровны Долгоруковой[2].

Стр. 200.

О Потапове ср. «Le Véridique»[3].

А. Д. Меншиков. Об отношениях Меншикова к Петру Долгоруков говорит[4]: «Мы не унизимся до повторения позорных подробностей скандальной хроники того времени»[5]. Подобные сплетни, действительно, ходили уже при жизни Петра[6].

Граф П. И. Ягужинский. Долгоруков говорит о нем: «Павел Ягужинский, литовец по происхождению, сын школьного учителя, был денщиком у Петра I. Мы слишком уважаем себя, чтобы входить в подробности происхождения его фавора»[7].

Об этом говорят и современники[8].

Ф. Ф. Вигель[9].

А. Н. Муравьев[10].

---

[1]«Правда о России», т. II, стр. 148—149.

[2] Там же, стр. 150.

[3] «Le Véridique», t. I., № 2, p. 262 и след.

[4] «Notice», p. 34.

[5] «Mémoires», t. I, p. 9.

[6] См. быв. Гос. Архив, VI, № 10.

[7] «Notice», p. 70, ср. «Mémoires», t I, p. 184.

[8] «Записка английского резидента Рондо о некоторых вельможах русского двора в 1730» в «Письмах леди Рондо», под ред. С. Н. Шубинского, СПБ, 1874, стр. 227.

[9] См. вступительную статью С. Я. Штрайха к его «Запискам», М., 1928 г.

[10] См. Дневник А. В. Богданович «Три последних самодержца», М.-Л., 1928 г., стр. 145.

В 1990 году книга А. В. Богданович переиздана Издательством «Новости».

Стр. 203.

Граф А. П. Шувалов и С. Д. Нарышкина. Об этом же эпизоде пишет и А. О. Смирнова-Россет. «Этот пройдоха, — говорит она про Шувалова, — чтоб сделать карьеру, просил руки Софьи Нарышкиной, когда она уже была в чахотке. У нее был дом на набережной и 25 тыс. асс. дохода; Александр I был очень скуп. Но эта свадьба не состоялась, а в вознаграждение его послали секретарем к Татищеву в Вену»[1].

Стр. 205.

Графиня Фекла Игнатьевна Шувалова, урожд. Валентинович. О ней находим сведения у А. О. Смирновой-Россет, вполне совпадающие с теми, которые дает Долгоруков. «Фекла Валентинович, — пишет Смирнова, — была сперва замужем за князем Платоном Зубовым. Как все старики, он ее обожал, баловал как дитя. Ей было 16 лет, когда он увидал ее в одном из предместий Вильны, на возу одну; меньшая сестра ее метала, а мать сидела перед домом и работала. Зубов подошел к старушке и предложил ей денег, если Фекла согласится быть его любовницей... Старуха вскрикнула, что скорее умрет, чем переживет срам своей дочери. Тогда Зубов предложил жениться». После свадьбы он повез жену в свое лифляндское именье Руэнталь. Когда умер Зубов — все его «огромное имение и громадное количество бриллиантов» перешло к ней. «Оставшись вдовой в таких молодых летах, с процессом на руках, Фекла нашлась среди затруднительных обстоятельств. Н. П. Новосильцев был в Варшаве статс-секретарем по польским делам; она его вызвала, и он принялся за ее дела, обещал много и сделал еще более; она ласкала старого и уродливого развратника мыслью, что выйдет за него замуж. Только что процесс был выигран, она поехала в Вену оканчивать свое светское воспитание и встретила там графа Шувалова... Фекла была в полном цвете красы. Она выучилась болтать по-французски и была потом принята аристократическим обществом: танцевала мазурочку пани так, что все старички приходили в неистовый восторг. Тут она вышла замуж за графа Шувалова и поехала во Флоренцию, где они прожили. Свадьба их была в Лейпциге, в греческой церкви; там родился их старший сын... (которого записали), как законнорожденного... Фекла, поселившись в Петербурге, с удивительным тактом сделала себе положение. Она

---

[1] А. О. Смирнова-Россет. «Записки, дневники, воспоминания, письма» со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, под ред. М. А. Цявловского, М., 1929 г., стр. 206—207.

прежде была на коронации уже как графиня Шувалова... Когда она представлялась императрице, я ее видела. Она была как-то пышно хороша; руки, шея, глаза, волоса — у нее все было классически хорошо»[1].

Пушкин отзывается о графине Ф. И. Шуваловой: «кокетка польская, т. е. очень неблагопристойная»[2].

О связях Н. И. Греча с III Отделением.[3]

Стр. 209.

Арест М. Л. Михайлова. При вторичном обыске у Михайлова, имевшем место 14 сентября 1861 года, сыщики, между прочим, действительно «взяли на помощь... «бабу Аграфену» для осмотра Л. П. Шелгуновой».[4]

Стр. 210.

Остров Вайт (или Уайт, White — Белый) близ южных берегов Англии, известный своей живописностью, фешенебельный морской курорт, облюбованный королевой Викторией, которая имела здесь виллу.

Стр. 213.

Расточительность императрицы Александры Федоровны. «Мы относимся с глубоким уважением к вдовствующей императрице; мы искренно убеждены, что если бы эта государыня, доброта и благородство которой всем известны, только знала четверть правды о плачевном состоянии казны и финансов России и об опасности, которой плачевное это состояние грозит ближайшей будущности страны, и следовательно, и царствующей династии, никогда, мы убеждены в том, не допустила бы она тех безграничных и неслыханных расходов, которые произведены для нее во время поездок и пребывания за границей. Она путешествует не со свитой, а с целым племенем прислужников всех чинов и званий. Надо ли ей остановиться в гостинице — по предварительному соглашению с владельцем все жильцы изго-

---

[1] А. О. Смирнова-Россет. «Записки, дневники, воспоминания, письма», со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, под ред. М. А. Цявловского, М., 1929 г., стр. 206—208.

[2] «Дневник А. С. Пушкина». Труды Государственного Румянцевского музея, вып. I, стр. 53.

[3] Н. И. Греч. «Записки моей жизни», предисловие Иванова-Разумника, Изд. «Academia», М.-Л., стр. 18—21.

[4] М. К. Лемке. «Политические процессы в России 1860-х годов по архивным документам», М.-Л., 1924 г., стр. 84.

няются с определенного дня: гостиница целиком остается в распоряжении императрицы за плату в 3 или 4 тысячи франков в день. При последнем ее проезде через Симплон, в октябре 1859 года, пришлось в Швейцарии доставать почтовых лошадей за несколько десятков километров; так как эти лошади дожидались несколько дней, то пришлось за простой платить по известной таксе за каждый день. Сверх того, часть багажа, как мы видели собственными глазами, была препровождена из Женевы в Ниццу через гору Сени. Расходы по пребыванию подымались до безумных размеров. Если при русском дворе воображают этими выходящими за всякие пределы и непростительными расходами произвести в Европе впечатление, отвечающее могуществу обширной империи, то в этом сильно ошибаются. Впечатление получается совершенно противоположное. Эти путешествия, носящие черты чисто восточной, типично азиатской роскоши служат предметом насмешек для всей Европы, которая считает нас за людей полуцивилизованных, носящихся с идеей, достойной Азии, ослепить нашей роскошью»[1].

В № 6 «Листка» от мая 1863 г. помещена статья «Наш переезд в Лондон», где сообщаются сведения о процессе, возбужденном графом П. Г. Шуваловым против Долгорукова.

В примечании к стр. 94[2] напечатано: «Петр Григорьевич Шувалов состоял при дворе покойной императрицы, матери Александра II. Он сопровождал эту государыню в путешествиях и вел расходы ее двора. Известно, какие ужасающие хищения имели место вокруг этой доброй императрицы. Петр Григорьевич Шувалов наворовал массу денег во время этих путешествий. Войдя во вкус обогащения за счет казны, одаренный колоссальным самомнением, он вбил себе в голову глупую идею стать министром финансов России. С этой целью он напечатал в «Indépendance Belge» под инициалами P. S. несколько писем, банальных и плохо продуманных, в которых он претендует поучать европейскую публику относительно того, что всякий школьник знает лучше него. Ничтожество и низость — качества, преобладающие в этом «милостивом государе», — являются великолепными средствами продвижения в России, но все-таки надо надеяться, что финансы России не будут преданы на

---

[1] «La vérité sur la Russie» p. 278—279.

[2] «La vérité sur le procès du prince P. Dolgoroukow», par un Russe. Londres (фиктивно), 1862.

разграбление пошлому пресмыкающемуся и бесчестному придворному холопу, каким является граф Петр Григорьевич Шувалов».

Заочный приговор Брюссельского трибунала по иску графа Шувалова к Долгорукову состоялся 5 июля 1863 года[1].

Теперь мы будем говорить о министрах и членах Государственного совета. Долгоруков не успел дать всех обещанных характеристик. О некоторых лицах, намеченных в списке и не дождавшихся своего описания в «Очерках», он дает краткие, но очень законченные характеристики на страницах своего журнала «Le Véridique»[2], отличающиеся, надо сказать, вследствие их краткости, литературности и отсутствия бранчливости, большим внешним совершенством и большей убедительностью, чем печатавшиеся им в русских листках. Вообще, как указано в предисловии, Долгоруков лучше и изысканнее писал по-французски, чем по-русски, отчасти, может быть, учитывая более высокие требования к форме со стороны французского читателя.

Приводим отсутствующие в русских листках характеристики в русском переводе.

«**Министр внутренних дел П. А. Валуев,** родившийся в 1815 году, принадлежит к семье, известной в России с XIV века. Он много читал, много штудировал; он трудолюбив и вполне владеет бюрократической рутиной. Лично, по умеренности, свойственной его характеру, он, может быть, склонялся бы к идеям конституционным; к тому же он отличается полнейшим бескорыстием; но в качестве отца семьи, без состояния, он считает себя обязанным, чтоб удержаться на высоких государственных постах, расточать слова в смысле, приятном для каждого, и затем подписывать все, что угодно господствующим в данный момент силам. Его вступление в министерство является результатом компромисса между двумя противоположными партиями. Неспособность министра внутренних дел Ланского делалась слишком очевидной: его удалили, дав камергерский ключ и графский титул. Либеральная партия бюрократии хотела вручить портфель внутренних дел Н. А. Милютину, а стародуры — одному из своих кандидатов. При невозможности полного успеха ни для той ни для другой стороны, обе

---

[1] «Листок», № 12 от 23 сентября 1863 г.
[2] «Le Véridique», t. I, 1862.

партии согласились на компромисс, и на пост министра внутренних дел призвали Валуева, который нравился либералам своими либеральными фразами, а стародуры были уверены, что он не будет бороться с ними, как вообще никогда ни с кем бороться не будет, а в день, когда их влияние превозможет, будет подписывать все, что бы они ни захотели. Валуев внешне держит себя превосходно; в нем учтивость и достоинство соединяются с самым хорошим тоном; он отличается восхитительной вежливостью; с одинаковым видимым интересом и сочувствием выслушивает он и либералов, и реакционеров; он ни с кем не спорит; имеет вид, что всем все обещает, не принимая на себя никаких обязательств, а потом делает то, что может заслужить ему благоволение власть имущих, кто бы они ни были. Так он опустился до того, что подписал секретный циркуляр с предложением провинциальным властям не принимать ни на какие, даже самые ничтожные, места студентов, которые вышли из университетов прошлую осень. Это значило лишить этих несчастных юношей последнего куска хлеба за то, что они были настолько благородны, что возмутились варварским и диким обращением с их сотоварищами; это бесчеловечное распоряжение карало благородство и приговаривало честь к голодной смерти. Надо знать П. А. Валуева, как мы знаем его в течение 25-ти лет, надо знать, как мы знаем, его честность и доброту его сердца, чтоб поразиться, как человек, добрый и человечный, мог дойти в своей слабости до того, чтоб приложить свое имя к подобной чудовищности»[1].

«Князь П. П. Гагарин, родившийся в 1787 году, человек умный, бескорыстный, но привязанный к старому режиму, к режиму старых злоупотреблений, к тому же по резкости своего характера, мрачного и неприветливого, привязанный к абсолютизму. Очень приветливый в салоне, но крайне неприятный в официальных сношениях, склонный считать резкость за энергию, жестокий, беспощадный, чуждый всякому чувству жалости, это один из тех людей, которые, вызывая к себе ненависть, приносят величайший вред правительствам, которым они служат. В настоящий момент, когда реакционная партия овладевает вновь влиянием, она стремится сосредоточить власть в руках князя Гагарина, и если это ей удастся, то мы увидим в России возрождение самодержавного террора»[2].

Д. Н. Замятнин. «Временно обязанности министра юстиции были возложены на сенатора Замятнина, до тех пор товарища

---

[1] «Le Véridique», t. I, p. 74—76, 1862.

[2] Там же, p. 81—82.

министра. Это человек ничтожный, без веса и без положения, человек, лишенный личного значения, без политических убеждений, всегда готовый стать на сторону того мнения, которое в данный момент превалирует в высших сферах власти.

...Впрочем, не имея ни политических способностей, ни положения при дворе, он никого не пугает, и может случиться, что исполнение им обязанностей может затянуться: различные партии, которые борются за этот пост, предпочитают видеть на нем Замятнина, чем человека серьезного, которого им трудно было бы затем сбагрить»[1].

«Генерал Зеленой заменил в Министерстве государственных имуществ Михаила Муравьева... Зеленой — человек умный и хитрый, но вся его хитрость не может скрыть в нем бюрократа и врага либеральных идей... Милость и доверие Михаила Муравьева являются несмываемым политическим пятном, от которого Зеленой никогда не очистится»[2].

Е. П. Ковалевский. «Евграф Петрович Ковалевский, человек умный, ученый, и учености серьезной и дельной, во всю жизнь свою отличавшийся стремлением к просвещению, с понятиями либеральными, разумными, к тому же человек истинно добрый. К сожалению, в нем совершенный недостаток энергии... Е. П. Ковалевский заслуживает сильнейших упреков за свою неописанную слабость и за свою постыдную готовность угождать царской дворне»[4].

«Барон Модест Андреевич Корф, родившийся в 1798 году, принадлежит к старинной немецкой фамилии, осевшей несколько столетий тому назад в Прибалтийском крае. Он получил образование в Царскосельском лицее, где он был товарищем вице-канцлера князя Горчакова и знаменитого поэта Пушкина. Это человек посредственных способностей, работник трудолюбивый, всегда старающийся хитрить и чаще всего чрезвычайно неловко. Всегда стараясь угодить двору и сильным сегодняшнего дня, он по поручению императора Николая написал книгу о событиях, ознаменовавших вступление на престол этого государя. В этой книге, в которой автор льстит Николаю самым смешным и недостойным образом, Корф имел печальную смелость бросить оскорбление в лицо людям, которые в то время еще стонали в Сибири и сосланы были в Сибирь (некоторые даже на каторжные работы в рудниках), за то, что пожертвовали своим общественным

---

[1] «Le Véridique», t. I, pp. 369, 370, 371, 1862.
[2] Там же, p. 77.
[3] «Правда о России», т. II, стр. 170—172.

положением, будущностью, состоянием, свободой — словом, всеми благами этого мира, чтоб попытаться дать политическую свободу своей отчизне, находившейся в рабстве!

В последние годы мрачного царствования Николая, в тот момент, когда политическая инквизиция царила над Россией и террор был лозунгом дня, Корф принял печальную должность инквизитора мысли; он сделался председателем Главного цензурного комитета, комитета, считавшегося официально тайным, но известного по всей России, который был поставлен над законами, чтоб преследовать сочинения, уже разрешенные цензурой. Надо было быть свихнувшимся сумасшедшим русским правительством, чтобы, имея в своем распоряжении цензуру, доведенную до последней степени строгости, учреждать еще для наблюдения над нею новую инквизиторскую цензуру под председательством Корфа. Преданный порядку, под печальной тенью которого он возвысился и благоуспел, Корф является защитником всех старых злоупотреблений, защитником «чина» и врагом конституционных идей. Год тому назад он опубликовал биографию графа Сперанского (книгу очень интересную по своему содержанию...). В этой биографии, упоминая лишь смутно о реформах, предложенных Сперанским в 1809 году, он воздерживается говорить, в чем они состояли: дело в том, что эти реформы были не чем иным, как проектом конституции. Единственное право Корфа на благодарность России — это прекрасное устройство, приданное им С.-Петербургской Публичной библиотеке»[1].

«**Адмирал Краббе** — моряк в цвете лет, хороший администратор, человек честный. Его политические убеждения (если они у него есть) неизвестны, но, надо полагать, что, обязанный карьерой и министерским портфелем великому князю Константину, он пойдет по политической стезе, проложенной его высочеством»[2].

П. П. Мельников. «Чевкина заменил генерал-лейтенант Мельников, и этот выбор встретил всеобщее одобрение. Мельников — знающий инженер и честный человек, не пользовался расположением бывшего в прошлое царствование министром путей сообщения графа Клейнмихеля; его немилость у Клейнмихеля создала ему популярность в обществе, которой он с тех пор и не терял. Без покровителей и без поддержки, он благородно обязан своей карьерой себе самому, своему образованию,

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 52—54.
[2] Там же, p. 82.

своим талантам, своей энергии. Можно только опасаться, что Мельников будет вынужден либо покинуть свой пост, либо подчиниться требованиям сильных людей. При конституционном режиме министры нуждаются в поддержке палат, иначе говоря — общественного мнения; но при самодержавном, деспотическом режиме министр, чтобы действовать самостоятельно, нуждается обязательно в поддержке двора. А этой-то поддержки у генерала Мельникова нет...»[1].

Впоследствии Долгоруков переменил свою точку зрения на Мельникова.

Д. А. Милютин. «Военному министру генералу Д. А. Милютину около 50-ти лет. Его прапрадед, придворный истопник при императрице Анне, получил в 1739 году дворянство; отец его, занимавший довольно высокое место в гражданской администрации, женился на Киселевой (сестре посла), мать которой была урожденная княжна Урусова, и этот брак создал для семьи Милютина связи и отношения. Он оставил четырех сыновей, все людей умных и достойных. Младший, Владимир, талантливый писатель, одаренный прекрасной душой, погиб в цвете лет самым печальным образом: пораженный чахоткой и терзаемый несчастной любовью, он покончил с собою. Второй сын — Н. А. Милютин — один из самых способных и энергичных людей в партии либеральной бюрократии; старший — военный министр. Генерал Милютин — человек, бесспорно, достойный, но административные и организаторские таланты ему еще предстоит проявить. Четыре года он исполнял обязанности начальника штаба Кавказской армии под начальством князя Барятинского, а Кавказ еще хуже управляется, чем когда-либо; правда, его таланты там могли парализоваться ошибками князя Барятинского, самой тщеславной бездарности и преисполненной самомнения ничтожности даже в Петербурге... Генерал Милютин — писатель замечательного таланта; он напечатал прекрасную военную и дипломатическую историю похода Суворова в Италию в 1799 году, и эта книга, помимо знания и таланта, написана с редкой ловкостью: в пяти томах этого труда, изданного в самые мрачные годы царствования Николая, нет ни одного слова неправды и нет ни одной строчки, которая бы могла испугать столь подозрительное русское правительство.

Как почти все люди, вознесенные к власти благодаря поддержке великого князя Константина, Милютин отличается строгой честностью; сверх того, быстрое возвышение в проти-

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 372.

воположность тому, что обычно происходит и принято в Петербурге, не вскружило ему головы; он остался тем же, каким был прежде: старые его отношения нисколько не изменились, и это обстоятельство, совершенно нормальное в Европе, в Петербурге является фактом совершенно исключительным. Тем самым Милютин показал, что нет ничего общего между человеком благородным, каков он, и петербургской толпой титулованных и раззолоченных холопов, низкопоклонных до отвращения в отношении тех, кто им нужен, и надменных в отношении всего прочего человеческого рода.

Со времени отъезда великого князя в Варшаву Милютин, подобно Головнину, не чувствуя за собой поддержки в Государственном совете и вынужденный бороться с людьми, весьма могущественными при дворе, сильно ослабел: он старается спасти свое положение как министра путем уступок, заслуживающих большого порицания. Люди достойные, как Головнин и Милютин, должны были бы все-таки понять, что в политике всегда почетнее и является признаком большей ловкости — временно устраниться, чтоб не содействовать в нелепых предприятиях и вновь выступить позже в новом блеске»[1].

А. С. Норов. Краткую его характеристику Долгоруков дает в «Правде о России».

«В 1853 году умер Шихматов, и на место его поступил Абрам Сергеевич Норов, человек вполне благонамеренный и высокой честности, сам ученый и писатель; но две причины мешали ему быть министром не только хорошим, но даже и сносным: во-первых, чрезмерная, баснословная рассеянность, доводившая его до того, что он постоянно забывал и путал дела, и, во-вторых, чрезвычайная слабость характера, слишком доброго и слишком мягкого, тогда как в Петербурге невозможно быть хорошим министром без ежедневной борьбы с царской дворней. Абрам Сергеевич человек ученый: он подробно знает, день в день, что делали в древности Перикл и Цицерон, но никогда не знал, что следует делать в Петербурге русскому министру народного просвещения»[2].

Об упоминаемом здесь предшественнике Норова, князе Ширинском-Шихматове, Долгоруков пишет: «Граф Уваров был удален [после событий 1848 года] из министерства, и на его место посадили князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, татарина происхождением, истинного татарина по

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 71—74.
[2] «Правда о России», т. II, стр. 167—168.

своим понятиям и политическому направлению. Глупый и подлый холоп-бюрократ, он умел сделать цензуру и посмешищем, и предметом ненависти в России... В это время запрещено было именовать лошадей христианскими именами. Мудрые чиновники, окружавшие мудрого министра Шихматова, подняли тогда вопрос: относится ли это запрещение исключительно к именам православного календаря или также к именам прочих христианских вероисповеданий. Вопрос подвергся торжественному обсуждению в полном заседании Главного правления цензуры, и последнее истолкование одержало верх. В то же время цензура вычеркнула из кухонной книги слова «вольный дух», а в описании одной губернии не позволила напечатать похвалу губернскому почтмейстеру, «потому, — говорил цензор, — что предшественники его могут принять это себе в обиду». Не пропустила также цензура объявления, что у такого-то господина пропала собака по кличке Тиран, и хотела, чтобы напечатали, что собака имела кличку Фиделька»[1].

«**Граф Виктор Никитич Панин** (родившийся в 1801 году) принадлежит к знатной фамилии, возведенной на высокую степень и прославленной при Екатерине II двумя его дедами, из которых один был знаменитым генералом, а второй, воспитатель Павла I, руководил всей иностранной политикой России.

Отец графа Виктора Никитича, граф Никита, был в 26 лет посланником в Берлине и в 28 — вице-канцлером, подвергся опале Александра I с запрещением являться в города, в которых имела пребывание императорская фамилия. Память об этой длительной опале отца, продолжавшейся целых 36 лет, оставила неизгладимый след на уме графа Виктора Никитича; и результатом ее было то, что этот человек, столь надменный, сухой, непреклонный в отношении подчиненных, столь решительный в делах, от него зависящих, преображается пред лицом могущества и влиятельности при дворе в самого гибкого и льстивого царедворца. Это — человек широкого образования, большой энергии и ума замечательного, но с ним часто бывают затмения, и ему то и дело изменяет здравый смысл. Он настоящий глава партии стародуров в России... Это ожесточенный враг всякого прогресса, энергичный защитник всех старых злоупотреблений, скрытый и влиятельный, пользующийся доверием советник, к которому прислушивается камарилья; словом, это — министр юстиции, который, не говоря о его bête noire —

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 159, 161.

о суде присяжных, считает гласность и словесную форму суда за учреждение чрезвычайно вредное»[1].

«Опубликование проектов новых уставов вызвало сильное неудовольствие графа Панина; тем не менее, жадный до власти, он не хотел подавать в отставку; он хотел продолжать свое обычное дело: оставаться у власти и тормозить всеми возможными способами реформы. Но 10 октября в Лондоне вышел № 148 «Колокола», в котором приводится резюме князя П. П. Гагарина [приложенный к проекту, с изложением взглядов меньшинства, возглавляемого Паниным]. Едва этот номер «Колокола» прибыл в Варшаву и попал в руки великого князя Константина, как его высочество написал императору, чтобы убедить его величество, что невозможно оставлять министром юстиции человека, чьи сверхазиатские убеждения получили такую гласность. Утром 20 октября, в день, счастливый для всей России, граф Панин был вызван по телеграфу в Царское Село и после 15-минутного разговора с его величеством сложил свой портфель. Невозможно описать радость, которая при этом известии охватила Россию, избавившуюся наконец от подобного министра юстиции; в особенности ликовали чиновники Министерства юстиции и члены судебной магистратуры, освободившиеся наконец от ненавистного начальника. Все поздравляли друг друга, как по поводу всенародного праздника; некоторые чиновники и судейские в знак радости задали обеды друзьям, а мелкие писари побежали напиться в кабачки на радости, что отделались от начальника, длительное, суровое и нелепое управление которого уже получило в России название «панинщина».

В России, когда прогоняют министра, принято давать ему рескрипт, в котором ему приписывают качества, которыми он никогда не обладал, благодарят за услуги, которых он никогда не оказывал, неизменно оплакивают, что состояние его здоровья, расшатанного трудами на благо общества, принуждает его покинуть должность, и просят не лишать государство содействия советами и его опытностью. Эта комедия, ни для кого не составляющая тайны, была разыграна и относительно графа Панина. Он получил рескрипт, в котором возглашали про его патриотизм, благодарили за все оказанные им услуги (а он непрерывно вредил своей стране), оплакивали состояние его здоровья (это справедливо в отношении его умственных способностей, но за исключением мозга; в остальном он здоров, как Новый мост в Париже) и просили не лишать Россию своих

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 55—56.

суждений и советов (которые, как мы видели, были так полезны!)»[1].

В заключение приведем несколько анекдотов о Панине, сообщаемых Долгоруковым в «Правде о России»[2].

«Однажды, быв у него в салоне и разговаривая с ним, мы слышали от него следующие слова: «не следует допускать в России адвокатуры, потому что *опасно распространять знание законов вне круга лиц служащих»*. Другой раз он дал предписание по Министерству юстиции не увольнять за границу тех из чиновников, которые не прослужили полных пяти лет; потом новый циркуляр: не пускать за границу тех, которые не прослужили десяти лет, кроме случая болезни, и то по свидетельству врача, отряженного от Министерства юстиции... В 1852 году он предписал всем высшим чиновникам своего ведомства наблюдать за частной жизнью подчиненных и *доносить* о ней министру. Как-то ему показалось, что в Московском сенате бумага, чернила и перья обходятся слишком дорого. Он предписал высылать их из Петербурга. А как бумага покупаема была на фабриках, находящихся невдалеке от Москвы, то пришлось возить ее с фабрик в Петербург и потом опять в Москву. В другом случае он запретил всем чиновникам Министерства юстиции, кроме обер-прокуроров, иметь тяжебные дела без разрешения министра юстиции. Таким образом, если с лицом, служащим по Министерству юстиции, кто-либо заводит тяжбу об имении или о чем другом, то он должен просить разрешения министра, прежде чем осмелится защищать свои права.

Присутственные места представляют свои отчеты в начале года за год истекший. Николай Павлович, взглянув однажды случайно на сенатские отчеты, увидел, что к 1 января остались дела нерешенные и, ничего не обдумав, ничего не сообразив, приказал министру юстиции сделать выговор обер-прокурорам. Эти последние объяснили Панину, что для апелляции по делам существуют сроки, прежде истечения коих нельзя по закону приступать к рассмотрению дел, что сроки еще не истекли. Панин отказался передать государю объяснения обер-прокуроров, оправдания справедливые, основанные на законе, и, по своему обыкновению свысока, как будто проповедуя какой-либо несомненный догмат, объявил им, что государь всегда прав и никогда ошибаться не может. Последствием этого глупейшего дела было прибавление нового официального обма-

---

[1] «Le Véridique», № 3, 1863, p. 367—369.
[2] «Правда о России», т. I, стр. 22—26.

на ко всем прочим, столь многочисленным, коими обильно русское управление. Теперь к 1 января дела нерешенные и невыслушанные означаются выслушанными, но требующими дальнейших справок и потому отложенными до нового доклада».

А. А. Суворов. «Князь Александр Аркадьевич, родившийся в 1806 году, внук знаменитого полководца того же имени, получил воспитание в Швейцарии. Замешанный в заговор 14 декабря 1825 года, он был обязан сперва помилованием, а потом быстрой карьерой тому восхищению, которое император Николай питал к памяти знаменитого Суворова. Князь Александр — человек большой моральной силы: возвышенное благородство и неоспоримая прямизна соединяются в нем с большой придворной тонкостью, но того рода тонкостью, которая, давая ему знание людей и человеческого сердца, никогда не сведет его с пути чести. У него прекрасное сердце, всегда готовое оказать услугу, облегчить несчастных; он отличается примерным бескорыстием, и всякое доброе, благородное, честное чувство всегда найдет отзвук в его душе. Все эти качества, понятно, делают его ненавистным петербургской камарилье; со своей стороны он сам, вместо того чтобы, подобно большинству высоких сановников, заискивать у этой недостойной камарильи, не упускает случая бороться с ней. Уже неоднократно камарилья пыталась внушить государю, что князь Суворов был бы чрезвычайно полезен на посту генерал-губернатора Кавказа; но эти попытки, имевшие целью удалить этого благородного вельможу, до сих пор не увенчались успехом»[1].

«**И. И. Тымовскому,** статс-секретарю по делам королевства Польского, более 60-ти лет. Это один из тех поляков, которые ради личного спокойствия примкнули к режиму, установившемуся в царствование Николая, хотя и мечтали о лучших днях, о более здравой и человечной политике, так как понимали, что режим эпохи, о которой мы говорим, представлял собою насмешку над человеческим здравым смыслом и оскорбление величия Божия. Тымовский — один из тех поляков, которые будут превосходными патриотами в тот день, когда это будет безопасно»[2].

«**Генерал Чевкин,** начальник путей сообщения, родившийся в 1803 году, человек очень умный, очень образованный, очень трудолюбивый, но все эти качества совершенно испорчены его тяжелым характером в соединении с безмерным честолюбием.

---

[1] «Le Véridique», № 1, p. 41—43.
[2] Там же, p. 83.

Его характер приводит его постоянно к ссорам со всеми и делает его совершенно неприятным для всех, кому приходится иметь с ним дело; с другой стороны, его честолюбие толкает его иной раз к уступкам, на которые он не должен был бы идти, и все время у него проходит в том, что он ссорится, потом уступает придворным влияниям, потом снова ссорится со всеми. Он превосходно себя держал в вопросе об освобождении крестьян, но, за этим исключением, всегда противился всем другим реформам. В итоге, это стародур с либеральной фразеологией; он долго служил при императоре Николае, у которого состоял флигель-адъютантом; а те, кто служил при Николае, мало к чему годны в политике. Император Николай не любил его, так как находил в нем какую-то долю ума; эта полунемилость заставила общественное мнение говорить, что Чевкин, как и Михаил Муравьев, который тоже находился в полунемилости, должны быть людьми способными, раз Николай их не любил. После смерти этого государя Чевкин был призван на пост министра, и несколько позже, в 1857 году, Муравьев тоже был назначен министром государственных имуществ. На этот раз общественное мнение впало в ошибку, с той разницей, что Чевкин, как мы сказали, вел себя хорошо в вопросе эмансипации, а Муравьев — очень плохо как в этом вопросе, так и в других. Были вынуждены удалить Муравьева в декабре 1861 года, и только усердное ухаживание за великим князем Константином было причиной сохранения Чевкина у власти. Ныне (1862), после июньской реакции, последний вернулся опять в свой естественный элемент»[1].

«Формалист по привычкам, всессорящийся [употребляем русское выражение самого Долгорукова] по характеру, резкий в приемах, желчный в выражениях, Чевкин, несмотря на замечательный ум, заставил себя все-таки ненавидеть и, подобно Панину, вызывал неприязнь общественного мнения, требовавшего его устранения. Ему предлагали подать в отставку, но так как он принес России меньше вреда, чем граф Панин, он не получил фантастического рескрипта (настоящая фантазия — потому что в этих рескриптах рассказывалось то, чего никогда в жизни не было)»[2].

Стр. 218.

Убийство Петра III. Долгоруков говорит об известном письме Алексея Орлова, которым он извещал Екатерину II о

---

[1] «Le Véridique», №1, p. 60—61.
[2] Там же, p. 371.

смерти Петра III: «Свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором [Барятинским]; не успели мы разнять, сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. А его уже не стало»[1].

Письмо это, по выражению Бильбасова, «вполне обелявшее Екатерину от всяких подозрений», хранилось ею в особой шкатулке, которая после ее смерти была вскрыта по поручению Павла I графом Безбородкой. По словам княгини Дашковой, прочитав эту записку, Павел перекрестился и сказал: «Слава Богу! Те некоторые сомнения, какие у меня были относительно моей матери, теперь рассеяны»[2].

Это письмо было в руках графа Ф. В. Ростопчина, который удостоверяет его подлинность. Оно было затем уничтожено Павлом, который «сам истребил памятник невинности великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезновал». В «La Vérité sur la Russie»[3] сообщается анекдот, долженствующий подтвердить соучастие Екатерины в предумышленном убийстве Петра III: «Граф Семен Воронцов, живя на старости лет в отставке в Лондоне, рассказывал князю Г. (от которого мы и слышали этот анекдот), что после убийства Петра III он, встретив как-то одного из убийц, князя Федора Барятинского, спросил его: «Как ты мог совершить такое дело?» На что Барятинский ответил ему, пожимая плечами: «Что тут было делать, мой милый? У меня было так много долгов».

Другое толкование происшествия, распространявшееся семьей Барятинских, мы находим у А.О. Смирновой-Россет: «Фельдмаршал (А. И. Барятинский) рассказывал историю убийства Петра III. Он говорил, что князь Федор Барятинский играл в карты с самим государем. Они пили и поссорились за карты. Петр первый рассердился и ударил Барятинского, тот наотмашь ударил его в висок и убил его»[4].

Стр. 219.

Князь А. И. Барятинский. Сведения о Барятинском, сообщаемые Долгоруковым, подтверждаются «Записками» управляющего делами князя Б. А. Инсарского (печатались в «Русской старине», 1894—1895 гг.). Интересно сравнить характеристику,

---

[1] «Архив князя Воронцова», М., 1881, т. XXI, стр. 430.
[2] С. М. Соловьев. «История России», изд. «Общ. Польза», т. 1, стр. 1356.
[3] «La vérité sur la Russie», p. 191—192.
[4] А. О. Смирнова-Россет. «Автобиография». М., 1931, стр. 113.

которую дает Долгоруков Барятинскому, с отзывами о нем близко его знавшего д-ра Э. С. Андреевского»[1].

Желчный и обидчивый, Андреевский отзывается о Барятинском не менее резко, чем Долгоруков: «Князь Барятинский делами занимается теперь очень усердно, но, разумеется, без всякого знания» и т. д. «Барятинский — человек столь неспособный и столь честолюбивый» и т. д. Он косвенно подтверждает те мотивы, которые Долгоруков приписывает Воронцову при назначении Барятинского и высмеивает дутый характер реляций Барятинского. Надо иметь в виду, что Андреевский был одним из источников осведомления Долгорукова относительно Барятинского. В «Будущности» было напечатано без подписи «Письмо с Кавказа», принадлежавшее Андреевскому и посвященное деятельности Барятинского.

Стр. 223.

Князь А. И. Барятинский и великая княгиня Ольга Николаевна. О попытке князя А. И. Барятинского заинтересовать великую княжну пишет в своих «Воспоминаниях» и доктор Николая I Мандт[2].

Графиня М. Д. Нессельроде. Сводку всех мемуарных отзывов о ней см. у П. Е. Щеголева[3].

Сравнивая характеристику, данную ей Долгоруковым, с другими показаниями, он приходит к такому выводу: «Резким отзывам Долгорукова можно поверить, ибо в конечном счете основные черты характера графини изображены так же и в отзывах ее поклонников». Пушкин в своем дневнике отзывается о ней: «Ужасна и опасна»[4].

Стр. 225.

Князь М. С. Воронцов. Чрезвычайно резкую и далеко не объективную характеристику Воронцова Долгоруков дает в брошюре «La vérité sur le procès du prince P. Dolgoroukow»[5]:

«Фельдмаршал князь Воронцов был искусным военачальником и искусным администратором; он отличался широким умом, но это был человек самый фальшивый в мире, заискивающий, двуличный, и притом чрезвычайно мстительный. Несмо-

---

[1] Э. С. Андреевский. «Записки», под ред. С. Л. Авелиани, Одесса, 1913 г., т. I.

[2] М. Мандт. «Воспоминания», Мюнхен — Лейпциг, 1923 г.

[3] П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», изд. 3-е, М.-Л., 1928 г., стр. 456—460.

[4] «Дневник А. С. Пушкина», стр. 230—231.

[5] «La vérité...», р. 24—25.

тря на высокое положение, несмотря на громадное состояние, которым он был обязан предательствам, хищениям и бесчестным поступкам своей фамилии, несмотря на независимость, которой он обладал, он в течение всей своей жизни был пошлейшим царедворцем. В день, когда в России узнали о казни знаменитого Риэги, он обедал за императорским столом и проявил такую радость, что сам император нашел ее неуместной. Русские государи пользовались Воронцовым, не уважая его. Так, в 1828 году в Одессе, где он был губернатором, полковник Р[аевский], который находился в близких отношениях с княгиней Воронцовой и которому она затем отказала в доме, встретив княгиню на улице, забылся до того, что нанес ей удар тростью. Князь Воронцов, которому было тогда 47 лет, не вызвал 32-летнего Р[аевского], но пожаловался императору Николаю, а Николай, обычно столь суровый в отношении тех, кто оскорблял его чиновников, ограничился приказанием Р[аевскому] выехать из Одессы и покинуть Новороссийский край, управляемый князем Воронцовым».

Андийский поход в Дагестан, предпринятый летом 1845 года по приказанию Николая I, имел целью взятие резиденции Шамиля, аула Дарго, расположенного в самой лесистой части Чечни (Ичкерии). Значительный экспедиционный корпус под начальством самого Воронцова вступил 6 июня в чащу ичкеринских лесов, по которой пришлось пробираться с неимоверными трудностями, преодолевая под огнем противника искусственные завалы, чтобы найти Дарго покинутым и сожженным Шамилем. Дальнейшие поиски неприятеля сопровождались громадными потерями и едва не привели к полному уничтожению экспедиционного корпуса, оказавшегося окруженным со всех сторон и страдавшего от недостатка продовольствия; только благодаря своевременной подмоге генерала Фрейтага Воронцову удалось выбраться с остатками своего отряда из западни, в которую сам себя завел. Потери были по тому времени громадные: из строя выбыли 3031 человек, в том числе 3 генерала и 141 офицер, не считая потери трех горных орудий и множества лошадей. Формально цель похода была достигнута: резиденция Шамиля была уничтожена; но реальной пользы от предприятия не было никакой.

Стр. 227.

О соперничестве между Барятинским и Адлербергом говорит и В. А. Инсарский. Он пишет о лицемерной дружбе «А», который, узнав о приезде князя Барятинского с Кавказа, «тотчас

впал в какую-то странную задумчивость», из чего заключили, «что это обстоятельство не только не было приятно для графа, но и, видимо, встревожило его» и т. д.[1].

Стр. 229.

Одна женщина, замечательная красотой — вдова флигель-адъютанта Алексея Григорьевича Столыпина, Мария Васильевна, урожденная княжна Трубецкая. О проекте брака ее с князем А. И. Барятинским см. в «Русской Старине»[2]. В тех же записках рассказывается и об отказе А. И. Барятинского от части имения в пользу брата; но, разумеется, без того толкования, которое ему дает Долгоруков.

М. В. Столыпина в 1851 году вышла замуж за князя Семена Михайловича Воронцова, отец которого, князь Михаил Семенович, получил титул светлости в марте 1852 года[3].

Стр. 232.

О Н. Д. Киселеве и жизни его в Париже см. «Автобиографию» А. О. Смирновой-Россет.

Стр. 235.

Зависимость Александра II от окружающих. Долгоруков во всех своих писаниях всегда подчеркивает одну черту в характере Александра II, по-видимому, действительно бросавшуюся в глаза, — его слабоволие и способность легко подчиняться влияниям. Он пишет[4], что Александр II, «снабженный от природы умом скудным, не понимает дел ясно... Добряк при своем скудном уме не догадывается, что он не что иное, как орудие в руках константиновцев, которые его водят за нос; в руках кальянщиков, которые его обирают; в руках своей дворни, которая грабит его; одним словом, он разыгрывает жалкую и смешную роль совершенной пешки».

Стр. 238.

Маркиза Е. А. де Виллеро пользовалась исключительным доверием князя Долгорукова; ей при отъезде за границу в 1842 году он поручил часть своих бумаг.

«История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I». Первым изданием книга Д. А. Милютина вышла в 1852—1853 гг., вторым в 1857 году.

---

[1] «Русская старина», № 11, 1894 г., стр. 41.
[2] Там же, «Воспоминания В. А. Инсарского», 1894 г.
[3] «La vérité», р. 27—28.
[4] «Листок», № 13, 20 октября 1863 г.

Стр. 242.

Странноприимный Сенат. «Сенат утратил ныне всякое значение. В него сажают генерал-лейтенантов, которые дурно командуют дивизиями или уже не в состоянии ездить верхом; адмиралов, которым преклонные лета не дозволяют продолжать службу на море; губернаторов, оказавшихся слишком неспособными даже среди своих неспособных товарищей, и тайных советников, коих места назначаются министрами своим ближним по родству или по приязни. Лишь только генерал-лейтенанта или тайного советника разобьет паралич, его сажают в Сенат; после второго удара паралича его назначают членом Государственного совета; после третьего удара паралича он может надеяться быть министром, и если он сделается министром, то при четвертом ударе паралича ему открывается при случае возможность заделаться председателем Государственного совета и Комитета министров»[1]. Характеристика эта вызвала негодование прокурора Парижской судебной палаты, выступавшего в процессе Воронцова против Долгорукова.

Стр. 244.

Князь А. Ф. Голицын описан А. И. Герценом[2]. Он называет его «отборнейшим инквизитором» и прибавляет, что «порода эта у нас редка».

Долгоруков говорит о нем также в № 6 «Будущности» (заметка: «Комиссия прошений жульничает, а государь подписывает не читая») и в «Le Véridique»[3].

Стр. 249.

Харьковская студенческая история. Дело идет о тайном обществе, образовавшемся в 1856 году среди студентов Харьковского университета. Президентом общества был Н. М. Раевский, вице-президентом Я. Н. Бекман, казначеем К. А. Хлопов, секретарем Н. В. Завадский и библиотекарем М. Д. Муравский, впоследствии участник «процесса 193-х». Общество ставило себе целью пропаганду республиканского образа правления; немногочисленное по составу (12—14 человек), оно распалось в 1858 году[4].

Стр. 251.

Книга Е. П. Ковалевского «Граф Блудов и его время» вышла в Петербурге в 1866 году.

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 56—57.

[2] А. И. Герцен. «Былое и думы», Полн. собр. соч., под ред. М. К. Лемке, гл. XII, стр. 226.

[3] «Le Véridique», t. I, № 2, 1862, p. 255—259.

[4] «В. П. Козьмин, М. Д. Муравский в Харьковском тайном обществе» («Каторга и ссылка», кн. 41, М., 1928 г.).

Стр. 256.

Екатерина II. В «Правде о России» Долгоруков дает краткую, но меткую характеристику Екатерины.

«В первые годы своего царствования Екатерина вовсе не пользовалась любовью народной. Приехав в Москву для коронования, она была встречена с ледяной холодностью: обычных криков «ура» вовсе не раздавалось. Самым восшествием на престол она обязана была гвардии и братьям Орловым, имевшим большое влияние на гвардию. Ими она и держалась, но иго Орловых, людей необразованных и грубых, было ей весьма тяжким. Человеколюбивая от природы, Екатерина никогда не останавливалась перед совершением жестокости и преступления, как бы они гнусны ни были, если это преступление, эта жестокость могли быть полезными ее неограниченному властолюбию. Более всего она алкала похвал общественного мнения, похвал искателей, и потому, без огласки восстанавливая уничтоженную Петром III тайную канцелярию, предписала ей действовать осторожно и сколь возможно более втихомолку. Народа она вовсе не любила, и мы сами видели у Ивана Мятлева письмо ее к московскому генерал-губернатору фельдмаршалу графу П. С. Салтыкову (прадеду Мятлева), в коем она, отвергая представленный ей проект сельских училищ, писала Салтыкову: «Господин фельдмаршал, простого народа учить не следует; если он будет иметь столько же познаний, как вы и я, то не станет уже нам повиноваться, как повинуется теперь»[1].

Стр. 257.

Павел I. Павел, как известно, был сыном Екатерины и С. В. Салтыкова. Легенда о чухонском его происхождении совершенно фантастична и является типичным образцом дворянской легенды, имевшей целью дискредитировать ненавистного дворянству императора. По поводу нее Н. И. Греч пишет: «Злоба и ненависть... преследуют его [Павла] и за гробом и заставляют выдумывать на него всякие нелепости. Так, например, вздумали утверждать, что он не сын Екатерины, а подкидыш. Несправедливость этого можно доказать физическими доводами» и т. д.[2].

В № 17 «Листка» Долгоруков, говоря о своем современнике С. В. Салтыкове, сообщает новые, еще более фантастические подробности о рождении Павла: «Двоюродный дед Салтыкова, также Сергей Васильевич, был первым любовником Екатерины,

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 6—7.
[2] Н. И. Греч. «Записки...», стр. 141—142.

которая родила мертвого ребенка, в тот же день замененного подставным чухонским младенцем, бывшим впоследствии императором Павлом. Отец Павла был крестьянин из деревни Котлы в Петербургской губернии и был вслед за тем сослан в Сибирь с семейством своим и со всеми жителями деревни Котлы, которая была разрушена и место ее запахано». Тут же он, однако, сообщает анекдот, свидетельствующий о том, как общераспространенна была другая версия о рождении Павла: «Салтыков... тогда еще молодой человек, публично рассказывал, что государь — сын его двоюродного деда. Павел, узнав об этом, призвал к себе флигель-адъютанта князя Николая Волконского, впоследствии бывшего князем Репниным, и сказал ему: «Вот что болтает Сергей Салтыков; возьми с собою четырех солдат и пук розог, поезжай к нему, скажи, что его бы следовало сослать в Сибирь, но я поступаю с ним по-родственному, по-отечески: высеки его как можно больнее и приезжай доложить мне». Так оно и было исполнено».

Долгоруков дает следующую характеристику Павла I[1]:

«Одаренный умом блистательным, но безрассудным, Павел являл в себе самое странное слияние качеств и пороков, чувств благородных и порывов диких, увлечений рыцарских и припадков деспотизма самого сумасбродного: он боготворил самодержавие. Весь взгляд его на управление Россией выражен был им в словах, сказанных одному из французских эмигрантов, который, отзываясь о каком-то петербургском сановнике, называл его вельможей. Павел сказал эмигранту: «Милостивый государь, здесь вельможа только тот, с кем я разговариваю, и только в то время, покамест я с ним разговариваю». Екатерина, сохраняя за собою все права самодержавные и никогда не останавливаясь совершить преступление, которое могло бы ей быть полезным, обходилась с подданными своими как с людьми и оказывала им некоторую степень наружного уважения. Павел стал обходиться с русскими как с рабами, и, конечно, со времени Иоанна Грозного ни один русский государь не обнаруживал такого глубокого презрения к человеческому достоинству».

Мария Федоровна растерялась до такой степени, что потребовала себе престола. Это известие мы находим в записках декабриста М. А. Тургенева, откуда его мог заимствовать и князь Долгоруков, которому лейпцигское издание этих записок было известно. «Императрица Мария Федоровна, — пишет Турге-

[1] «Правда о России», т. II, стр. 27—28.

нев, — поражена была бедственной кончиной супруга, оплакивала его, но и в ее сердце зашевелилось желание царствовать. Она вспомнила, что Екатерина царствовала без права и, может быть, рассчитывала на нежную привязанность сына и надеялась, что он уступит ей трон. Приближенные к ней рассказывали, что, несмотря на непритворную печаль, у ней вырвались слова: «Ich will regieren!» [Я хочу править][1]. О поведении графини Ливен в роковую ночь 11 марта говорит в сильно приподнятом тоне ее невестка Дарья Христофоровна Ливен, урожденная Бенкендорф, в своих записках[2], но эпизод, сообщаемый Долгоруковым, ей не упоминается.

Стр. 258.

Княгиня Д. Х. Ливен. Для сравнения приводим характеристику, данную ей Е. М. Феоктистовым[3]: «Ум, любезность, образованность княгини привлекали к ней много замечательных людей; соотечественники наши, сознавая, как высоко стоит над ними в умственном отношении, робели перед ней и — за немногими исключениями — принимала она их с видом высокомерного покровительства». Он же рассказывает не без юмора, к каким приемам она прибегала, чтоб «поддержать свой кредит». В этих целях она «хотела заманить... к себе» Альбединского, прикомандированного к графу А. Ф. Орлову, посланному для мирных переговоров в 1856 году в Париж [где княгиня Ливен тогда жила], и «сделать его одним из habitués [завсегдатаев] своего салона». Альбединский «тщательно улавливал кое-какие крохи от происходивших при нем случайных бесед Орлова с Брунновым, чтобы не являться к ней с совершенно пустыми руками, и она оставалась довольна даже этим». В основном характеристика совпадает с отзывом Долгорукова.

Стр. 263.

Александр I. Очень хорошую характеристику его дает Долгоруков[4]: «Александр одарен был добрым сердцем, хотя, впрочем, был весьма злопамятным; он был образован, привлекателен в своем обхождении, ласковом и величавом вместе... Ум имел он недальний и невысокий, но хитрый до крайности; лукавый и скрытный, он вполне заслужил сказанное о нем Наполеоном I: «Александр лукав, как грек византийский». Сла-

---

[1] Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. Изд. А. С. Суворина. СПБ, 1907, стр. 168.

[2] Там же, стр. 190 и след.

[3] Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы», стр. 298.

[4] «Правда о России», т. II, стр. 30-32.

бый характером, он скрывал эту слабость под величавостью своей осанки. Его постоянной, но главной заботой было привлечь и удержать на своей стороне общественное мнение Европы, и в этом, равно как в хитрости и в лукавстве своего характера, он был достойным внуком Екатерины, хотя весьма далек был от нее умом. Во все продолжение своего царствования он постоянно гонялся за европейской популярностью, и этому стремлению Царство Польское обязано было своим существованием и своей конституцией. В России Александр все обещал дать конституцию, беспрестанно говорил о ней, но никогда по-настоящему не имел намерения совершить это важное и полезное преобразование. В течение первых восемнадцати лет своего царствования он разыгрывал в Европе либерала и даже в России носил маску либерализма, но в последние семь лет, подпав в своей политике внешней под безграничное влияние князя Меттерниха, а в политике внутренней под сильное влияние жестокого и неумолимого графа Аракчеева, он совершенно отрекся от либерального направления, коему следовал в юных летах».

Стр. 264.

«Да этак они, пожалуй, пришлют мне Панина». Эти слова Александра I приводятся и Н. И. Тургеневым в его книге «La Russie et les Russes»[1], но в иной связи. По его рассказу, они были сказаны не Сперанскому, а Новосильцеву, и относились к проекту конституции для России, к выработке которой было приступлено после введения конституции в Царстве Польском. «Эта работа была поручена Новосильцеву, наместнику в Польше. По мере того как он вырабатывал отдельные части проекта, он представлял их на одобрение императора. Глава, посвященная выборам членов народного собрания, гласила, что депутаты будут назначаться избирателями. Казалось бы, ничего проще и естественнее, но император остановился на этом предложении и заметил, что при таких условиях избиратели смогут назначить кого им заблагорассудится: «Панина, например». А граф Панин, бывший министр иностранных дел, был очень неугоден его величеству. Пункт был тотчас изменен, и избирателям было предоставлено лишь право представлять трех кандидатов, из которых правительство должно было выбрать депутата. Вот, несомненно, очень оригинальный способ фабриковать конституции».

---

[1] Н. И. Тургенев. «La Russie et les Russes», Paris, 1847, t. II, p. 94.

Стр. 266.

Этерия (или Гетерия; Hetaireia Philike — дружеское сотоварищество) — возникшее в 1814 году в Греции политическое общество, имевшее целью освобождение страны из-под власти турок. Гетерия распространяла свою деятельность не только по Греции и Турции, но и по Европе; центром этой деятельности была Одесса, где происходила подготовка восстания. Попытка «священной дружины» под начальством генерала русской службы Александра Ипсиланти вторгнуться в Молдавию летом 1821 года окончилась полным разгромом. Последний удар авантюре Ипсиланти нанесла Россия, дезавуировав его предприятие. Современники подозревали, что Гетерию поддерживает статс-секретарь Капо д'Истрия; в действительности он был против насильственных действий и рассчитывал на помощь России. Александр I, твердо усвоивший идею Священного Союза, не только уклонился от содействия греческому восстанию, но готов был предложить свою помощь Турции. Начавшееся в Греции движение между тем разрасталось и перешло в грандиозную войну за национальное освобождение. Собравшееся в апреле 1827 года народное собрание избрало Капо д'Истрию главой национального собрания, а в июле того же года Англия, Франция и Россия заключили конвенцию, имевшую цель поддержать независимость Греции. Вооруженное вмешательство держав решило войну в пользу восставших. В феврале 1830 года Лондонская конференция признала Грецию независимым государством. Капо д'Истрия, прибывший в Грецию в январе 1828 года, к этому времени возбудил против себя всеобщее недовольство произволом и деспотизмом; в октябре 1831 года он был убит из личной мести; через год, в августе 1832 года, народное собрание в Навплии под давлением держав избрало королем Греции баварского принца Оттона.

Стр. 267.

Декабристы. В предисловии уже указано, как надо относиться к известиям Долгорукова о декабристах. Это — слухи, передававшиеся в обществе шепотом, из-под полы, неточные, непроверенные, отчасти дополненные из небольшой вышедшей за границей декабристской литературы. В распоряжении Долгорукова были «Воспоминания» князя Оболенского[1], «La Russie et les Russes» Н. И. Тургенева, «Записки» Михаила Фонвизина, напечатанные в Лейпциге, и еще некоторые источники.

---

[1] «Будущность», № 9—12, 1861 г.

Стр. 268.

Доклад следственной комиссии, где в примечании к стр. 15 говорилось о взносах членов Союза Благоденствия: «В Петербурге до 1825 года собрано не более 5000 рублей, которые отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела Тайного общества».

Стр. 277.

Записки князя Долгорукова. В 1867 году вышел в Женеве первый том его «Mémoires», заключающий в себе анекдотическую историю России от Петра I до середины XVIII века, основанную как на большом количестве недоступных для широкой публики источников, так и на многочисленных фамильных преданиях русской знати. Долгоруков предполагал, по-видимому, довести эти «мемуары» до своего времени. Он так часто грозил Петербургу этими своими записками, что после его смерти русское правительство поспешило через своего агента К. А. Романа разыскать и выкупить оставшиеся после него бумаги; для отвода глаз из них было выбрано несколько сравнительно приемлемых для русского двора документов по истории России во второй половине XVIII века и издано за счет III Отделения в 1871 году в Женеве — Базеле как продолжение «Мемуаров» Долгорукова. Любопытную историю этого посмертного издания см. в книге «В погоне за Нечаевым»[1].

Граф А. А. Закревский «на своем Московском пашалыке». Долгоруков не оставил цельной характеристики Закревского, но он неоднократно возвращается к личности этого администратора, столь типичного для времени Николая. В «Правде о России»[2] он пишет о нем: «Закревский одиннадцать лет угнетал Москву, говорил дерзости москвичам, вмешивался в семейные дела, открыто покровительствовал мошенникам и сам воровал поставками гнилого сукна и разбавленной водой водки... Наконец в прошлом году [писано в 1861 году] Закревский, говоривший, что «эти проклятые законы мешают администрации», был уволен только потому, что позволил дочери своей выйти замуж от живого мужа без развода. Но государь узнал об этом случайно, так как полиция не только скрывала это, но еще дала графине Нессельроде и ее мнимому второму мужу возможность уехать из России не бегством, а путешествуя открыто, спокойно

---

[1] Р. М. Кантор. «В погоне за Нечаевым», Л., 1925 г.
[2] «Правда о России», т. I, стр. 7—8.

проехав около 1200 верст по такому пути, где нет железных дорог». Дело здесь идет о браке графини Лидии Александровны Нессельроде, урожденной графини Закревской, при живом муже, с князем Д. В. Друцким-Соколинским. Подробно этот эпизод описан в «Колоколе» за 1859 год.

В виде иллюстрации деятельности Закревского Долгоруков приводит в другом месте такой эпизод: «В Москве графиня Закревская купила торговые бани: возле находился дом небогатого дворянина; графиня вздумала купить этот дом и предложила владетелю полцены. Он отказался. Тогда ему дали знать под рукой, что граф Закревский, имеющий у себя бланки государя, сошлет его в дальний город под надзор полиции за вредные политические мнения. Бедняк уступил и продал дом за полцены»[1].

Стр. 283.

Барон Ф. И. Фиркс (литературный псевдоним — Шедо-Ферроти), «дюжинный писака», по выражению Е. М. Феоктистова[2], официозный публицист, сотрудник «Augsburger Allgemeine Zeitung» и автор ряда выпущенных русским правительством за границей брошюр. О том, что через Шедо-Ферроти-Фиркса действовал Головнин, пишет и Феоктистов, и есть указания в статьях Каткова за 1864 год.

Юноши, сосланные на каторгу после выстрела 4 апреля, — члены Ишутинского кружка.

Стр. 285.

Граф Д. А. Толстой. Ср. характеристику, которую дает ему Б. Н. Чичерин[3]. Очень большой материал о нем дает Е. М. Феоктистов в своих «Воспоминаниях».

Стр. 288.

Я. Ф. Скарятин принял непосредственное участие в убийстве Павла I. Ему, по наиболее распространенным известиям, принадлежал «шарф, прекративший жизнь Павла I»; ему приписывают и факт удушения царя своим или чужим шарфом[4].

---

[1] Там же, стр. 75—76.

[2] Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы», стр. 155.

[3] Б. Н. Чичерин. «Воспоминание», стр. 191—195.

[4] «Цареубийство 11 марта 1801 года», СПБ, 1908 г., 2-е изд., стр. 88—89, 189, 210.

«Дневник А. С. Пушкина», стр. 45—46.

Стр. 292.

Петр IV и Аракчеев II — граф Петр Андреевич Шувалов. Ср.эпиграмму Ф. И. Тютчева:

«Петр, по прозвищу *четвертый.*
Аракчеев же *второй*[1].

Стр. 296.

Обер-прокурор синода Ахматов. «На пост обер-прокурора на место графа Толстого призвали генерал-майора Ахматова (как видите, в России как будто считается необходимым иметь военного на этом полусветском, полудуховном посту). Ахматов, кавалергард, всегда старался выделиться величайшим благочестием, никогда, однако, не упуская случаев, которые бы могли служить его честолюбию. Благочестие создавало ему общественное положение; но, видимо, попечение о небесном способствовало исключительно его преуспеянию в делах земных: церковь была для него коридором, ведущим к величию мира сего». По поводу назначения на должность обер-прокурора Синода военных Долгоруков в № 18 «Листка» скорбит о положении православной церкви в России, «в коем духовенство является какой-то бригадой, предводимой генералами в рясах и звездах, под главной и полномочной командою какого-нибудь фельдмаршала, именуемого обер-прокурором Синода».

Книга графа Д. А. Толстого «Римское католичество в России» вышла в Париже в 1863—1864 годах. Б. Н. Чичерин утверждает, что Толстой воспользовался для составления ее рукописной работой Д. П. Хрущова, которую одолжил ему автор[2].

Стр. 298.

Деятельности Министерства путей сообщения (в частности, П. П. Мельникова) «Колокол»[3] касается в статье «Николаевская железная дорога и ее этико-политическая экономия. И в последующих листках «Колокол» возвращается к тому же вопросу[4].

Стр. 299.

Князь С. Н. Урусов. «При том плачевном, пагубном и отвратительном направлении, которое правительство дает управлению церковными делами, прокурор Святейшего синода может быть назван главнокомандующим русской церкви. Этот столь ответственный пост был с 1857 года занят генерал-

---

[1] Г. Чулков. «Тютчевиана», М., 1912 г., стр. 13.

[2] Д. П. Хрущов. «Воспоминания», Московский университет, М., 1929 г., стр. 193.

[3] «Колокол», №№ 217 от 1 апреля и 218 от 15 апреля 1866 г.

[4] Там же, №№ 219, 222, 228.

лейтенантом графом Александром Петровичем Толстым, человеком отличного сердца, высокого благородства и непоколебимой прямоты. Слабоватый по характеру, он не всегда умел противиться давлению придворных влияний, когда они действовали не с надменностью, которой его благородный характер никогда бы не потерпел, а вкрадчиво и ласково, когда они обращались к его доброму сердцу и к его чувству высокого благочестия, чувству настолько правдивому и искреннему у графа Толстого, что даже некоторая преувеличенность его хотя и не одобрялась, но встречала снисходительное отношение со стороны общественного мнения. Он оказал России настоящую услугу, призвав к заведованию школами церковного ведомства князя С. Н. Урусова, одного из самых уважаемых людей в России. Князь Урусов, родившийся в 1816 году, ученый-юрист, можно сказать, страстно влюбленный в юриспруденцию, владелец состояния, соответствующего независимости его характера, в прошлое царствование принял из страсти к юриспруденции и, побуждаемый желанием быть полезным, в течение долгих лет исполнял обязанности секретаря Сената. В стране, в которой господствуют неправосудие и взяточничество, князь Урусов представлял счастливое, редкое и замечательное исключение судьи в самом благородном и возвышенном смысле слова; в этом человеке есть что-то от Малерба. Министр юстиции, знаменитый граф Панин, страдавший полоумием... не только не сумел оценить князя Урусова, не только не открыл ему карьеры, достойной его высокого благородства и замечательных качеств, но даже, вследствие глубокого отвращения ко всему, что независимо по характеру и по положению, смотрел на него неблагожелательно. Граф А. П. Толстой не только поручил князю Урусову ответственное место начальника духовных училищ, но даже выхлопотал у государя назначение его заместителем прокурора Синода во время своих поездок»[1].

А. Н. Мальцева пользовалась в течение продолжительного времени фавором у императрицы Марии Александровны[2].

«Московские Ведомости» — орган «конституционистов». Одно время Катков и в «Московских Ведомостях» отдавал некоторую дань либеральным идеям, выразителем которых был «Русский Вестник» в первые годы его существования. Во время польского восстания «Московские Ведомости» приводили даже в негодование своим либерализмом Чичерина: «В самом пылу

---

[1] «Le Véridique», № 3, 1862, p. 373—375.

[2] А. Ф. Тютчева. «При дворе двух императоров», ч. 2, стр. 185—186.

борьбы, в то время как Россия была вся расшатана, а Польша находилась в полной анархии, Катков весьма прозрачными намеками указывал на решение польского вопроса дарованием общей конституции обеим странам».

Стр. 300.

Восстание кандиотов (критян). В 1866 году на Крите вспыхнуло восстание против турецкого владычества, вызванное тяжестью налогового бремени. Целью восстания было добиться присоединения к Греции, к которой только что перед тем, в 1864 году, были присоединены Ионические острова. Инсургенты боролись с поразительным мужеством. Особенно прославился геройской защитой монастырь Аркадион, который был взорван самими кандиотами. Восстание тянулось до 1869 года, когда вмешательство великих держав заставило Грецию отказаться от притязаний на Крит и принудило кандиотов сложить оружие.

Стр. 301.

Газете «Москва», издававшейся И. С. Аксаковым, было сделано предостережение за передовицу № 8 от 11 января 1867 года, посвященную панихиде по кандиотам.

Стр. 302.

Н. А. Безобразов. Долгоруков полемизировал с ним в № 7 «Будущности»[1].

Дело о подделке кредитных билетов началось в 1865 году[2]. А. Ф. Кони говорит о подозрительной обстановке, при которой умер один из главных свидетелей. Вместе с тем он с большим юмором повествует про слухи, ходившие о попытках отравить его самого. Участниками он называет упоминаемых Долгоруковым изюмского предводителя дворянства Солнцева и бахмутского Гаврилова и еще несколько лиц, но среди них нет Шахова. Следствие в Харькове вел Э. П. Фальковский; обвинял прокурор Монастырский, а не Браилко.

Славянофилы. Несмотря на резкую противоположность политической программы Долгорукова и воззрений славянофилов, он относился к ним всегда очень сочувственно; с примыкавшим к ним М. П. Погодиным он был близок и поддерживал

---

[1] Статья «О крепостном состоянии, в какое погружено русское дворянство».

[2] См. о нем: А. Ф. Кони, «На жизненном пути», т. 1, «Из записок судебного деятеля» (очерк 5), М., 1914 г.

сношения даже после отъезда за границу. Свою позицию в отношении славянофилов он определяет так в № 6 «Будущности»: «Мы не разделяем многих положений славянофилов: они во многом ошибались, но ошибались добросовестно; иногда увлекались юношескими порывами, но увлекались благородно. Почти все лица, составлявшие этот кружок, — люди самые чистые, усердные отчизнолюбцы. Этот славянофильский кружок принес свою долю пользы отечеству; в его среде печатно и в беседах обсуждались важные для России вопросы и некоторые из этих вопросов были успешно уяснены славянофилами, которые оставят почетную память в истории русского образования. В самую мрачную, самую тяжкую эпоху николаевщины славянофилы твердо устояли в своих убеждениях, иногда ошибочных, но всегда благородных, и некоторые из них пострадали за свои убеждения... Издания их — «Русская беседа» и «Сельское благоустройство» — принесли большую пользу ученым отчетливой и добросовестной разработкой предметов. Можно ли отзываться иначе как с чувством почтения о том кружке, к коему принадлежат лица, столь достойные уважения, как семейства Самариных, Аксаковых, Свербеевых, М. П. Погодин, И. Д. Беляев, К. В. Чижов, М. А. Максимович, П. А. Кулиш, А. В. Попов, А. Ф. Гильфердинг... знаменитый Хомяков...?»

Славянофилы, отнюдь не отличавшиеся терпимостью в вопросах принципиальных, не выносили Долгорукова, взгляды которого были для них неприемлемы, а поведение недостаточно корректным. «Самый злой из них», по определению Долгорукова, П. Ф. Самарин писал в 1864 году Герцену: «Долгорукова я... знаю давно, а потому-то именно охотнее проеду лишние 300 верст для свидания с Вами, лишь бы не встречаться с ним»[1]. В частности, в кругах, близких к славянофилам, резко несочувственно относились к долгоруковскому проекту выкупа[2].

Стр. 306.

Барон А. Ф. Будберг. Ср. его характеристику в «Le Véridique» [3].

«Барон Андрей Федорович Будберг родился в 1817 году. Окончив С.-Петербургский университет, он поступил на службу в Министерство иностранных дел. Место секретаря посольства во Франкфурте-на-Майне было в то время свободно: юные кан-

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XVII, стр. 293

[2] Материалы для биографии князя В. И. Черкасского, кн. 1, М., 1901 г., стр. 149.

[3] «Le Véridique», № 3, 1863 г. p. 421—425.

дидаты на дипломатическую карьеру хлопотали каждый о должности при одном из больших посольств; никто из них не хотел ехать во Франкфурт. Барон Будберг решился принять этот пост, от которого отказывались все его товарищи; на этом посту он создал себе блестящую карьеру и самое чистое семейное счастье. Начальником миссии был старик Убри, на старшей дочери которого он женился. Его тесть умер в самом начале 1848 года, и он оказался исполняющим обязанности посланника в тот момент, когда вспыхнули события этого года, столь обильного происшествиями. Император Николай и канцлер Нессельроде были охвачены паникой; барон Будберг, который видел вещи на близком расстоянии, на месте действия, наблюдал элементы разъединения, столь многочисленные в Германии, и знал заранее, что Фридрих Вильгельм IV не примет императорского венца, посылал своему министру успокоительные донесения, и его депеши производили на Николая и на Нессельроде действие спасительного бальзама: трусы всегда бывают благодарны тем, кто их успокаивает и возвращает им душевное спокойствие, которого они жаждут. Это обстоятельство обратило внимание на барона Будберга и заслужило ему благоволение Николая. Один эпизод окончательно очаровал государя. Министр иностранных дел регента Германской империи обратился к уполномоченному по делам России с депешей, написанной не на общепринятом для международных дипломатических сношений французском языке, а на немецком, и Будберг ответил ему на *русском* языке. С этого дня он в глазах Николая стал сходить за величайшего дипломата. Вскоре затем он был назначен сперва первым секретарем посольства в Берлине, а потом советником того же посольства. При вступлении в должность министра Горчакова в 1856 году он был назначен послом в Вену, а в 1858 году — в Берлин.

Барон Будберг — человек умный, и даже очень умный; но он прежде всего и главным образом — барон Прибалтийского края, а это соответствует вполне померанскому или мекленбургскому юнкерству... Нельзя сказать, что Будберг не любит свободы, он даже не признает ее существования; для него свобода есть бред, мечта. Как большинство дворянства Прибалтийских губерний, он был бы вполне удовлетворен таким порядком вещей, при котором вся власть всецело оставалась бы в руках дворянства. Но в нем достаточно здравого смысла, чтоб понимать, что такой порядок совершенно невозможен; поэтому он не хочет никакого другого образа правления, кроме самодержавия. Надменный по характеру, по существу прямоли-

нейный и резкий, он умеет ухаживать, льстить, ласкать, быть вкрадчивым, если это может быть ему полезно; но когда пройдет необходимость изгибаться, он с удовольствием возвращается к своему естественному состоянию и ломает и бьет все, что попытается ему противиться. Его политический портрет сводится к двум словам: это — лисица-тигр. Прежде чем вступить официально в должность посла [во Франции], он в нынешнем году (1863) ездил уже несколько раз в Париж по поручению русского правительства, чтоб служить противовесом тому, что реакционная партия называла слабостью графа Киселева, и можно уже наблюдать некоторые результаты этих поездок: факты, неслыханные до сих пор даже во Франции, превратившейся в «западную Россию», — обыски у поляков, аресты некоторых из них, запрещение праздновать национальную польскую годовщину 29 ноября, меры, принятые в этом году в Парижском пашалыке. Мечта русских стародуров — увидеть Будберга на должности министра иностранных дел, и, если бы ему удалось занять этот пост, он, несомненно, повел бы дела так, что ускорил бы катастрофу, которая приведет к расчленению России, катастрофу неизбежную раньше или позже, если русское правительство будет упорствовать в сохранении самодержавной власти и в отказе ввести в России конституционный порядок».

Стр. 307.

Автором французской системы предостережений был министр внутренних дел Наполеона III герцог де Персиньи (1808—1879), назначенный министром 23 января 1852 года (вышел в отставку в 1854 году, вновь был министром в 1860—1863 гг.). Выработанный им декрет 17 февраля 1852 года предоставлял министру внутренних дел право давать предостережения периодической прессе, причем третье предостережение влекло за собой временное приостановление журнала; за императором оставалось право бессрочного запрещения. Но в 1868 году был издан новый закон, подчинивший печать суду, с сохранением очень строгих судебных репрессий. Персиньи в то время не занимал уже никакого правительственного поста, но продолжал играть большую роль в политике как член Сената и Государственного совета; в конце царствования Наполеона он стал сближаться с оппозицией. «Свобода печати» в буржуазном смысле этого слова была установлена во Франции только в 1881 году.

Стр. 309.

В. С. Неклюдов. Как видно из переписки Герцена, последний

вычеркнул здесь абзац, касающийся «частных дел» Неклюдова. Точно так же им устранены инсинуации Долгорукова по адресу Соллогуба (поэта?)[1].

Стр. 312.

М. Н. Муравьев. Биография М. Н. Муравьева в более кратком виде была напечатана первоначально в «Будущности»[2]. Перепечатав ее «с дополнениями» в «Листке», Долгоруков затем в 1864 году выпустил ее отдельной брошюрой в Лондоне, очевидно, в связи с участием Муравьева в следствии по делу о покушении Каракозова и с толками о «муравьевском заговоре». Герцен горячо рекомендовал читателям эту, по его выражению, «любопытную биографию Муравьева-Вешателя»[3] и писал: «Читая брошюру князя Долгорукова о Муравьеве, изданную им в Лондоне в 1864 году, нельзя не подивиться этому чисто петербургскому продукту. Заговорщик, выходящий из тюрьмы с повышением чина, генерал, никогда не бывавший в сражениях, раболепный нахал, обыкновенный казнокрад — искоренитель злоупотреблений, палач-инквизитор, оканчивающий жизнь за смертным приговором».

Стр. 314.

Школа колонновожатых, в которой подготовлялись офицеры генерального штаба, была основана по инициативе и на средства Н. Н. Муравьева, отца М. Н. Муравьева. Заинтересовавшись деятельностью открытого в 1810 году при большом участии его сына Общества математиков, он организовал в Москве у себя на дому лекции по математике чистой и прикладной и по военным наукам применительно к потребностям квартирмейстерской части (генерального штаба). В 1816 году курсы, оставаясь на иждивении Муравьева, были преобразованы в Московское учебное заведение для колонновожатых, причисленное к военному ведомству. До 1823 года из него вышли 138 человек, в том числе 127 человек были выпущены в «свиту его величества» по квартирмейстерской части. В 1823 году училище было переведено в Петербург, где просуществовало до 1826 года, когда было закрыто.

Поездка в Хиву Н. Н. Муравьева. Н. Н. Муравьев в 1819—

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XIX, стр. 232, 236.

[2] «Будущность», № 5, 25 декабря 1860 г., стр. 35—40; № 6, 15 января 1861 г., стр. 43—45.

[3] «Колокол», № 228, 1 октября 1866 г.

Фактические данные биографии М. Н. Муравьева см.: Д. А. Кропотов. «Жизнь графа М. Н. Муравьева». СПБ. 1874.

1820 гг. совершил под видом магометанина поездку в Хиву, описанную им в книге[1]. При опасности, с которой была сопряжена такого рода экспедиция, и при почти полном отсутствии в европейской географической литературе того времени сведений о Средней Азии, путешествие Муравьева было очень крупным событием: его книга была переведена на немецкий, французский и английский языки.

Стр. 315.

А. Н. Муравьев. В основном характеристика А. Н. Муравьева совпадает с характеристикой его в известном рассказе Н. С. Лескова «Таинственные предвидения», несмотря на совершенно иной тон и стиль Лескова.

Стр. 317.

Предательская роль М. Н. Муравьева в процессе декабристов. Муравьев-«вешатель» вышел из Союза Благоденствия, оказавшегося для него слишком революционным, уже в 1817 году, в заговоре не участвовал. Ранний выход из организации и поведение его в ней в достаточной мере объясняют освобождение Муравьева «с аттестатом». Тем не менее Николай I в течение всего своего царствования относился к нему с недоверием и неприязнью, и он, по выражению самого Долгорукова, пребывал при нем в «полунемилости». О позиции, занимаемой М. Н. Муравьевым и его братом Андреем Николаевичем в «Союзе Благоденствия», см. статью С. Н. Чернова[2].

Стр. 323.

Граф. А. Ф. Орлов. В статье «Турусы на колесах»[3] Долгоруков так характеризует гр. Орлова:

«Заслуги Орлова следующие. Трусливый от природы, он 14 декабря 1825 года растерялся совершенно и, не зная, на чьей стороне останется победа, на стороне Николая или заговорщиков, действовал весьма двусмысленно. Полк свой он вывел на площадь на неподкованных лошадях, что в случае успеха заговорщиков могло служить ему заслугою перед ними. Выезжая из казарм, он встретил генерал-губернатора графа Милорадовича и советовал ему не ездить на площадь, «потому что там может дело дойти до пролития крови», на что Милорадович

---

[1] Н. Н. Муравьев. «Путешествие в Туркмению и в Хиву в 1819 и 1820 гг.», М., 1822 г.

[2] Сб. «Декабристы и их время», статья «Из работ над «Зеленой книгой», М., 1932 г.

[3] «Будущность», № 8, 28 февраля 1861 г.

благородно отвечал, что место генерал-губернатора именно там, где есть опасность. Этот факт упомянут даже в постыдной книжке барона М. А. Корфа, который, отуманенный природным холопством, не понял всей многознаменательности этого разговора. За то, по одержании Николаем победы, Орлов один из первых умел выпросить себе награду; 25 декабря 1825 года он был пожалован графом. В кампанию 1828 года единственным подвигом его было то, что, переправляясь через Дунай, он упал в реку и чуть не утонул, вытащен был оттуда казаком. При заключении Адрианопольского мира он был одним из двух уполномоченных, но исполнял лишь волю фельдмаршала Дибича. Призванный в 1844 году заступить место графа Бенкендорфа в постыдном звании главного начальника всероссийской государственной помойной ямы, то есть III Отделения Собственной канцелярии, Орлов не только не удалил Дубельта, но еще предоставил этому мошеннику полную волю грабежа и притеснений. Последнее семилетие николаевщины было эпохой, тяжкое воспоминание о коей не умрет никогда в русской истории. Подобной эпохи Россия не видала, не говорим, со времени Павла, потому что Павел был хотя сумасшедший, но честный и благородный человек, а со времен бироновщины. С этим гнусным семилетием перейдут в историю имена Орлова и Дубельта, и потомство заклеймит позором память этих людей. Что же касается до Парижского конгресса, то хотя первым русским уполномоченным был Орлов, но главным деятелем со стороны России был второй русский уполномоченный, барон Бруннов, человек, не имеющий ни чести, ни совести, но умный, способный, необыкновенно хитрый и ловкий. В денежном отношении Орлов отличался не только баснословной скупостью, но и необыкновенной жадностью. Покупая дома в Петербурге, он упрашивал государя платить из казны за эти дома, то есть получал их даром, и потом продавал их казне на чистые деньги. Богатый сам по себе, богатый по жене, имея одного только сына, он не стыдился выпрашивать у государя то земли, то деньги...»

Дом А. Ф. Орлова. История покупки для нужд Министерства государственных имуществ дома, приобретенного за счет казны для князя А. Ф. Орлова, изложена в «Колоколе»[1]. Эпизод пожалования аренды М. И. Топильскому ценой предоставления места в Министерстве юстиции Леониду Михайловичу Муравьеву вызвал запрос «Колокола»[2]. История пожалования зе-

---

[1] «Колокол», № 63, 15 февраля 1860 г. Ст. «Вешающий Муравьев».
[2] Там же, № 47, 1 июля 1859 г.

мли по ходатайству М. Н. Муравьева его сыну изложена в статье «Вешающий Муравьев».

Стр. 329.

Я. И. Ростовцев. «Человек с весьма добрым сердцем; очень любимый в частной жизни за свои личные качества, за свою обязательность, за свою вежливость, с умом весьма идеальным, он был одарен тончайшей хитростью. Искусный и ловкий царедворец, он сумел приобрести вполне личное расположение и доверие Александра Николаевича, и положение его было весьма блистательно, доколе не возникли в России политические вопросы. Когда эти вопросы возникли, когда России пришлось идти по стезе новой, хитрости и ловкости было уже недостаточно, необходимы были способности человека государственного, а этих способностей совершенно недоставало генералу Ростовцеву. Желая по своему доброму сердцу всем угодить и всем нравиться, он надеялся достигнуть невозможного: то есть заслужить репутацию либерала, не перессорясь со стародурами. На политическом поприще человек, желающий всем нравиться, неминуемо достигает до того, что со всеми перессорится. Так и случилось с генералом Ростовцевым. В последние месяцы его жизни приверженцами его остались лишь те люди, которые рассчитывали на его влияние при дворе для успеха своих личных видов. Эта совершенная неудача исполнила сердце его горестью. Настигнутый тяжкой болезнью (карбункулом), он быстро клонился к концу и умер, оставив по себе память человека доброго, но имевшего неосторожность принять на рамена свои бремя слишком для него тяжелое[1].

Стр. 331.

Программа для губернских комитетов, изданная 21 апреля 1858 года, как руководство в их работе по крестьянскому вопросу была составлена Главным комитетом по крестьянскому делу. Она отражала пожелания реакционной помещичьей партии, стремившейся по мере возможности сохранить старый порядок и в лучшем случае соглашавшейся лишь на освобождение без земли. Автором программы, однако, был не Муравьев. Она — произведение самого Я. И. Ростовцева, в то время еще не перешедшего на сторону либералов или, точнее, писавшего по поручению М. П. Позена, одного из «самых горячих защитников различных учреждений крепостного права», по выражению проф. Иванюкова[2].

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 114—115.

[2] «Падение крепостного права в России», СПБ, 1903, стр. 48.

Стр. 337.

В 1860 году в № 81 **«Колокола» от 15 сентября** напечатана статья «Подвиги Муравьева-«вешателя» в Архангельской губернии»; в № 83 от 15 октября: «Разграбление крестьян Архангельской палатой государственных имуществ»; в приложении («Под суд!») к № 84 от 1 ноября: «Дело о разграблении крестьян Архангельской палатой государственных имуществ». Кроме того, в том же году в «Колоколе» появились две большие статьи, подвергающие критике деятельность Министерства государственных имуществ в целом: «Узаконение государственного разбоя» (№ 76 от 15 июля) и «По поводу «правил» Муравьева-Вешателя» (№ 80 от 1 сентября).

Стр. 339.

Паяц-мазурик — Наполеон III. С 1861 года Долгоруков занял враждебную позицию в отношении французского правительства. В июне этого года вышла в Лейпциге его брошюра «La question russo-polonaise et le budjet Russe», которая вызвала недовольство французских правящих кругов и была запрещена во Франции. Обвинительный приговор в январе 1862 года по иску графа С. М. Воронцова Долгоруков всецело приписал давлению со стороны французского правительства, желавшего угодить Петербургу, и с этого момента Долгоруков выступает в печати с резкими разоблачениями бонапартистского режима. «Всякий, посещавший Францию с 1852 года, — пишет он в № 10 «Листка» от 4 августа 1863 года, — хорошо знает, что такое ныне суды во Франции и что такое за правительство во Франции. Правительство это, захватившее власть клятвопреступлением, резней, изгнанием и ссылкой в Кайенну тех граждан, которые защищали свои законные права и свободу родины от насилия и от хищности клятвопреступника Бонапарта, правительство это держится страхом, подкупом и целой сетью мер, основанных на призыве к чувству подлости и низости... Итак, сейчас во Франции ни для кого нет настоящих и серьезных гарантий. Любой француз, любой иностранец одинаково может быть лишен собственности и свободы, и честь его может быть оскорблена: ни у кого нет *никакого прибежища*»[1]. Бонапартистскую Францию он неизменно называет «Западной Россией», желая этим подчеркнуть одинаковые методы управления в «империи царей» и в империи Наполеона. Слух о возможности союза России с Францией вызывает его негодую-

---

[1] «La verité», p. 13.

щую статью в № 12 «Листка» (от 23 сентября 1863 г.): «Неужели справедлив слух о сближении России с Наполеоном?» Ввиду явно враждебного к Франции направления, «Листок» князя Долгорукова был запрещен к распространению на ее территории, что дало повод Долгорукову отметить на страницах своего журнала, что «Листок» «имеет честь быть запрещенным как в Российской империи, так и в России Западной, известной обычно под именем Французской империи». Жестокой критике бонапартистского режима Долгоруков посвятил целую книгу «La France sous le régime Bonapartiste», напечатанную им в двух выпусках в Лондоне в 1864 году.

Стр. 349.

Иосиф II и Фридрих II — австрийский император Иосиф II (правил с 1765 по 1790 г.) и прусский король Фридрих II (1740—1786); считаются типичными представителями так называемого «просвещенного абсолютизма».

«Будущность» № 16 от 28 августа 1861: «О перемене образа правления в России». Статья эта начинает собою серию статей под этим названием в последующих номерах журнала, впоследствии вышедших отдельной книгой под тем же заглавием в Лейпциге в 1862 году.

Стр. 352.

Князь В. Ф. Одоевский. Отзыв о князе Одоевском несправедлив[1]. П. Е. Щеголев[2] опубликовал запись Одоевского о заметке Долгорукова на его счет с возражениями. Они сводятся в главнейшем к следующему:

«Кропал плохие стихи» — «неповинен».

«Производил неудачные химические опыты» — «т.е. учился химии».

«Тогдашний министр юстиции Дашков» — «никогда в юстиции не служил».

О словах Дашкова — «Экий вздор! Я не ожидал моего камер-юнкерства, и, когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: «Что тут поделаешь? Это требование приличия».

«Давал музыкальные вечера» — «которые брали приступом».

«Писал скучные повести» — «Может быть, только их нет в торговле, и все они переведены на все языки».

---

[1] «Дневник А. С. Пушкина», т. I, стр. 275—282.

[2] «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., стр. 505—508.

Далее он заявляет, что весь разговор с Пушкиным («тот самый, замечает Одоевский, к которому анонимные письма писал тот же Долгоруков, бывшие причиной дуэли») — вымышлен от начала до конца. Особенно горячо протестует Одоевский против обвинения его в «низкопоклонности»: «Ну уж этого, — говорит он, — никто на Руси, кроме подлеца, не скажет». Эти свои заметки Одоевский обработал в форму журнального возражения, но не напечатал. В этом возражении он опять повторяет, что разговор с Пушкиным — «анекдот, выдуманный бесчестным клеветником». Разговор с Дашковым «также чистейшая ложь». Вносит он еще одну небольшую фактическую поправку: он служит под начальством Дашкова в Министерстве внутренних дел и оставался в этом ведомстве, когда Дашков «был сделан министром юстиции». Выпад Долгорукова он приписывает тому, что после смерти Пушкина он «запретил этого безнравственного негодяя пускать к себе в переднюю. Inde ira (отсюда гнев)».

Князь В. Ф. Одоевский со своей стороны составил для представления правительству записку с планом литературной борьбы с изданиями Герцена, Огарева, Долгорукова и других эмигрантов: он предлагал начать с опубликования их биографий — очевидно, это должно было быть чем-то вроде подражания «Петербургским очеркам», но направленным против обличителей петербургской «колонии», описанной в очерках[1].

Княгиня О. С. Одоевская, урожд. Ланская. Отзывы других современников в общем подтверждают отзыв Долгорукова[2].

Стр. 355.

Инвентари. В 1844 году в целях ограждения крестьян западных губерний от разорения помещиками было решено приступить к «составлению положительных инвентарей всем повинностям, которыми они обязаны владельцу». Одновременно начались подготовительные работы по введению инвентарей в Юго-Западном крае. Выработка инвентарей была поручена особым губернским комитетам, но Д. Г. Бибиков, управлявший Юго-Западным краем, неудовлетворенный их деятельностью, самостоятельно выработал правила по составлению инвентарей по единообразной форме, которые 26 мая 1846 — 29 декабря 1848 года были утверждены. К сентябрю 1852 года инвентари отдельных имений в Юго-Западном крае были составлены. В

---

[1] Полн. собр. соч. Герцена, т. XV, стр. 422.
[2] «Дневник А. С. Пушкина», стр. 283.

Северо-Западном крае при введении инвентарей руководились правилами, утвержденными тамошним генерал-губернатором. В Белоруссии дело задержалось вследствие оппозиции помещиков. В 1852 году Бибиков, сделавшись министром внутренних дел, пытался распространить свои правила на литовские губернии, но деятельность его по ограничению прав помещиков над крестьянами вызвала сильнейшее противодействие со стороны дворянства, которое воспользовалось личным нерасположением к нему нового императора, чтоб его свалить: в мае 1855 года инвентари были отменены, а в августе Бибиков должен был покинуть пост министра.

Стр. 358.

А. М. Княжевич. В дополнение приводим характеристику А. М. Княжевича, напечатанную в «Le Véridique»[1].

«В первые дни 1862 года пост министра финансов был занят Александром Максимовичем Княжевичем, стариком почти 70-летним, человеком, происходившим из сербской семьи, которая около ста лет как переселилась в Россию. Бюрократ, отнюдь не лишенный ума, тонкий и хитрый, как все русские бюрократы, хорошо владеющий канцелярской рутиной, он вырос и преуспел при режиме старых злоупотреблений. Призванный на государственное поприще в новую эпоху, он воспринял ее язык и внешние формы, оставаясь в глубине души прежним старым чиновником. Император Николай с его исключительным талантом всегда открывать и возвышать ничтожества, поручил финансы Броку, который был совершенно лишен самых начальных познаний в финансовых науках до такой степени, что, делая громадные эмиссии кредитных билетов во время последней войны, он был убежден, что это значило воевать даром. В 1858 году сочли проявление высшей меры искусной политики в том, что Брока заменили Княжевичем, за которым была долголетняя рутина канцелярии Министерства финансов. Дела не пошли от этого лучше: падение министра ускорило влияние его двух племянников, Макса и Антонина. Ничего не делалось в Министерстве без вмешательства, всегда сопряженного со злоупотреблениями, этих двух господ, особенно первого. Наконец капля переполнила сосуд. Дело шло о составлении списка лиц, которых предполагалось назначить в разные губернии для руководства новой администрацией, установленной с 1 января 1863 года для наблюдения за винными заводами и за продажей

---

[1] «Le Véridique», t. I, p. 67—70.

водки. Это были должности в высшей степени доходные, число кандидатов было громадное. Новый директор Акцизного департамента, Константин Грот, человек очень просвещенный и бескорыстный, пользовавшийся покровительством великого князя Константина, составил, по соглашению с министром, список новых чиновников. Максимилиан и Антонин Дмитриевичи Княжевичи захотели по причинам, известным им и, может быть, их дяде, внести в список некоторых из своих протеже; они настояли на своем, и дядя их имел слабость согласиться. Грот рассердился и подал в отставку; император стал на его сторону; Княжевич должен был подать в отставку; на нее согласились так, как всегда соглашаются на отставку министра в России: под предлогом расстроенного состояния здоровья, с предоставлением места в Государственном совете в качестве медицинского лечения и ежегодной пенсии в 12 000 руб. (48 000 франков), очевидно, на покупку лекарств».

О **Е. Ф. Канкрине** Долгоруков отзывается с большой похвалой, как о министре финансов. «Из числа русских министров финансов одним из самых способных, а, может быть, и самым способным, был (1823—1844) граф Канкрин, умерший в 1845 году. Он был умным человеком, ученым знатоком финансовой части, администратором опытным и искусным; сверх того, он был хитер и проницателен и умел отстаивать русские финансы от тлетворного разрушительного влияния неспособного Николая Павловича»[1].

Стр. 360.

Характеристика генерала Гернгросса[2] как «взяточника и плутяги» находится в полном противоречии с характеристикой, которая дается ему же позже — «честный человек»[3]. Нет никакого повода полагать, что одно из двух «Писем из Петербурга» написано не самим Долгоруковым (см. вступительную статью); надо поэтому думать, что в промежутке Долгоруков получил сведения, которые изменили его точку зрения, и что новая характеристика является косвенным опровержением высказанного ранее мнения. По крайней мере более позднее категорическое заявление, что «состояния он (Гернгросс) не приобрел местом, а получил его частью за женой, а большей частью по наследству от отца» является прямым ответом на недоумение, выражаемое раньше: «Как это он, не имея никакого

---

[1] «Правда о России», т. II, стр. 87—88.
[2] «Будущность», № 9, 18 марта 1861 г.
[3] Там же, № 24, 4 декабря 1861 г.

состояния, так вдруг разбогател?.. И откуда взял капиталы, без коих участвовать в компаниях невозможно?..» — и опровержением следующих затем инсинуаций.

Стр. 362.

Франциск II, король обеих Сицилий, вступивший на престол в 1859 году, очень скоро возбудил своей антинациональной политикой и приверженностью к абсолютизму всеобщее недовольство в управляемой им стране. В апреле 1860 года в Сицилии вспыхнуло восстание, возглавляемое Гарибальди. Уже в июне Франциск был вынужден пойти на некоторые уступки общественному мнению, которые, однако, его не спасли. В начале августа Гарибальди, поддерживаемый негласно Пьемонтом, переправился из Сицилии на материк. 6 сентября Франциск бежал из Неаполя, в который на следующий день с триумфом вступил Гарибальди. Последовавший 21 октября плебисцит высказался большинством 1 792 000 голосов против 10 600 за присоединение к Пьемонту. Франциск до 13 февраля 1861 года отсиживался еще в крепости Гаэте, после сдачи которой удалился в Рим.

Стр. 368.

Умные и благородные действия тверского дворянства — См. примеч. к стр. 152.

Стр. 371.

О наследстве князя Н. А. Касаткина-Ростовского и о Н. К. Войт[1]. За князем Н. А. Касаткиным-Ростовским числилось 1114 душ; после его смерти его имение перешло к его родственникам по матери Пожогиным-Острошкевичам, но на него предъявили права его двоюродный дядя Н. И. Дуров и дальние родственники князя Касаткина-Ростовского. Дело дошло до Сената в 1846 году, а в 1848 году в Государственном совете рассматривалось дело об архивариусе Новосильского уездного суда Семенове, судимом за вынос из архива дела об имениях Касаткина-Ростовского, в котором после не оказалось значительной части листов, и за получение в виде подарка денег.

Стр. 373.

До 1762 года. 18 февраля 1762 года от имени Петра III был опубликован «Манифест о вольности дворянской», освобождавший дворян от обязательной службы. В нем ничего не говорилось об освобождении дворян от телесного наказания; этой льготы дворянство добилось только в 1785 году в «Жалованной грамоте дворянству», изданной Екатериной II.

---

[1] «Правда о России», т. I, стр. 43-48.

Стр. 376.

Об осведомленности П. Д. Киселева в заговоре 1825 года говорит определенно И. Д. Якушкин, который пишет:

«Никакого нет сомнения, что Киселев знал о существовании тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы. Впоследствии, когда попал под суд капитан Раевский, заведовавший школой взаимного обучения в дивизии Михаила Орлова, и генерал Сабанеев отправил при донесении найденный у Раевского список всем тульчинским членам, они ожидали очень дурных для себя последствий по этому делу. Киселев призвал к себе Бурцева, который был у него старшим адъютантом, подал ему бумагу и приказал тотчас же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцев был удивлен, нашедши между листами данной ему бумаги список тульчинских членов, писанный Раевским и присланный Сабанеевым отдельно. Бурцев сжег список, и тем кончилось дело... Пестель «некоторые отрывки из «Русской Правды»... читал Киселеву, который ему однажды заметил, что царю своему он предоставляет уже слишком много власти. Под словом царь Пестель разумел исполнительную власть»[1].

Стр. 382.

Графа Алексея Николаевича Толстого, состоявшего секретарем русского посольства в Париже при Киселеве, Долгоруков подозревал — справедливо или нет — в организации похода против него в литературе и в суде после появления в свет его книги «La Vérité sur la Russie». Поэтому он посвятил ему несколько очень резких страниц в брошюре «La Vérité sur le procès du pr. P. Dolgoroukow par un Russe»: «Алексей Николаевич Толстой — бесспорно, самый скверный и злой негодяй в мире, существо подлое, достойное презрения и всеми презираемое... Назначенный вторым секретарем русского посольства в Париже, он принял на себя роль шпиона в отношении многочисленных русских, проживающих в этом городе; не только посылал он доносы в III Отделение, но сверх того он писал своему дяде «Павлину» [графу Ивану Матвеевичу Толстому] письма, которые это животное читало императору и посредством которых он старался вредить своим врагам. Киселев это знал, он боялся Толстых и обращался с ними с большой осторожностью; к тому же он был уже 70-летним стариком, умственные способности его начинали слабеть, память ему

---

[1] «Записки И. Д. Якушкина», СПБ, 1905, стр. 43.

изменяла, а энергия никогда не была отличительной чертой его характера. Он опускался и совершенно подпал под влияние Толстого. Этому последнему и поручила петербургская камарилья отомстить князю Петру...» «Шпион А. Толстой... взял на себя провести эту подлую интригу. Его дядя И. М. Толстой инструктировал его из Петербурга, как действовать, а граф Александр Адлерберг, человек очень близкий к Александру II и тесно связанный с Морни [французским министром юстиции], поддерживал авторитетом последнего его шаги перед французским правительством. А. Толстой заплатил Сомову за написание статьи о «La Vérité sur la Russie» и т. д.

Стр. 383.

София Петровна Свечина и ее отношения к графу Жозефу де Мэстру как раз в начале 60-х годов привлекали большое внимание общества во Франции и в России. Дочь екатерининского статс-секретаря, с юных лет склонная к мистицизму, она в 1817 году переселилась в Париж, где приняла католичество и окружила себя иезуитами и ультра-монтанами. Ее парижский салон с резким клерикальным направлением пользовался большой известностью. С графом Жозефом де Мэстром (1754—1821), известным идеологом католической реакции, она сблизилась еще в России, где он жил в 1802—1817 гг. в качестве посланника низложенного Сардинского короля и где написал все важнейшие свои философско-политические сочинения: «Essai sur le principe générateur des institutions humaines» (СПБ, 1810), «Des délais de la justice divine», (СПБ, 1815), «Les soirées de St-Pétersbourg» (Париж, 1821); кроме того, ему принадлежат сочинения по церковным вопросам: «Du pape» (Лион, 1819), «De l'église gallicane» (Париж, 1821) и по философии: «Examen de la philosophie de Bacon» (Париж, 1835). Сама Свечина тоже выступала в качестве плодовитой писательницы на религиозно-моральные темы: в 1860 году вышло в Париже собрание ее сочинений под заглавием «Vie et oeuvres de M-me Swetchine», а в 1861 году ее письма; позднее, в 1864—1875 гг., продолжали появляться в печати ее «Размышления»: письма, дневники, молитвы и т. д. Сочинения и деятельность Свечиной рассматривались как очень крупное явление в реакционных католических кругах Франции; ей посвящен ряд монографий на французском языке: Ern. Naville, M-me Swetchina, esquisse d'une étude biographique, Женева, 1863; Arm. Pichard, M-me Swetchine et le comte de Maistre, Бордо, 1864. В русской журналистике 1860 года появление ее «Vie et oeuvres» вызвало большую полемику в «Северной Пчеле», «Нашем Времени», «Русском Вестнике».

Стр. 385.

Биография Г. С. Батенькова, написанная Долгоруковым, интересна в том отношении, что составлена со слов Блудова и является, таким образом, записью со слов человека близкого к Сперанскому и лично знавшего Батенькова. Но, как передача чужого рассказа, она не может претендовать на безупречную точность и требует критического сравнения с другими источниками. Ценным пособием для восстановления биографии Батенькова могут служить материалы, вошедшие в сборник «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. II, под ред. Ю. Г. Оксмана: Автобиография Батенькова, с вступительной статьей С. Н. Чернова, и статья М. Котляревского: Батеньков в Сибири в 1817—1819 гг.

Стр. 386.

Сын сибирского купца. Известие это, по-видимому, неверно. По данным, имеющимся в литературе, он был сын отставного обер-офицера[1].

Стр. 389.

Наська. Анастасия Федоровна Минкина, фаворитка Аракчеева, отличавшаяся жестокостью и корыстолюбием; она была убита крепостными Аракчеева, которые не могли вынести ее жестокого обращения с ними[2]. См. о ней статью Бычкова в «Рус. стар.», 1884, № 3.

Стр 390.

Сношения с обществом Ермолова, Мордвинова, Сперанского и Филарета. О том, что Ермолов знал об участии Фонвизина в обществе, говорит И. Д. Якушкин, рассказывающий, что он называл его «величайшим карбонари» и говорил ему в 1822 году по возвращении из Петербурга: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (царь) вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся»[3]. Фонвизин был в то время адъютантом Ермолова; «полковник», которого не называет Долгоруков — другой адъютант Ермолова, Павел Христофорович Граббе, впоследствии генерал-адъютант, в 1850—1860-х годах состоял при особе императора, затем член Государственного совета; в 1866 году получил титул графа; оба состояли членами Тайного общества. Вопрос об отношениях Грибоедо-

---

[1] «Русская старина», № 8, 1889 г. Статья «Г. С. Батеньков. Историко-биографический очерк».

«Алфавит декабристов» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса, стр. 275.

[2] Статья Бычкова в «Русской старине», № 3, 1884 г.

[3] «Записки И. Д. Якушкина», М., 1905, стр. 66.

ва, служившего при Ермолове с 1822 года до момента ареста в январе 1826 года, к Обществу до сих пор не вполне выяснен. Мордвинов, как деятельный член Правления Российско-Американской Компании, был связан с Рылеевым, правителем дел Компании; но нет оснований полагать, что он был осведомлен о заговоре. Об осведомленности Сперанского есть, наоборот, много указаний. О Филарете см. цитату в примечании к стр. ..., где дело представлено более правильно. Все названные лица намечались в состав Временного Правительства, чем и вызваны слухи об их соучастии в заговоре.

Стр. 392.

Нынешний инквизитор — А. Л. Потапов, в 1861—1864 годах начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением. О нем см. выше, стр. 411.

Роченсальмская крепость названа по ошибке. Батеньков был заключен в крепость Свартгольм (Svartholm) близ города Ловион в Финляндии, куда он был направлен 25 июля 1826 года и откуда переведен в июне 1827 года. В Роченсальме содержались другие декабристы: Якушкин, Матвей Муравьев, Александр Бестужев (Марлинский), Арбузов и Тютчев, чем и объясняется, вероятно, ошибка Долгорукова.

Стр. 396.

«Одичалый». Стихотворение Г. С. Батенькова печаталось неоднократно в заграничных изданиях, например в сборнике «Лютня. Потаенная литература XIX стол. Лейпциг, 1874», где оно помещено без имени автора и сильно сокращенным, и в русских изданиях[1]. Впервые оно, как указано в тексте, напечатано в России Аксаковым в «Русской беседе» за 1859 год. Список Долгорукова имеет некоторые незначительные отличия от других списков, может быть, более исправных.

Наиболее существенные следующие.

После стихов:

«И не осмелится хвала
Мне приписать его открыто»

Обычно следует:

«Довольно раз
К цепям у нас

---

[1] «Русская старина», № 8, 1889, «Г. С. Батеньков. Историко-биографический очерк»;

[2] И. И. Фомин. «Собрание стихотворений декабристов», т. I, М., 1906 г.

Себе позволить отвращенье,
Сказать... поднять чело на час —
И расклокочется гоненье».

После стихов:

«Любви запас неистощимый
Для жизни новой после сей!»

Следует:

«Вкушайте, сильные, покой!
Готовьте новые мученья!
Вы не удушите тюрьмой
Надежды сладкой воскресенье!»

Другие варианты незначительны. Надо, впрочем, отметить, что в лейпцигском издании «Лютня» текст сильно искажен с явной тенденцией романтические образы заменить реальными.

Стихотворение было написано в мае 1827 года в крепости Свартгольм, а не в Роченсальме, как ошибочно сказано у Долгорукова. Имеются указания, что оно было посвящено А. А. Бестужеву.

Стр. 397.

«Вон там весной земли пустой кусок вода отмыла». Против крепости Свартгольм недалеко от берега имеется островок, на котором хоронили умерших арестантов.

Стр. 401.

Некролог князя С. Г. Волконского, написанный князем П. В. Долгоруковым, вызвал большие нападки со стороны его недоброжелателей. Н. А. Белоголовый утверждает, что в 1866 или 1867 году декабрист Поджио имел с Долгоруковым бурное объяснение по поводу его статьи и так резюмирует высказанные Поджио мнения: «Не тревожить бы праха его [князя Волконского] Долгорукову, который взялся за его биографию и неуместно и несвоевременно (сколько в том дерзости!) заявил себя хранителем тех тайн, которые будто бы покойный доверял ему для оглашения лишь после его смерти. И в каком ложном свете выставил он покойного! И что подумает Киселев [по поводу рассказа об его сношениях с декабристами]? И это же все ложь, все — ложь, но сочинителю, вероятно, хотелось свести свои личные счеты с Киселевым, и он воспользовался удобным случаем и под прикрытием мертвого... Хотелось самому порисоваться и для этого придумал пустым рассказам придать характер какой-то политической исповеди»[1].

---

[1] Н. А. Белоголовый. «Воспоминания», М., 1898, стр. 121—222.

Справедливость требует отметить, что сведения о Киселеве, сообщаемые со слов Волконского Долгоруковым, совпадают, как мы видели, с показаниями Якушкина в его «Записках» и косвенно подтверждаются данными следствия (см. примеч. к стр. ...), так что к заявлению Поджио о том, что «все ложь», приходится отнестись осторожно. Другие подробности тоже подтверждаются «Записками» самого Волконского (СПБ, 1901) и его жены Марии Николаевны (СПБ, 1906). Конечно, как передача по памяти чужого рассказа, притом слушавшегося много лет после описываемых событий, «Некролог» требует некоторого критического отношения, что не мешает ему быть чрезвычайно ценным дополнением к «Запискам» Волконского.

Стр. 402.

Александр I и С. Г. Волконский. Разговор Александра I с Волконским изложен со всеми подробностями в «Записках» последнего.

Стр. 403.

Слова Пестеля перед арестом изложены так самим Волконским: «Смотри, ни в чем не сознавайся! Я же — хоть и жилы мне будут тянуть пыткой — ни в чем не сознаюсь! Одно только необходимо сделать — это уничтожить «Русскую Правду», одна она может нас погубить»[1].

Точно так же подтверждается записью Волконского, что, «к несчастию», «Русская Правда» не была уничтожена, а закопана в одном огороде в деревне Клебани[2]. Долгоруковым история сокрытия «Русской Правды» изложена подробнее.

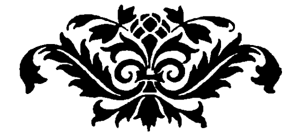
Стр. 405.

Т. С. Бурнашев и декабристы Волконский и Трубецкой. Эпизод, сообщаемый Долгоруковым, подтверждается в точности рассказом М. Н. Волконской[3].

---

[1] С. Г. Волконский. «Записки», стр. 438.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 57—60.

Именной указатель



Гагемейстер Юлий Андреевич (1806—1878) — директор Особой канцелярии по кредитной части и член Ученого комитета Министерства финансов (при Княжевиче), потом статс-секретарь, сенатор, автор трудов по финансовым и политико-экономическим вопросам — 361, 363,

Гакстгаузен Август (1792—1866) — барон, прусский чиновник, экономист; в 1843 г. путешествовал по России; его труд об особенностях русского аграрного строя и крестьянской общины оказал влияние на русскую общественную мысль середины XIX столетия — 330

Галахов Александр Павлович (1802—1863) — генерал-адъютант, петербургский обер-полицмейстер (1847—1856) — 208

Гасфорт Густав Христианович (1794—1874) — генерал от инфантерии, генерал-губернатор Западной Сибири и командующий Отдельным Сибирским корпусом (1851—1861), член Государственного совета — 214

Гауровиц Иван Самойлович (ум. 1882) — гофхирург и лейб-медик великого князя Константина Николаевича (1838), генерал-штаб-доктор Балтийского флота (1854—1859), с 1859 г. главный инспектор медицинской части Морского ведомства — 126, 335

Гедеонов Александр Михайлович (1791—1867) — директор Императорских театров (1833—1858), обер-гофмейстер — 308, 370—371

Гедеонов Степан Александрович (1815—1883) — сын А. М. Гедеонова, директор Эрмитажа (1863), директор Императорских театров (1867—1875); историк и драматург — 308—309

Георг IV (1762—1830) — король Английский (с 1820); известен был своим легкомысленным поведением в бытность принцем Уэльским — 160, 259

Гернгросс Александр Родионович (ум. 1904) — генерал, председатель Горного аудиториата, директор Департамента горных и соляных дел, позже начальник штаба Корпуса горных инженеров — 360, 363

Герздорф Арист Федорович — генерал-майор свиты, командир лейб-гвардии Кирасирского Е.И.В. полка, потом генерал-лейтенант, егермейстер — 117—118

Герштейнцвейг Александр Данилович (1818—1861) — генерал-адъютант, варшавский военный генерал-губернатор и председательствующий в правительственной Комиссии внутренних дел Царства Польского; застрелился вследствие недоразумений с наместником графом Ламбертом; был женат на

Рихтер Александр Борисович (ум. 1859) — посланник в Брюсселе (1856—1859) — 136

Рихтер Оттон Борисович (1830—1908) — полковник, флигель-адъютант; с 1858 г. состоял при цесаревиче Николае Александровиче, командующий императорской главной квартирой при Александре III и Николае II, член Государственного совета — 136

Робеспьер Максимильен (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев — 132

Родофиникин Константин Константинович (1760—1838) — директор Азиатского департамента (1819—1837), сенатор (1832), член Государственного совета (1838), домашний секретарь и заведующий личными делами канцлера графа Нессельроде — 174

Рожнецкий Александр Александрович (1774—1849) — родом поляк, сражался против русских под предводительством Костюшко и Наполеона, с 1815 г. командующий кавалерией польской армии, генерал от кавалерии, в конце 1831 г. зачислен на русскую службу с назначением состоять «при особе его величества», с 1832 г. член Государственного совета и Совета управления Царства Польского — 246

Рокасовский Платон Иванович (1797—1869) — генерал от инфантерии, финляндский генерал-губернатор (1848—1854, 1861—1866), член Государственного совета (1854), барон великого княжества Финляндского — 214, 234

Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — офицер лейб-гвардии Егерского полка, член Северного тайного общества, о существовании которого довел до сведения великого князя Николая Павловича; впоследствии ближайший сотрудник великого князя Михаила Павловича и Александра II по заведованию военно-учебными заведениями, в качестве начальника штаба главного начальника военно-учебных заведений (1835—1855), генерал-адъютант (1849), член Государственного совета (1856), участник крестьянской реформы, председатель редакционных комиссий по выработке положения об улучшении быта крестьян — 329—330

Рулье Фанни Андреевна (1807—1896) — главная надзирательница Петербургского театрального училища (ошибочно названа Долгоруковым Рельи) — 149

Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — граф, государственный канцлер (1809), министр коммерции (1802—1811) и иностранных дел (1808—1814), председатель Государственного совета (1810—1812), издатель важнейших источников для рус-

(1825); впоследствии генерал от инфантерии, сенатор — 376—377

Хомутов Михаил Григорьевич (1795—1864) — генерал-адъютант (1854), наказной атаман войска Донского (1848—1862), с 1862 г. член Государственного совета — 215

Хрептович Михаил Иринеевич (1809—1891) — граф, дипломат, посланник в Неаполе (1847—1853), Брюсселе (1853—1856) и Лондоне (1856—1858), обер-гофмейстер, управляющий двором великого князя Константина Николаевича (1862), впоследствии член Государственного совета; женат на графине Елене Карловне Нессельроде, дочери канцлера — 164

Хрущов Дмитрий Петрович (1816—1864) — товарищ министра государственных имуществ (1856—1857), с 1857 г. сенатор — 189—190, 321—324

Цветков Григорий Павлович — стряпчий уголовных дел в Харькове; о том, что он был товарищем председателя Харьковской уголовной палаты, сведений нет — 302

Циммерман Аполлон Эрнестович (1825—1884) — капитан Генерального штаба; с 1851 г. командирован в Отдельный кавказский корпус и до 1855 г. участвовал в нескольких экспедициях против горцев и в военных действиях против турок; впоследствии генерал от инфантерии — 230

Цынский Лев Михайлович — офицер лейб-гвардии Конного полка; впоследствии флигель-адъютант, московский обер-полицмейстер — 272

Чарторыжский Адам Адамович (1770—1861) — князь, польский магнат; в 1795 г. вызван Екатериной II в Петербург и здесь сблизился с будущим императором Александром I, по воцарении которого оказывал влияние на дела как член Негласного комитета; товарищ министра (1802—1804), а потом министр иностранных дел (1804—1806); сенатор, член Государственного совета, попечитель Виленского учебного округа (1803—1824), председатель народного правительства Польши во время восстания 1831 г., эмигрировал во Францию, где стал во главе аристократической эмигрантской партии, а его парижский дворец — Hôtel Lambert — ее политическим центром — 264

Чевкин Константин Владимирович (1802—1875) — генерал-адъютант, начальник штаба Горного корпуса (1834—1845), се-

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Владимирович Долгоруков
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОЧЕРКИ
Памфлеты эмигранта
1860—1867
Серия «Голоса истории»

Заведующий редакцией А. В. Проскурин
Ответственная за выпуск М. В. Писарева
Художественный редактор А. И. Хисиминдинов
Фоторедактор Т. П. Макарова
Технический редактор Л. А. Крюкова
Технолог С. Г. Володина
Корректоры С. А. Жук, Л. Ф. Уланова

ИБ 10394

Сдано в набор 23.04.91. Подписано в печать 28.10.91.
Формат издания 84х108/32. Бумага офсетная 70г/м².
Гарнитура таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 32,43.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 193. Изд. № 8804.
Цена договорная.

Издательство «Новости»
107082. Москва. Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства «Новости»
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

П. ДОЛГОРУКОВ

Обидевшись, что его не назначили министром внутренних дел, князь Петр Владимирович Долгоруков эмигрировал в 1859 году во Францию. Свой отъезд он мотивировал стремлением «сказать всю правду русскому правительству». «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, — писал он в 1860 году из Парижа в III Отделение (которое, кстати, возглавлял его двоюродный брат), — пусть эта сволочь узнает, что значит не пускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу». Таково происхождение его «Петербургских очерков», составленных из книги «Правда о России» и отдельных публикаций из издававшегося им журнала «Будущность». Они стоят на грани между мемуарами и памфлетом.

Новости